90 коп.   Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 4/1989

Стихи
Иосифа БРОДСКОГО, Юрия КУЗНЕЦОВА, Александра ВЕЛИЧАНСКОГО

Проза
Виль ЛИПАТОВ. Лев на лужайке. Роман

Александр АВДЕЕНКО. Отлучение. (Окончание)

Мемуары. Архивы. Свидетельства
Письма академика **П. Л. КАПИЦЫ Н. С. ХРУЩЕВУ**

Н. П. КАМАНИН. «Объявлена минутная готовность...» (Из дневника 1961 года)

Критика
А. ЛЕБЕДЕВ. «Теперь, когда глядишь назад...»
Т. ИВАНОВА. Наша бедная трудная литература

ISSN 0130-1616 Знамя 1989 № 3 1—240

ЗНАМЯ

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1989

Март



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

3
МАРТ
1989

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Эдуардас Межелайтис

ДАЛЕКИХ ЗВЕЗД АРМЯНСКИЙ АЛФАВИТ...

Узники вечности

Мне не забыть святилище Ахпата.
Семнадцать долгих лет Саят-Нова
Томился в нем. И снегом без возврата
В узилище покрылась голова.

Что делать! Всем поэтам уготован
Единый рок, единый дар: в обмен
На свой талант — плен вечности суровый.
Поэт и тверд, и жесток, как кремень.

А сердце — пуха ласточкина мягче.
Поэт закрыл кремневые глаза —
И сколько хочет пусть соблазн маячит.
Зато пустяк — и на глазах слеза.

И щебет птицы, и ручья журчанье,
Далеких звезд армянский алфавит —
Все в сердце западает. Вот не чаял,
Что все это стать словом норовит.

Мысль зодчего размаха не боялась.
Обитель эта сумрачна, как страж.
Здесь прошлое огромное впаялось
В незыблемо огромный горный кряж.

Как груда мощных мышц — глухие стены.
Хачкар к хачкару — слезный пьедестал.
Ахпат один! На этой высоте нам
Гигантской розой камня он предстал.

Я здесь стоял как бы на ставке очной,
Склоня главу пред красотой камней,
Пред кельей — камерою-одиночкой.
Саят-Нова молился Музе в ней.

Голос Лусинэ

Вот говорят, что соловьиной трелью
Не насладиться здесь, в горах. Вранье!
А Закарян? Вмерз трепетной форелью
Я в пение ее.

Как голос чист! В нем яркость водопада,
И не нужна ему подпора слов.

В нем — вздох колоколов Сардарапата.
Поминовение орлов,

Повиновения не знавших,
За волю павших средь родимых гор.
Колокола! В ударах слышу ваших
Сердцебиения аккорд.

О голос Лусинэ! Вот так в ущельях
Блуждает эхо. То — камней призыв,
Вечерняя молитва и прощенье,
И соль слезы.

Как живо этот голос мне напомнил
И персиков багрец, и в белизне
Весенней яблоню. Он сердце, как
шиповник,
Пронзает мне.

Струне судьба — по кяманче метаться,
И звук ее безумен и горяч.
Вновь этот голос стонет Комитасом —
Столь долгий плач.

Эчмиадзинский ангел! Отворишь ты
Врата эдема крыльями стиха,
И в звуке хаза ясно слышно трижды
Святое слово — «Хайк».

Персики в цвету

Туф краснотой раскаленной
Персики облобызал.
Там за стволом — за колонной —
Всё обещают глаза.

Персики пахнут губами
Девушек. Горных громад
Перси, волной огибая,
Обожествил аромат.

Персики письмам подобны.
Двое признались в любви —
И запропастились оба:
Сад их цветами обвил.

Яблони и так далее

Май, облетающий сад.
Белые птицы летят.

Под журавлиным крылом
Каменный горный излом.

В стих мой плеснулся Севан,
Птичий влетел караван.

В какой улетаешь ты край,
В сердце моем, белый май?

Перевел с литовского Феликс Фихман

Александр Авдеенко

ОТЛУЧЕНИЕ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛЮБЕ АВДЕЕНКО

Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения... Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случилось наблюдать в жизни.

Л. Толстой.

Среди людей, приехавших в Москву летом тридцать третьего, я был, несомненно, самым счастливым. Начиналось мое будущее.

Прямо с вокзала, оставив повидавший виды чемоданчик в камере хранения, отправляюсь к Вере Орловой.

До центра доехал на трамвае. Большой театр. Гостиница «Метрополь». Памятник первопечатнику Федорову. Шагаю мимо глухого забора, отгораживающего будущую станцию метро. Любуюсь Политехническим. И чувствую себя на седьмом небе.

Считанные дни остались до того, как «Я люблю» выйдет в свет, до того, как я смогу считать себя автором, писателем. Я — писатель?! Бывший голодранец, сын макеевского рабочего, искалеченного огнем домны, убитого непосильным трудом. Бывший беспризорник, не окончивший и двух классов церковноприходской школы, прошедший через самые тесные, шкуродерные калибры жизни.

Нет, не может быть.

Но другой внутренний голос сейчас же стал уверять, что я напрасно терзаюсь сомнениями, что перешагну заветную черту.

И я поверил.

Солнечно, тихо, свежо. Ночью прошел дождь. Блестит асфальт. Зеленеют на деревьях омытые листья. Небо синее, без единого облачка. Навстречу пробегают москвичи. И все, все до единого, кажется мне, понимают, что со мной происходит.

Меня остановили два парня в брезентовых робах, сизых от породной пороши. Широкополые, жесткие, тоже брезентовые шляпы. Лица чумазые, потные. Лица шахтеров, только что поднявшихся на-гора́. Московские шахтеры. Люди небывалой профессии — проходчики метро. Какая у них интересная работа! Один из них облизал пересохшие губы.

— Слушай-ка, браток, угости закурить. Всю ночь не дымили. Уши опухли.

Первый раз в жизни пожалел, что некурящий.

— Подождите здесь, я сейчас...

— Постой! — Меня хватают за руку. — Куда ты?

— Папиросы принесу.

— А где они?

— Там... в киоске.

— В киоске? Эх ты зюзя! Да разве мы не знаем, где киоск? Сами купим. Бывай здоров.

Засмеялись и пошли дальше.

Выхожу на набережную. За чугунной решеткой желтеет старинное здание с колоннами. Это Дворец труда, штаб-квартира советских проф-

союзов. Самый родной для меня дом в столице. Здесь, в Профиздате, работает Вера Орлова и другие мои друзья. Здесь и Кабинет рабочего автора, в котором я провел не один час н день.

— Приехал!.. Здравствуй, Саня.

Впервые назвала меня так.

— Ну, где мой младенец? Давайте, показывайте. — Губы мои, чувствую, дрожат, но слова выговариваю почти развязно.

— Вот! — Вера Александровна достает из ящика и кладет на стол пухлую пачку серой, грубой, книжного размера бумаги. — Верстка.

На первой странице крупно напечатано мое имя и еще более крупно название — «Я люблю».

Кладу на будущую книгу руку и зажмуриваюсь. Я счастлив. Безмерно.

Вера Александровна позволила мне испить чашу до конца, до последней капли. И подлила еще:

— Алексей Максимович Горький узнал о том, что мы готовим вашу рукопись к изданию, попросил прислать ему. Мы сейчас же отправили. Это было неделю назад. А вчера нам сообщили, что Горькому понравилось и он собирается напечатать «Я люблю» в своем альманахе «Год XVI».

Ошеломлен. Вероятно, это отразилось на моем лице, в моих глазах.

— Да, вы стали крестником Горького.

— Я ваш крестник. Крестник Кабинета рабочего автора. Вы поверили в меня больше, чем я сам верил в себя.

Куда теперь? Тут и думать нечего. В горьковский альманах.

Тверской бульвар, 25. Старинный особняк, в котором, говорят, жил Герцен. Он так и называется: Дом Герцена.

Поднимаюсь на второй этаж. Длинный полутемный коридор. Дюжина, если не больше, дверей. Останавливаюсь перед той, на которой стеклянная пластинка с золотыми буквами: «Редакция альманаха «Год XVI». Открываю дверь и вижу за столом человека в военной, без петлиц, гимнастерке. Голова сияет от лба до затылка, будто отшлифованная. Сияет и пенсне с выпуклыми стеклами. Это Леопольд Авербах, бывший генеральный секретарь РАППа, ликвидированного в прошлом году, а теперь ближайший помощник Горького по альманаху. Я знаю его по фотографиям в «Литературной газете», по выступлениям в печати.

Здороваюсь. Называю себя.

— Мне сказали, что вы в альманахе прочли мою рукопись «Я люблю» и хотите ее печатать. Это правда?

Авербах энергично выбивает из-под себя стул, бросается ко мне. Смеется, хлопает по плечу и говорит неожиданно густым, сильным голосом оратора:

— Нет, дорогой мой, это полуправда. Кроме нас, твою рукопись прочитал еще и Алексей Максимович. Одобрил, чуть подправил и решил напечатать в ближайшей книжке альманаха. Вот теперь вся правда. Рад познакомиться. Садись. Сколько тебе лет?

— Двадцать пять.

— Ну, казак, держись, атаманом будешь! Говорят, испытания властью и славой — самые тяжкие испытания. Власти, слава богу, ты не имеешь, а вот слава... такое обрушится на тебя в самом скором времени!

Чем пугает! Есть ли на земле человек, способный бояться славы?! Да и не нужно мне этой завтрашней славы. Хватит того счастья, что попало в мои руки сегодня. Осчастливлен так, что дальше некуда. Работаю на Магнитке, на заводе, не имеющем себе равных в мире. Зарабатываю хорошо. Студент вечернего факультета Педагогического института. И вот теперь сам Горький поддержал, похвалил, печатает мой роман!

— Ну, а дальше писать будешь? — спрашивает Авербах.

— Как же! На историю Магнитки замахнулся. Уже начал и немало написал. Назвал роман «Столицей». Столица пятилетки. Столица рабочего класса.

— Ого! — Авербах опять поощрительно, как мне показалось, расхохотался. — Ну что ж, будем ждать.

И тут я, сбитый с толку его доброжелательством, искренним интересом ко мне, брякнул:

— В дальнейшем я все свои книги буду печатать в вашем альманахе.

Он еще больше развеселился. Я понял, что переборщил. Неловко стало. Авербах же великодушно продолжал смотреть добрыми глазами.

— Вот и хорошо. Договорились. А пока давай поработаем над твоей первой книгой. Мы ее не можем напечатать полностью. Мало свободного места. Номер уже сверстан. И выкинуть нечего. Не возражаешь против сокращения? Урежем на два-три листа, не в ущерб повести, разумеется.

— Смотря какие сокращения.

— Ого! — хохочет Авербах. — Боишься, что искалечим первенца? Не бойся. Гарантирую самое бережное отношение. Рукопись по совету Алексея Максимовича мы уже отправили превосходному писателю Всеволоду Иванову. Он обещал сделать быстро и бережно. Ну, как, согласен?

Я кивнул.

— Хорошо, что ты появился у нас. Вовремя! Посмотришь, что и как сократит Всеволод Иванов. Тебе надо с ним встретиться. Сегодня же. Прямо сейчас. Можешь поехать за город к Всеволоду Вячеславовичу?

— Но я...

— Ничего, мы все устроим.

Подбежал к двери, крикнул:

— Миша!

Вошел невысокий, хрупкий, черноволосый парень, как я позже узнал, секретарь редакции Миша Цейтлин.

Авербах сказал.

— Этого молодого писателя надо срочно, аллюр три креста, в сопровождении нашего сотрудника отправить к Всеволоду Иванову на дачу в Барвиху. Пусть посмотрят друг на друга, покалякают о том, о сем. Ясно? И не поездом, а на машине. Берите такси. Час туда, час обратно. Час на разговоры. Ясно?

И вот мы мчимся через всю Москву. Сопровождает меня симпатичная женщина. К сожалению, имя ее забыл. Обидно.

Первый раз в жизни роскошествую на такси. За чужой счет, конечно. Счетчик бешено выбивает рубль за рублем. Летят километры. Выскакиваем на окраину по асфальтированной узкой дороге. Катим в сторону заходящего солнца. Въезжаем в какую-то прибранную зеленую деревню. Это и есть Барвиха? Да, оказывается, она самая.

Всеволод Иванов живет в самой обыкновенной деревенской избе. Встретила нас высокая, красивая и приветливая женщина — Тамара Владимировна, жена писателя, она была в ситцевом сарафане и цветастом фартуке, с ножом в руках. Чистила грибы, видимо, только что собранные в лесу. Моя спутница в двух словах объяснила ей, зачем мы нагрянули. Тамара Владимировна отодвинула корзину с грибами в сторону. Накрыла стол, стоящий под деревом, свежей скатертью.

— Садитесь, пожалуйста. Сейчас я вас чаем напою. Самовар как раз вскипел. Всеволод скоро вернется. Он пошел купаться на Москва-реку. Садитесь!

Не успели мы выпить и первую чашку чая, появился Всеволод Иванов. В точности такой же, какой на фотографиях. Кряжистый. Большеголовый. Широколицый. В широких штанах. В белой майке, с махровым полотенцем на плече. Он почему-то сразу догадался, кто я и зачем приехал. Спокойно, без особого интереса, усталыми глазами вглядывается в меня, не задает никаких вопросов. Кладет передо мной рукопись, медленно перелистывает.

— Вот здесь я немного поджал. Не жалейте. Для книги можете оставить. А эту страницу, как видите, целиком вырубил. Не советую держаться за нее и в книге. Таково мнение и Алексея Максимовича. Видите, это его почерк.

На выброшенной странице было написано жирным синим карандашом: «Гой ты гой еси! Богатырь, да и только». Эти слова относились к явно

преувеличенной удали героя моей повести, дедушки Никанора. И хорошо, что вырублено. Ну, а что дальше?

Всеволод Иванов перелистывает страницу за страницей и показывает, что и как сделал. Мое авторское самолюбие ни капельки не задето. Все правильно. И тут мне повезло.

— Ну, вот и все. Как видите, редактировал я и поджимал повесть, строго следуя за карандашом Алексея Максимовича. Все хорошее, помоему, осталось в неприкосновенности. Посмотрите еще раз свежимн глазами.

А чего тут смотреть? Ясно, что добра мне желают и Всеволод Иванов, и Горький. Безоговорочно согласен.

Собираю рукопись, вкладываю в папку, завязываю тесемки. Все, можем ехать обратно в Москву.

— Большущее вам спасибо, Всеволод Вячеславович.

— Что вы, не за что. Работал я над вашей рукописью немного. К тому же и не без удовольствия. Желаю удачи.

В «Литературной газете» на первой полосе, в самом ее центре, набрано сообщение, что выходит в свет альманах «Год XVI», в котором печатаются произведения Максима Горького, Николая Тихонова, Михаила Светлова, Александра Прокофьева, Георгия Шторма, Лапина и Хацревина, Романа Кима, академиков Кржижановского, Винтера, Келлера, Ольденбурга и — мое.

Сегодня же получил от Алексея Максимовича приглашение, присланное Авербахом, принять участие в поездке на Беломорско-Балтийский канал. Поездку организуют чекисты и оргкомитет Союза писателей.

Вот как в гору пошла, полетела моя жизнь. Ударник, призванный в литературу! И сразу попал в число писателей, удостоенных высокой чести.

Никто не вызывал во мне такого преклонения, как писатели. Я более или менее представлял себе, как можно стать директором, врачом, инженером, даже профессором, но писателем... Писатель, казалось мне, имеет какую-то особую душу, волшебно настроенную, способную угадывать жизнь чужой души. Он знает все о жизни людей, о природе и обо всем на свете. Видит и чувствует жизнь острее, глубже, чем обыкновенный человек. Я был убежден, что писатели — люди исключительно умные, добрые, отзывчивые, бескорыстные, мужественные, правдивые, искренние, совестливые, ненавидят ложь, притворство, лицемерие, зависть, подлость. Не обладая всеми этими качествами, думал я, нельзя писать.

Тогда я еще не знал, что воображение и добрые намерения часто заменяют писателю все добродетели.

Книгу я полюбил раньше, чем все остальное, достойное любви. Она открыла мне многие тайны мира. Если бы я нормально, как все дети, постепенно, день за днем, познавал мир в школе, возможно, книга бы не заняла в моей жизни такого важного места. Но в мои руки книга попала необычным путем. Я не получал ее от родителей — был беспризорником.

В первые годы Советской власти я обитал на большой узловой станции Иловайское. Тут дневал и ночевал, кормился из чужих рук, чем придется, подбирал, что плохо лежало, и был невольным свидетелем того, что творилось вокруг.

Через Иловайское — Южные ворота Донбасса — прошли с боями, туда и сюда, на север и на юг, наступая и отступая, белогвардейские армии Деникина, корпуса кубанских, терских, донских казаков, диких дивизий. Через Иловайское, по рельсовым путям и пыльным дорогам, промчались, прошумели, прогремели краснозвездные бронепоезда, красная конница. Протопала в рыжих ботинках и гимнастерках, истлевших от пота, дождей, солнца, веселая и жизнерадостная красная пехота. Один из ее потоков подхватил меня и донес до Черного моря.

После гражданской войны опять забросило в Иловайское. К этому времени на вокзале, в зале первого класса, появился книжный киоск. Его хозяином был дядя Вася, сердитый и ухватистый. Он продавал газеты

и журналы еще до революции, в Петрограде. Газеты и книги он и сейчас получал огромными пачками прямо из Москвы. Дядя Вася однажды схватил меня за ухо:

— Ты голодный, мальчик?

— Ага! — ответил я и шмыгнул сопливым носом.

— Хочешь быть сытым? Хочешь, чтобы тебя все видели и слышали? Хочешь, чтобы тебя со всех сторон окликали: «Эй, хлопчик, иди сюда!»?

Нет на свете парнишки, который бы не захотел этого.

— Ну?.. Хочешь или не хочешь?

— Ага, хочу, — сказал я на всякий случай.

Дядя Вася повел меня в зал первого класса, к своим шкафам и стойке.

— Вот здесь будешь жить и работать. Подкрепись и принимайся за дело.

Он дал мне кусок вареной конины, бутылку топленого молока и скибку белого хлеба. Я уплетал сказочный харч и слушал деловой наказ дяди Васи.

— Вот тебе «Известия», «Правда». Валяй на всех парах к бакинскому поезду, трезвонь: новости, новости, новости! Просвещай приезжих!

Он набил большую холщовую сумку газетами, журналами, книгами и повесил мне на плечо. И я стал бегать вдоль поездов, следующих к Черному, Каспийскому и Азовскому морям, в Москву и Петроград, Харьков и Киев, в Крым и на Кавказ.

— Свежие московские газеты! Журналы! Завлекательный роман «Убийство Распутина»!

В свободное время, когда не было поездов, жадно поглощал книги, одну за другой. Совсем недавно читал по складам, теперь пробегал страницу в мгновение. Страсть к чтению овладела мною. Читал все, что попадало под руку, без разбора. И все запоминал.

В середине двадцатых годов появились «карманные», в бумажных обложках книжечки «Дешевая библиотека». Величайшее богатство таилось под неказистыми обложками — лучшие произведения мира.

Не думал я в ту пору, что встречу когда-нибудь живого писателя. Встретил! И не только встретил, но и сам стал писателем...

По правде говоря, став автором «Я люблю», я не чувствовал в себе той силы, какую подозревал в каждом писателе. Не знал и тысячной доли того, что, казалось мне, знали все они.

Но реальное чувство своей малости нисколько не мешало мне быть на седьмом небе.

Сборным пунктом ехавших на Беломорско-Балтийский канал был клуб писателей. Явиться надо в семь часов вечера. Прямо оттуда, после соответствующих наставлений руководящих товарищей, предупредил меня Авербах, все отправятся на вокзал.

Еле дожил до вечера. Чего только не боялся. В самую последнюю минуту, думал — выбросят из списка. Или опоздаю на сбор. Чего-то не увижу, чего-то не услышу, что-то, самое важное, пройдет мимо.

Одним из первых, если не самым первым, пришел в клуб писателей. Громадные, темного дуба двери старинного дома на улице Воровского еще заперты. Внимательно рассматриваю высокую чугунную решетку, ограждающую особняк. Читал где-то, что в этом доме жили герои «Войны и мира». Как он уцелел в самом пекле московских пожаров?

Распахнулись двери. Один за другим стали появляться писатели. Вглядываюсь в каждого, пытаюсь угадать — кто есть кто. Не было среди них, пожалуй, ни одного, кого бы я не знал заочно, по книгам. Но многих и по фотографиям в газетах, в журналах.

Вот Леонид Соболев. Понравился мне его «Капитальный ремонт». Высокий и грузный, в громадной, невиданной кепке песочного цвета, с поднятыми наушниками. Стоит важно, как памятник, опираясь на толстую суковатую палку.

Пробежал, всех оглядывая и всем себя показывая, пышноволосый,

живой и верткий, с гитарой в руках, нестареющий комсомолец Александр Безыменский.

Медленно, вскинув красивую голову, прошагал Иосиф Уткин.

Бруно Ясенский, автор нашумевшей книги «Я жгу Париж».

Вера Инбер, изящная и хрупкая, словно куколка.

Неторопливый, задумчивый и печальный Лев Славин.

Илья Ильф и Евгений Петров, неразлучные, как и на обложках своих книг «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Ильф — среднего роста, худощавый, мрачный, с обветренными тяжелыми губами, в старомодном пенсне, в черном костюме. Петров — высокий, широкоплечий, веселый, доброжелательный, в светлом пиджаке.

Борис Пильняк, неутомимый путешественник. Его книги об Америке и Японии я успел прочитать.

Леонид Леонов. Автор «Барсуков», «Соти» и «Вора».

Кудрявый, белокурый, с пухлыми губами, с дерзким и веселым взглядом поэт Павел Васильев.

С детской челкой, наползающей на глаза, Лидия Сейфуллина.

Константин Тренев, высокий, сутулый и задумчивый.

Черноглазый, черноволосый, с голой макушкой и с румяными скулами, как у Будды, Владимир Киршон.

Тихий и скромный, с лукавой улыбкой мудреца на юном лице Михаил Светлов.

Николай Погодин, прославивший строителей пятилетки в пьесе «Поэма о топоре».

Какая-то писательница, окутанная облаком духов и одетая так роскошно, что на нее страшно смотреть.

Художники Кукрыниксы: высоченный Куприянов, небольшого роста Крылов, русокудрый Соколов.

Янка Купала. Якуб Колас. Максим Рыльский. Юрий Яновский.

Один известнее другого. Все давным-давно заслужившие любовь читателей. Один я — автор книги, не увидевшей еще света.

Рассаживаемся в ярко освещенном зале. Из разговоров понимаю, что не все из пришедших едут — кто-то пришел просто послушать.

Кирпотин, секретарь оргкомитета Союза писателей, говорит, что коллегия ОГПУ по указанию товарища Сталина предоставила возможность побывать на только завершенной ударной стройке пятилетки — Беломорско-Балтийском канале — группе из ста двадцати писателей.

После Кирпотина выступил представитель ОГПУ, начальник Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря Семен Фирин. Говорил долго и хорошо.

Еще во времена Великого Новгорода мечтали русские люди проложить путь через Неву, Ладожское озеро, реку Свирь и Онегу к Морю Студеному. Мечтал об этом и Петр Первый. Проходили века, а мечта оставалась мечтой. И только нам, большевикам, оказалось под силу осуществить ее. За 20 месяцев проложен грандиозный водный путь из Балтийского моря в Белое. Путь из Ленинграда в Архангельск сокращен в несколько раз. Было 5167 километров, стало 1248. Правительственная комиссия уже приняла канал, дала ему высокую оценку и разрешила эксплуатировать. Каналу присвоено имя Сталина. Товарищи Сталин, Ворошилов, Киров первыми совершили путешествие по каналу от Балтики до Белого моря.

Работали на строительстве канала люди, которых привыкли считать отпетыми: воры, грабители, бродяги, проститутки, содержатели притонов, вредители, нэпманы, кулаки, лавочники. Ненавидели труд, всю жизнь пользовались чужим трудом, а пришлось голубчикам самим трудиться. Да не абы как, а по-ударному. В лесной глухомани, на торфяных болотах, на суровом севере. «Научили природу и получили свободу», как поется в лагерной песне. Ржавый хлам прошел через огненное горнило. Вчерашние преступники перекованы трудом. Постановлением ЦИКа более двенадцати тысяч человек освобождены досрочно, почти шестидесяти тысячам сокращен срок заключения. С пятисот наиболее отличившихся снята судимость.

— Мне приказано сопровождать вас в путешествии, — заканчивая речь, сказал Фирин. — Я позабочусь, чтобы вы увидели как можно больше. Ни на канале, ни в лагерях для вас нет ничего запретного. Пожалуйста, смотрите все, что угодно. Разговаривайте с любым каналоармейцем.

«Каналоармеец»... Резануло слух новоиспеченное слово. Рядом с привычным, святым «красноармеец» звучит почти кощунственно. Подумав так, я сейчас же устыдился. Молод и зелен. Разумеется, чекисты с ведома и благословения товарища Сталина называют строителей Беломорско-Балтийского канала каналоармейцами. Героическим трудом заслужили.

Вечером колонна автобусов увозит нас на Ленинградский вокзал. К перрону подан специальный состав из мягких вагонов, сверкающих лаком, краской и зеркальными окнами. Рассаживаемся, где кто хочет.

С той минуты, как мы стали гостями чекистов, для нас начался полный коммунизм. Едим и пьем по потребностям, ни за что не платим. Копченые колбасы. Сыры. Икра. Фрукты. Шоколад. Вина. Коньяк. И это в голодный год!

Ем, пью и с горечью вспоминаю поезд Магнитогорск — Москва. Одна за другой мелькали платформы, станции, полустанки, разъезды. И всюду вдоль полотна стояли оборванные, босоногие, истощенные дети, старики. Кожа да кости, живые мощи. И все тянут руки к проходящим мимо вагонам. И у всех на губах одно, легко угадываемое слово: хлеб, хлеб, хлеб. Просят милостыню. Столетиями кормили и поили горожан, а сейчас... И это при относительно хороших урожаях в прошлом, позапрошлом годах. В чем же дело? Почему обнищали хлеборобы? Потому что уполномоченные хлебозаготовители свирепствуют в деревнях. Под метелку забирают зерно. Даже семенное и фуражное. Падеж скота, начавшийся в тридцатом, все еще не прекращается. Головокружение от успехов, как сказал товарищ Сталин, тоже продолжается. Дураков, перегибщиков и казенных мародеров не сеют и не жнут, они сами по себе, как обжигающая крапива, размножаются.

Смотрел на голодающих и жалел, что не отоварил дня на три вперед свою хлебную карточку, не прихватил в дорогу ржаную буханку. Как бы она пригодилась, как бы обрадовала голодных ребятишек.

Писатели едят, пьют, а чекисты рассказывают о житье-бытье на канале, показывают толстенные альбомы, всякого рода диаграммы, фотографии, брошюры. Деловые и гостеприимные, один симпатичнее другого. Семен Фирин заглядывает в каждое купе, спрашивает: как устроились, не нужно ли чего? Посидит две-три минуты в одном месте, в другом, отхлебнет прозрачного «Цинандали» и, прихрамывая, идет дальше.

И писатели бродят по вагонам. Хлопают пробки, звенят стаканы. Не умолкают смех и шумные разговоры.

Завидую каждому взрыву смеха, каждому остроумному слову, каждой шутке. Они, писатели, все вместе, а я сам по себе.

Хочу вместе с Сашей Безыменским бродить по вагонам. Хочу спросить Мариэтту Шагинян, как она писала свою знаменитую «Гидроцентраль». Хочу перемолвиться словом с белорусскими классиками Янкой Купалой и Якубом Коласом. Хочу познакомиться со знаменитым драматургом Иваном Микитенко. Хочу быть, как все, но... Приморозился к своему месту. Молчу. Скован. Беспрестанно улыбаюсь. Все слова, какие способен сказать, кажутся мне бестолковыми, пустыми. Никто на меня не обращает внимания, а я все-таки робею и стыжусь. Стыжусь, что такой неуклюжий, неловкий, бессловесный.

А тут еще соседи по купе, критики Селивановский и Мирский, бередят душу. Забыв обо мне, о наполненных стаканах, о канале, чекистах и обо всем на свете, они, соревнуясь, читают стихи. Знакомые и незнакомые мне. Читают так хорошо, как не приходилось слышать. И не все стихотворение, а только отдельные, любимые строфы. Мирский начинает:

К вам в этот час душа моя взывает —
Дать силу ей исполнить трудный шаг
В тот мир, куда так сердце увлекает.

Селивановский сейчас же подхватывает:

Так близок ты предмету крайних благ,—
Вещала мне Мадонна,— что вначале
Ты должен с глаз рассеять всякий мрак.

И все. Данте остался позади. Переходят к Пушкину. Мирский выхватывает наугад четверостишие из «Разговора книгопродавца с поэтом»:

Когда на память мне невольно
Придет внушенный ими стих,
Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих.

Он умолкает, и Селивановский, не задумываясь ни на мгновение, продолжает:

К чему, несчастный, я стремился?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?

Легко и просто, будто перед ними лежат книги, переходят от Пушкина к Гомеру, от Гомера к Лермонтову.

Я люблю поэзию, не жалуюсь на память, но мне удалось выучить наизусть всего несколько десятков стихотворений. Способность моих попутчиков держать в памяти строки, созданные поэтами всех времен и народов, для меня непостижима. Я потрясен и подавлен.

Долго состязались Селивановский и Мирский. Довольные друг другом, посмеиваясь, они чокнулись, выпили и вспомнили обо мне. Мирский, глядя на меня поверх очков, сказал:

— Молодой человек, мы, кажется, помешали вам спать? Извините.

— Нет, ничего, ничего,—забормотал я.

— Слышал я, что вы родом из Донбасса. Очень хороший край. Вы родились на заводе, на шахте или на какой-нибудь станции?

— В Макеевке,—сказал я.

— Знаю вашу Макеевку. В городе большой металлургический завод, а вокруг шахты: «Иван», «Марковка», «София», «Амур», «Чайкино».

— Давно вы были в Донбассе?—спрашиваю я.

— А я никогда там не был. Я, молодой человек, знаю не только ваши края. Земля—моя планета, и я должен знать ее. А тем более—свою страну.

— Значит, вы и Магнитку знаете?

— Как же! Знаю. Гора Магнитная хранит в своих недрах более пятисот миллионов тонн превосходной руды. Между Магнит-горой и Уралрекой вырастает металлургический комбинат. Более ста тысяч строителей живут в барачном городе. Первые жители Магнитки—раскулаченные мужики. Место, где они обосновались, называется спецпоселком. Начальник Магнитостроя—Яков Гугель, бывший глухарь, котельщик из Мариуполя. Главный инженер завода—знаменитый Свицын, осужденный в свое время за вредительство в промышленности и помилованный. Есть у вас другой спецпоселок—Березки. Там особняки для американских и немецких специалистов, магазин, в котором иностранцы могут купить все, что душе угодно. На правом берегу Урала раскинулась большая станица Магнитная. Там сохранился дом, в котором, по преданию, останавливался Емельян Пугачев. Новая железная дорога связывает Магнитку через Карталы, Троицк с другими промышленными центрами. Магнитка снабжает Кузбасс железной рудой, а Кузбасс Магнитку—коксующимся углем.

— Вы забыли про соцгород.

— Не забыл. Настоящий соцгород, мой дорогой, вам еще предстоит построить. Но и теперь, без подлинного соцгорода, барачная Магнитка—самый великий город на земле. Велика она энтузиазмом рабочего класса.

Кому он все это говорит?! Кого просвещает?!

Дмитрий Мирский. Даже я наслышан о нем. Сын царского министра, князя Святополк-Мирского. Прямой потомок Рюриковичей. Род Романовых по сравнению с его родом считался в старину худосочным. После революции Дмитрий Святополк-Мирский вместе с другими русскими князьями, баронами и графами удрал за границу. Долгие годы жил в Англии. Преподавал в Лондонском университете и Королевском колледже—читал лекции по русской истории, литературе. Получив заказ написать о Ленине, стал изучать его работы. И до того дочитался, что отрекся от княжеского титула, вступил в Коммунистическую партию Англии и в скором времени оказался безработным—красного профессора с шумом и треском вышибли из аристократических учебных заведений. Стал активным сотрудником «Дейли уоркер» и пропагандистом советской литературы. Алексей Максимович Горький помог Святополк-Мирскому вернуться на родину. Вернулся он совсем недавно и сразу активно включился в нашу литературную жизнь. Выступает со статьями по русской и западной литературе.

Стучат колеса вагонов. Мчится поезд по Валдайской возвышенности, среди вековых лесов, озер и болот. Исполнилась мечта Горького, настойчиво призывавшего собрать писателей под одной крышей и убедить в необходимости единства. Мчатся писатели навстречу ленинградскому рассвету. Чисто пролетарские и попутчики. Литфронтовцы и лефовцы. Перевальцы и литпостовцы. Конструктивисты и локафовцы. «Кузнецы» и «Серапионовы братья». Сочувствующие и полусочувствующие.

Утром прибыли в Ленинград. После завтрака на открытых интуристовских «линкольнах» едем осматривать город. И я как великое диво открываю для себя и Невский, и Фальконе, и Росси, и особенно Эрмитаж.

Всеволод Иванов, Леонов, Инбер, Соболев пробегают через пять или шесть залов, ищут любимые картины и замирают перед ними. А я впервые вижу и Рафаэля, и Тициана, и Рембрандта, и Леонардо да Винчи. Не взглянув на пластинку, прикрепленную к картине, не могу отличить художника шестнадцатого столетия от живописца, работавшего тремя веками позже.

Ни единого слова не проронил, пока осматривали Эрмитаж. Боялся попасть впросак, боялся выдать себя. Мрачнее меня не было человека во всей большой, шумной компании.

Селивановский спросил, был ли я когда-нибудь в Эрмитаже.

— Нет,—сказал я.

— Счастливец!

— Почему?—удивился я.

— Как же! Первая встреча с прекрасным! Первая встреча с Рафаэлем, с Рембрандтом!

Не подготовлен я к встрече с прекрасным.

Мы спустились вниз, в громадный, полный народа вестибюль. И тут я увидел такое, что радостно поразило меня. Небольшой плакат, выцветший и выгоревший, со следами желтизны, подлинный документ первых дней революции. Он бережно наклеен на картон, висит на специальном щите, неподалеку от лестницы. Типографские буквы расплывчато оттиснуты на грубой бумаге.

ВОЗЗВАНІЕ

Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

Граждане, старые хозяева ушли,
послѣ нихъ осталось огромное
наслѣдство. Теперь оно принадлежитъ
всѣму народу.

Граждане, берегите это наслѣдство, берегите картины, статуи,
зданія — это воплощеніе духовной
силы вашей и предковъ вашихъ.
Искусство это то прекрасное, что
талантливые люди умѣли создать
даже подъ гнетомъ деспотизма и что
свидѣтельствуетъ о красотѣ, о силѣ
человѣческой души.

Граждане, не трогайте ни одного камня,
охраняйте памятники, зданія, старыя вѣщи,
документы — все это ваша исторія,
ваша гордость. Помните, что все это
почва, на которой выростаетъ ваше
новое народное искусство.
Исполнительный Комитетъ Совѣта Рабочихъ и
Солдатскихъ Депутатовъ.

Ни Селивановский, ни Мирский, никто из писателей почему-то не обратил внимания на это старое, пятнадцатилетней давности воззвание. Наверное, оно для них — привычная музейная реликвия. Я же стою перед ним, перечитываю и чувствую острую, непреодолимую потребность вернуться к Рафаэлю и Рембрандту, увидеть, теперь уже по-настоящему, ничего не упуская, силу и красоту человеческой души.

Да, это счастье — своими руками открывать дверь, ведущую в мир прекрасного.

Берега Финского залива. По дороге, проложенной среди лесов и парков, вереница «линкольнов» катит в Петергоф. В нашу честь заклокотали, заструились, засверкали на августовском солнце многоярусные фонтаны. Там и тут горят радуги. Любуюсь бронзовым, с прозеленью Самсоном, замшелыми львами и хороводом нимф.

На исходе дня «линкольны» доставили нас обратно в Ленинград.

Чекисты приготовили в банкетном зале «Астории» немыслимо роскошное угощение. Длиннющий стол накрыт твердыми, негнущимися, накрахмаленными, белее снега, скатертями, заставлен блюдами и тарелками.

Громадные, в бронзе и хрустале, люстры. Мраморные колонны. Картины. Зеркала.

Официанты величественны, как лорды: черные костюмы, твердые белые воротнички, галстуки-бабочки. Даже Алексей Толстой, тамада застолья, выглядит скромнее, чем они.

Писатели шумно усаживаются за стол, разворачивают накрахмаленные салфетки, небрежно прилаживают за воротник или бросают на колени. Не переставая разговаривать, накладывают на тарелки салат, красную рыбу, черпают ложками рассыпчатую черную икру, наполняют бокалы, рюмки.

Я пристроился в конце стола. Ошалел от невиданного изобилия. Будто ожили картины, виденные в Эрмитаже. На огромных блюдах, с петрушкой в зубах, под прозрачной толщей заливного, растянулись осетровые рыбины и поросята. На узких и длинных тарелках розовеют ломтики истекающей жиром теши, семги, балыка. Бессчетное количество тарелок завалено пластинками колбасы, ветчины, сыра. Плавают в янтарном масле шпроты. Пламенеет свежая редиска. В серебряных ведерках, обложенные льдом и накрытые салфетками, охлаждаются водка, вино, шампанское, нарзан, боржом.

Тем, что есть на столе, можно накормить всю нашу ораву, а лорды в черных пиджаках и белоснежных манишках разливают по тарелкам борщ, бульон, лапшу, кто чего желает. И это называют «первым», хотя до этого было не менее двадцати блюд.

Официанты сменили тарелки, подали горячую, в белом соусе, свежую рыбу. Таяла она во рту. Опять сменили тарелки, подали еще одну перемену: шашлыки по-кавказски, отбивные по-киевски, кровавые куски мяса, бифштексы по-деревенски, жареных цыплят и индюшек. Опять — кто чего желает!

Не знаю, как другие, а я объелся и упился. Отяжелел, размяк. Ел бы еще, да некуда. Кишка тонка. Смотрю на стол осоловелыми глазами и очень хорошо понимаю строку, вписанную Горьким в мою рукопись: «Он жалел, что так много хорошей пищи было съедено зараз».

Нет сил подняться, а официанты нагрянули с новой переменой. Притащили мороженое, персики без косточек и кожуры. Не сдержался, слопал и сладкое. Да еще две порции. Уж пировать так пировать! Может быть, это первый и последний пир в жизни!

Славные люди братья-писатели! Не знают толком, что я написал, но хорошо видят, как робею, как помалкиваю, чтобы не выдать невежество, как влюбленными глазами вглядываюсь в каждого, видят дешевый костюмчик, видят, как неумело орудую ножом и вилкой, как боюсь испортить сальными губами белоснежную салфетку, все замечают мои добрые спутники, но не пренебрегают, любезно отвечают на вопросы, чокаются со мной.

Писатели встают. Чуть-чуть навеселе, чуть-чуть пошатываются. Улыбчивые, нарядные, с аккуратно завязанными галстуками. А я грохочу стулом, невпопад смеюсь и не могу пройти по ровной линии и десяти шагов.

Возвращаемся в вагоны спецпоезда. Чекисты, экономя время, решили начать плавание не от Ленинграда через Неву, Ладогу и дальше, а от Медвежьей горы, с самого интересного места водного пути.

После шумного, обременительного пира писатели не склонны к разговорам. Как только поезд тронулся, все завалились спать. Сморил сон и меня.

Новый день встречаем на Медвежьей горе. Низкое и хмурое небо. Нелетняя прохлада. Громадные валуны, покрытые толстым слоем бронзово-зеленой слизи. Рубленые, в два этажа, казенные дома. Белые, с зарешеченными окнами ряды бараков, захлестнутые гигантской петлей колючей проволоки. Это уже настоящий север.

Но и тут — роскошный завтрак, после которого мы отправляемся осматривать лагерь.

Я растерянно оглядываюсь вокруг. Бараки аккуратно выбелены. Дорожки посыпаны желтым и белым песком, а справа и слева от них зеленая травка вперемежку с цветами. Газоны и цветники тянутся с одного конца лагеря к другому, чуть ли не на целый километр. Всюду раскрашенные скамейки, а на них сидят люди, здоровые и веселые.

Нары в бараках двухэтажные, толстые тюфяки, простыни и одеяла, подушки в чистых наволочках. Стол, накрытый чистой клеенкой. Стенная газета.

На любые вопросы лагерники отвечали без запинки, бойко и весело. Да, воровали, грабили, осуждены. Отбывая срок, стали ударниками: рыли землю, рубили деревья, укладывали бетон, строили шлюзы. До того, как попали в лагерь, не умели держать в руках ни топора, ни лопаты, ни молотка, а теперь имеют разряд квалифицированного бетонщика, слесаря, механика. Были преступниками, жили за чужой счет, стали нормальными работягами. Вредили на советских заводах и фабриках, злобствовали, глядя на победоносную поступь советского народа. Теперь больно и стыдно вспоминать прошлое.

Преступник перекован в человека!

«Перековка». Это слово звучит чаще, чем всякое другое. Оно в песнях и речах, на кумачовых транспарантах.

Записал в блокнот все, что слышал от заключенных, уже заработавших трудом свободу, доживающих последние дни в лагере, и тех, кому за ударную работу сокращен срок заключения. Мысленно сфотографировал все, что видел за колючей проволокой: беленькие аккуратные бараки, цветники, золотые дорожки, волейбольные площадки, футбольное поле.

Перед входом в барак висит меню, окруженное венком затейливых рисунков: лиловые цветочки, пейзажики. Крупный заголовок гласит: «Кушай и строй так же, как кушаешь». Ниже — собственно меню. Вот что значится в нем:

Обед

Щи (1,2 кг на человека)
Каша пшенная с мясом (по 300 граммов)
Котлеты рыбные с соусом (до 75 граммов)
Пирожки с капустой (по 100 граммов)

По нынешним голодным временам каналоармейцы едят хорошо.

В сопровождавшей нас группе чекистов было несколько человек в штатском, наверное, вольнонаемные инженеры. На одного из них, пожи-

лого, с длинной и узкой седеющей бородой, с узкими прорезями глаз, я почему-то обратил внимание. Улучив минуту, спрашиваю у Фирина:

— Семен Григорьевич, а кто вон тот, с бородой?

— Не знаешь? Это же знаменитый Ананьев.

— Чем он знаменит?

— Во-первых, крупный специалист по земляным работам, инженер-водник старой, царских времен, закалки. Во-вторых, миллионер-концессионер. В-третьих, выполнял особые поручения за границей, в соседних с нами на юге странах. В-четвертых, полковник инженерных войск. В-пятых, в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое октября семнадцатого года — начальник обороны Зимнего дворца.

— Даже так?!

— Пройдоха, каких свет не видел. Авантюрист. Гуляка. Умница. Хитрец. Специалист своего дела. Прекрасный рассказчик. Неплохо владеет пером. Да, и пером! И, конечно же, ненавидел, как говорится, всеми фибрами души все советское.

— Ненавидел? Или ненавидит?

— Ненавидел. Был осужден. Попал к нам. Хорошо работал. Раскаялся. Прораб, ударник строительства. Мы ходатайствовали о досрочном его освобождении и снятии судимости.

Из репродуктора доносится песня. Поет безголосый каналоармеец:

Имел перо, отмычек стаю
И часто я в тюрьме сидел,
Но с чувством зависти всегда я
На жизнь рабочую глядел.

Поет хор каналоармейцев:

В скалах диабазовых вырубим проход.
Эй, страна, заказывай с грузом пароход!

Каналоармейский оркестр состоит из тридцатипятников — осужденных по 35-й статье урканов. Где трудно, где угрожает прорыв, туда сразу бросают оркестр. Играет. Воодушевляет. А когда надо, оркестранты берутся за кирку и лопату.

Бывшие скокари, специалисты по квартирным кражам, играют на кларнете, трубе, бьют в барабан. Бывшие ширмачи, специалисты-карманники, сочиняют песни. Бывшие проститутки участвуют в самодеятельности. На трассе очень популярна многотиражка «Перековка».

Агапов, Габрилович, Шкловский, Славин, Корабельников, Диковский, имеющие сноровку газетчиков, успели записать несколько исповедей бывших воров и проституток. Самые удивительные ходят по рукам писателей.

В одном из бараков писатели-москвичи неожиданно увидели своего собрата, поэта Сергея Алымова, автора любимой народом песни «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед».

Обступили, здороваются, похлопывают по плечам, задают вопросы, и среди них неизбежный и самый главный:

— Как ты сюда попал, Сережа? За какие грехи?

Саша Безыменский не удержался, чтобы не схохмить:

— Сережу прислали таскать тачку по долинам и по взгорьям.

Все засмеялись, в том числе и Фирин.

Алымов даже не улыбнулся. Глаза его потемнели, как туча, набухшая дождем.

Пользуясь веселым и явно дружелюбным настроением Фирина, Безыменский сказал:

— Семен Григорьевич, не могу удержаться, чтобы не порадеть за собрата, попросить скостить ему срок.

— Уже скостили. Скоро Алымов вернется в Москву.

Сказал и удалился, сославшись на дела.

— Сережа, так за что же ты все-таки попал сюда? — без дураков, серьезно спросил Безыменский.

Каналоармеец Алымов махнул рукой, заплакал и полез на верхние нары.

Я был поражен тем, что и поэт почему-то тут, за колючей проволокой. Он-то за что?

В середине дня к причалу Медвежьей горы подошел пароход «Анохин», тот самый, на котором недавно товарищи Сталин, Ворошилов и Киров предприняли путешествие по каналу. Теперь пассажирами стали мы, писатели.

Длинный басовитый гудок. Отданы швартовы. Медвежьегорские лагерники машут руками, платками, кепками

Путешествие по водному пути начинается. Идем по Повенецкому заливу навстречу холодному ветру и свинцовым тучам.

Повенец. Опять лагерь, опять разговоры. У Повенца озерный простор суживается до размера ущелья. Начинается канал.

Повенчанская лестница шлюзов. Со ступеньки на ступеньку, из шлюза в шлюз поднимаемся все выше. Все шире и шире разворачивается панорама Онежского края, края озер, темно-зеленых, подернутых сизой дымкой лесов, края диабазовых и гранитных, укутанных в бархатные мхи валунов, края вечной мглы, низкого неба и почти вечного холода. Час назад ветер хлестал мелким дождем, а сейчас несет хлопья сухого, нетающего снега. Снег в середине августа!

И вот мы уже на самой высокой ступеньке шлюзовой лестницы. Медленно, как бы нехотя раздвигаются северные ворота, и мы идем дальше.

Озеро Вадло — на 70 метров выше Онежского. Потом снова канал, шлюз. Проходим по торфяникам. Их черное дно накрыто пятиметровой толщей воды.

Озеро Матко, озеро Телекинское. Еще один шлюз.

Фирин, со всеми доброжелательный, время от времени возникает из недр корабля на палубе, и сейчас же к нему, как мотыльки на огонь, слетаются писатели, вопрошают, что, да как, да почему, да откуда, да сколько. Не было такого вопроса, на который бы Фирин не ответил, обстоятельно, исчерпывающе.

Вопрошали все, даже я. Один Мирский помалкивает. Слушает и молчит. Наконец выдает целую кучу вопросов.

— Был ли опыт строительства таких сооружений, как ББК?

— Не было, — ответил Фирин. — Не было ни у советских гидростроителей, ни у инженеров царской России. Сложнейшие гидротехнические проблемы решали самостоятельно.

— Были ошибки, просчеты?

— Не без того. Как во всяком новом деле.

— Во сколько обошелся канал государству?

— Точных цифр не помню, — сказал Фирин. — Но могу вас заверить, товарищи, что меньше потратили средств, чем, скажем, Фердинанд Лессепс на строительство Суэцкого канала. Или разношерстная компания жуликов на сооружение Панамского. И рабочего времени затратили в несколько раз меньше.

— А за счет чего удалось удешевить стоимость ББК?

— За счет резкого сокращения сроков строительства. За счет хорошей организации труда. За счет энтузиазма каналоармейцев, энтузиазма, вызванного тем, что им, лагерникам, была предоставлена возможность полноправно участвовать в грандиозном строительстве.

— И, вероятно, за счет бесплатной рабочей силы?

— Да, конечно. Люди, отбывающие наказание, не получают зарплаты. Так давным-давно заведено во всем цивилизованном мире. Еще вопросы есть?

— А в чем смысл секретности? Зачем было два года скрывать от народа и всего мира героическую каналоармейскую эпопею?

— Собственно говоря, Беломорстрой не был засекречен в буквальном смысле этого слова. О нем просто не писали газеты, не вещало радио.

— А почему?

— Товарищ Сталин мудро посоветовал до поры до времени прояв-

лять максимум скромности. Поменьше слов, побольше дела. Так мы и поступали. И вот теперь, когда канал работает, мы дали волю своей законной гордости. Конец — делу венец.

— А товарищ Сталин во время путешествия по каналу встречался с каналоармейцами? Говорил с ними? Или каналоармейцы не знали, что на пароходе «Анохин» находился товарищ Сталин?

— Да, не знали, — сказал Фирин. — И мы, чекисты, позаботились, чтобы не узнали.

— Товарищ Сталин не хотел привлекать к себе внимание каналоармейцев, отрывать их от работы?

Вроде бы ничего плохого не было произнесено ни одной, ни другой стороной, но писателям почему-то стало неловко. Мне в особенности. Я почему-то чувствовал себя виноватым за настырные вопросы Мирского, словно они задавались с моего одобрения.

Стараюсь не попадать в поле зрения Мирского, но он находит меня и удостаивает доверия, которое мне, откровенно говоря, в тягость. Не могу и не хочу через его очки смотреть на нашу жизнь.

Он почувствовал мою отчужденность и спрашивает:

— Вы, кажется, не одобряете моей любознательности?

— Вы долгое время жили вдали от родины и потому многое воспринимаете... как бы поточнее сказать... на свой лад.

— Это разве плохо — воспринимать жизнь самостоятельно, без подсказки со стороны, без оглядки на перст указующий?

— Я этого не сказал.

— Нет, сказали. Другими словами, но именно это. И вы не первый. Это меня сильно огорчает. Более того, тревожит. Могу оказаться не ко двору. Жаль, очень жаль, если это случится. Я полюбил Ленина. Полюбил и новую Россию. Многое нравится, что сделано и делается. Но многое и непонятно. Есть немало такого, что Ленин не одобрил бы, будь он жив. И самое печальное, что я отчетливо вижу недостатки, промахи, ошибки, упущения, а иногда и произвол, а ваши глаза, привыкшие к большим и малым изъянам, не замечают их. Многие обижаются, когда их ткнешь носом в ту или иную прореху. Вот вы, например, смотрите на канал только как на великое чудо и не видите оборотной стороны.

— Что за оборотная сторона?

— Здесь на каждом шагу упрятаны тайны. Под каждой плотиной. Под каждым шлюзом. В судьбе и работе каждого каналоармейца. Если бы судьбе было угодно омолодить меня и определить на ваше завидное место, место молодого писателя, знаете, что бы я сделал? Написал бы повесть «Тайна трех букв».

С неодобрением смотрю на бывшего князя и говорю с откровенным вызовом:

— Какая тайна? Все открыто, все нам показывают.

— Я далеко не все для себя уяснил. Эта грандиозная водная дорога с ее мостами, водохранилищами, шлюзами, плотинами является, как и Магнитка, одним из новых чудес социалистического света. Если...

— Что — если? — сейчас же сорвалось у меня с языка.

— Если Беломорстрой есть именно то, только то, чем он нам представляется.

— А разве может быть иначе? — спрашиваю я, недоумевая.

Он ответил спокойно и почему-то печально:

— Может, мой дорогой, может. Люди способны творить не только чудеса, но и всякого рода хитроумные ловушки и для своего же брата, и для себя. В истории человечества всякое бывало. Чаще всего великие народные бедствия начинались с благих намерений и заверений ... льных мира сего.

— Не пойму я, к чему вы это говорите.

Мирский засмеялся, ощерив свои стертые почти до корешков зубы.

— А вы думаете, я знаю, чего это ради я разглагольствую перед вами? В одном лишь я не сомневаюсь: вы не пожалуетесь ни писателям, ни чекистам, что бывший князь совращает вас с пути праведного.

Плывем дальше, на север.

Местами канал возвышался над равниной метра на три или четыре. Крутые откосы искусственных насыпей.

Неоглядные просторы Выг-озера. Совсем холодно. Предусмотрительные чекисты извлекают из корабельных кладовых толстые, пушистые свитера, раздают писателям.

Ветер сечет лица ледяной крупой, но мы не покидаем палубы и смотрим на нелюдимый мир, переделанный человеком.

Десятый шлюз. Он высечен в диабазовой глыбе. Фирин рассказывает, как день и ночь стрекотали здесь перфораторы. Самая крепкая, особой закалки сталь выдерживала не больше часа работы — перегорала. Гнезда для динамитных зарядов, чтобы взорвать скалу, пришлось просверливать чуть ли не на каждом квадратном метре.

Беломорско-Балтийский водный путь — это только начало освоения глухого края, говорит Фирин. Через год-два по берегам канала вырастут заводы и фабрики, перерабатывающие лес в картон, бумагу, целлюлозу. Сегодняшние поселки превратятся в крупные промышленные центры.

Слушаю Фирина, а сам украдкой поглядываю на Мирского: как он воспринимает сведения, составляющие истинную тайну ББК? Тайну его возможностей.

Лицо моего соседа по купе непроницаемо. Неужели до него не дошло сказанное авторитетнейшим человеком? Дошло, но не тронуло души и сердца? Скорее всего — последнее. И ничего нет удивительного. Тридцатипятника, осужденного за воровство, перековать в десять раз легче, чем князя, Рюриковича, почти пятнадцать лет жившего вдали от родины. Ничего, дайте время, перекуется и он. Правда нашей жизни всемогуща.

Идем по каналу, вырубленному в граните. Последние тридцать восемь километров великого водного пути. Глубокие выемки чередуются с высокими утрамбованными насыпями.

Тут произошел разговор с одним из инженеров, сопровождавших нас от Медвежьей горы. С глубоким знанием дела, с азартом рассказывал он нам, как строились плотины, дамбы, шлюзы.

Инженер высок, мускулист. Холодный ветер, нежаркое солнце, дождь и ледяная крупа грубо, до шершавой красноты обработали его лицо.

— Я работаю на Беломорстрое с самых первых дней, — говорит он. — Великие трудности были преодолены и каналоармейцами, и чекистами. Чекистам было труднее. Вы только подумайте, в ходе строительства нужно было перевоспитать разнокалиберных преступников. Перековать разнузданных, оголтелых, ожесточенных разгильдяев в армию тружеников! Задача для титанов. — Он внимательно оглядел обступивших его писателей и закончил: — Люди делают революцию. Революция делает людей.

— А что побудило вас приехать сюда, на север? Давно вы работаете с чекистами?

Инженер молчал. Потом сказал:

— Произошло недоразумение, товарищи. Я не вольнонаемный. Несколько лет назад я был осужден. Сюда попал в числе тысяч себе подобных. Но я привык не отделять себя от чекистов. Делаем одно дело. Работаем все по-ударному.

Инженер ушел на безлюдную корму. Мы проводили его взглядами.

В напряженной тишине слышится чуть хрипловатый, насмешливый голос Катаева:

— Н-да!.. Черный ветер, белый снег. — Он дернул шеей, наклонил голову к плечу, будто конь, просящий поводья. — Пахнет хлебным романом, братцы! Уж кто-кто, а я, одессит, хорошо разбираюсь в острых приправах.

Вот писатель, покоривший мое сердце. Немало книг посвящено Магнитке, но ни одна не может сравниться с катаевским «Время, вперед!». Прочитал в один присест, залпом. Перечитывал малыми порциями, по нескольку страниц в вечер — еще лучше показалось. Завидую умению сжато, в двух-трех строчках, дать портрет человека, строительный пейзаж. Удивляюсь, как это удается. Катаев шумливый, все время навеселе. Щурится. Разговаривает резко. Нетерпеливо слушает других, часто перебивает.

Во всем прежде всего видит смешную сторону. Когда я попытался пропеть дифирамб в честь его книги, он бесцеремонно оборвал меня:

— Разоряетесь, шер ами, нечем мне оплатить ваше низкопоклонство.

Но Катаев не только насмешничает. Всем интересуется живо. При очередной беседе с Фириным спросил:

— Скажите, Семен Григорьевич, каналоармейцы часто болели?

— Бывало. Не без того. Человек не железный.

— И умирали?

— Случалось. Все мы смертные.

— А почему мы не видели на берегах канала ни одного кладбища?

— Потому что им здесь не место.

Посуровел веселый и гостеприимный Фирин и отошел.

Задумчиво глядя вслед чекисту, Катаев сказал в обычной своей манере:

— Кажется, ваш покорный слуга сморозил глупость. Это со мной бывает. Я ведь беспартийный, не подкован, не освоил еще диалектического единства противоположностей. Какой с меня спрос?

Прозаики промолчали. Поэт Безыменский ударил пальцами по струнам гитары, запел песенку про Мэри.

Пароход «Анохин» движется дальше. Проходим мимо карьера. На дне копошатся заключенные: дробят камень, грузят на деревянные тачки щебенку. Восторженный Лидин снимает шляпу, кричит:

— Привет вам, ударники Беломорстроя! Ур-рраа!

Ударники не откликаются. Гремят кувалдами, шаркают по щебенке лопатами, толкают тачки.

Александр Архангельский насмешливо щурится на Лидина:

— Н-да!.. Построили канал они, а радуемся мы.

А Янка Купала, глядя в карьер, вполголоса проговорил:

Мужики, мужики,
Все наши земляки.
От родной земли отчуждены.
К чужой земле пригвождены.

Лидина эта встреча так глубоко взволновала, что он впоследствии рассказал о ней на страницах «Литературной газеты»:

«На берегу шлюза разрабатывала карьер ударная фаланга лагерников. Мы, писатели, стоявшие на носу парохода, сняли фуражки и шляпы и стали кричать «ура» в честь ударной фаланги. Это было неожиданное приветствие, и люди, естественно, должны были отвлечься от работы, чтобы ответить на наше приветствие. Но тут мы увидели, как поступают настоящие ударники и строители. Ни один из них ни на секунду не оторвался от дела, как будто наше приветствие относилось не к ним, но с удесятеренной энергией люди работали... Они поступили со всей искренностью, поразившей нас своим громадным мужеством и выдержкой. Я должен сознаться, что этот ответ ударников пристыдил меня, как и многих других, вероятно. Многие из нас до сих пор имеют склонность к отписке, к декларациям и к пустозвонству, в то время как от нас ждут работы, и только работы. Пример этих ударников на Беломорско-Балтийском канале может послужить для всех нас образцом, как нужно работать, как нужно сурово относиться к аплодисментам, как позорно почивать на лаврах даже некоторых достигнутых успехов. И ведь самое поразительное во всем этом то, что нам служили сегодняшним образцом те самые люди, которые только вчера были негодным, вредительским и уголовным элементом, люди, которые были обречены на гибель и которые возвращены сегодня обществу в качестве его передовых людей, ударников и трудознаменцев. Была такая старая лихая песенка:

Эх, яблочко, куды котишься?
В ГПУ попадешь — не воротишься...

Мы можем сегодня эту песенку спеть несколько иначе.

Мы видим на примере людей, создавших Беломорско-Балтийский канал, что даже самые гнилые яблочки возвращены этакой ядреной антоновкой».

Пароход преодолел последние километры канала и вошел в мутно-серые, с фиолетовыми нефтяными пятнами вóды Белого моря. Большой поселок Сорока жмется к берегу. Темные от старости бревенчатые дома. Резные наличники. С моря, с той далекой его стороны, где Соловецкие острова, дует сырой, с тяжелым рыбным душком ветер.

Осматриваем порт и перевалочную базу железной дороги.

Янке Купале и Якубу Коласу приглянулись маленькие, с деревянными обручами бочонки-пузанки со свежезасоленной, отборной селедкой. Они неосторожно, в шутку, спросили Фирина, нельзя ли прихватить с собой в Белоруссию эти симпатичные кадушечки как память о Белом море. Фирин ответил серьезно:

— Можно! — и тут же распорядился отправить на пароход «Анохин» подарок.

Двинулись в обратный путь, с севера на юг. Писатели, переполненные впечатлениями, уже не с такой жадностью, как прежде, вглядываются в берега канала.

Прошли Выг-озеро. Потеплело. Стягиваем с себя шерстяные свитеры, выданные чекистами несколько дней назад, складываем в кучу. Кто-то, отвечающий за них, недосчитался пяти штук. Саша Безыменский сейчас же сочинил песенку и вместе со своими товарищами из агитбригады, под аккомпанемент гитары, лихо исполнил ее. Песенка имела такой припев:

Мастера пера, пера,
возвращайте джемпера!..

Смеются писатели, смеются чекисты, смеются матросы. На обратном пути смех почему-то звучит гораздо чаще, чем по дороге к Белому морю.

В эти веселые часы и родилась стенная газета «За душевное слово» — бесцензурный орган путешествующих писателей. Редакторы-добровольцы: Архангельский, Безыменский, Александрович, Исбах. Художники Кукрыниксы. Сотрудники и рабкоры — все, кому не лень смеяться.

Некоторые заметки стенгазеты «За душевное слово» так понравились мне, что я переписал их в блокнот. Расскажу в нашем литобъединении «За Магнитострой литературы», какой бесшабашно-веселый народ писатели, как ядовито, невзирая на лица, подтрунивают друг над другом.

«Л. Леоновым сдан в ГИХЛ, «Молодую гвардию», «Совлитературу» и МТП роман-эпопея «Канальчуки».

Габрилович заканчивает повесть о Бел.-Бал. канале — «И я там был».

В. Инбер по заданию Немировича-Данченко пишет либретто оперетты «Канальчики граненые».

Взирая на карельские граниты, старайся не думать о своем памятнике.

Будешь писать о великом канале, помни, что вода есть вода.

И еще помни: «Соть» уже написана. И «Гидроцентраль». И «Энергия».

Употребление сочетаний: «синие дали», «седые валуны», «холодные озера», «туманная Карелия» следует приравнять к расхищению общественного достояния.

На Беломорском на канале
Сто тысяч бревен мы вогнали.
А Безыменский — дайте срок —
Напишет столь ж тысяч строк.
И. Кулик».

Закончили путешествие по каналу и переселились в поезд.

Дождь с ветром смыл с провисшего неба все звезды. Дохнуло глубокой осенью, хотя еще был август. Еле-еле проступают в сырой темноте лагерные огоньки Медвежьей горы. Все дальше они, все бледнее. Прощай, Беломорско-Балтийский! Прощайте, каналоармейцы!

Завтра мы уже будем в Москве и разойдемся, разъедемся, кто куда, и неизвестно, суждено ли нам еще раз соединиться вот такой дружной семьей. Грустно. И не только мне. Братья-писатели притихли, запечалились. Допивают последние бокалы дарового вина и прощально, любовно, как кажется мне, вглядываются друг в друга и говорят только хорошие слова.

Фирин озабоченно спрашивает то одного, то другого:

— Ну, как самочувствие?

Каждый отвечает ему с энтузиазмом:

— Хорошо. Прекрасно. Лучше некуда. Спасибо!

Но Фирин еще и еще допытывается, истинно ли мы довольны путешествием. Не прошел он и мимо Катаева:

— Ну, как, Валентин Петрович, себя чувствуете?

Катаев судорожно вытягивает шею из воротника и, сильно щурясь, смотрит на чекиста.

— Неважно я себя чувствую.

На матово-смуглом лице Фирина сквозь вежливую улыбку темно просвечивает удивление.

— Что случилось? Надеюсь, не чекисты виноваты в вашем плохом настроении?

— Именно вы, чекисты, виноваты, что у меня так скверно на душе. Не персонально вы, товарищ Фирин. Вы мне кажетесь милейшим человеком.

Чекист с четырьмя ромбами в петлицах не привык к подобной откровенности. Таращит свои черные глаза на Катаева.

— В чем же мы провинились перед вами, Валентин Петрович?

— Не дали нам как следует посмотреть канал. Мало! На такое чудо надо смотреть неделю, месяц. И не таким кагалом, толпой в сто двадцать голов, а в одиночку, с толком, с чувством, с расстановкой.

— Не совсем понимаю вас, Валентин Петрович. Нельзя ли напрямик.

— Можно. Такая праздничная поездка не дает истинного представления о жизни каналоармейцев.

Фирин внимательно посмотрел на Катаева.

— Вы, кажется, хотите сказать, что сейчас на канале гасят парадные огни, убирают декорации, смывают грим?

— Что вы, что вы! — запротестовал Катаев. — И в мыслях не было подобного. Я сказал то, что хотел сказать. Не больше.

— Хорошо. Я предоставлю вам возможность посмотреть на Медвежьегорск в будни. Отправлю назад. Сейчас же! Поедете?

Присутствующие при этом разговоре ждут, что Катаев засмеется, отколет какую-нибудь одесскую шутку и этим закончит разговор. Но он дерзко смотрит на чекиста, говорит:

— А вы думаете — откажусь?! Поеду.

Фирин поднимается и, прихрамывая, стремительно удаляется в штабной вагон.

Скоро наш специальный поезд останавливается на какой-то глухой станции. Ветер. Дождь. На соседнем пути, окруженная чекистами в мокрых плащах, шумит-гудит моторная дрезина.

Валентин Катаев бодро покидает теплый, светлый вагон. В правом кармане макинтоша торчит палка копченой колбасы, в левом — белая головка бутылки. Фирин снабдил в дорогу.

Не знаю, что увидел Катаев, вернувшись на ББК. В огромной книге «Канал имени Сталина», вышедшей под редакцией М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина в 1934 году, он выступит как один из восторженных авторов главы «Чекисты».

А пока Катаев мчится сквозь сырую, беззвездную ночь назад, к Медвежьей горе, а все остальные летят дальше, вперед, к Ленинграду, к Москве. Пьют чай с лимоном, разбирают постели, блаженствуют в тепле, шумно разговаривают на сон грядущий.

Художники Кукрыниксы (их кто-то из писателей в шутку назвал «русской тройкой») набросали смешную карикатуру на автора «Я люблю». Саша Безыменский сочинил для этого рисунка четыре строки:

«Я люблю»,— сказал он миру
С дикой страстностью поэта
И, уставившись на лиру,
Дожидается ответа...

Праздник, начатый неделю назад в специальном писательском поезде, продолжается. Теперь в Москве, вернее, в Дмитрове, где размещается штаб новой, еще более грандиозной, чем ББК, стройки — канала Москва — Волга. В ближайшие годы предстоит проложить водный путь протяженностью в 128 километров от матушки Волги до Москвы. Грандиозная работа. И опять за нее берутся чекисты и армия каналоармейцев. Быть новому чуду!

Писатели, те, что посетили ББК, главным образом москвичи, приглашены на слет ударников-каналоармейцев, посвященный завершению строительства ББК. Заодно посмотрим, как начинается новая великая стройка.

25 августа. Едем в Дмитров автобусами. Небольшой, довольно обветшалый старинный город готовится стать центром строительства канала. Уже намечена трасса — кое-где, участками, снят верхний луговой и торфяной покров. Обозначены берега будущего канала. Снуют вереницы грабарей. Много грузовых машин. Работают экскаваторы. Передвижная электростанция. Горы щебенки, песка, бревен, цемента, стальной арматуры. Желтеют на солнце свежей рубки дома. Новенькая узкоколейная дорога. И бесконечные ряды вагонов с грузами, доставленными со всех концов страны. Беломорско-Балтийский канал строили, можно сказать, из подручных материалов. Водный путь от Большой Волги до Москвы будет создан с помощью всей нашей индустрии.

На всю жизнь заряжен я строительным пафосом. Каждая стройка кажется пупом земли. Может быть, так и есть. Самое интересное, жизнеутверждающее, полное борьбы, отваги, героизма творится сейчас на бесчисленных наших стройках.

В Дмитрове приехавших приглашают в клуб, где собрались ударники-каналоармейцы. Большой зал полон людей. Сцена убрана еловыми ветками, цветами. Стены увешаны портретами ударников в каналоармейских бушлатах. В президиуме, рядом с начальником Беломорстроя Коганом и другими чекистами, — широкоплечий, в сером макинтоше, в тюбетейке Алексей Максимович Горький. Он такой же, как на фотографиях. Морщинистое, с толстыми усами суровое лицо. Насупленные брови. Усталые глаза. Он пристально вглядывается в зал, в сидящих людей, а мы, затаив дыхание, смотрим на него. Он! Живой Горький.

Зал взрывается аплодисментами, криками «ура», «Да здравствует Горький!». Алексей Максимович сердито отмахнулся. Потом растерянно заулыбался, закурил сигарету, стал что-то выговаривать чекистам.

Наконец установилась тишина. Это была особая тишина. Трепетная. Восторженная. Доверительная. Преданная. Полная невыговоренной любви к человеку, сумевшему рассказать в своих книгах правду о пережитом.

После начальника строительства и Фирина выступал воспитанник Болшевской трудкоммуны ОГПУ Овчинников, представляющий, как он сказал, две тысячи бывших воров и правонарушителей. С особым интересом слушали речь бывшего министра Временного правительства инженера Некрасова. Выступали и другие строители ББК.

Однако и я, и все сидящие в зале частенько поглядываем на Горького, с нетерпением ждем, когда он выступит. Так нужно всем нам его слово!

И он вышел на трибуну. Без тюбетейки. Без бумажки в руках. Коротко подстрижен. Усы топорщатся. Смотрел в зал и кулаками вытирал слезы. Долго не мог ничего сказать. Наконец откашлялся и начал. Говорил глуховатым голосом, сильно окая. Медленно. Раздумчиво.

— Я счастлив, потрясен. Все, что тут было сказано, все, что я знаю, — а я с 1928 года присматриваюсь к тому, как ОГПУ перевоспитывает людей, — все это не может не волновать. Великое дело сделано вами, огромнейшее дело!

В старину разбойники и купцы — а купцы тоже являются разбойниками — пели такую песню:

Смолоду много бито, граблено,—
Под старость надо душа спасать.

И спасали души — давали деньги монастырям, строили церкви, а иногда и больницы.

Вы не старый, вы молодой народ. Бито, граблено вами не так уж много: любой капиталист грабит больше, чем все вы, вместе взятые. А дали вы стране Беломорско-Балтийский канал, который, во-первых, имеет огромное экономическое значение, во-вторых, усиливает обороноспособность страны, а в-третьих, переработав себя в труде, вы дали стране отличных, квалифицированных работников, которые будут заняты на других стройках.

Но, кроме всего этого, вы подняли настроение доброй сотни литераторов, воочию показали им и себя, и то, что вы сделали. Это будет иметь большое значение. Многие литераторы, которые еще колеблются и многого еще не понимают в нашем строительстве, после ознакомления с каналом что-то приобрели, получили зарядку, и это очень хорошо повлияет на их работу. Теперь в литературе появится то настроение, которое двинет ее вперед и поставит ее на уровень наших великих дел.

Вы теперь сделаете канал Волга — Москва, вы проделаете ряд других работ, которые изменят лицо нашей страны, ее географию, и которые изо дня в день будут ее обогащать.

Обо всем этом нашим литераторам нужно написать. Ведь сначала происходит факт, а потом уже появляется художественный образ. А фактов достаточно.

Я чувствую себя счастливым человеком, что дожил до такого момента, когда могу говорить о таких вещах и чувствовать, что это правда.

К тому времени, когда вы будете в моем возрасте, полагаю, не будет классовых врагов, а единственным врагом, против которого будут направлены все усилия людей, будет природа, а вы будете ее владыками. К этому вы идете, и больше тут нечего сказать, но до этого надо свернуть голову капитализму.

Я поздравляю вас с тем, чем вы стали. Я поздравляю работников ОГПУ с их удивительной работой, я поздравляю нашу мудрую партию и ее руководителя — железного человека товарища Сталина.

Коган пригласил к себе домой на ужин Алексея Максимовича, Авербаха, Всеволода Иванова с женой, Зелинского, Катаева, Бабеля и еще нескольких писателей. Среди немногочисленных приглашенных был и я. Потрясающе! Буду сидеть с великим Горьким за одним столом! Увижу близко-близко. И он, наверное, увидит меня. Может быть, он скажет мне что-нибудь. И, может быть, Авербах познакомит меня с ним. Вот это да! Вот это привалило!

Дорожки, посыпанные песком. Бревенчатый двухэтажный дом, окруженный соснами. На крыльце радушно, как полагается хозяину, принимает гостей Коган. Рядом Леопольд Авербах.

Когда я поднимаюсь на верхнюю ступеньку, Авербах кладет мне руку на плечо и, обращаясь к Когану, говорит:

— А это наш самый молодой писатель. Автор первой повести «Я люблю». Бывший беспризорник. Что, не похож?

Коган, будто разгадав мои мысли, говорит:

— Вы, благодаря своей биографии, можете хорошо понять то, что мы делаем, и написать книгу о каналоармейцах. Милости просим к нам в любое время.

Ужинаем в большой, обшитой светлой дубовой панелью комнате. Сияет громадная люстра. В голове длинного стола, спиной к окну, сидит Алексей Максимович. Он в темно-сером просторном пиджаке, в полотняной, голубоватой, с отложным воротником рубашке, без галстука. Слева — Коган. Справа — Фирин и заместитель главного инженера Беломорстроя, назначенный главным инженером строительства нового канала, Сергей Яковлевич Жук. Дальше — Всеволод Иванов с Тамарой Владимировной, Катаев, Бабель, Киршон, Афиногенов, Бруно Ясенский.

Нам с Корнелием Зелинским не хватило места за общим столом. Накрыли отдельный столик. Отсюда Алексей Максимович плохо виден — его иногда закрывают чьи-то спины. Но я все время смотрю в его сторону. Алексей Максимович ест медленно, без всякого аппетита. Лицо спокойное, какое-то просветленное. Внимательно прислушивается к шумному, веселому разговору. И время от времени произносит какие-то слова. Я издалека не разбираю, что он говорит. Повезло тем, кто находится вблизи. Но они, наверное, не понимают, не чувствуют своего счастья. Ничего не записывают. И даже, как мне кажется, не запоминают слов Алексея Максимовича. Смотрят на великого писателя земли советской обычно, как на обыкновенного человека. Смеются. Разговаривают между собой. Много едят и пьют. Чокаются. Передвигают тарелки. Звенят ножами и вилками. Удивительно! Привыкли, наверное, к общению с Горьким. Да разве можно к нему привыкнуть? Это же Горький!..

Он ни единого раза не взглянул в ту сторону, где я сидел. А что, если подойти, назвать себя, сказать: «Здравствуйте, Алексей Максимович!» Всю жизнь буду жалеть, если не найду сил и смелости подняться. Давай, лопух, поднимайся! Иди! Говори!..

Сейчас, сию минуту. Через мгновение. Преодолею себя, вскочу, подойду к Алексею Максимовичу и поблагодарю за то, что среди многих рукописей увидел и мою, прошелся синим редакторским карандашом и напечатал в своем альманахе.

Но сделать ничего не могу. Прирос к стулу. Корнелий Зелинский что-то говорит мне, потом толкает меня.

— Встань, Саня! Покажись! О тебе говорят.

Обо мне? Кто? Где?

Растерянно оглядываюсь. Все сидящие за столом почему-то смотрят в мою сторону. И Горький тоже смотрит на меня. Да, на меня. Смотрит приветливо, дружелюбно.

Авербах своим сильным, веселым командирским голосом объявляет:

— Это он самый, Алексей Максимович, Авдеенко, автор «Я люблю».

Вот когда нужно подняться. Куда там! Окаменел. Онемел. До того растерялся, что обыкновенной улыбки не могу выдавить. Горький кивнул мне и отвернулся.

Ужин кончился. Горькому предстояла далекая и утомительная дорога домой.

На несколько дней задержался в Москве. Очень хотелось поговорить с Горьким. Авербах, когда я сказал ему об этом, неопределенно пожал плечами. Тогда я решил пробиться к Горькому сам, без посредников и приглашения. Взял да пошел, просто так, к нему домой.

До Никитских ворот добираюсь трамваем. Схожу и прямехонько, уверенно направляюсь на Малую Никитскую.

Дом, в котором живет Горький, принадлежал до революции, как я слышал, не то Морозову, не то Рябушинскому. Говорят, Алексей Максимович неохотно, под большим нажимом после своего возвращения из Италии поселился в этом особняке. Понятно. Противно бывшему волжскому бурлаку, всю жизнь ненавидевшему буржуев, околачиваться в роскошных покоях миллионера. Но что делать? Правительство сочло, что для великого пролетарского писателя обыкновенный дом не подходит. Второго Горького нет и не будет. Для буревестника революции не жаль и десяти дворцов. Живите и здравствуйте, Алексей Максимович, на благо народа.

Двухэтажный, с зеркальными окнами дом обнесен высоким и глухим забором. Подхожу к калитке. Открыта. Какой-то человек, работающий в саду, вопросительно смотрит на меня. Я спрашиваю, дома ли Алексей Максимович. Садовник пожимает плечами.

— Обратитесь к секретарю, — советует он.

Крючков, ближайший помощник Горького, его секретарь, сквозь выпуклые стекла очков настороженно вглядывается в меня. Я говорю, кто я такой и зачем пришел. Петр Петрович или не расслышал, или не понял, что я сказал. Переспросил фамилию и опять внимательно, пытливо взглянул на меня.

— Что вы хотите от Алексея Максимовича?

— Ничего. Просто так пришел... Повидать крестного отца, поговорить с ним, если можно.

— Крестного отца? — удивился Петр Петрович. — Ах, да, ваша повесть напечатана в альманахе «Год XVI». Здравствуйте. — И он, будто только сейчас увидев меня, протянул руку. — Ну, как поживаете в новом качестве? Привыкли?

Я хочу ответить, но он перебивает меня и задает новые вопросы.

— Работаете на паровозе или уже бросили?

— Работаю. И не собираюсь бросать.

— Да? А как заработок?

— Вполне хватает.

— Значит, хорошо живете? Не нуждаетесь в деньгах?

Вот оно что! Боится, могу попросить деньжат. Неужели есть такие пролазы, которые просят у Горького десятку-тридцатку?

Крючков попросил немного подождать и ушел. Я остался один. Оглядываюсь, стараюсь все увидеть, запомнить. Стол Крючкова придвинут к окну боком. На нем стопка листов, исписанных характерным почерком Горького. Письма, написанные Алексеем Максимовичем сегодня! Дальше, в углу, маленький столик, на нем несколько телефонов.

Дверь распахивается. Петр Петрович, улыбаясь, приглашает меня к Горькому.

Иду за ним.

Комнаты громадные, с широченными окнами без переплетов, с цельными стеклами. Потолки высокие, с выступающими полированными балками. Стены обшиты дубом и красным деревом. Бронза и зеркала. Радужные стеклянные перегородки, похожие на витражи в соборах. Черный рояль. Стол, за которым могут сидеть человек тридцать. Аромат каких-то духов и заморского табака. Сияющий паркет и толстые ковры. Безлюдье и тишина.

Неуютно, должно быть, чувствует себя в этом раззолоченном дворце Алексей Максимович.

И мне, магнитогорцу, живущему среди бараков, землянок и халуп, не по душе такое великолепие.

Переступаю порог кабинета и прямо перед собой, в двух шагах, вижу Алексея Максимовича. Он сидит за столом, сутулый, хмурый, с обвисшими усами, с темно-серым ежиком на большой голове. Спокойно, без всякого любопытства смотрит на меня.

Стою, смотрю и безмолвствую. И он ничего не говорит. Вот так встреча!

Великие люди вблизи совсем не такие, какими видятся издалека. Я не первый, вероятно, замечаю это. Алексей Максимович представлялся мне человеком веселым, любопытным, разговорчивым, с открытой душой, дружелюбным, свойским. А оказался мрачноватым, неразговорчивым.

Только через много лет я понял, почему именно так, настороженно, встретил Горький начинающего писателя. Он знал то, что еще неведомо было мне.

Я был счастлив, что так хорошо началась моя писательская жизнь. Алексей Максимович тревожился, выдержу ли я испытание удачей.

Я был уверен, что уже стал писателем. Алексей Максимович думал о том, как трудно мне будет работать дальше, как я буду страдать над чистым листом бумаги.

Я был уверен, что мой талант скоро заклокочет вовсю. Алексей Максимович беспокоился, хватит ли у меня сил, ума и воли вырастить ростки моих способностей.

Я собирался сразу же, вернувшись домой, засесть за работу. Алексей Максимович думал о сотнях и сотнях чужих книг, которые я непременно должен прочитать, прежде чем самому продолжать писать.

Он не говорил мне всего этого ни в первую встречу, ни потом, но я убежден, что думал он именно так, ибо на собственном опыте знал, какие муки испытывает писатель, желающий сказать о жизни что-то свое.

Он протянул руку, огромную и мягкую.

— Здравствуйте. Садитесь!

Кивает на стул придвинутый к правому углу стола, к окну.

— Молодой вы. Это хорошо. Успеете кое-что сделать.

Постучал толстым синим карандашом по рукописи, лежащей перед ним, сказал:

— Вот, читаю работу вашего земляка Макаренко. «Педагогическая поэма». Очень интересно.

Взял верхнюю страницу и, держа в отдалении, медленно, с удовольствием прочел.

— Превосходно! Все видишь, все слышишь, все чувствуешь. Вкусно. Прочел вслух еще одну страницу.

— Автору пока не видно, где он силен, где слаб. Ничего! Литератор не рождается в готовом виде. Зрелость — это удачи, воспитание неудачами, познание самого себя и, конечно, действительности. — Алексей Максимович снова постучал донышком толстого карандаша. — Я по характеру своему оптимист и поэтому верю в Макаренко. Далеко пойдет этот бывший учитель. Очень хорошо, что он педагог. Всякий литератор, даже семи пядей во лбу, должен иметь специальность. Это — мое давнее убеждение. Неравнодушен я к инженерам, людям науки. Доставалось мне не раз за то, что преклоняюсь перед ними. Но сие меня не смущало и впредь не будет смущать. За усмешками невежд прячется социально вредный пережиточек старины — мещанский скептицизм. По этому поводу я недавно малость пошумел. Да не всеми был хорошо понят. Придется еще раз, настоятельнее, позадиристее пошуметь.

— Читал я вашу статью, Алексей Максимович, — сказал я.

Поднял очки на лоб:

— Ну и как?.. Вот вы, рабочий, выдвиженец пролетариата, согласны или не согласны с моей оценкой работников науки и техники и критическим отношением к некоторым писателям?

Надо что-то сказать. Рассказываю о Гугеле, Беккере. И особенно много об инженере Тамаркине. Ему нет тридцати, а он уже стал деятелем, практически изменяющим мир. Строил Днепрогэс. Во главе армии землекопов и бетонщиков Магнитки воздвигал в лютый мороз плотину, чтобы к весне обеспечить комбинат водой. Сейчас Тамаркин — начальник строительства вагоносборочного цеха Уралвагонстроя в Нижнем Тагиле, где через два-три года будут выпускать тяжелые четырехосные пульманы, которые мы до сих пор ввозили из Германии и США.

Горький внимательно слушал. Когда я закончил, он, тяжело вздохнув, заговорил опять о своем:

— Горячая оказалась моя статейка. До сих пор кое-кого обжигает. Некоторые литераторы при всяком удобном случае вразумляют старика: перегнул, мол, палку... Как вы считаете, перегнул или не перегнул?

Не знаю, что сказать. Почему Горькому важно мое мнение? И почему через столько недель после опубликования статьи «О кочке и о точке» он захотел поговорить о ней? Разбушевались страсти?

Мое долгое молчание не нравится Горькому. Он хмурится, усиленно дымит сигаретой и барабанит по столу толстым синим карандашом. Боюсь, что воспринимает мое молчание как несогласие с ним, поспешно говорю:

— Алексей Максимович, писателям по душе точка зрения, а не кочка. В этом я убедился, путешествуя с ними по каналу.

Он невесело усмехнулся.

— Если бы! Известно мне, как мастера пера путешествовали по Беломорско-Балтийскому каналу. Одни с любопытством взирали на чудо двадцатого века, на строителей, бывших собственников, нарушителей законов, людей социально опасных, — и видели только экзотику. Другие скользили равнодушным взглядом и по бетонным плотинам и шлюзам, и по лицам строителей. Третьи — веселились.

Откуда известно? Кто настучал? Зачем?

Я говорю, какой хороший народ писатели, как они талантливы, образованны, как я их полюбил.

Горький хмуро покачал головой.

— Не поняли вы этот премудрый народ. Каждый считает себя гением. Мало они интересуются тем, что делается в нашей замечательной стра-

не. Вот я и выпорол зазнавшихся. И тех, кто бежит от ответственности перед читателем, эпохой, обществом.

Еще и еще напутствовал великий буревестник молодого писателя. На верную дорогу выводил. Говорил о разуме и воле пролетариата, о талантах, выращенных народом и дерзко стремящихся изменить условия жизни и построить новый мир.

— Домны ваши работают здорово. Мир удивляют. Ну, а люди как живут?

— Хорошо, Алексей Максимович, живем! — быстро сказал я.

Покривил душой? Да. Не буду же я посвящать Горького в нашу бытовщину. Сами справимся со своей бедой. Нечего огорчать.

— Вот как!.. Хорошо? — он посмотрел на меня, и его тусклые глаза стали совсем темными. — А я слышал, что плохо живут рабочие. Был у меня недавно, проездом из Магнитки, один неглупый и неболтливый человек, рассказывал...

Горький закашлялся. Смахнул с ресниц слезы, вытер усы большим платком, сердито продолжал:

— Говорят, вы золотые машины гноите и ломаете, цемент на ветер бросаете, грязь перестали замечать, к баракам и землянкам привыкли, много водки пьете, мало хлеба получаете, а культуры — еще меньше. Новый город, столица пятилетки — и такие старые пережитки!.. Как же вы миритесь с подобным безобразием?

Отмалчиваюсь.

Стыдно.

Ничего больше не сказал Алексей Максимович. Кивнул, прощаясь, и склонился над рукописью. Я еще был в комнате, но он уже забыл обо мне. Ушел в себя.

Кончился чекистский коммунизм. Прощайте бесплатные черная и красная икра, балык и теша, копченый окорок и колбасы, выдержанные вина и старый коньяк, шоколад и пирожные, безденежный проезд в мягком вагоне! Прощайте роскошные интуристовские «линкольны»!

Тебе нужен билет от Москвы до Магнитогорска? Вынь да положь на бочку наличные. Хочешь поесть и выпить? Опять же выкладывай рубли. И подадут тебе жидкий кондер, сухую пшенную или перловую кашу, кусок чернухи, тяжелой, как мокрая глина. Да и этот харч выдадут лишь в том случае, если предъявишь неотоваренные карточки. Да еще выстоишь в очереди.

Перед отъездом пошел в книжную лавку писателей. Купил дореволюционные издания Гете, Гейне, «Божественную комедию» Данте. Вышедшие тома юбилейного издания Льва Николаевича Толстого. Все, что выпустило в свет наше издательство «Academia» — классиков всего мира. Множество книг по истории, географии, экономике, философии. Не пожалел денег, раскошелился и на «Историю нравов», «Историю костюмов», «Историю тканей». Раздобыл и такую дорогую редкость, как «Мужчина и женщина». В общем, стал владельцем уймы замечательных книг. Запаковали книги в несколько ящиков, отправили в Магнитку. Отправился домой и я.

Лежу иа верхней полке с толстенной тетрадью и самопиской в руке и прислушиваюсь к торжественным раскатам органных труб. Впереди вспыхнула гигантская, во все небо, триумфальная радуга. Когда поезд проходит под ней, отовсюду доносится ликующее пение птиц, ласковый шелест ветра, мятное дуновение трав и цветов и восторженные голоса друзей:

— Поздравляем! Поздравляем!! Поздравляем!!! Добился! Преодолел! Победил! Ур-ра!

Ко многим счастье приходило слишком поздно, когда догорал огонь их жизни. Тебе же, Санька, выпало быть счастливым в цветущие годы. Каждая клеточка твоего тела наполнена силой. Много у тебя желаний и не меньше возможностей. Перед тобой расстилается широкая, залитая солнцем дорога, самая лучшая из всех дорог. Шагай!

Чего только не увидит и не услышит захмелевший человек! Говорят, успех доводит до головокружения. Но мне очень хорошо. Хлебнул сверх всякой меры и не потерял головы.

Да? Ты уверен в этом?

Да! Да!! Да!!! Безнадежно захмелел тот, кто не способен здраво мыслить.

Ну-ка давай проверим твою трезвость. Скажи, что случилось? Почему, ты чувствуешь себя на седьмом небе?

Вышла из печати моя книга. Она была еще теплой, а в «Литературной газете» уже появился добрый отзыв — большая статья редактора С. Динамова «Рождение художника». Хвалят и другие критики. А Профиздат, «Федерация», «Художественная литература», «Молодая гвардия», «Роман-газета» наперебой готовят повесть к переизданию... По правде сказать, я ошеломлен.

Еще бы!.. Ну хорошо, хвастай дальше.

Да, ошеломлен. В глубине души сознаю: перехвален.

Правильно! Так, только так ты должен думать. Береги скромность смолоду.

Согласен, но... со стороны виднее. Не имею права не верить великому Горькому, издательствам, критикам, журналам, собратьям по перу. Прибедняться — это тоже нескромно. Да, верно, мое слово пока не сияет, как у Катаева. Но у Катаева нет того, что есть у меня, — кровного родства с рабочим классом. Ведь как я начал писать? Вспомнил, как жили раньше, до революции, мой дед, отец, мать, братья и сестры, как жила Собачеевка, овражный поселок шахтеров и металлургов, сравнил их проклятую житуху со своей — и взялся за перо. Не учился писательскому делу, не знал того, что надо знать писателю, и все-таки сработал повесть. Видимо, неплохо получилось, раз напечатана...

Хвалят тебя не за мастерство, не за художество, а за пролетарское происхождение!..

Пошел ты, знаешь куда?..

Могу пойти, куда угодно. Но не откажусь от своих слов.

Не художник ты пока. Одну автобиографическую книжку может накропать каждый и всякий. А вот когда возьмешься за вторую — тут тебе и капут.

Старая песня. Слышал уже подобные пророчества. Надоело!

Самому себе заткнул глотку. Своя рука владыка.

Свистит, гудит, поет, стонет, ликует паровозный гудок: «Эй, вы, люди, слушайте, слушайте!»

Стучат колеса, разговаривают на своем таинственном языке. Я, паровозный машинист, хорошо разбираю, о чем они толкуют. Днем выстукивают всякую дребедень, слушать нечего, а вот в такую пору, глухой ночью, да еще в дождь...

«Так-так! Тук-тук!.. Ток-ток!.. Смотрите, люди! Радуйтесь!.. Гордитесь!.. Отступила, растаяла тьма веков, и забрезжило первыми своими лучами будущее, недосягаемое для людей, живших ранее, до нас. Так вот оно какое, наше будущее! По-братски скрещенные серп и молот!..»

Товарный вагон без колес — временный вокзал. Над дверью гордая надпись: «МАГНИТОГОРСК».

Приехали! Здравствуй, Магнитка. Соскучился я по тебе. После роскошного града Петра и реконструируемой столицы твои беленые бараки, залитые хлоркой халабуды, землянки, избушки, домики, кирпичные четырехэтажные дома соцгорода, похожие на казармы, кажутся довольно-таки убогими. Ничего! Всякое мы видали. Верно, небогаты мы добротным жильем, красотой города. Но зато обладаем таким уникальным богатством, какого не имеет ни Ленинград, ни Москва: венчает наш город-завод Магнит-гора, таящая в своих недрах полмиллиарда тонн руды. Руды, которая в наших гигантских домнах, самых больших и технически совершенных, превращается в жидкий чугун, а потом, пройдя через разливочные машины, становится звонкими чугунными чушками. И я к этому имею прямое

отношение — своим танк-паровозом доставляю по горячим путям ковши, полные огненного чугуна. Неприступным жаром дышат ведомые мною поезда, а по ночам озаряют темное южноуральское небо.

Ночевал я дома, в своей холостяцкой комнатухе. Спал на узкой твердой койке. И снился мне немыслимо счастливый сон: будто я стал писателем и подружился с великим Горьким и будто путешествовал от моря Балтийского до моря Белого по только что вошедшему в строй ББК.

Просыпаюсь с первыми лучами солнца, хватаю полотенце и бегу на озеро. Смою пыль дальней дороги и позолоту соскребу, нанесенную на меня невзначай редакторами и критиками. Для большинства магнитогорцев пора купания прошла, но для меня она еще в разгаре. Не люблю я теплого озера. Купаюсь на глубоких местах, чуть прогретых сверху, а внизу — холодных до ломоты в зубах, до судороги.

Бегу на излюбленный крутой обрыв, заросший муравой. Думал, не увижу ни одной живой души, а встретил моего друга Бориса Ручьева, красивого, веселого, насмешливого, острого на слово парня. Работал землекопом, плотником, бетонщиком. Теперь поэт. Его знают на Урале и в Москве. Багрицкий, Асеев, Светлов, Сельвинский, Луговской, Павел Васильев, Борис Корнилов, Ярослав Смеляков хвалят его стихи. Ему чуть больше двадцати. Кудрявая голова, румяные пухлые щеки, по-детски надутые губы. Небольшая, но ладная, крепенькая фигура. Чистой голубизны глаза. Все в Борьке Ручьеве юное, мальчишеское, а говорит солидным басом, по-мужицки степенно, непререкаемо-внушительно.

Я очень верю в большое будущее поэта Ручьева. Много хороших чувств и дум рабочих людей выражает он в своих стихах.

Борька сидит на мураве, голый до пояса, босой, курит, греется на нежарком солнышке. Увидев меня, не удивился, будто только вчера расстались. Спокойно протянул руку, спросил, когда приехал. И все. Больше ничем не поинтересовался. Не знает, что я приехал с первой своей книгой, что был у Горького, что путешествовал вместе с лучшими писателями по только что открывшемуся каналу Балтика — Белое море.

Он ко мне — с явной прохладцей, а я — с распростертыми объятиями. Обнимаю, стучу в грудь кулаком, дурака валяю, а сам с нетерпением жду, когда начнет расспрашивать, где я так долго пропадал, с чем приехал, почему сияю, словно новенький червонец. Вот кому я с превеликим удовольствием расскажу о том, что нежданно-негаданно обрушилось на меня. Борис все поймет, как надо, порадуется вместе со мной крутой перемене в моей жизни. Он умеет радоваться чужой удаче.

Ну, Борис, давай, спрашивай!

Молчит, курит, смотрит не на меня, а на озеро, хотя там ничегошеньки интересного нет.

Ладно, раз он не испытывает интереса ко мне, я заинтересуюсь им. Кладу ему на плечо руку, спрашиваю:

— Ну, Борька, как вы, Магнитка и ты, жили без меня?

Он хмуро ответил:

— Ты что, Саня, с луны свалился? Или тебя не затронули беды Магнитки?

— Какие беды?

— Гугеля сняли.

Гугель, легендарный начальник Магнитостроя, снят?! Кем? Почему? Я долго, очень долго молчу, потом спрашиваю:

— За что сняли?

— Говорят, не справился со своими обязанностями. Говорят, под монастырь подвел и строительство и завод. Говорят, командарм штурмовой армии исчерпал себя до дна.

— Кто говорит? Где? Когда?

— Да ты, оказывается, и в самом деле ничего не знаешь. Ну так слушай. Была у нас правительственная комиссия во главе с Серго. Я читал его приказ. Вопиющее равнодушие к бытовым нуждам рабочих, обвешивание в хлебных лавках, наплевательское отношение к оплаченным золотом машинам.

Я молчу, пытаюсь прийти в себя, а Ручьев еще и еще рубит:

— Вслед за Гугелем сняты секретарь горкома Карклин, председатель горсовета Румянцев, председатели завкома и горпрофсовета. Из старых членов бюро никого не осталось. Начальник орса и второй его помощник арестованы, отданы под суд: воровали продукты тоннами. В пригородном совхозе орудовала шайка.

Неужели это правда? Немыслимы в Магнитке подобные преступления.

— Боря, ты пошутил?

— Такими вещами не шутят. И правильно сняли Гугеля и Карклина.

Борька раздевается, прыгает с обрыва в воду, выныривает, машет рукой, кричит:

— Давай, Саня!

Я раздумал купаться. Холодно до того, что зуб на зуб не попадает. Ручьев плавает, ныряет, а я сижу на крутом берегу, думаю.

— Ну и водичка! Родниковая слеза.

Ручьев вылезает на берег, ошпаренный, как рак. Прыгая на одной ноге, вытряхивает из ушей воду, наскоро вытирается дырявым и застиранным вафельным полотенцем и, одеваясь, насмешливо поглядывает на меня.

— Ну, казак, чего голову повесил? Новости не понравились?

— Да, так не понравились, что выть хочется.

Натягиваю спецовку, холодную, задубевшую, будто с чужого плеча. От своей рабочей одежды, оказывается, успел отвыкнуть. Целый месяц щеголял в шелковой рубашке с ярким галстуком. Удивительно, до чего же быстро осваивается человек со сладкой жизнью.

Шагаю на работу. Горячие пути такие же, как и до моей поездки в Москву. И домны ничуть не изменились: рыжие от рудной пороши. Мощно гудит воздуходувка. Туда и сюда носятся кургузые, вороненые паровозы. То в первом, то в третьем, то в пятом желобах клокочет оранжево-белая плавка. Ковши с жидким чугуном уходят на разливочные машины.

Ничего не изменилось в Магнитке с тех пор, как я призвался в литературу. Только я стал другим. Где восторг? Где пыл души? Что сталось с моей способностью видеть в повседневном, обыкновенном — необыкновенное, праздничное?

Сижу на правом крыле «Двадцатки», но мое откидное креслице уже не кажется чудодейственной точкой опоры. Жесткое, неудобное, мозолит ягодицы. Реверс и регулятор теперь не кажутся, как в былое время, рычагами, с помощью которых я переворачивал мир.

Время тянется нудно. Рудная мука набивается в глаза. Доменный и коксовый газ душат, вызывают изжогу. Трещит голова от немыслимого угара.

И от рабочего воздуха Магнитки успел я отвыкнуть. Изнежился под московским небом.

Что со мной? Постарел преждевременно? Зазнался?

Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не хочу выносить себе приговор. Поживем — увидим. Есть надежда, втянусь в работу — и всю муть как рукой снимет.

Прошел час, еще час, еще один, другой и третий.

Ничего не становится на свое место. Еле дотянул до шабашного гудка.

Всеми своими помыслами я не тут, на горячих путях, а в соцгороде, в своей холостяцкой комнатушке, за неказистым, обшарпанным, колченогим письменным столом, где была написана моя книга.

Хочу писать! Писать днем и ночью. Утром и вечером. Писать и писать.

Я уже не работник завода.

Отрезанный ломоть!

Не вижу, как бывало раньше, перекипающего солнечного зноя над чугунными ковшами. Не горжусь работой. Не трезвоню без всякой причины

в сигнальный колокол, не пугаю девчат-работниц пронзительным, разбойничьим свистком «Двадцатки».

Отрезанный ломоть.

А как я раньше вкалывал! В прошлом году был случай, когда проработал на паровозе без подмены две ночи и три дня и после работы еще побежал на озеро купаться. Теперь с превеликим трудом вырабатываю одну двенадцатичасовую упряжку. Работаю, а в голове ни одной мысли о паровозе. Только о своей «Столице» думаю.

Добрался домой. Помылся, переоделся, пожевал, выпил чаю — и совсем выдохся. Во всех суставах ломота. Глаза слипаются. Не лист белой бумаги меня притягивает к себе, а подушка, постель. Выключаю свет и сейчас же, без всяких угрызений совести, проваливаюсь в сладкое небытие.

Предгорье Уральского хребта бесследно скрылось за мутной дождевой завесой. Дождь начался с первым гудком, еще в темноте. Утром ливень перестал, немного передохнул, позволив показаться солнцу, вернее его подобию, и опять хлынул с новой силой. Льет и льет. Равномерно-скучный, по-осеннему холодный, никому не нужный, всем в тягость. Небо висит низко. Земля превратилась в труднопроходимое болото. Котлованы затоплены. На колеса грабарок наворачиваются пуды чернозема и глины. Буксуют машины. Откосы железнодорожных путей изъедены рыжей глинистой водой, отваливаются комьями, отваливаются и ползут. Рельсы скользкие, опасные.

Пришел на работу под дождем и домой возвращаюсь под дождем. Промокла не только одежда, но, кажется, и сам весь. Отсырела голова, набухли влагой кости и кожа.

Надо согреться. Не любитель я хмельного, но приходится прибегнуть к нему. Выпиваю целый стакан водки с перцем, накрываюсь с головой одеялом и полушубком и все не могу согреться. Знобит.

Проснулся поздним утром. В комнате холодно — пар валит изо рта. Окно в мутных подтеках — дождь все еще льет. Горло чем-то закупорено, наверно, схватил ангину. Есть нечего. Нет даже хлеба и холодной картошки. Ни единой путной мысли в тяжелой голове.

Закрываю глаза и не открываю их и час, и два. Так вроде легче. Вот тебе и отдых после трудов праведных! Двое свободных суток имею в своем распоряжении. Вряд ли хватит, чтобы выздороветь.

Через две недели еле поднялся. Закрыл бюллетень. Иду на работу. Пошатывает. Мутит.

На смену сплошным дождям пришли густые, тяжелые туманы. Ползут у самой земли, ватные, грязные, набухшие. Ощупью, постукивая палочкой по асфальту, бреду по обочине дороги. Машины ползут рядом с включенными фарами. Где-то в серой, сырой мгле пищат, хрипят, стонут и жалуются паровозы. Воздуходувка гудит приглушенно, немощно. Зарева плавок не видно. И самих домен не видно, и всего завода как будто нет на свете. Не верится, что иду по громадному городу, что в его домах, бараках и землянках живет более ста тысяч человек. Не верится, что рядом со мной, рукой подать, в доменных печах бушует тысячеградусное пламя.

Пока размышлял и клял себя, потерял дорогу. Не знаю, не пойму, куда иду, на завод или от завода. Когда и как это произошло, не заметил. Земля под ногами мягкая, с травянистым покровом. Кажется, забрел на какой-то пустырь, на резервный строительный участок. Заблудился. Где же домна? Где Магнит-гора?

Топчусь на месте, никак не могу сообразить, куда идти.

Эх, сидеть бы мне сейчас и писать.

Держусь за свой паровоз, как за якорь спасения. Почему не расстаться с ним? Прекрасно обходились без меня, пока я путешествовал по Беломорско-Балтийскому каналу и гулял по Москве. Пожалуй, и целый год не заметили бы моего отсутствия.

А что если я прямо сегодня пойду к своему начальнику, инженеру Полякову, и скажу откровенно: освободите от работы на паровозе, увольте, бога ради. Поляков не откажет, поймет как надо.

Деньги, полученных за книжку, хватит на целый год, а то и на все два. Из комнаты никто не выгонит. Хлебной карточки не лишат. В тунеядцы не зачислят.

Нет, не пойду. Все знают, что я написал книгу, работая на паровозе. Все гордятся, что ударник призвался в литературу. Во всех критических статьях о моей книге подчеркивается, что я не порвал кровной связи с заводом, с рабочим местом. Как же я могу одним ударом обрубить эти связи? Нет, нельзя сейчас бросать «Двадцатку», надо подождать.

Поговорю с ребятами из нашего литературного объединения, с Борькой Ручьевым, в горком партии пойду, посоветуюсь.

Туман, туман, туман. Вокруг меня. Надо мной. Подо мной. Во мне.

Заскрипели, завыли тормоза «линкольна». Задняя дверца машины распахнулась, и послышался мягкий, веселый говорок Гугеля:

— На сыщика и разбойник бежит! Садись, земляк, рядком да поболтаем ладком.

Яков Семенович втянул меня в машину.

— Погоняй, Петя! Ну, земляк, как поживаешь?

— Хорошо, Яков Семенович. А вы?

— Мое дело десятое. Не обо мне сейчас речь. Значит, хорошо? Так и дальше держи.

— Говорят, вы покидаете нас.

— Покидаю. Южную Магнитку буду строить. В Донбассе. Приезжай в гости.

— Почему вас сняли, Яков Семенович?

— Я сам себе каждый день задаю такие вопросы. Думаю. Разбираюсь. Пока одно могу сказать: наверно, правильно сняли. С пользой для Магнитки и для меня.

Такой вот поворот. А ведь совсем не так уж давно на страницах «Правды» писатель Ефим Зозуля восхищался Гугелем. Вылепил прекрасный портрет волевого начальника. Но Гугель, как я слышал, посмеивался над своим изображением. Спрашиваю:

— Яков Семенович, почему вам не понравилось сочинение Зозули?

— Откуда ты взял? Кому не нравится, когда нахваливают! Еще больше себя любишь. Забываешь про свой маленький рост. Богатырем себя видишь.

— Нет, правда, Яков Семенович!

— Не завидуй Зозуле. Не про нас, начальников, тебе надо писать. Не я отгрохал эти домны, мартены. Не на моих плечах держится Магнитка. Ищи героев в котлованах, на верхотуре домны, где работают монтажники. А насчет своего портрета я вот тебе что скажу... Не волевой я был начальник, а канатоходец. Эквилибрист. Не схитришь — не победишь. Ловчил и с рабочими, и с самим наркомом. А что делать? Денег и материалов дают в обрез, а требуют... Гугель, кровь из носа, к Первому Мая забетонируй фундамент блюминга!.. Гугель, не оскандалься, к сроку задуй мартеновскую печь!.. Гугель, не подкачай с четвертой домной!.. Гугель, не прозевай и то, и это, пятое, и десятое!.. Люди хватают за грудки на всех перекрестках: Гугель, дай квартиру, живу в затопленной землянке!.. Гугель, почему скудный паек?.. Гугель, где Дворец культуры, асфальтированные дороги, водопровод?.. Почему мало бань и прачечных?.. Гугель, у Магнит-горы появились кочевники и начались грабежи, убийства!.. Гугель, почему мертвых тащишь за тридевять земель? Стыдишься кладбища?.. Гугель, и родильные дома, и стадионы, и больницы, и столовые поднимай скоростными методами!.. Горы неотложных проблем наваливаются на беднягу Гугеля! И не решишь их подписью. Грубая материя требуется. Вот и приходилось изворачиваться: здесь недодашь, там недоговоришь, в другом месте стороной обойдешь опасный вопрос, в четвертом прикинешься Иванушкой-дурачком, в пятом наобещаешь с три короба, в шестом вместо разноса, вынужден хвалить, премировать... Нехорошо! А что делать? Живем в сложное переходное время, в капиталистическом окружении. При социализме будем богатыми и правильными до самого дна, а пока... издержки производства.

Все запомнил, что говорил Гугель. Обязательно напишу о нем. Что бы там ни говорили, в чем бы Гугель ни был виноват, он неотделим от Магнитки, немало вложил в нее своих трудов.

Сижу на своем танк-паровозе, скучаю в ожидании плавки. В поле моего зрения появляется высоченный, широкоплечий человек. Подходит к паровозу и, глядя на меня, ни с того, ни с сего улыбается. Кто такой? На нем длинное расстегнутое пальто. Пепельного цвета гимнастерка перехвачена широким ремнем. Брюки заправлены в сапоги.

— Здравствуйте. Вы, если не ошибаюсь, машинист Авдеенко? Автор книги «Я люблю»?

Я киваю и жду, что будет дальше.

Говорит он по-русски правильно, без всякого акцента, но не похож на русского. Лицо смуглое. Нос с небольшой горбинкой. Глаза продолговатого разреза, темные, с антрацитовым блеском.

— Здравствуйте! — еще раз, с подчеркнутой приветливостью сказал незнакомец и легко и быстро поднялся ко мне на паровоз, протянул руку. — Очень рад познакомиться. Вашу книжку я прочитал еще в Москве. Хорошая повесть.

Отмалчиваюсь и теперь. Кто он? Неужели и в самом деле разыскал меня только для того, чтобы познакомиться?

Смотрит на меня с радостным любопытством, как на писаную торбу. Голова чуть склонена к правому плечу. Глаза слегка косят, как у Катюши Масловой из «Воскресения». Очень симпатичный взгляд, привлекательный.

Первый раз в жизни вижу этого великана, не знаю, кто он, инженер, хозяйственник, журналист или партработник, но чувствуется, что занимает пост на ответственном участке.

— Сколько вам лет? — спрашивает незнакомец.

— Двадцать шестой пошел.

— Только и всего?

— Разве это мало?

Горький при встрече тоже удивился моему возрасту.

Незнакомец будто понял ход моих мыслей.

— Скажите, сильно изменилась рукопись после того, как ее отредактировал Горький?

— Совсем не изменилась.

— Неужели Горький не сделал никаких замечаний?

— Сделал. Но совсем немного.

— А где рукопись теперь?

К счастью, оказалась в моих руках. Как ни старались работники альманаха «Год XVI» зажилить, я все-таки оставил ее у себя. Говорю об этом незнакомцу.

— Прекрасно! Я к вам заеду и посмотрю рукопись. Можно?

— Вы меня знаете, а я вас — нет. Не пора ли познакомиться?

Он засмеялся и опять протянул свою ручищу.

— Пора! Я Бесо Ломинадзе, секретарь горкома и парторг ЦК на Магнитке.

Бесо Ломинадзе? Знакомый незнакомец. Назначен сюда совсем недавно. Но я много слышал о нем. Знаю его биографию. Член подпольного партийного комитета в Баку. Работал там в самом пекле контрреволюции. Пробивался сквозь фронтовой огонь в красный Дагестан, чтобы встретиться с посланником Ленина Микояном. Много раз видел Ленина, разговаривал с ним. Избирался секретарем ЦК КП(б) Грузии. Работал секретарем Исполкома Коммунистического Интернационала молодежи. Был первым секретарем Закавказского крайкома. Членом ЦК. За выступление на Пленуме ЦК в тридцатом году был выведен из ЦК. Но доверия, видно, не потерял. Прислан на Магнитку парторгом ЦК.

До чего же вовремя появился на моем пути этот симпатичный грузин-великан. Вот с кем можно посоветоваться. Вот кто может помочь.

— Ну как, молодой писатель, вам работается? — спрашивает Ломинадзе.

— Хорошо! — против воли сорвалось у меня привычное слово. Собирался одно сказать, а выпалил другое.

— Хорошо?.. А я был уверен, что вам сейчас очень и очень трудно.

— Почему трудно? — спрашиваю я с деланным изумлением. Противно притворяться, но все-таки притворяюсь. Зачем разыгрываю из себя недотепу? Привычка, нажитая еще с детских времен.

Ломинадзе не догадывается, в какой тупик я сам себя загнал. Или делает вид, что не догадывается.

— Всем писателям трудно писать вторую книжку. А может, вы исключение, а?

И я взял да и сознался напрямик, без всяких вступительных оговорок, во всем, что переживаю.

— Да, верно, мне сейчас очень и очень трудно. Не могу работать на паровозе, как прежде. Хочу и не могу. Но и писать тоже не могу как следует. Надо сосредоточиться на чем-нибудь одном. Известное дело, за двумя зайцами погонишься...

— Хотите стать вольным художником? Правильно я понял вас?

— Я не собираюсь совсем бросать паровоз. Временно, на какие-нибудь полгода. Пока доведу до конца новую работу.

— Рано вам и очень опасно профессионализироваться. Не следует порывать естественных связей с заводом. Надо как можно больше накопить жизненных впечатлений. И что же сейчас вы пишете?

— Роман о Магнитке.

— Вот как!

— Почему вы удивились?

— О чем же роман, о каком времени?

— О рождении Магнитки. О людях, стоящих у ее колыбели.

Ломинадзе поскучнел. Почему?

— Котомку Микулы Селяниновича хотите оторвать от земли?

— Думаете, не одолею? — спросил я.

— Писавшие о Магнитке литераторы не сумели понять истинных ее проблем. Крепкий это орешек. Хорошим начальником строительства до поры до времени был Яков Семенович Гугель, а потом заспотыкался. Перед моим отъездом сюда мы с товарищем Серго долго толковали о Магнитке. Построили великолепные, по последнему слову техники, домны и мартены, прокатные станы и коксовые печи. Таких и в Америке не найдешь. Но не позаботились о кадрах, о том, кто будет работать на новейших агрегатах. Понадеялись на старых, демидовской закваски, сталеваров, горновых и прокатчиков да на южан, донецких рабочих. Не подготовились к освоению завода. Были уверены: нет таких крепостей, которые мы не могли бы взять с ходу. Не взяли! Каждый день в цехах аварии. Выходят из строя дорогие, сложнейшие машины. Бывший крестьянин не умеет обращаться с машиной. Вот вам о чем надо сейчас писать. Надо полным голосом сказать правду. В силах вы это сделать?

На другой день, в субботу, после обеда в дверь моей комнатушки настойчиво постучали. Отрываюсь от недописанной страницы. Кого принесла нелегкая?

— Да, да! — кричу я недобрым голосом. — Входите!

На пороге — Бесо Ломинадзе. Пригибая в дверях голову, входит. В руках — две толстенные книги в старинных переплетах.

— Тяжелющие!.. Теперь эти кирпичи — ваша собственность. Божественный Монтень. Увлечение моей молодости.

Монтень? Кто такой? Чем и когда прославился?

— Флобер считал, что писатель, не знающий Монтеня, не имеет права писать. Серго зачитывался Монтенем в казематах Шлиссельбургской крепости. Толстой включил Монтеня в «Круг чтения».

Спохватился, вспомнил, зачем разыскал меня в соцгороде.

— Где же рукопись? Дайте взглянуть на нее.

Достаю из стола пачку серой грубой бумаги, показываю страницы, на которых Горький оставил след своего синего карандаша.

Медленно перелистывает рукопись, закрывает папку.

— Хотите поехать со мной в горы, на Банное озеро?

Еще спрашивает! Едем!

Бесо Ломинадзе — настоящий партийный руководитель. Чувствует себя как рыба в воде на литейном дворе домны, на трибуне, за столом президиума, за шахматной доской в клубе ИТР. Одинаково приветлив

в разговорах с подручным горнового, малограмотным пареньком, вчерашним деревенским пахарем, и со знаменитым Свицыным, китом русской металлургии. Вот человек! Таких я еще не встречал. Даже не верится, что в тридцатом году он в чем-то загибал. Верный и преданный большевик. Не будь это так, его бы не прислали к нам парторгом ЦК. Говорят, и сам Сталин простил Бесо ошибки и, как в старое время, любит его.

Меня постоянно тянет к Бесо, стараюсь быть там, где бывает и он. Чаще всего по вечерам его можно найти на пятом участке, в нашем не ахти каком просторном клубе ИТР, на втором этаже, в продымленной комнате шахматной секции. Он беспрестанно курит. Коробка «Казбека» лежит под рукой справа. Тут же, на шахматном столике, стакан с чаем. Бесо сидит, подперев рукой голову, и, кроме шахмат, ничего не видит.

С Бесо Ломинадзе мы говорили обо всем на свете. Он рассказывал о своих встречах с Лениным. Играли в шахматы, в карты. Пили доброе грузинское вино. Я читал ему главу из нового романа. Обсуждали только что вышедшие книги. Он хорошо знал поэзию. Напечатал в «Литературной газете» статьи о поэзии и о «Дне втором» Эренбурга.

Ничто ему не чуждо. Как-то вечером в Березках, в его доме, мы затеяли борьбу. Неравная схватка: он — гигант двухметрового роста, а я — на голову ниже, но моложе. Дорого обошлась наша возня хозяйке Нине Александровне: разбили немало посуды, свалили на пол зеркальный шкаф. Потери понес и я: лопнул командирский ремень добротной кожи, изорвана гимнастерка. Бесо сейчас же отдал мне свой ремень, тоже командирский.

Однажды зашла речь о Сталине. Вот что Бесо рассказал:

— Мои отношения со Сталиным были сложными. Со стороны, вероятно, казалось, что я пользуюсь абсолютным доверием Сталина. И были основания так думать. На пост первого секретаря Закавказского крайкома я был им рекомендован. Во всех делах отчитывался перед ним. Много раз встречался, и никогда он меня не прорабатывал ни при людях, ни один на один. Доброжелательно встречал и провожал. И все-таки каждый раз внутренний голос подсказывал мне, что в наших отношениях не все гладко. Иногда он как-то неприязненно оглядывал меня с ног до головы. И тогда мне казалось, что ему не по душе мой рост. Бесо Ломинадзе обыкновенный человек, а вымахал в два метра, а он, вождь, — низкорослый, тощенький. У Бесо густые волосы, чистое смуглое лицо, а у вождя — тонзура и оспины. Бесо Ломинадзе говорит по-русски лучше иного русского, а он, вождь русского и других народов, не может преодолеть сильного кавказского акцента. Я чувствовал: он доверяет Бесо, но от и до. Любит, но и опасается: как бы соратник не обернулся противником. И чутье не обмануло меня. В тридцатом на Пленуме ЦК, когда обсуждались внешнеполитические дела, я выступил с речью, которая не полностью совпадала с позицией Сталина. Это ему очень и очень не понравилось. Не по душе пришлась и речь другого члена ЦК, Сырцова, председателя Совнаркома РСФСР. Сырцов позволил себе покритиковать кое-какие наши мероприятия в области внутренней политики. Обоим досталось. Сталин окрестил наши выступления как право-левацкий блок Сырцова — Ломинадзе и навязал Пленуму соответствующую резолюцию. Сырцова сняли с поста председателя Совнаркома и вывели из ЦК, и я был выведен из ЦК, перестал быть первым секретарем Закавказского крайкома. Перевели в Москву, назначили парторгом моторостроительного завода. Три года работал. Друзья сообщили по секрету, что Сталин сменил гнев на милость, готов простить мои «прегрешения», если я покаюсь. «Не в чем мне каяться!» — вспылил я. Снова и снова уговаривали покаяться, хотя бы для вида. И я, знаете, пошел на сделку с совестью, согласился. Принял меня Сталин глубокой ночью, почти на рассвете. Часа два заставил ждать в приемной. Когда я вошел, он сидел за большим зеленым столом, в его торце, и что-то писал. Не взглянул, не поднял головы. Я обозлился. Как можно так обращаться с человеком, унижать его?! Я стоял у порога и думал о том, что сейчас повернусь и уйду от него навсегда. Не успел. Он поднял голову, сделал неопределенный жест: проходи, мол, чего стоишь. Я подошел, поздоровался. Он не ответил на приветствие даже кивком головы. Усмехнулся, жестко, высокомерно произнес: «С чем пришел, умник? Говори!» Я опять испытал соблазн уйти. Сдержался. «Чего же ты молчишь? Неужели за три года не выучил, что положено говорить в подобных случаях?» И я заговорил. Стоял, прямо, в упор, смотрел на него и говорил. В самом кратком виде повторил все, что говорил три года назад на Пленуме. Он швырнул в меня черной курительной трубкой, выругался по-грузински... С того дня я ждал кары, но... состоялось решение о назначении парторгом ЦК на Магнитку. Серго выручил.

Непривычно мне было слышать такие слова о Сталине.

Благодаря тому, что великие называли «божественной беседой с самим собой», я могу в любое мгновение предстать перед Алексеем Максимовичем Горьким, рассказать ему о своем житье-бытье и попросить доброго совета:

— Трудно работать на паровозе и писать. Раздваиваюсь. Очень мало времени остается для работы над романом.

Ждал, что разгневается. Но он сочувственно молчит. А потом сочувствует и словом:

— А почему бы вам не расстаться временно с паровозом, не взять длительный отпуск? Работа над книгой требует свободного времени и сосредоточенности.

— Ломинадзе отговаривает меня от того, чтобы я бросал «Двадцатку».

— Хотите, я напишу ему письмо, уговорю дать вам отпуск?

— Хочу, Алексей Максимович. Напишите! — чуть не закричал я.

Горький опускает со лба очки, подвигает к себе стопку линованой бумаги и что-то медленно, старательно пишет.

Тем и хороша «божественная беседа с самим собой», что можно казнить себя и миловать, и просвещать, и возвышать.

В один прекрасный день меня обжигает прекрасная мысль: превратить заочный горьковский университет в очный. Вкладываю в большой конверт страниц двадцать бумаги, на которых запечатлены «божественные беседы», и отправляю в Москву, на Малую Никитскую. Пусть посмеется Алексей Максимович над моей писаниной. А может, и не посмеется? Может, внимательно, серьезно прочтет и захочет высказаться?

Ура! Не посмеялся. Прислал письмо на имя Ломинадзе. Вот оно:

«Дорогой т. Ломинадзе —

Убедительно прошу Вас дать Авдеенко отпуск до августа. Отпуск необходим для того, чтоб Авдеенко мог основательно проработать и кончить начатый им роман. Я совершенно уверен в серьезнейшей революционно-культурной значительности его работы, и нужно, чтоб он, Авдеенко, получил свободное время для нее.

Привет. М. Горький

20 IV 34 г.»

Пишу с самого раннего утра. Пожую что-нибудь, выпью чашку чая — и снова пишу. Сбегаю вниз, на тринадцатый участок, в горкомовскую столовую, пообедаю — и опять приковываю себя к столу. Весь день-деньской кропаю, до синих сумерек. Ложусь рано, встаю с рассветом и вкалываю.

Перечитал свою писанину — и приуныл. Пресно, скучно.

Прошло несколько дней. Еще раз прочитал — вроде бы неплохо. Выходит, надо не рубить с плеча то, что вчера сделал. Не спешить отказываться от самого себя. Работать! Работать! Работать!

За две недели не написал ни единой строчки. Только читал — Стендаля, Тургенева, Монтескье, Толстого, Шекспира, Чехова. Боже мой, как я мог жить, не зная о существовании таких чеховских шедевров, как «Художество», «Гусев», «Студент», «Скрипка Ротшильда», «Степь».

Но, может быть, я и не написал бы «Я люблю», если бы знал, как горек хлеб писателя? Говорят, слепой может бесстрашно ходить по краю пропасти, а зрячий — свалится. Я прозреваю сейчас, и мне страшно находиться на кромке обрыва: тянет вниз, того и гляди, свалюсь.

Поймал себя на том, что приукрашиваю своих героев.

Гоню неправду в дверь — она лезет в окно. Вышвыриваю в окно — она просачивается в щель. Неверно говорят и пишут, что без правды нельзя прожить. Можно! Люди в массе своей и поныне не любят правды. В жизни маленькая неправда часто бывает безобидной. В книге она разрушительна.

Нежданное-негаданное постановление правительства. Наш необъятный Урал, раскинувшийся по ту и эту сторону Уральского хребта, далеко на полярный север и глубоко на юг, до казахстанских степей, разделяется на ряд областей: Свердловскую, Челябинскую, Пермскую, Тюменскую и Курганскую. Магнитка отходит к Челябинской.

Эта важная новость коснулась и нас с Борисом Ручьевым. Молодых писателей вызвал к себе секретарь Свердловского обкома Иван Дмитриевич Кабаков и уговорил переселиться в Свердловск. И стали мы с Борисом жить в прекрасном сосновом лесу на берегу озера Шарташ. Иван Дмитриевич отдал нам свою бывшую дачу. Неплохо я устроился, но тоскую по Бесо Ломинадзе. Осиротела без него душа.

В трудах пролетели июнь, июль, настал август, работа над романом близится к концу, но я должен ее отложить на несколько дней. И делаю это с легким сердцем, так как предстоит поездка в Москву, на Первый съезд писателей.

Две недели продолжался писательский праздник. Вся страна праздновала. Москвичи осаждают Колонный зал Дома союзов. Все газеты печатают доклад Горького, выступления писателей.

Выступил и я. Говорил далеко не гладко. Очень волновался, — не догадался написать речь заранее. Ничего, обошлось. Встречался с Горьким. Прямо там же, в Колонном зале, во время заседания, в президиуме съезда. Подсел к нему, поговорил. Алексей Максимович поинтересовался, как идет работа над романом.

— Как только закончите, тащите рукопись мне. Жду с нетерпением. Если не застанете в Москве, приезжайте в Крым, в Тессели.

Вот человек! Совсем недавно умер его единственный любимый сын. Как он мужественно держится!

Во время перерыва уральская делегация вместе с москвичами была на заводе «Динамо». Заглянули и к автомобилестроителям. Встречал нас Иван Алексеевич Лихачев. Чем-то он похож на Гугеля. Из одного гнезда вылетели. Оба из рабочих.

Были мы и под Москвой — в буквальном смысле этого слова. Совершали экскурсию по будущей трассе метро. Выступали перед метростроевцами.

Кончился наш съезд тоже празднично. Всю ночь пировали писатели в Колонном зале. Возвращались в гостиницу по пустынной предрассветной Москве. В тот же день уехали на Урал.

Вернулся в Шарташ и засел за работу. Тихо, безлюдно стало в лесу и на озере. Я остался в одиночестве в огромной даче. Рано утром бродил по березовым рощам, по ельнику. После завтрака садился за рабочий стол и вставал из-за него только вечером. Тут, в Шарташе, застали меня и первые морозы.

Середина октября. Дописана и перепечатана последняя страница. Громадная, толщиной в два кирпича, рукопись «Столицы» лежит на столе. Толщина ее объясняется просто: во всем городе не нашлось обыкновенной писчей бумаги, и роман пришлось напечатать на обратной стороне географической карты Урала, забракованной и пущенной в потребительский обиход.

Положил рукопись в чемодан, купил билет и поехал в Крым, в Тессели, куда меня приглашал Горький. Поехал, не предупредив ни телеграммой, ни письмом, на свой страх и риск. Я точно не знал, где именно находится Тессели, поэтому поехал вначале в Ялту, надеясь там выяснить.

Поселился в малолюдной гостинице «Ореанда», в номере с балконом, выходящим на бульвар и море. После уральских затяжных дождей, после первых морозов был ошеломлен и деревьями, по-летнему зелеными и пышными, и теплым морем, в котором еще купались, и высоким южным небом, густо засеянным ясными крупными звездами, и свежим, ароматным крымским воздухом. Весь вечер бродил вдоль моря, сидел на берегу, думал, мечтал о встрече с Горьким и не боялся никакого приговора.

Утром на городском почтамте заказал телефонный разговор с Тессели. Тут же, без промедления, соединили. Ответил суровый мужской голос:

— Басов у телефона.

Вот теперь я растерялся. Кто такой Басов? Что ему сказать?

— Вас слушают, — кричал на другом конце провода какой-то Басов. — Вы куда звоните? Кто нужен?

Заикаясь, говорю, что звоню на дачу Горького. Называю себя, говорю, что хочу видеть Алексея Максимовича, что приехал с Урала с рукописью романа.

— Ничего не слышу. Погромче, пожалуйста!

Странно: я хорошо слышу Басова, каждое слово различаю, а мой голос до него не доходит. Не знал я тогда, что у Басова это обычный прием в разговоре с людьми, жаждущими встретиться с Горьким. Что он не вправе был сам решить, принять ли меня. Не знал и того, что Басов был комендантом важного государственного объекта, головой отвечающим за жизнь и покой великого писателя.

Еще и еще, срывая голос, кричу в трубку, кто я такой и зачем приехал.

— Не слышу, — твердит Басов. — Позвоните часа через три, когда исправят телефонную линию, или лучше — завтра.

Утром, не позавтракав, отправляюсь на почтамт. Соединяют с Тессели, как и вчера, мгновенно. Сегодня Басов отчетливо разбирает каждое мое слово. Как только назвал себя, сразу прерывает:

— Да, да. Все ясно. Я доложил Алексею Максимовичу о вашем приезде, и он сказал: «Милости просим!». Вы знаете, как найти нас? Доезжайте до Байдарских ворот, потом спускайтесь вниз и на ближайшем перекрестке, у Фороса, сверните вправо — и вы приедете, куда надо. Когда упретесь в ворота, посигнальте, мы вас встретим. Если будут затруднения с машиной, мы пришлем свою. Ждем в любое время. Всего хорошего!

Я повесил трубку и готов пуститься в пляс. Горький ждет меня!

В гостинице заказываю машину. Подают длинный, открытый, с кожаными подушками, сияющий хромированными частями, с гончей собакой на радиаторе, заокеанский «линкольн». Бросаю на заднее сиденье чемодан, пальто, шапку, сажусь рядом с шофером.

Захотелось посмотреть на Ай-Петри. Полюбоваться с вершин морем. Я спросил шофера, можно ли это сделать.

— Пожалуйста! Заплатите сверх заказа, сколько положено, — и все в порядке.

Едем!

Ялта отдаляется, снижается, уменьшается, а море разрастается. Только отсюда, с высоты, видишь, какое оно большое, бескрайнее и синее-синее, почти черное.

Шофер, дядя Коля, вопросительно смотрит на меня: не пора ли поворачивать назад? Нет. Дальше! Вперед! Выше!

Теперь, вглядываясь в золотую пору моей жизни, я могу сказать, что дорога от Ялты к Тессели, через крымские горы, была дорогой больших надежд, дорогой самого полного счастья. Вот поэтому, вероятно, я и не спешил к Горькому. Может быть, я смутно чувствовал, догады-

вался, что поднимаюсь на вершину жизни, куда еще раз мне не попасть.

Во второй половине дня, сделав огромную петлю по крымской земле, через Бахчисарай, Севастополь, Байдарские ворота я попал в Тессели.

Колючая проволока забора. По ту сторону проволоки, в кустах стоит красноармеец с винтовкой. Он настороженно смотрит на интуристовскую машину, на ее пассажира.

Хватаю чемодан и решительно направляюсь к воротам.

— Здесь живет Алексей Максимович Горький?

— А вы кто?

Говорю, кто я, откуда и почему попал сюда.

— Я доложу коменданту о вашем прибытии. Подождите.

Он скрылся в глубине парка. Дядя Коля развернулся, но на всякий случай не уезжает.

Минут через десять отмыкают ворота. Дядя Коля машет мне рукой.

Мы идем по тенистой, щебенчатой, утрамбованной дороге и скоро выходим на освещенную солнцем, густо засыпанную морской галькой площадку, к большому, приземистому, в форме буквы «Г» дому. Он громадный и тихий, как будто пустой.

Меня вводят в белый флигелек, стоящий несколько в стороне от большого дома. Попадаю в какую-то канцелярию. Письменный стол у окна, в углу столик с телефонами. Графин с водой. Напротив стола диван с жестяной инвентарной биркой на проволочке. Два стула.

Из-за стола выходит светлоглазый человек в белой рубахе, сильно загорелый. Это и есть, как я догадываюсь, Басов.

После взаимных приветствий и расспросов, как я доехал и почему задержался, после неизбежного для таких случаев перекура Басов сообщает, что Горький сейчас отдыхает и что ему будет доложено о моем приезде потом, ближе к вечеру. Он ведет меня в заднюю комнату комендантского флигелька, показывает на солдатскую кровать и говорит:

— Располагайтесь, пожалуйста. Поживите пока здесь, а там видно будет.

В комнатушке прохладно, полутемно и по-казенному неуютно. Кроме узкой кровати, покрытой грубым солдатским одеялом, и табуретки, здесь ничего нет. Хочется удрать на свет, на свежий воздух.

Из моей комнатушки нельзя попасть на улицу, не пройдя через канцелярию коменданта. Увидев меня, Николай Васильевич удивленно восклицает:

— Уже отдохнули?

Я сажусь на диван, напротив Басова, и начинаю пытать, как живет-поживает Алексей Максимович, как его здоровье, как он работает.

Басов охотно отвечает на все вопросы. Здоровье Алексея Максимовича неважное. Настроение тоже ниже среднего.

Спрашиваю: так, может, мне не беспокоить Горького, уехать?

— Поживите, подождите, пока Алексей Максимович наберется сил, воспрянет духом. Два дня назад он был мрачнее тучи, плохо ел и плохо спал. А вчера повеселел и даже гулять просился у Липы. Липа, Олимпиада,— это ангел-хранитель, домашний врач Горького с дипломом фельдшерицы. Сиделка, няня.

И дальше Басов рассказывает, что вместе с Горьким здесь и внучки Дарья и Марфа с воспитательницей, друг Алексея Максимовича Ракицкий, по домашнему прозвищу Соловей, и художник Павел Корин с женой. День в доме начинается рано, с восьми утра. В девять все обитатели собираются в столовой. Завтракают и расходятся кто куда. Алексей Максимович обычно идет в свой кабинет и не показывается до самого обеда. После обеда отдыхает до пяти, до чая. Потом, если хорошо себя чувствует, отправляется в карьер рубить камень или гуляет в парке. Ужинает в семь.

Познакомив гостя с распорядком дня, Николай Васильевич особо предупреждает: вечером, выходя из дома, надо соблюдать осторожность, остерегаться. Я переспросил, чего именно должен остерегаться? Николай Васильевич объяснил: «Понимаете, сторожевые собачки вас могут покусать, если вы случайно, гуляя, наткнетесь на них». Предупреждение Басова я принял, что называется, к сведению. Ни в первый день, ни в последующие с наступлением темноты не покидал дома.

Пока Алексей Максимович отдыхает, я, в сопровождении Басова, отправляюсь в парк. Пологий скат, щедро обогреваемый солнцем, густо зарос редчайшими даже для Крыма, как объясняет мне Басов, деревьями. Спрашиваю Николая Васильевича, откуда он, как попал в Тессели. Басов не очень разговорчив, но все-таки кое-что рассказывает. Мастеровой. Солдат. Чекист.

Выглядит Басов очень моложаво. Не верится, что он вступил в партию за два года до первой русской революции. Старый большевик с молодым лицом.

От дома к морю, к бухте, ведет гравийная, хорошо утрамбованная тропинка. Бухта — самая тихая и теплая на южном побережье Крыма. Северный ветер, дующий с вершин Яйлы, сюда почти не доходит. Здесь не хуже, чем в Сорренто.

Николай Васильевич уходит по каким-то хозяйственным делам, а я остаюсь на берегу моря. Синее оно, мраморно гладкое, манит к себе. Впереди, слева, справа, куда ни посмотришь,— блеск горячего солнца, тишина, безлюдье. Один на один с морем. Проходит час, а я все ныряю, плаваю.

Возвращается Басов. Стоит наверху, на обрыве.

— Ну, как водичка, хороша? Вволю накупались или еще будете?.. Алексей Максимович спрашивал вас. Пойдемте.

Натягиваю на мокрое тело одежду и поднимаюсь наверх. Прежде чем идти в основной, большой дом, захожу во флигель, достаю из чемодана рукопись. Хочу показаться на глаза Горькому со своим новым детищем. Как бы там ни было, пригоже оно или уродливо, а все-таки родилось. И не без прямой помощи Алексея Максимовича. Все время, пока работал, я чувствовал на себе его пристальный, теплый и добрый взгляд. Как же мне теперь не волноваться? То ли сделал, что ждет от меня Горький? Так ли? Не обманул ли его надежды? Не напрасно ли он вознес меня с трибуны Первого съезда писателей?

Перед дверью, ведущей в большой дом, останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. Рукопись расползается во все стороны, вот-вот рассыплется по листочку. Прижимаю к груди, беру в охапку, иду вслед за Басовым. Стучимся в высокую дверь и попадаем в рабочий кабинет Горького.

Три венецианских окна кабинета обращены в прохладу парка. У глухой стены большой диван под полотняным чехлом. Каменная, отделанная мрамором ниша. Большой стол, заваленный рукописями и книгами, придвинут боком к четвертому окну, самому светлому, полному солнца, цветущих поздних роз и блеска моря. Все это я разглядел потом, когда несколько пришел в себя, освоился с обстановкой.

Даже в просторной и высокой комнате Горький кажется великаном. Сутулится, неуверенно держит голову, но все равно громадный. Он в темно-сером мешковатом пиджаке и синей полотняной рубашке. Стоит у края стола, слегка опираясь о него ладонью, и внимательно, тревожно-печальными глазами вглядывается в молодого писателя.

Прошло два месяца с тех пор, как я видел его в последний раз в Колонном зале на заключительном заседании учредительного съезда писателей, а как он сильно изменился. Шея высохла, истончилась, схвачена дряблыми и крупными складками. Лицо стало еще более серым, рыхлым, и глубже прорезались на нем старые, каменные морщины. Поредели и повисли усы. Доконал его съезд.

Он подает мне прохладную, вялую руку и глуховатым, неверным голосом говорит:

— Здравствуйте. Садитесь. Рассказывайте.

Смотрим друг на друга и молчим. Что же я могу рассказать? Все, что обдумал в дороге, все, что собирался поведать о себе, о рукописи, теперь кажется неинтересным. Великолепные розы цветут под окном, шумит на теплом ветру вечнозелеными своими кудрями ливанский кедр, сияет море, солнечные ливни падают с ясного неба, добрый дух струится из парка, от разомлевших деревьев, от разогретой крымской земли, жизнерадостно перекликаются птицы, а Горький... Почему? Несправедливо! Хочется броситься к нему, обнять, просить, требовать, чтобы не поддавался болезням. Работал. Радовал, изумлял людей!

В моем взгляде, на моем лице, вероятно, написано, о чем я подумал. Алексей Максимович хмуро усмехнулся, резко вздернул подбородок и почти сердитым басом сказал:

— Ну, рассказывайте!.. Закончили? Что-то многовато получилось.

Он положил громадную ладонь на толстенную рукопись «Столицы», и глаза его, холодные, обесцвеченные усталостью и нездоровьем, чуть потеплели.

— Посмотрим, посмотрим!..

Почему я вывалил на стол эту груду? Деликатный он, не отказывается. Отодвинет в сторону своего гениального «Клима Самгина» и примется за мою «Столицу». Не имеешь права на такое дорогое внимание. Да и не в праве дело. Не до меня сейчас Алексею Максимовичу. Он нуждается в тишине, в покое, в отдыхе.

— Что ж,— сказал Горький,— буду читать. Надеюсь, не оплошали.

— Не знаю, Алексей Максимович. Может быть, вам и читать не стоит.

— Стоит.

— Боюсь, Алексей Максимович, разочаровать вас.

— Я сам умею разочаровываться.

— Все-таки... Мне кажется...

Горький перебивает меня.

— Успокойтесь. Буду читать, а потом поговорим.

Придвинул поближе рукопись, раскрыл ее. Я тут же вышел из кабинета.

Басов ждал меня на веранде. Поднялся навстречу.

— Договорились?.. Алексей Максимович у нас сговорчивый.

В семь вечера Басов объявляет, что наступил час ужина, и приглашает меня в большой дом. Я порядком проголодался. Но не спешу к ужину. Страшновато. Впервые сяду за стол вместе с Горьким, в кругу его семьи и близких. Как надо держать себя? Что и как говорить? Или лучше всего молчать?

— Пора, дорогой товарищ!— торопит Басов.— Не принято у нас опаздывать.

Он провожает меня, кладет на мою спину руку и почти вталкивает в ярко освещенную огромную столовую. Он сейчас же исчезает, а я остаюсь.

— Добрый вечер!

Предо мною вырастает человек в сером твидовом пиджаке, неопределенных лет, с дряблым, морщинистым, без всяких следов растительности лицом и необыкновенно добрым взглядом. Это Соловей. Он любезно здоровается, легонько берет меня под руку, ведет к большому, чуть ли не во всю комнату, столу, отодвигает самый крайний, тяжелый стул.

— Пожалуйста, располагайтесь, милости просим! Это будет, если не возражаете, ваше постоянное место.

Боюсь пошевелиться. Не смею ни на кого взглянуть. Щеки, лоб, чувствую, стали красными. Ну и ну! Вчера я, полный гордой независимости и достоинства, прямо-таки по-княжески пировал в роскошном зале «Ореанды», а сегодня...

— Вы крепкий чай любите или слабый?

Кто-то мягко, осторожно трогает мой локоть.

— Извините! Вас спрашивают.

Поднимаю голову. Смуглолицый, черный, худощавый, в черной косоворотке человек выжидательно смотрит на меня.

— Чай вам предлагают.

Стол, за которым я сижу, громадный, не меньше бильярдного. Он накрыт белоснежным хрустящим парусом, заставлен сверкающей посудой, ломится от блюд с чем-то жареным и пареным, печеным и вареным. Белый хлеб. Пироги. Пирожные. Бруски сыра. Вазы с яблоками, грушами, виноградом. Шумит и отливает золотом большой самовар.

Напротив меня у края стола сидит Алексей Максимович. Сейчас он не похож на того строгого портретного Горького, которого я недавно, днем, видел за рабочим столом, над «Климом Самгиным». Тихий, уютный дедушка. Рядом, по правую руку,— внучки Марфа и Дарья.

Коренастая, плотная, с пухлыми щеками женщина, сидящая у самовара, одну руку кладет на литой медный кран, другой подставляет стакан. При этом она не спускает с меня живых, по-матерински ласковых глаз и, наверное, в третий раз спрашивает:

— Вам крепкий или... пожиже? Какой вы любите чай?

Конечно ж, это Липа, Олимпиада.

Говорю, что мне все равно, какой пить чай, слабый или крепкий.

Алексея Максимовича почему-то заинтересовали мои слова. С удивлением смотрит на меня.

— Вы до сих пор не знаете, что такое чай? Хорошо! Жить долго будете, все сто лет. Не то что мы, окаянные чаевники. Я еще мальчишкой вкусил этой душистой отравы. Чем она гуще, крепче, ядовитее для сердца, тем желаннее. Н-да, его высоцтво, чай!

И вдруг начинает рассказывать, когда, где и как люди открыли чудодейственную силу чайного листа, как культивировали, как он попал в Россию и как не сразу, но зато прочно завоевал всеобщую любовь.

Говорил Алексей Максимович медленно, веско, подбирая слова, прислушиваясь к себе, будто восстанавливая в памяти давно пережитое, полузабытое. Слушаю басистое вкусное оканье нижегородского волжанина и ясно вижу его живущим много сот лет назад, где-то в теплых горах Индии, Индокитая, на Цейлоне.

Я постепенно осваиваюсь, надежнее оседлал стул. Не опускаю голову. Уверенно держу в руках вилку и нож. Ем и пью все, что дают. Все вижу и слышу.

Слева, около двери, в которую я вошел, монументально стоит дубовый, в несколько этажей, с тяжелыми дверцами буфет. Около него хлопочут три девушки в белых накрахмаленных передниках и наколках, обутые в мягкие, на войлочных подошвах, туфельки. Тихие и приветливые, одна другой краше, они исчезают с ворохом посуды и вновь появляются с дымящимися, только с огня, блюдами. Меняют приборы и снова исчезают.

Справа от меня, на моей стороне стола сидят Соловей и смуглый человек в черной косоворотке, который только что подходил ко мне. Из разговора я понимаю, что это художник Корин.

На другой стороне стола щебечут чуть курносенькие, скуластые, лобастые, удивительно похожие на деда девчушки — Марфа и Дарья. Алексей Максимович молча, задумчиво смотрит на внучек и медленно, малыми глотками пьет вино.

Поужинав, он сразу начал дымить. Курит, как всегда, одни и те же сигареты: длинные и тонкие, необыкновенно душистые, египетские.

Сразу после ужина Марфа и Дарья и их воспитательница исчезли из столовой. Девушки в наколках и фартуках быстро и бесшумно убрали со стола посуду, поменяли скатерть, унесли остывший самовар.

В углу, у окна с видом на море, на особой подставке красуется маленький, изящно отделанный готический охотничий замок: остроконечные башенки, шпили, зарешеченные балконы, окованные черным железом ворота. Это, как выясняется, радиоприемник. Кто-то включает его.

Художник Корин сел в сторонке, так, чтобы хорошо был виден Горький, раскрыл альбом, перебирает карандаши.

Соловей и Липа погасили верхний свет, включили настольную лампу под громадным абажуром, выложили на стол две колоды новеньких карт. Алексей Максимович вооружился очками, зажег очередную сигарету, и началась игра в так называемую «тетку». Много знаю карточных игр, но эта незнакома. Внимательно присматриваюсь. Играют молча, вдумчиво, с удовольствием. Увлечен и Алексей Максимович. Но скоро азарт его проходит. Снова посерело, осунулось лицо, потух живой огонек в глазах. Очки сдвинулись на самый кончик носа, вот-вот упадут — не поправляет их Алексей Максимович. Длинные руки с тяжелыми кистями выложены на стол. Усталые и печальные глаза незряче смотрят на карты.

Вот когда доходит до меня смысл нехитрой игры в «тетку». Это, как видно, верный способ дать возможность Горькому отдохнуть после работы, отвлечь его от тяжких мыслей.

На столе вновь замелькали карты.

Я потихоньку, за спиной у Горького, на цыпочках, перехожу в полутемный угол комнаты, сажусь около радиоприемника, осторожно действую рычажком. Неожиданно наскакиваю на бравурный марш.

Алексей Максимович внимательно посмотрел в мой угол и ничего не сказал. Соловей же бросил карты, поднялся, подошел ко мне и шепотом попросил приглушить музыку.

— Не любим мы,— сказал он,— грома труб и барабанов.

Часов в десять игра в карты прекратилась. Алексей Максимович поднялся, накинул на плечи пиджак, висевший на спинке стула, опустил в карман коробку сигарет и, сутулясь, шаркая мягкими туфлями о паркетный пол, медленно, в сопровождении Липы, удалился к себе.

Ушел и я. Николай Васильевич встретил меня у подъезда и проводил в комендантский флигелек.

Утром Басов объявил, что меня переводят в большой дом, на половину гостей.

Поселили в правом крыле, в новой пристройке. Комната просторная, светлая, хорошо обставленная, с выходом в широкий и длинный коридор, покрытый ковровой дорожкой.

Так началась моя жизнь в Тессели.

В девять утра собираемся в столовой, к завтраку. Алексей Максимович молча входит из своей половины, молча кивает, молча щекочет усами щечки внучек, молча пьет свой чай и так же молча уходит. И лишь после этого те, кто остается в столовой, начинают беседовать.

Обед начинается ровно в два часа дня. Опять мертвое молчание. Для домашних Горького оно, видимо, привычно, меня же угнетает.

После длительного отдыха, после пяти часов Алексей Максимович выходит в столовую к чаю и спрашивает меня:

— Лом в руках когда-нибудь держали?

— Приходилось.

— Вот и хорошо. Пойдем в карьер камень добывать. Вы должны отработать затраченные на вас харчи,— шутит Горький.— Таков у нас обычай.

Прямо из столовой направляемся в карьер: Алексей Максимович, Соловей и я. Соловей несет темно-серый макинтош Горького. Идем к воротам, к выходу из парка. Алексей Максимович идет медленно, постукивая палкой о тропинку, часто останавливается, тяжело и шумно дышит. В очередной раз остановившись, опираясь руками о палку, он взглянул на Соловья и сказал:

— Прочитал я письмо...— Он назвал фамилию, которую я как следует не расслышал.— Плохо ему живется. Просит денег. Надо немедленно послать. Телеграфом. Завтра же.

— Хорошо, Алексей Максимович, пошлю. Сколько?

— Ну, а как вы думаете?

Соловей пожал толстыми бабьими плечами, и его морщинистое бабье лицо стало виноватым.

Горький нахмурился и пошел дальше. Палка его часто и отрывисто, как у слепца, отсчитывала шаги. Спина по-стариковски сутулилась. Голова, накрытая черной, с широкими полями шляпой, низко опущена. Шел Горький, раздумывая, казалось мне, как сразу, капитально выручить человека из беды, поставить на твердые ноги. Проситель, как я понял, был когда-то в очень близких отношениях с Горьким. И просьбе его он весьма и весьма сочувствует.

Соловей вопросительно, с тревогой поглядывает на Горького. Ждет указаний, на какую сумму следует раскошелиться. Прижимистый секретарь, нелегко расстается даже с чужими деньгами. Больше, чем на тыщу рубликов, не расщедрится.

Горький прошел, погруженный в раздумья, шагов пятьдесят. Остановился, повернулся к Соловью, положил громадные ладони на рукоять палки и внушительно, веско сказал:

— Пошлите ему... сто рублей!

Слово «сто» он произнес так, словно «тысяча». Почему? Не знает цену деньгам?

Выходим за ворота. Здесь к нам присоединяется комендант Басов и еще шоферы газика и американского лимузина. Машины зачем-то стоят тут же, у ворот. Целая экспедиция! С заступами, ломиками и кувалдами по узкой горной дороге направляемся вверх, к скалам. Идем медленно, долго, приноравливаясь к шагам Алексея Максимовича: он часто останавливается, отдыхает.

Приходим в маленький каменный карьер. Небольшая скала, вдоль и поперек покрытая трещинами, слоистая, выветренная, уже наполовину разработанная. Сюда почти каждый день, после чая, выполняя предписание врачей, приходит Горький добывать камень.

Вот как это происходит. Я вооружился увесистым ломом. Басов взял кувалду. В руках у шоферов тяжелые заступы. Поглядываем на Горького, ждем указаний. Осторожно передвигаясь по вершине скалы, срезанной уже больше чем наполовину, Алексей Максимович острым наконечником палки дотрагивается до трещины и азартно командует:

— Давай, круши!

Я вонзил острие стального лома в указанное место. Сюда же врубаются заступы шоферов. Откалывается громадная глыба. Николай Васильевич взмахивает кувалдой. Камни с грохотом, под одобрительные возгласы нашего прораба, летят вниз.

В молодости Горький, видимо, ловко действовал ломом и заступом. И хорошо знает, как с наименьшей затратой сил разбивать выветрившуюся скалу. Он точно указывает нам, куда нанести удар, чтобы камень быстро распался.

Вот так и работаем: Горький прикасается дирижерской палочкой к скале, а мы, охая и потея, раскалываем ее в восемь рук ломом, кувалдой и заступами. Все работают, кроме Соловья. Он слишком вял, чтобы махать заступом. Неотступно следует за Алексеем Максимовичем. Когда тот особенно увлекается, встревоженно просит:

— Отдохните, Алексей Максимович!

Прораб отдыхает, а мы вкалываем.

Только разогрелись, только вошли во вкус работы, как Соловей объявил:

— Шабаш, господа.

Так и сказал: «господа». Оговорился? Забыл, в какой стране, среди каких людей находится? Пошутил? Не знаю. Он из каких-то «бывших». Эмигрировал после революции и вернулся спустя много лет. Не видать бы ему родины, если бы не Алексей Максимович.

Соловей бережно набрасывает на плечи Горького макинтош. Шоферы подают в гору, задом, к границе карьера машины. Горький садится в лимузин. Мы рассаживаемся в газике и направляемся к дому. Минуты через две мы у подъезда.

Алексей Максимович, в сопровождении Липы и Соловья, скрывается на своей половине. А я иду к себе и записываю в тетрадь события дня. Потом отправляюсь в парк и дальше, к морю.

Ровно в семь все вновь собираются за общим столом. Алексей Максимович хорошо себя чувствует. Наверное, повлияла удачная работа в карьере. Шутит с Дарьей и Марфой. Весело спрашивает у румяных девушек в белых фартучках, чем сегодня будут кормить. Вина пьет больше, чем вчера.

После ужина — игра в неизменную «тетку». Но сегодня она почему-то не ладится, к моему удовольствию.

Алексей Максимович кладет карты на стол и говорит, тяжело вздыхая:

— Эх, Федор. Федор!.. Жалуется, говорят, на нестерпимую тоску по родине. Все, якобы, готов бросить и полететь в Россию.

Горький опять вздыхает и разгоняет тучу дыма, стоящую над столом.

— Да, может быть, и бросил бы, полетел, если бы не дражайшая супруга. Помню, еще пять лет назад, в Риме, в моем присутствии заяви-

ла, что он может вернуться в Россию только через ее труп. А труп — во какой. — Горький широко раскинул руки. — Даже Федору Ивановичу не переступить.

Алексей Максимович долго молчит, глядя на маленький костер, который он разложил в пепельнице. И мы все молчим. Ждем, что еще скажет.

Весь вечер говорил только о Шаляпине. Неторопливо, с грустной улыбкой, тихо тлеющей в усах, вспоминал летние вечера, проведенные с Шаляпиным в какой-то дачной местности. Большим мастером на всякого рода проделки и озорство был Федор Иванович. Как-то раздобыл ходули, вздыбился на них, напялил на себя простыню, взял в руку косу и пошел по ночной улице. Представляете, каков он был на ходулях? Идет по деревянному тротуару, стучит деревом, грохочет басом. Людей пугает. Вот в таком виде он и появился перед распахнутыми окнами веранды, на которой сидела компания его друзей и знакомых. Дамы с ума чуть не сошли. Да что там дамы! И кавалеры завопили от ужаса, когда увидели гиганта в белом саване с косой в руках.

А в другой раз, в другом месте Шаляпин пробрался под дачу, в которой жил его приятель, и начал оттуда, из подполья, с того света вопрошать:

— Ну как, Ваня, поживаешь на грешной земле? Ко мне, в ад, еще не собираешься? Давай, торопись!

Ваня закричал «караул» и навсегда покинул любимую дачу.

Затаив дух, слушаю Горького.

За все время, пока я жил в Тессели, только в этот вечер, вспомнив Шаляпина, Горький был веселым и разговорчивым.

Нет, был еще один эпизод. Из Москвы с оказией пришла посылка. Надежда Алексеевна, невестка Горького, и Петр Петрович Крючков прислали холстинковые синие рубашки, которые по какой-то причине были забыты при отъезде из Москвы. Посылку распаковали при мне, и я видел, с какой радостью Алексей Максимович поглаживал свои любимые, порядком изношенные рубашки. Привык к ним, других не переносил.

В двенадцать дня в моей комнате неожиданно появляется Соловей.

— Алексей Максимович прочитал вашу рукопись. Хочет поговорить. Приглашает.

На ватных ногах, с сердцем, готовым разорваться от страха, вхожу в кабинет.

Алексей Максимович кивает на стул. Сажусь, ни жив ни мертв. Совершенно отчетливо понимаю: от того, что он скажет, зависит моя жизнь.

Горький не спешит. Медленно перелистывает рукопись, возвращается назад. Опять перелистывает. Наконец находит нужную страницу, медленно, внятно читает ее вслух и подвергает жесточайшей критике.

Я начинаю лихорадочно записывать все, что он говорит. Заполняю одну страницу, другую, третью. Горький почему-то умолкает, хмуро смотрит на меня. В чем дело? Я не понимаю, чем вызвано его недовольство.

Он кивает на стопку бумаги, лежащую передо мной. Сердито спрашивает:

— Почему вы так пишете?

— Как? — Внутри все холодеет. — Я записываю ваши... ваши замечания, советы...

— Я не об этом. Почему только на одной стороне листа пишете? В стране голод на бумагу, а вы...

Мгновенно отлегло от сердца. Не велика беда. Перевожу дыхание и охотно выполняю указание Горького. Отныне и вовеки буду относиться к бумаге по-горьковски.

Говорит Алексей Максимович час, говорит другой, и все о недостатках. Судя по его критическим замечаниям, рукопись он прочел внимательно, терпеливо, отлично помнит каждое действующее лицо.

Слушаю Горького, записываю и уныло думаю: не получился роман о Магнитке, о ее строителях. Так и должно было быть. Не мог я, вчерашний ударник, призванный в литературу, одержать победу там, где

требуется большое, испытанное мастерство. Первая книга удалась потому, что написана по мотивам собственной биографии. Эта же, новая, — не о себе, не от себя. Отсюда и промахи, недоделки, наивности, скороговорка.

Хорошо еще, думал я, что не выпускал рукопись из рук, не показывал ни журналу, ни издательству.

— Вот и все мои придирки, — говорит Алексей Максимович все тем же голосом сурового критика. — Хорошую книгу вы написали. Материал дьявольски трудный. И все-таки справились. Это своеобразная история пятилетки. Крестьянин Максим Недоля был бессовестным собственником — стал ударником, гордостью Магнитки. Это, знаете, такая дистанция — не измеришь ее никакой старой меркой. Хорошо! Поздравляю!

Я потрясен. Верю и не верю тому, что слышу. Дрожат руки. Дрожит лицо. Дрожит душа. Смотрю на Горького и ничего не могу сказать. А надо бы.

Горький выходит из-за стола, кладет мне на плечо руку. Я бросаюсь к нему, обнимаю. Алексей Максимович тоже обнимает, что-то говорит.

На другой день, прощаясь с Алексеем Максимовичем, я спросил, где печатать роман. Он пренебрежительно махнул рукой.

— Пусть вас это не беспокоит. Напечатает любой журнал, любое издательство. Главное, довести работу до конца, преодолеть недостатки. Не жалейте себя. Не теряйте ни одного дня. Работайте в полную мощь. Соревнуйтесь с товарищами. Оттачивайте талант. Будьте честолюбивым. Честолюбие не надо путать с тщеславием.

Покинул я Тессели в первых числах ноября. Уезжал окрыленным.

По дороге домой сделал остановку в Москве. Побывал на Арбате в Издательстве иностранных рабочих в СССР. Получил авторские экземпляры повести «Я люблю», изданной в Берлине, Лондоне, Париже, Мадриде. Смотрю и насмотреться не могу. «Ай лав», «Жем», «Их либе». Отличная бумага. Замечательные переплеты. Почему у нас не могут так издавать книги? Задаю этот вопрос директору издательства, югославскому политэмигранту Иосипу Броз Тито.

— Бедные мы еще. Устаревшей техникой оснащены. Ничего, одолеем и бедность!

Говорит о бедности, а сидит в огромном кабинете, роскошно обставленном: полированные шкафы, стол, кожаный диван, кожаные кресла, радиоприемник «Телефункен». И одет во все заграничное. От ладно причесанной головы струится запах духов.

— Наше издательство до того бедно, что не может заплатить ни валютой, ни рублями причитающийся вам гонорар. Уж извините.

Проговорив это, Тито берет в руки стоящую на письменном столе пишущую машинку вишневого цвета и преподносит мне.

— Вот вам на память о нашем сотрудничестве. Чем богаты, тем и рады. Машинка в прекрасном состоянии: «Бар-специаль». Сделана в Германии всего два года назад. Желаю отстучать на ней двадцать романов.

Пишущая машинка!.. Да еще портативная! Какой писатель не мечтал о таком инструменте?

Тито откуда-то достает черный футляр. И пишущая машинка превращается в небольшой увесистый чемоданчик, с которым я и покидаю бедное издательство.

Долгие годы безотказно служила мне «Бар-специаль», подаренная будущим президентом Югославии. И сейчас еще пылится где-то в кладовке.

Вернувшись домой, засел в Шарташе за роман. Старался учесть все замечания Горького.

Первого декабря по каким-то делам отправился в город. Пешком дошел по снежной рыхлой тропе до университетского городка, сел в трамвай.

Полон трамвай народа — и ни одного веселого или хотя бы мало-

мальски беспечного лица. Почему? Накануне отмены продовольственных карточек на хлеб, на продукты, накануне съезда Советов?

Двое мужчин возбужденно продолжают какой-то страшный разговор:

— Убит наповал.

— Кто стрелял?

— В сообщении сказано: стрелял враг рабочего класса Николаев.

— Вы о чем, товарищи? Кто убит?

— Час назад по радио передавали: убит Киров.

— Киров?!

Смятение и гнев. В Мироныча рукой Николаева стреляли враги рабочего класса. Недобитые буржуи? Дворяне, каких в Ленинграде несметное количество? Бывшие белогвардейцы? Наймиты всесветного капитала? Пока неизвестно. Расследование, конечно же, установит, что к убийству причастны и те, и другие, все вместе взятые. И еще затаившиеся до поры до времени, «раскаявшиеся», обозленные навеки оппозиционеры всех мастей. Недаром товарищ Сталин указывает, что классовая борьба по мере нашего продвижения вперед к социализму все более и более обостряется.

Чем значительнее наши успехи, тем яростнее, отчаяннее удары врага. Удары исподтишка, из подворотни, из замаскированной норы. Но и мы, надо думать, не будем сидеть сложа руки. Сокрушительным ударом ответим на удар классовых подонков, врагов народа!

Каждое утро толпы у газетных витрин.

«Правда». 2 декабря 1934 года.

Правительственное сообщение о гибели Сергея Мироновича Кирова.

Телеграммы со всех концов страны, выражающие всенародную скорбь и гнев против врагов рабочего класса, совершивших злодейское покушение на вождя.

Соболезнования, соболезнования, соболезнования. Жирный, крупный, режущий глаза и рвущий душу шрифт. Черные рамки сливаются в сплошную решетку.

«Правда» 3 декабря. Вверху слева — большая фотография: Киров в гробу. Громадными буквами напечатано сообщение: «Прибытие в Ленинград т. т. Сталина, Молотова, Ворошилова, Жданова».

На другой странице стихотворение Безыменского:

Гигантской мерой
    Ненависти нашей
Мы воздадим
    Безумному врагу!

«Правда». 4 декабря.

Большая фотография: Сталин и Жданов в почетном карауле. Еще одна фотография с подписью: «Товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов и Жданов у гроба т. Кирова». Под ней мелкими буквами: «Снимок доставлен из Ленинграда 4 декабря в 3 ч. 40 минут утра на самолете. Летчик тов. Крузе».

И сообщения:

«В Президиуме ЦИК Союза ССР.

Президиум ЦИК Союза ССР на заседании от 1 декабря сего года принял постановление, в силу которого предлагается:

1) Следственным властям — вести дела обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов ускоренным порядком;

2) Судебным органам — не задерживать исполнение приговоров о высшей мере наказания из-за ходатайств преступников данной категории о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза ССР не считает возможным принимать подобные ходатайства к рассмотрению;

3) Органам Наркомвнудела — приводить в исполнение приговоры о высшей мере наказания в отношении преступников названных выше категорий немедленно по вынесении судебных приговоров».

«В Народном Комиссариате Внутренних Дел СССР.

За халатное отношение к своим обязанностям по охране государственной безопасности в Ленинграде Народным Комиссариатом Внутренних Дел смещены со своих должностей и преданы суду: начальник управления НКВД по Ленинградской области Медведь Ф. Д., заместитель начальника Управления НКВД по Ленинградской области Фомин Ф. Т. и ответственные работники Управления НКВД по Ленинградской области — Горин А. С., Лобов П. М., Янишевский Д. И., Петров Г. А., Пальцевич М. С. и Мосевич А. А.

Временное исполнение обязанностей начальника Управления НКВД по Ленинградской области поручено заместителю Народного Комиссара Внутренних Дел т. Агранову Я. С.

Дела об арестованных за последнее время белогвардейцах по обвинению в подготовке организаций террористических актов против работников советской власти —

по Ленинградской области [перечень фамилий]

по Московской области [перечень фамилий]

переданы 2-го декабря сего года на рассмотрение Военной коллегии Верховного Суда СССР».

«Правда». 5 декабря.

«Вчера в Москву прибыло тело Сергея Мироновича Кирова. Гроб установлен в Колонном зале».

«О внесении изменений в действующие Уголовно-процессуальные кодексы союзных республик.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:

Внести следующие изменения в действующие Уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти:

1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней.

2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде.

3. Дела слушать без участия сторон.

4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать.

5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора.

Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР
М. Калинин
Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР
А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 1 декабря 1934 года».

Из передовой «Правды» 6 декабря:

«Сталин вчера перед кремацией обнял павшего вождя ленинградского пролетариата, своего друга. В последний раз... И вместе со Сталиным великая и грозная советская страна запечатлела свой поцелуй на его холодном лбу».

Январь 1935 года. На Уральском съезде Советов я избран делегатом на Всероссийский и Всесоюзный съезды Советов.

Получив делегатский мандат и бросив в гостинице «Националь» чемодан, иду в «Правду». Ее редактор, Мехлис Лев Захарович, передал через своего уральского корреспондента, чтобы я, как только попаду в Москву, немедленно зашел в редакцию. В последние месяцы «Правда» часто привлекала меня к работе.

Иду по вечерней Москве. Падают легкие крупные хлопья праздничного снега. Белым-бело вокруг: троллейбусы, автомобили, трамваи, дома, люди. Много сегодня на улицах народа. Пылает лозунг: «Привет делегатам Съезда Победителей!»

И вам привет, дорогие москвичи! Вы тоже победили на своем фронте. Всюду, куда ни глянешь, видны плоды великого труда. Очистились от лесов Большой Кремлевский дворец, гостиница «Москва», первые станции метро.

Завершилась труднейшая борьба, какой не знала история всех времен и народов. Борьба за индустриализацию, за коллективизацию, за социализм. Вчера, у истоков пятилетки, мы были страной крестьянской, малограмотной. Сегодня мы стали страной металлургической, автомобильной, страной машиностроения, страной, добывающей вдоволь угля, нефти, руды, апатитов. Тихоходная Россия обрела мощные крылья — у нее появилось собственное самолетостроение. Тысячи тракторов вышли из ворот Челябинского, Сталинградского и Харьковского заводов. Четыре года назад мы голодали-холодали, ценили каждый кусок хлеба на вес золота. Теперь мы наполнили элеваторы колхозным зерном. Закономерно, что завершение пятилетки и отмена карточек на хлеб совпадают. Сегодня мы подводим итоги, намечаем планы.

Хорошо думается в такой вечер, озаренный праздничными огнями.

Перед площадью Пушкина внимание привлекает нарядный, с зеркальными окнами магазин. Он, несмотря на вечерний час, полон народа. Пристраиваюсь к людскому потоку и попадаю в булочную.

Острый аромат свежевыпеченного, теплого хлеба. Хлеб пшеничный, черный, пеклеванный, ржаной. Булки. Пряники. Калачи. Бублики. Сухари. Листовые хлебы. Подковки с маком. Гребешки с сахаром. Кавказские чуреки. Замысловатые крендели. Рулеты с маком. Ромовые бабы. Квадратные кирпичики английских кексов и горы подрумяненных, горячих пирожков с мясом, капустой, рисом, картофелем и всякой всячиной. Через весь магазин протянута узкая полоска материи, на ней черным по белому написано, что магазин имеет в продаже двести двадцать сортов хлеба.

Никогда не видел такого хлебного изобилия. К открытию съезда Советов столько сортов выставили! Глаза разбегаются, не знаешь, что купить! Хочется попробовать и то, и се, и это. Почти всю свою жизнь покупал хлеб плохо выпеченный, некрасивый, невкусный. Шесть лет назад были введены в стране карточки. Не ел хлеба досыта.

Продавщицы наваливают мне в огромный лист бумаги всякого хлебного добра, напутствуют:

— Ешьте на здоровье!

На площади Пушкина, где особенно людно, останавливаюсь и весело, горласто объявляю:

— Угощайся, народ честной! Бескарточный хлеб! Хлебушко! Хлеб да свобода — сила народа.

Кое-кто с удивлением, а то и подозрительно смотрит на меня, проходит мимо. Но большинство разделяют мою радость: улыбаются и принимают угощение.

Лифт возносит на третий этаж, в редакцию «Правды».

Мехлис, рослый, черноволосый, с суровым, властным взглядом, усаживает меня в кресло, поздравляет, что избран делегатом.

— Прекрасная у вас была речь в Свердловске на собрании интеллигенции,—говорит Мехлис.—Громадный резонанс имела. Вовремя прозвучала. Почти все коммунистические газеты мира перепечатали ее. Хорошая речь. Но она была бы еще лучше, если бы вы не разъединили Советскую власть и Сталина.

Я с удивлением, почти с ужасом, смотрю на редактора «Правды».

— Разъединил?!. Как это... разъединил?

— Да, именно так, разъединил.—Мехлис подходит к столу, перелистывает подшивку, находит декабрьский номер «Правды», в котором напечатано мое выступление, и читает: «Я счастлив, смел, дерзок, силен, любопытен, люблю все красивое, здоровое, хорошее, правдивое—все благодаря тебе, Советская власть».

Мехлис бросает подшивку на стол, возвращается в кресло и кладет ладони на мои колени.

— Советская власть—это прежде всего Сталин. Именно его мы должны благодарить за все, что делалось и делается в стране хорошего. А вы об этом ничего не сказали. Почему? Не ожидал, знаете!.. Кто же должен благодарить Сталина, как не вы, вышедший из самых низов, пролетарий, ставший писателем?! Не лично Сталину нужно ваше благодарственное слово, а стране, партии, народу. Нужно, как никогда ранее. Презренный наймит Николаев стрелял в Кирова, но он рассчитывал, что пуля поразит и величайший всенародный авторитет Сталина, его ум, волю и нашу любовь к вождю народов. Однако он просчитался! Теперь мы будем говорить о любви к вождю везде и всюду, с каждой трибуны. Я уверен, что и съезд Советов пройдет под знаком любви к Сталину. Гимн народной любви заглушит жалкое завывание врагов... Ну, теперь согласны со мной, что ваша прекрасная речь имела существенный изъян?

Как я мог не согласиться с Мехлисом? Лев Захарович, как никто другой, знает, какой труд вложил Сталин в дело преображения страны. Долгое время был ближайшим помощником Сталина, трудился с ним бок о бок.

На другой день после открытия съезда «Правда» под рубрикой «Заметки делегата» опубликовала две странички моего дневника, написанные накануне вечером в Большом Кремлевском дворце. Обстоятельно рассказал, какими бурными аплодисментами встретил съезд появление в президиуме товарища Сталина. Мехлису очень понравилась моя работа.

Написал по его просьбе еще одну «заметку делегата»—о работнице калининской ткацкой фабрики «Пролетарка» Яковлевой Наталье Ивановне. Идет в завтрашнем номере.

На вечернее заседание еду вместе с Мехлисом,—он пригласил в свою машину. В Кремле разделились: он направился в президиум, а я туда, где сидит уральская делегация. Прежде, чем занять свое место, написал записку с просьбой предоставить слово и опустил ее в специальный ящик.

Съезд продолжает свою работу. Первым выступает маршал Тухачевский. Его речь о возросшей силе Красной Армии встречена овацией делегатов.

В президиуме объявляют мою фамилию. Я вскакиваю, быстрым шагом иду к трибуне. Все во мне трепещет, во рту пересохло. Стрекочут кинокамеры. Щелкают фотоаппараты. Жаркие, ослепительные лучи прожекторов-юпитеров бьют в лицо. Глухим, неповинующимся голосом читаю все, что написал ночью в гостинице «Националь».

Речь, названную «За что я аплодировал Сталину», заканчиваю такими словами: «Когда у меня родится сын, когда он научится говорить, то первое слово, которое он произнесет, будет—Сталин».

В зале вспыхнула буря аплодисментов.

На первом этаже Большого Кремлевского дворца, в просторной комнате, где работает редакционная комиссия съезда, встретился с маршалом Тухачевским. Сидим друг против друга за столом и правим стенограммы своих выступлений. По правде говоря, я больше глазами работаю, чем пером. Не могу насмотреться на знаменитейшего полководца, героя гражданской войны. Живой Давид, изваянный Микеланджело. И он время от времени поглядывает на меня—и сдержанная улыбка светится в его больших продолговатых глазах. Мне хочется с ним поговорить, хотя бы обменяться двумя-тремя словами. На мое счастье, он сам заговорил:

— Зачем вы так безжалостно черкаете стенограмму прекрасного выступления?

— Ваша речь в десять раз лучше моей, но вы тоже черкаете стенограмму.

— Я вычеркиваю кое-какие цифры и отдельные фразы, предназначенные только для ушей делегатов, а вы... можно взглянуть, что вы сделали?

Я протянул ему несколько страниц отличной кремлевской бумаги. Он бегло просмотрел мои вычерки, поправки и вернул.

— Тревога моя была напрасной. Все в порядке. Извините.

Поднялся, сдал в комиссию свою стенограмму и вышел. Я зачарованно смотрел ему вслед. Энергичен, целеустремлен. Знает, чего хочет, что надо делать и на что способен.

Во время перерыва встретил в фойе магнитогорского земляка и узнал ужасную новость... Дошла, долетела в самый короткий срок до Кремля. В автомобиле, по дороге из Магнитки в Челябинск, направляясь на бюро обкома, куда был срочно вызван, застрелился Бесо Ломинадзе.

— Почему?.. Когда? — вскрикнул я.

Мой земляк как-то странно, осуждающе посмотрел на меня.

— Слышал я, что его старые сподвижники по Коммунистическому Интернационалу молодежи Хитаров, Шацкин, Чемоданов и еще кое-кто арестованы в связи с покушением на товарища Кирова. Видимо, Ломинадзе, страшась возмездия, пустил себе пулю в лоб.

Как быстро все разложил по полочкам! Никаких сомнений! Никакой трагедии не видит и не чувствует в жизни Бесо Ломинадзе! Что-то в этом роде сказал ему и хотел отойти, но он схватил меня за рукав гимнастерки.

— Не советую афишировать свою дружбу с Бесо Ломинадзе — жизнью можешь поплатиться. Такое время... — сказал вполголоса и поспешил удалиться.

А я с такой же поспешностью спустился вниз, в гардероб, оделся и вышел на свежий, морозный воздух. Страшно думать о Бесо. Такой человек, такой жизнелюб не захотел жить!.. Что вынудило его застрелиться?

Пешком добрался до Арбата, а потом и до улицы Сивцев Вражек, где была московская квартира Ломинадзе. Застану ли кого-нибудь дома? Не в Магнитке ли, около свежей могилы, жена Бесо Нина Александровна и сын Серго?

Тихонько стучусь в дверь. Меня сразу услышали — в квартире была мертвая тишина. Дверь открыла Нина Александровна. Постарела. Мучительно старается вспомнить, кто перед ней. Я обнял ее. И тут она узнала меня.

Мать Бесо, приехавшая из Тбилиси, — в черном глухом шерстяном, старинного грузинского покроя и шитья платье. На груди — старинное серебро.

Узнав, что я друг Бесо, она схватила мою руку и поцеловала, а я приложился к ее седеющей голове. Пахла она, казалось, лавром, чинарой, вечными снегами Казбека, восковыми свечами. Обеими руками вцепилась в ремень, которым была перехвачена моя гимнастерка и, не отпуская, умоляет, чтобы я говорил и говорил о ее сыне. Рассказываю, как Бесо появился на моей «Двадцатке», как мы разговаривали, а она: «Бесо!.. Бесо!.. Бесо!..»

Я говорю, как мы однажды затеяли борьбу, как в схватке перегорел мой ремень и Бесо отдал мне свой. Вот этот самый! А она встала на колени, обхватив мои ноги, обцеловывала ремень, плакала:

— Дайте!.. Он мой... Не буду снимать до конца жизни. Дайте! Пожалуйста!

В Большой Кремлевский дворец вернулся в перерыве между заседаниями. В фойе встретил Ивана Дмитриевича Кабакова, секретаря Свердловского обкома партии.

— Слышал, что случилось в Магнитке? — спрашивает Иван Дмитриевич.

— Да, Ломинадзе застрелился. Вам, конечно, известно больше моего.

— Выстрел в Магнитке — это эхо перводекабрьского выстрела в Ленинграде. Первое эхо.

— Эхо?.. Как это понимать, Иван Дмитриевич? Неужели Ломинадзе имеет хоть какое-нибудь отношение к тому, что случилось в Смольном?

— Разумеется, не имеет. Я давно знаю Ломинадзе. Еще лучше узнал его, когда он стал парторгом ЦК в Магнитке. Большевик первостатейный. Честный и правдивый. Любил жить. И делал это умело, красиво.

— Почему же покончил с собой?

— Никакой загадки нет. Ему стало известно, что его друзья Хитаров, Чемоданов, Шацкин арестованы. Подозреваются не то в прямом, не то в косвенном участии в убийстве Кирова. Ломинадзе вызвали в Челябинск, чтобы арестовать.

Вокруг нас прогуливались возбужденные, веселые делегаты, а мы с Иваном Дмитриевичем стояли у невидимого гроба и проливали невидимые слезы.

Я прервал молчание, спросил Кабакова:

— Смерть наступила мгновенно?

— Его привезли в Магнитку тяжело раненным. Умер, не теряя сознания. В последнюю минуту сказал: «Лучше смерть, чем арест именем Советской власти». Вот какие дела творятся у Магнит-горы, пока мы тут аплодируем...

Кровь бросилась мне в лицо.

Раздался звонок, призывающий делегатов в зал.

Мои добрые отношения с Кабаковым, респрессированным в тридцать седьмом, мне поставили в вину мои грозные судьи: Сталин, Жданов, Андреев — в сороковом году. Об этом речь впереди.

После окончания съезда я поехал в Магнитку, чтобы побывать на могиле Ломинадзе и узнать подробности его гибели.

Разыскал шофера Ломинадзе. Вот что он рассказал:

— Это случилось сразу, как мы выехали на Верхнеуральский большак. Хорошо, резво ехали. Ветер со снежком дул слева. Поземка. Но мы оба в тулупах, чувствовали себя в тепле и уюте. И вдруг я услышал резкий, похожий на выстрел пугача хлопок. Прозвучал справа, по ходу машины, оттуда, где переднее колесо. Остановился, повернул голову в сторону товарища Ломинадзе и сказал с досадой: «Лопнула камера!» А он: «Нет, это не камера лопнула, а я пульнул себе в грудь»... Сказал и замолчал. Я тоже молчу. Смерть как перепугался. Не знаю, что делать: вперед или назад ехать или стоять на месте. Товарищ Ломинадзе набрался сил и сказал: «Дамский выстрел... Давай, Петр, поворачивай назад. Домой...» Я мигом развернулся и полетел в Магнитку. Не в горком партии поехал, а прямо в Березки. К Нине Александровне и Серго... Не смогли спасти товарища Ломинадзе. Вечная ему память. Вот был человек...

— Где его похоронили? — спросил я.

— За Магнит-горой. На общем кладбище. Гроб сделали по специальному заказу. И могила не трехаршинная, — большим, крупным человеком был товарищ Ломинадзе, более чем за два метра вымахал. Памятник поставили железный. За одну ночь сварганили в прокатном цехе. И ограду железную сварили. Все честь по чести. По-людски. Только недолго могила была могилой. Ночью по чьему-то указанию сломали ограду, памятник, погрузили на машину, увезли. Могилу с землей сровняли, засыпали снегом...

Вскоре после моего возвращения в Свердловск раздался ночной телефонный звонок, и я услышал голос бывшего помощника Ломинадзе. Мрачно и коротко он сообщил: Нина Александровна, убитая горем, лежит пластом. Серго тоже заболел. В доме безденежье. Жить не на что. Все друзья исчезли.

Боль и стыд снова сжали сердце. Как же это я не догадался послать Нине Александровне денег? Наутро, чуть свет, пошел на почтамт, отправил денежный перевод телеграфом.

В Магнитогорске начались репрессии. Ждал кары и я, но ее не по-

следовало. Наверное, потому, что после выступления на съезде Советов я был защищен благосклонностью Сталина.

Через пятьдесят с лишним лет в газете «Магнитогорский рабочий» от 7 ноября 1987 года, в большой статье Е. Карелиной, посвященной Ломинадзе, я прочитал такие строки: «Даже упоминать его имя стало опасным. И на этом фоне очень смелым выглядел поступок замечательного человека из плеяды старых магнитогорцев-партийцев — Маргариты Яковлевны Далинтер. Она была секретарем партячейки на мартене, работала в аппарате горкома под руководством Ломинадзе, глубоко уважала его за открытый, честный характер, прямоту и неподкупность. Эти черты были в полной мере свойственны и ей самой. Придя вскоре после трагической гибели Ломинадзе на одно из партийных собраний, она предложила почтить его память минутой молчания. Этого оказалось достаточным, чтобы обвинить ее в пособничестве врагам народа, двурушничестве. Десять лет она платила за свой поступок в лагерях, еще десять пробыла на поселении».

В стране большой спрос на строителей Магнитки — молодых, но уже опытных инженеров, умных и энергичных прорабов. Ждут не дождутся магнитогорцев на новостройках Азовстали, Криворожья, Кузнецка, Кемерова, Липецка, на Уралмаше, в Нижнем Тагиле. Героических создателей плотины на Урал-реке готовы принять с распростертыми объятиями на канале Москва — Волга. Монтажников блюминга и прокатных станов требуют к себе через Наркомтяжпром мариупольцы, краматорцы. Мало кому отказывает Серго в высококвалифицированных специалистах, хотя и любит Магнитку. Все стройки ему дороги.

Яков Семенович Гугель, бывший начальник Магнитостроя, воздвигает в Мариуполе, на берегу моря, крепость южной металлургии — Азовсталь. Вместе с ним уехало немало инженеров, мастеров.

Бывший начальник коксохимстроя Магнитки Марьясин обосновался неподалеку от старого, демидовских времен, нижнетагильского завода, командует новой огромной стройкой, будущим Уралвагонзаводом. Вместе с ним работает легендарный прораб Днепрогэса и Магнитки Тамаркин, о котором я рассказывал Горькому. Строит крупнейший в мире вагоносборочный цех.

Еду в Нижний Тагил, чтобы написать о Тамаркине очерк для «Правды».

В парткоме Уралвагонстроя меня встречает смуглый, с блестящими глазами, очень кудрявый и очень веселый, энергичный товарищ — секретарь парткома и парторг ЦК Шалва Окуджава. Он толково посвящает меня в дела строительства. День, вечер и часть ночи провел я в разговорах с Окуджавой. Ужинаю и ночую у него, в рубленом доме, хорошо натопленном и еще сочащемся прозрачной живицей. Сын Окуджавы, маленький Булат, почему-то не сводит с меня глаз. Смотрит, все смотрит и будто хочет спросить о чем-то и не решается. Глаза у него темные, печальные, неулыбчивые.

Утром, когда я возвращался к себе после бритья и душа, обнаружил в своей комнате полуодетого Булата. Он стоял у стола над моим путевым дневником и мучительно, как мне показалось, раздумывал над единственной строкой вверху чистого, в клеточку листа.

Мальчик вспыхнул, увидев меня на пороге, и убежал. Догадываюсь о его состоянии. Первый раз видит живого писателя.

После завтрака Шалва Окуджава показывает мне громадную, неоглядную площадку Уралвагонстроя, потом ведет к Тамаркину.

Моисей Александрович сидит у себя в кабинете за большим дубовым столом. На нем свежий костюм, твердый белый воротничок, широкий галстук. Движения — неторопливые, уверенные. Говорит он тихо, подбирая слова, как бы прислушиваясь к себе.

— Товарищ Серго в первое свое посещение Уралвагонстроя сказал нам: «У вас пока одно хорошо: ничего еще не сделано, значит, ничего еще не испорчено. Выгодная позиция. Вы должны создать лучший в мире завод и лучший в мире город. Только так. Запрещаю вам строить унылые стандартные дома. Денег не пожалеем».

Я увидел этот зарождающийся город. Многоэтажные жилые корпуса окружены лесом. Просторно, красиво, много воздуха и света.

Тамаркин пришел на голое место. И не бросился, сломя голову, строить цех. Сначала построил теплые бараки, дороги, механические мастерские, столовую, магазин, завод железобетонных конструкций. А приступив к основной работе, сразу же ввел диспетчеризацию.

Да, это большая, важная новость на промышленной стройке. Я видел ее в действии. Пункт управления. Отсюда во все уголки строительства проведены телефоны. Диспетчер — ответственный инженер — и его помощники командуют тысячами рабочих, сотнями машин. Каждый механизм находится под постоянным, жестким контролем.

— Вспомните Магнитострой, — говорил Тамаркин. — Сколько было грохота, криков, ругани, штурмовщины, зряшной суеты, бессонницы.

— А теперь вы вдоволь спите? — улыбнулся я.

— По потребности! Журналы и новинки читаю, в кино хожу. Нормальная жизнь.

Вечером мы ужинаем с Тамаркиным в его большой квартире на Пихтовой горе. Вспоминаем Магнитку. Пришла пора более организованного и эффективного труда, чем в годы первой пятилетки. Завоевали горбом, тяжелым опытом право быть настоящими строителями.

Очерк о М. А. Тамаркине напечатан в «Правде» под названием «Инженер трех эпох». Теперь буду думать над тем, как провести Тамаркина через будущий роман, посвященный Магнитке.

Не стал Тамаркин героем моего романа. Ненастной ночью тысяча девятьсот тридцать седьмого года, не желая разделить судьбу репрессированного начальника Уралвагонстроя Марьясина, он поцеловал спящую жену, пошел на строительную площадку и приложил руки к обнаженным высоковольтным проводам.

Так погиб инженер трех эпох.

В самом начале лета 1935 года я получил телеграмму-молнию. Мехлис просил немедленно приехать в Москву по весьма важному делу. В тот же день я наскоро собрался и сел в скорый поезд Владивосток — Москва. Прямо с вокзала поехал на Горького, 48, в редакцию «Правды».

Мехлис разговаривал со мной в своем обычном стиле: сурово, с проблесками дружеского радушия, энергично и предельно кратко. Сказал, что как член главной редакции «Истории фабрик и заводов», посоветовавшись с Алексеем Максимовичем и получив его благословение, решил на длительное время послать меня на строительство канала Москва — Волга с тем, чтобы я написал документальную повесть.

Вот так новость! Несмотря на все уважение к Мехлису и к «Правде», на безграничную любовь к Горькому, не могу покинуть Урал. Я привязан к его замечательным людям, к заводам-гигантам. Написал две книги об Урале и буду писать о нем всю жизнь. И уральцы считают меня своим. Так или примерно так ответил на предложение Мехлиса.

Лев Захарович сказал, что я недооценил честь, оказанную мне Горьким и «Правдой», что недопонимаю значения будущего канала Москва — Волга.

— Да будет вам известно, уральский патриот, — тут Мехлис иронически ухмыльнулся, — товарищ Сталин и ЦК считают строительство канала Москва — Волга ударной стройкой второй пятилетки, на которой разгорится битва за людские души, изуродованные пережитками прошлого. Битва бескровная, без грома, пушек и железного скрежета, но такая, которой суждено войти в историю. Десятки тысяч преступников, правонарушителей будут перекованы трудом, приносящим радость. Это будет дальнейшим развитием опыта Беломорстроя. Поражаюсь, как вы этого не поняли, не почувствовали? Ведь вы были в Дмитрове на слете ударников-каналоармейцев. Слушали выступление Горького.

Даже после такой тирады главного редактора «Правды» я все еще не сдавался.

— Лев Захарович, я хорошо понимаю значение канала, с превеликой радостью отправился бы на грандиозную стройку, если бы... Чувст-

вую себя в долгу перед Магниткой, перед уральцами и, наконец, перед Иваном Дмитриевичем Кабаковым... Я должен и хочу писать об Урале.

— Да кто тебе предлагает бросать Урал? Напишешь о канале и вернешься к своей Магнитке. Я сейчас позвоню Кабакову.

Мехлис подошел к телефону ВЧ и быстро договорился с Иваном Дмитриевичем о моем временном перемещении.

Чувствую, что не будет даже времени съездить домой за вещами, за рукописями, — так силен напор Мехлиса.

Он сразу же соединился по «вертушке» с Лубянкой, с наркомом НКВД, кратко рассказал Ягоде о задании, которое я получил, и попросил сейчас же принять меня и практически решить, как и куда определить на канале. Положив телефонную трубку, протянул мне руку.

— Действуйте!

На открытом «линкольне» редактора я поехал навстречу своей новой судьбе. Машина остановилась на площади Дзержинского, напротив главного подъезда бывшего дома страхового общества «Россия». Массивные, светлого дуба, окованные темной бронзой двери распахнулись. Два чекиста с кубарями, очевидно, предупрежденные, не потребовали ни пропуска, ни документа. Спросили только фамилию и открыли дверь лифта.

Я поднялся на третий этаж и увидел перед собой человека с одним ромбом в петлицах, небольшого роста, плотного, перетянутого новенькими и пахучими, из отличной кожи ремнями. Наверное, ему успели позвонить снизу, из главного подъезда.

— Герсон! — отрекомендовался он. — Вас ждут. Прошу! — И повел по длинному, без окон, ярко освещенному коридору. Красная ковровая дорожка глушила шаги.

Входим в приемную. Герсон распахивает правую дверь, ведущую в большой, светлого дуба тамбур. Апартаменты больших начальников почему-то начинаются с глухой прихожей.

Громадная комната, вернее, зал. Длинный стол с зеленым сукном. Два ряда высоких стульев. Пять или шесть окон выходят на площадь Дзержинского. В глубине кабинета, в дальнем правом углу, вижу наркома. Слева от него массивный несгораемый шкаф. Столик, заставленный разноцветными телефонами. В этом же кабинете, за этим столом работал Феликс Дзержинский? Так ли было при нем?

Первый раз встречаюсь с новым, недавно утвержденным наркомом НКВД. Сутулый, тощий, узколицый, с прореженными седеющими волосами, сосредоточенно хмурясь и бережно трогая коротко подстриженные усики, он пытливо вглядывается в меня, пока я преодолеваю расстояние от двери до стола. Скупым жестом указывает на кожаное кресло. Я сажусь и проваливаюсь почти до пола. Хозяин кабинета возвышается надо мной на другой стороне стола.

Странное ощущение. Не совершал никаких преступлений, ни в чем себя не чувствую виноватым, послан сюда великим Горьким и главным редактором «Правды» — и все-таки робею. Необъясним этот унизительный и беспричинный страх. Отрыгнулось, может, навеки забытое беспризорничество? Видимо, прошлое следует за человеком, как его тень, до конца жизни.

— Ну? — Нарком раскрыл плоскую, цвета морской волны коробочку, достал длинную сигарету, вставил в янтарный мундштук и с наслаждением закурил. Рисовая бумага и лучший в мире табак, сгорая, образуют новую сигарету — из хрупкого пепла.

— Те же самые, если не ошибаюсь, египетские сигареты, которые курит Алексей Максимович, — сказал я.

Он улыбнулся, отрывисто и нехотя.

— Да, те же. Был в гостях у Алексея Максимовича и стащил, когда он отвернулся.

И опять замолчал, предоставляя мне решать, пошутил или говорил всерьез.

Нарком глубоко затягивается и, выпуская к потолку душистую струю дыма и глядя туда же, говорит:

— Пока вы добирались сюда, я кое-что придумал. В качестве писателя вам трудно будет собирать материал среди чекистов и каналоармейцев. И те и другие, по разным причинам, не будут откровенны, скроют самое существенное, необходимое вам. Вы окажетесь белой вороной. Работайте на канале, как и все. Вас должны принимать за своего человека.

Жду, что еще скажет. Кажется, собирается сделать меня каналоармейцем, осужденным лет на пять — восемь. Ни за что! Хватит! Побывал в шкуре уркагана и не желаю залезать в нее даже ненадолго.

— Лучше всего вам обосноваться на канале под чужой фамилией, так сказать, на нелегальном положении, — говорит нарком.

Нелегальное положение? Всякое бывало в моей жизни...

— Пошлем в качестве чекиста с двумя ромбами. Хватит? Всего на два меньше, чем у меня... Есть у нас на канале, в Центральном районе, вакантная должность заместителя начальника. Подойдет?..

Я киваю.

Нарком протягивает руку к аппарату селекторной связи, нажимает на один из рычажков и говорит в пространство:

— Павел Петрович, зайдите!

Через минуту входит человек в сером костюме, в косоворотке, белокурый, белокожий. Вот с кого писать портрет Васьки Буслая. Подошел к столу и почтительно замер. Нарком кратко изложил помощнику суть дела: кто я такой, с какой целью отправляюсь на канал и как следует оформить мое назначение.

Потом резко повернулся ко мне, спросил:

— Под какой фамилией хотите работать?

Вопрос так неожидан, что я растерялся, пожал плечами.

— Хорошо, я придумаю вам фамилию. Рыбалка!.. У меня все, — прибавил нарком, глядя на помощника.

Тот молча, так же твердо ступая по ковру, вышел. Пора и мне уходить.

На прощание хотелось сказать наркому какие-то особенные слова. Я поднялся и, пожимая ему руку, сказал в самых торжественных тонах, что не пожалею сил, времени и оправдаю доверие, оказанное Горьким, «Правдой» и чекистами, напишу хорошую книгу о канале и его людях. Нарком нахмурился и с раздражением, почти гневно проговорил:

— Не люблю хвастунов. Зачем надуваетесь? Вы же не Киршон, не Луговской. На канале вас ждет немало трудностей. Бывший грабитель, бывший миллионер, кулак, торговец, взломщик — это, знаете, не чистенький и красивенький Никита Изотов, а человек, на все готовый: на отчаянную смерть от пули конвойного и на трудовой подвиг в котловане. В общем, сами скоро увидите, куда попали! Нелегкая будет жизнь. Но как бы ни было трудно, всегда будьте правдивым. Все пойму, кроме неправды. В наших органах, в нашей работе неправда преследуется законом. На том стою и того же требую от каждого человека. Так нас воспитывает Центральный Комитет. Иной раз нам трудно и страшно сказать правду секретарям ЦК, страшнее, чем умереть, а мы все-таки говорим.

В тот же день с помощью всемогущего помощника Ягоды Павла Петровича Буланова я обмундировался, привинтил к малиновым петлицам по два темно-вишневых ромба, получил пистолет с патронами, выписку из приказа наркома о назначении, ордер на однокомнатную квартиру в доме № 3 по Большому Комсомольскому переулку. В том самом доме, кстати, где жили писатели Фадеев, Афиногенов, Киршон. Работник административно-хозяйственного управления наркомата, показывавший мне квартиру, смущенно, не надеясь на положительный ответ, спросил:

— Подойдет? Не мало для вас?

Я мельком осмотрел новое жилье, просторное, с двумя огромными, во всю стену, окнами, хорошо обставленное. Конечно, подойдет. Беспечно и браво, с легкостью человека, привыкшего менять хижины на дворцы и дворцы на хижины, ответил работнику жилотдела:

— Не беспокойтесь, хватит и одной комнаты! Я не собираюсь здесь долго задерживаться. Перевалочный пункт.

Мои мысли уже там, на канале. С чего начну работу? Как? Почему

нарком счел нужным предупредить о правдивости? Почему придумал такую фамилию — Рыбалка?

Не прошло и суток с тех пор, как покинул Урал, а столько чудесных превращений произошло! Я уже не я. Был штатским человеком, стал военным. Да не просто военным, а чекистом. Был писателем таким-то, а стал заместителем начальника Центрального района. И принял все как должное. После того, что случилось со мной в последние два года, я уже не способен воспринимать с удивлением никакие чудеса. Два ромба на чекистских петлицах? Экая невидаль. Что они по сравнению с тем, что мне выдано от Горького, от читателей, от правительства?..

Шагаю по улицам Москвы в новенькой форме чекиста и не без удовольствия замечаю, что привлекаю к себе внимание. Москвичи, наверное, удивлялись, видя совсем молодого человека с ромбами, которые обычно носили большие военачальники. Даже у Ворошилова только четыре ромба. Никто не узнает во мне писателя, портрет которого в последние два года неоднократно печатался в газетах.

Перед тем, как отправиться в Дмитров, проведал своих новых московских друзей Беспаловых, Ивана и Фраду. Захотелось их повидать и себя показать в чекистском обмундировании. Хозяина, к сожалению, дома не оказалось. Хозяйка — дома.

Увидев меня, Фрада расхохоталась, всплеснула руками.

— Что случилось? По какому случаю так шикарно вырядился? Призвали в армию? Снимаешься в кино? Или решил испугать нас малиновой фуражкой?

— Меня призвали на службу чекисты. Буду работать над книгой о каналоармейцах.

— Что такое каналоармейцы?

— Не читаешь газет, Фрадушка! Каналоармейцы — это те, кто за два года тихо и скромно отгрохал Беломорканал и начал строительство канала Москва — Волга.

— Да, да, слыхала. Перековка, чекисты-кузнецы... И ты соблазнился! Не думала, что ты такой непостоянный обожатель Магнитки.

— Временно разлучаюсь с Магниткой.

— Любимой тоже сначала изменяют временно, а потом... Эх, раз и еще много-много раз!

Отчитав меня, она сейчас же забыла, чем я вызвал ее неудовольствие, и стала готовить кофе, к которому пристрастилась, живя с Иваном в Стокгольме и Берлине. Пять лет прожили они за границей. Как корреспондент ТАСС, Иван Беспалов присутствовал на процессе Димитрова и передавал по телефону информацию для советских газет.

Пью маленькими глотками ароматный напиток и рассказываю, какая сила заставила меня «изменить» Магнитке. На Фраду не подействовали и такие имена, как Максим Горький, Лев Мехлис, Генрих Ягода. Но все же пообещала:

— Приедем с Иваном к тебе. Посмотрим на каналоармейцев.

От Фрады отправился на Никольскую, в Гослитиздат, где Иван был большим начальником. Он встретил меня иначе, чем его жена. Одобряет планы. Верит, что напишу нужную народу книгу. И тоже пообещал приехать в гости в Центральный район.

Пока мы беседовали, в кабинет Беспалова заглядывали какие-то люди. Увидев мою малиновую фуражку и ромбы, они быстренько и аккуратно закрывали дверь, молча и смущенно, а кто и встревоженно, испуганно исчезали. Впервые с той минуты, как надел форму, я почувствовал, как тяжела шапка Мономаха, то бишь малиновая фуражка.

Было лето тридцать пятого. Всего полгода прошло, как убили Кирова, как вслед за этим последовали аресты и высылки из Ленинграда в Сибирь, в казахстанские степи.

Застрелился Бесо Ломинадзе. Осквернена его могила.

Едва-едва, чуть-чуть будущее коснулось своим невидимым крылом моей души. Коснулось и пропало. Время от времени напоминало о себе.

Смутно. Невнятно. То был слабый голос Правды, заглушаемый громкими раскатами речей, указов, передовиц, почти круглосуточным радиоговорением.

И сегодня, вспоминая события тех трагических лет, я хочу написать, *как было на самом деле*, а не как должно быть или как могло быть.

Исповедь — не покаяние в грехах, не скрытая форма самовозвеличивания, не набат, не колыбельная песнь, даже не лебединая. Исповедь — это всего-навсего достоверные показания сына своей эпохи.

Хочу говорить только о том, о чем и как думал тогда, более полувека назад, а не теперь, в эпоху перестройки, после сокрушения культа Сталина.

Тогда, в тридцать пятом, Ягода был для меня высокоуважаемым наркомом. Тогда и Беломорканал, и будущий канал Москва — Волга представлялись мне чудом творения. Тогда я казался людям и самому себе парнем эпохи начавшегося социализма.

Самообман, самоослепление и вместе с тем законная гордость тем, что действительно уже сделано твоим народом и тобой.

Переночевав в новой квартире, еду в Дмитров, в главный штаб, к начальнику лагеря строительства канала Москва — Волга Семену Фирину, старому знакомому.

Фирин выходит из-за стола и с притворной строгостью оглядывает меня с ног до головы.

— Плохо подогнана форма. Ремень не затянут. Гимнастерка топорщится сзади, как хвост у индюка. Пистолет сполз с положенного места на брюхо, пуп прикрывает, фуражка легкомысленно, с казачьей лихостью торчит на голове. В общем, не чекист, а так...

Фирин смеется и, раскинув широко руки, крепко обнимает.

— Хорош ты в нашем обмундировании, глаз не оторвешь. Вот твоя настоящая одежда — военная! Я бы на твоем месте до конца жизни из нее не вылезал.

Покончив со всеми формальностями и пообедав с Фириным в его громадном бревенчатом, среди нетронутого леса, доме, я отправился на место назначения, к Заикину, начальнику Центрального района, опытному строителю, старому чекисту, работавшему и на Беломорско-Балтийском канале.

Дали мне рабочий кабинет. Выделили резвую, объезженную гнедую лошадь по кличке Волга. Приставили расторопного ординарца из донских казаков, Алексея Харитоновича.

Поселился неподалеку от станции Влахернская, непосредственно на трассе канала, у самой колючей проволоки. В небольшом домике, окруженном фруктовым садом, мы жили вдвоем с ординарцем.

С утра, с того часа, когда сигнал призывал каналоармейцев к работе, и до поздней ночи, до отбоя, осваиваю трассу будущего канала. Верхом на резвой Волге. На попутных грузовых машинах. На единственном в районе газике. На своих двоих. Возвращаюсь домой, облепанный засохшей глиной, цементным раствором, с песком в волосах и на зубах и с записной книжкой, исписанной до последней страницы.

В Центральном районе нет ни одного уголка, куда бы я не заглянул. Но и этого показалось мало. В последующие дни и недели прошел и проехал вдоль всего канала. Видел гигантскую, более чем в сто километров, щель, прорубленную через пригороды Москвы, Химки, Хлебниково, Влахернскую, Яхрому, Дмитров. Видел, как тысячи людей воздвигали земляные и бетонные плотины, строили шлюзы, мосты, дороги, рабочие поселки, новые деревни для колхозников, переселяемых с затопляемых мест. Видел вереницы прибывающих поездов, груженных цементом, балками, рельсами, арматурой, лесом-кругляком, разнообразными машинами, досками, шифером и стеклом. Не было в стране другой стройки, которая бы поглощала такое количество материалов. Миллионы кубометров земли перемещались. Горы камней и бетона закладывались в шлюзы, плотины, водосбросы, дюкеры, откосы канала, в автомобильные дороги, идущие

вдоль будущей водной трассы, постоянные, рассчитанные на долгую жизнь, и временные, необходимые строителям. И все это создано каналоармейцами.

Где бы я ни появлялся, сразу же раздавалась команда:

— Смирно!..

Бетонщики, землекопы, бригадиры бросают работу, замирают, вытягивая руки по швам. Строевым шагом приближается ко мне, вернее к моим ромбам, прораб или начальник участка и докладывает, чем занимаются люди.

Всегда не по себе в такие минуты. Ясно, что каналоармеец после того, как вытянется по стойке «смирно», не сможет, если даже и захочет, поговорить по душам. Да и не больно разговоришься с землекопом, когда его товарищи, обнаженные по пояс, потные, бегают туда и сюда с тяжелыми тачками.

Не умею я разговаривать с каналоармейцами. Мои вопросы непривычны для них, сбивают с толку. Я это не сразу понял. Настоящий гулаговец, такой, как Фирин, не позволит себе спросить, за что человек попал в лагерь. Резко, отрывисто допрашивает: «По какой статье осужден? Сколько получил? Когда? Где?» Я же порядочно покружусь вокруг да около, задам полдюжины производственных вопросов и только потом вопрошаю, за какие грехи Петров или Иванов попал сюда.

Неподалеку от строящегося шлюза, в углу проволочной выгородки, обтесывает бревна небольшая, из трех человек, бригада плотников. Мужики в соку, в зрелой поре. Подхожу. Здороваюсь. Отвечают бодро. Топоры блестят в сильных, уверенных руках. Лица прокалены солнцем и ветрами. Один спрашивает:

— Вы, часом, не курящий, гражданин начальник? Расщедритесь!

Суетливо выхватываю из кармана коробку «Казбека» и раскрываю перед заключенными. Они деликатно, толстыми, негнущимися пальцами берут по папиросе, закуривают.

Перекур. Слава тебе, скромная и великая цигарка!

Сажусь на бревно, вытягиваю ноги, упакованные в болотные сапоги, начинаю беседу:

— Ну, как жизнь, ребята?

Хотел одним махом соорудить мост через пропасть, приблизиться к заключенным, расположить к себе. «Ребята» обмениваются взглядами, откровенно насмешливыми.

— Живем, гражданин начальник. Хлеб жуем.

— Живем всем чертям назло! — Это уже новый голос. Мрачный бас раздается у меня за спиной.

Оборачиваюсь и вижу прораба — Пугача Федора Терентьевича. Ему лет тридцать. Над очень светлыми глазами куцые бровки. На подбородке синеет подкожная угольная отметина — несмываемый шахтерский герб. Не первый раз встречаюсь с Пугачем. И раньше с интересом приглядывался к нему.

— Разрешите и мне, гражданин начальник, угоститься вашим «Казбеком».

Моя коробка еще раз пошла по кругу.

Пугач с удовольствием дымит, щурит нездешние, чересчур светлые глаза.

— Гражданин начальник, как вы думаете, какими ветрами занесло сюда меня, горного инженера, комсомольца с двадцать пятого года, коммуниста с тридцатого? И вот их, — он кивнул на плотников, — этих бывших хлебопашцев? Помните Великую французскую революцию? «Жизнь не есть ни цель, ни средство — жизнь есть право». «Хлеб есть право народа». «Хлеб есть божественное право человека!» Вот они, — он снова кивнул на плотников, — хотели есть свой божественный хлеб. В этом вся их вина. Вы не разгневались, гражданин начальник? Не собираетесь отправить меня в РУР с довеском к сроку?

В громадном лагере, раскинувшемся от Волги до Москвы, таких «начальников», как я, больше нет. Фирин не считал бы меня своим другом, если бы не знал, что я писатель и послан на канал Горьким и Мехлисом с благословения наркома НКВД. Я был частым гостем в лагерном доме Фирина. И запросто, без субординации, переступал и порог его служебного кабинета. Так случилось и теперь. Явился посреди рабочего дня и рассказал о своей встрече с Пугачем.

Фирин внимательно, серьезно, не спуская с моего лица блестящих, черных-пречерных глаз, выслушал и сказал, что я разговаривал с заключенным наивно, как последний фрайер, которого легко обвести вокруг пальца любому уркачу.

— Хлебопашцы эти — бывшие кулаки, мироеды. А то, что изрекает этот Пугач, — дешевая демагогия. Ко всем каналоармейцам мы подходим с одной, точно выверенной меркой: приговор твой, братец, справедливый, только ударной работой можешь сократить срок наказания. Как видишь, нехитро, проще пареной репы. И тебе, Саня, советую не отставать от нас, простаков. Ну, а теперь пойдем пообедаем!

Фирин обнял меня за плечи и потащил к себе домой. Остаток дня я провел в его веселой семье. Вечером, после ужина, был маленький домашний бал. Хозяин дома менял патефонные пластинки, а я танцевал поочередно с его молодой женой, ее сестрой и их хорошенькой подругой.

Устав от тройной танцевальной нагрузки, захмелев от выпитого вина и аромата духов, я переключился с веселого времяпрепровождения на серьезные обязанности лагерного летописца.

— Семен Григорьевич, кому первому пришла в голову гениальная идея — направить силы, энергию заключенных на великое дело — строительство каналов?

Фирин ответил с гордостью:

— Гений у нас единственный. ББК и Москва — Волга, как и Днепрогэс, и Турксиб, и Магнитка, Уралмаш — детища товарища Сталина. В один прекрасный день он собрал гидростроителей, плановиков, нашего брата чекистов, развернул перед ними карту Советского Союза и толстым красным карандашом проложил идеально прямую, от моря Балтийского до моря Белого, линию, приказал. «Через два года между этими двумя точками должен быть построен канал, способный пропускать не только торговые корабли, но и военные. Сотворить его должны, под руководством чекистов-большевиков, те, кто проштрафился перед страной, народом. Пусть искупают свою вину трудом, а заодно и привыкают участвовать в социалистическом строительстве. Давайте окажем доверие социально опасным элементам. Всякого, кто отличится на строительстве, ждет досрочное освобождение».

— Ну вот, я же говорю! — воскликнул хмельной летописец. — Гениальная идея, ставшая потрясающим фактом нашей социалистической жизни! Я уверен, что вслед за ББК и Москва — Волга появятся и другие каналы, новые великие стройки.

— Наверняка. Товарищ Сталин на ветер слов не бросает.

— А хватит каналоармейцев?

Этот мой вопрос Фирин оценил по достоинству и горько усмехнулся.

— Были бы великие стройки, а каналоармейцы найдутся. Правонарушители, как сорная трава, произрастают. Такое время. Не при коммунизме живем, а в переходном периоде, когда все больше обостряется классовая борьба. Чем внушительнее наши победы, тем ожесточеннее сопротивляются политически враждебные и нравственно отсталые элементы.

Жене Фирина надоело слушать наш разговор, и она опустила мембрану с иголкой на черный диск «Колумбии». И я снова стал танцевать по очереди с тремя симпатичными женщинами.

Поздно, на исходе ночи, вернулся домой — к темному, как лес, саду, к Волге, заржавшей мне навстречу, к донскому казаку Харитонычу, к записным книжкам.

Утром еле проснулся. Долго, к удивлению ординарца, завтракал, долго сидел на ступеньках веранды, вглядывался то в небо, то в ветви деревьев, полных яблок, и думал, думал...

Антон Павлович Чехов, прежде чем написать замечательную книгу о каторжном Сахалине, глубоко изучил историю и географию Сибири,

судопроизводство, уголовное право, историю русских тюрем и ссылок. Он знал все, что было написано о Сахалине этнографами и путешественниками. Он три месяца жил на острове, не зная отдыха. Шагал от избы к избе, заглядывал в каждый дом, в каждую тюрьму и колонию ссыльных, вступал в разговор с каторжником, поселенцем, вольным. Он сделал перепись всего населения острова. А вернувшись домой, писал «Остров Сахалин» долгих четыре года. Вышла книга, которой скромнейший Чехов открыто гордился.

А я? С чем пришел в подмосковный лагерь заключенных? Удовольствовался напутствиями Мехлиса, Ягоды и своими добрыми намерениями. И не могу разобраться, не могу увидеть жизнь каналоармейцев изнутри, так, как ее видят сегодняшние землекопы и бетонщики, осужденные на восемь или десять лет. Работают они хорошо. Но что у них в душах?

Не снять ли мне ромбы, пока не поздно? Хотел бы, но разве снимешь без того, чтобы не выдрать вместе с ромбами и кусок живого мяса? Что скажу Горькому и Мехлису? Каким окажусь в глазах наркома? А Кабаков? А Союз писателей? А собственная гордость?

Мой ординарец, насквозь пропахший запахом яблок, казачьего седла и конским потом, возникает из глубины сада.

— Пора ужинать, гражданин начальник, а вы еще не обедали. Прикажете подавать?

Тяжело вздыхаю и говорю:

— Подавай, Харитоныч.

Вечер провел в лагере головного участка Центрального района. Десятки бараков, до отказа набитые людьми. Сотни судеб. Где же та, единственная судьба, которую я ищу, которую поставлю в центре будущей книги? Почему не дается в руки? В чем дело? Не умею выбирать? Или чересчур разборчив? Может быть, не умею обобщать факты? Неспособен перешагнуть таинственную границу, отделяющую факт от явления?..

Нагрянули Иван Беспалов с Фрадой. Шумом и весельем наполнился мой тихий, угрюмый дом. Провез их по трассе будущего канала. Всюду на них глядели во все глаза. Оба молодые, красивые, одетые по последней моде, они не могли не привлечь к себе внимания каналоармейцев, облаченных в черные, грязные бушлаты, насквозь пропитанные лагерным духом — карболкой, пóтом, дымом костров.

Перехватывая хмурые, полные тоски взгляды каналоармейцев, я понял вдруг, что поступил неделикатно, даже жестоко, явившись к ним в сопровождении нарядной, красивой молодой женщины.

Иван и Фрада на трассе не задавали никаких вопросов. Только смотрели. И лишь в моем доме, за обедом они заговорили. Фрада закрыла потухшие глаза и тихо, отчаянно попросила мужа:

— Ваня, хочу домой! Увези меня отсюда. Поскорее!

Иван погладил ее по черным, гладко зачесанным волосам и, вместо того, чтобы утешить, сказал:

— Не думал я, что у нас столько правонарушителей.

Я засмеялся, сказал Ивану, что он за свои пять заграничных лет отвык от нашей сложной жизни, успел забыть, что у нас, кроме ударных бригад, есть и воровские шайки, что наряду с социалистическим соревнованием, которым охвачены миллионы рабочих и колхозников, существуют лодыри, тунеядцы, любители поживиться за чужой счет, пособники классового врага. Иван мучительно хмурился, слушая меня.

Не предчувствовали мы, конечно, что в самом ближайшем будущем Иван Беспалов погибнет в застенках Ежова — Берии, а Фрада десять лет отмучается в северных лагерях...

Барак № 17. Трехэтажные деревянные койки. Каналоармейцы чинят одежду и обувь, читают, пишут письма, грызут домашние сухари, пьют чай, курят, разговаривают. Обычная для вечернего часа жизнь.

Федор Пугач сидит особняком, у края стола и, ничего не видя и не слыша, читает с карандашом в руках толстую книгу. Подсаживаюсь.

Что я знаю о нем на сегодняшний день? Работает прорабом мощного механизированного участка канала. Бывший рабфаковец, бывший забойщик. Шахтер по отцу и деду. Два года назад был начальником механизированной лавы на самой крупной шахте Донбасса. Осужден на восемь лет как саботажник механизированной добычи угля. Бывший антимеханизатор возглавил ударную фалангу механизаторов. И он, и его люди изо дня в день работают образцово, высокопроизводительно. Почему на воле саботировал, а здесь ударяет? Вопросы сыплются на Пугача. Но он отвечает скупо, хмуро. Тяготится беседой. С тоской поглядывает на книгу, вздыхает: отпустите, мол, гражданин начальник, смилуйтесь! Ладно, пусть себе читает. В другое время поговорим.

Прощаюсь, иду в другой барак, в третий. Зашел в пищеблок, проверил, как и что готовят ночные повара на завтрак. Но мысли вновь и вновь возвращаются в тот, семнадцатый барак, где с книгой в руках сидит Пугач. Почему он смотрел на меня так, что мое сердце переворачивалось? И сейчас жжет мне душу его взгляд.

Самое удивительное, что я воспринимаю его не как заключенного каналоармейца, не как антимеханизатора, а как хорошего человека, случайно попавшего сюда. Почему такое? Ничего, почти ничего не знаю о нем и пересматриваю приговор, оправдываю.

Прерываю обход лагеря, отсылаю сопровождающих меня в канцелярию и направляюсь не домой, а в семнадцатый барак.

К счастью, староста зазевался, не успел поднять положенный при появлении моей двухромбовой персоны переполох. Большинство каналоармейцев уже на нарах.

Пугач все там же, за длинным столом, под тусклой голой лампочкой, склонился над толстой книгой, обернутой газетой. Увидев меня, не удивился. Медленно поднимается, вытягивает руки по швам и спокойно, с достоинством смотрит на меня. Молчит, но чувствую, многое хочет сказать. Спрашиваю:

— Почему не спите?

— Еще не было отбоя, гражданин начальник.

— Да я не об отбое. Не устали за рабочий день? Неужели спать не хочется?

— Как не устать, гражданин начальник?! Лошадь, трактор и экскаватор нуждаются в передышке после тяжелой работы, а человек и подавно. Еле дотащился до барака, теперь отдыхаю. — Пугач взглянул на книгу и нежно, как котенка, погладил ее.

— И что же читаете? — спросил я.

— Так... всякое, что дают. Выбор в библиотеке небольшой.

— Можно посмотреть?

Пугач неохотно, даже с некоторой тревогой, как показалось мне, сдвинул с книги натруженные ладони.

— Пожалуйста...

Карл Маркс и Фридрих Энгельс! Сочинения. Том первый.

Машинально перелистываю страницы увесистого тома. Мне, вольному человеку, имеющему массу свободного времени, некогда заглянуть в сочинения классиков марксизма, а он, осужденный, находит время и желание изучать их, да еще после тяжелого рабочего дня!

Мне бы сейчас следовало промолчать, а я спрашиваю:

— Ну и как?

— Что, гражданин начальник?

— Интересно?

— Очень. Зачитываюсь!

— Да?.. Чем же именно?

— Всем. Особенно тем, что написал Маркс летом тысяча восемьсот сорок третьего года — о праве человека и государства.

Каналоармейцы вглядываются в меня и Пугача с откровенным намерением не пропустить ни единого слова.

Пугач извлек из книги одну из закладок, густо исписанную чернилами, и горячей скороговоркой, словно боясь, что я перебью, прочел:

— «В демократии не человек существует для закона, а закон существует для человека; законом является здесь человеческое бы-

тие, между тем как в других формах государственного строя человек есть определяемое законом бытие. Таков основной отличительный признак демократии»... Здорово сказано, а?

Пугач переводит взгляд с книги на меня, ждет, что я поддержу разговор.

— Н-да! — И я напускаю на свое лицо многозначительное, как мне кажется, выражение.

Начальник с двумя ромбами может позволить себе появляться в любом месте, когда ему вздумается, как вздумается, шумно и молча, не объясняя, зачем пришел и почему ушел, не сделав ничего путного, не сказав ничего мало-мальски разумного. Эх, ромбы, ромбы!

Если когда-нибудь я разговорюсь с Пугачем, то не здесь, не при свидетелях.

Небрежно козыряю и покидаю барак.

Утром, едва проснулся, начинаю думать о вчерашней встрече в семнадцатом бараке. После завтрака Алексей Харитонович седлает Волгу, и я скачу на тот участок, где работают люди Пугача. Весь день, ни во что не вмешиваясь, наблюдаю за работой землекопов, экскаваторщиков, шоферов, бульдозеристов и скреперистов. Через людей и через машины, которыми командует Пугач, стараюсь понять инженера, тридцатилетнего человека, более половины своей жизни прожившего при Советской власти, попавшего прямо из забоя на рабфак, а потом в Донецкий индустриальный институт.

Четыре экскаватора, разбившись на пары, шагая навстречу друг другу, неустанно грызут пласты глины, черпают ее ковшами, далеко отбрасывают с трассы будущего канала, насыпают обрывистые берега. Бульдозеры разравнивают и утрамбовывают отвалы. Скреперисты снимают один слой глиняной стружки за другим. Машины, груженные песком и камнями, необходимыми для укрепления берегов, печатая на свежих, только что обнаженных пластах глины ребристые следы шин, проходят по временным дорогам, по сухому дну котлована, натужно карабкаются по откосам, пропадают за желтым гребнем. Моторные помпы жадно сосут из глубоких сборников грунтовые воды и выбрасывают их через трубопроводы далеко за отвалы. Там, где должен быть дюкер, в гигантском барабане бетономешалки гремят, скрежещут, шумят, хлюпают вода, песок, гравий, щебенка, сизая мука цемента. Труд высшей пробы — загляденье.

Ладную фигуру прораба, хорошо приметную, я вижу то около экскаватора, то около бульдозеристов, то около бетономешалки, то около грузовых машин.

Как же этот недавний консерватор, саботажник оседлал новейшую технику? Перевоспитался в лагере? Перековался? Не имею права искать никакого другого сюжетного корня. Должен пренебречь известной истиной, что предшествующие события творят характер человека. В моей повести не должно быть другой истины, кроме той, что начертана на плакатах и лозунгах, расклеенных на всех строительных перекрестках, в каждом бараке. Какого бы каналоармейца я ни взялся описывать, — горного инженера, специалиста по квартирным кражам, медвежатника — специалиста по вскрытию несгораемых шкафов, миллионера-заводчика, кулака, поджигателя колхозных хлебов, вредителя, саботажника хлебозаготовок, врага колхозного движения, — любую жизненную историю я должен рассматривать под одним-единственным углом зрения: на воле был преступником, в лагере сделался человеком.

А если и на воле человек был человеком? Если не нуждался в перековке? Это я должен отбросить. В жизни всякое бывает, случайность нагромождается на случайность, а в повести все должно быть закономерно, типично.

Сижу, смотрю, думаю.

За весь день здесь не показался ни один чекист, если не считать меня и конвоиров, маячащих там и сям на гребнях глиняных отвалов, на выходах из котлована.

Люди работали хорошо. Если бы я не знал, что они отбывают наказание за преступления, я бы всех принял за ударников, за высокосознательных советских граждан. Так вкалывать, как вкалывали они, могли только опытные, привычные к труду работяги.

Я родился и вырос в рабочей семье, где все начали зарабатывать с малых лет. И сам работал на заводе, в шахте. И потому не верю в легкую и скорую любовь к труду, любовь, так сказать, с первого взгляда. К труду надо долго привыкать. Почему же эти люди, во главе с прорабом Пугачем, работают привычно хорошо? Нетрудно догадаться, что они не здесь, на канале, начали свою добросовестную трудовую деятельность. И на воле неплохо трудились.

Инженер Пугач несколько раз взглядывал на меня. Надеялся, что заговорю с ним, спрошу что-нибудь? А я отмалчиваюсь. Боюсь, что еще раз задам какой-нибудь наивный вопрос. Боюсь, что опять услышу что-нибудь неожиданное.

Покинул котлован и вернулся домой, так и не сказав Пугачу ни слова. После ужина сижу над своим дневником у открытого в сад окна, заполняю страницу за страницей.

Прошла полночь. Заблестела роса на листьях яблонь. Потянуло предосенним холодком. Тихо и в доме, и в саду. Невдалеке, в темноте сада, осторожно кашляет Алексей Харитонович. Все еще не спит казак. Всегда вот так: не уходит в свою хибарку, не ляжет, пока я не погашу огонь. Сидит где-нибудь на крылечке, на охапке сена или под яблоней, дымит козьей ножкой, аккуратно покашливает, ждет приказаний. Отсылаю спать — не уходит. Ни разу, сколько живу здесь, не побеспокоил его среди ночи, а он все-таки дежурит, все готов сделать. Стыдно, что расторопно и усердно, как старая, натренированная нянька, услужает мне.

Стыдно, а что я могу сделать? Не дано мне прав освобождать. Все, кто хорошо, ударно работает на стройке, досрочно выйдут на волю. Будем считать, что и Алексей Харитонович ударник.

И еще одно важное, может быть, самое важное признание самому себе. Я подозреваю, гражданин начальник, что вам совершенно противопоказано работать здесь. Даже временно. Почему? Вспомните, как оплошали третьего дня на первом участке. На спортивной площадке молодые каналоармейцы сражались в волейбол. Вы остановились и с интересом наблюдали за летящим мячом. Вас пригласили играть. И что вы сделали? Благоразумно отказались? Нет, охотно согласились.

Чекист с двумя ромбами резвится вместе с заключенными... И это еще не все. Вступая в игру, вы сняли тяжелый командирский ремень с заряженным пистолетом и положили поодаль. Даже на стадионе «Динамо» нельзя было бы этого делать, а не только в лагере. Вокруг убийцы, грабители, вредители, саботажники, кулацкие подпевалы. Вспомните, как потешался над вами в тот вечер начальник лагеря Семен Фирин! Хорошо еще, что он добродушен. Быстро, поразительно быстро, узнал он о вашей оплошности. Узнает о ней и нарком.

Нет, вовсе не зря он предупреждал, что я должен быть правдивым. Буду ли? Найду ли мужество, когда встречусь с ним, признаться во всем, в чем признался самому себе? Не знаю. Не уверен.

Алексей Харитонович шуршит газетной бумагой. Сворачивает еще одну, пятую или шестую за ночь, козью ножку. Вспыхнул огонек, осветил большой смуглый лоб и бородатое старообрядческое лицо донского казака. О чем он сейчас думает?

До сих пор я избегал расспрашивать его, как он жил на воле, что делал. Боялся услышать то, о чем догадывался. Слишком доброй, приветливой была его улыбка, слишком доверчиво и уважительно смотрел на меня, когда подавал обед или седлал лошадь, провожал на работу или встречал, чтобы я мог думать о нем, как о закоренелом преступнике. Люди с такими глазами, с такими золотыми руками, как у Алексея Харитоновича, бережно разрезающие хлеб, любовно, умело окапывающие яблони и ставящие подпорки под ветки, отяжелевшие от плодов, не способны на плохие дела. Но в таком случае как же он попал сюда?

Тихо, вполголоса окликаю его.

Он сейчас же явился, бесшумно ступая босыми ногами по голым половицам веранды. Вытянулся в струнку, браво пожирает глазами, готов, если прикажу, броситься в огонь и воду.

— Чего изволите, гражданин начальник?

— Хочу поговорить, Алексей Харитонович. Не возражаете? Садитесь, пожалуйста.

Он стоит.

— Садитесь! — более настойчиво говорю я.

Поколебавшись, он нерешительно опускается на краешек стула и удрученно ждет, что я скажу. Побледнел. В глазах испуг. Борода подрагивает.

— Как вам живется здесь, Алексей Харитонович?

— Хорошо, гражданин начальник. Никаких жалоб не имею. С утра до вечера благодарю вас.

— За что? Никаких привилегий я вам не предоставил.

— Жизнь вы мне спасли, гражданин начальник. Два года надрывался на земляных работах. Тачку таскал. Льготную скидку зарабатывал. Мало спал, мало ел, и во сне каждая жилочка ныла, до самого утра не давала покоя. Переусердствовал, выдохся. Напарники полновесную пайку хлеба получали, с ударным приварком, а я — как филон, лодырь, отказчик, уголовная контра. Отощал, доходягой стал. И тут как раз, в самую мою черную годину, старший надзиратель сгоняет мою бригаду с нар, выстраивает под лампочкой, пытает: «Есть среди вас кавалеристы?» Все молчат. Молчу и я. С детства я, как и всякий станичник, приучен к лошади, но кавалеристом себя не считаю. Казак. Кавалеристом всякий может быть, а вот казаком... Еще раз пытает надзиратель: «Кто имел дело с лошадьми? Кто верхом ездил? Кто умеет седлать коня, кормить, поить?» Теперь нельзя промолчать. Откликаюсь, говорю, что не боюсь лошади и дугу от овса сумею отличить. В тот же час и решилась моя судьба. Живу в саду. Сплю на духовитом сене. Ем свою пайку, да еще и вашей, недоеденной, часто пользуюсь.

— На сколько вы осуждены?

— На полную катушку, гражданин начальник. Больше некуда.

— В чем обвинили вас?

— Назвали саботажником, шляпой с партбилетом в кармане, волком в овечьей шкуре, затаившимся подкулачником, тихой сапой и еще както — запамятовал. Прикрываясь председательской должностью, я подрывал колхозную жизнь на радость империализму. Обвинение что надо! По всем страшным статьям... Зря я вам все это говорю, гражданин начальник.

— Почему зря?

— Не поверите моим словам. Не должны верить. Всякий, кто попал сюда, отнекивается от приговора, не признает себя виновным. Старая песня. Неохота вам, гражданин начальник, ее слушать. Вы точно знаете, что в тюрьму попадают только виновные, а правые да чистые гуляют на свободе. Что наш суд зря не покарает.

Что я могу сказать? Говорю то, что должен говорить человек с ромбами:

— Что ж, это верно, Алексей Харитонович. Наш суд самый справедливый в мире. Конечно, порой случаются ошибки. Их стараются исправить... Расскажите о себе, о вашем деле. За что, конкретно, вас судили?

— Не погонял я, сказали, а саботировал хлебозаготовки. Преступно придерживал, сказали, валютное зерно, не хотел продавать государству по твердой цене, чтобы сбыть втихомолку на базаре. Сказали, что создавал дутые, обманные фонды, втрое больше, чем надо для прокорма людей и скотины. Сказали, что открыто восхваляю колхозы, а тайно, тихой сапой, создал в правлении контрреволюционное гнездо. «Колхозы без коммунистов». Читали статью товарища Сталина... извиняюсь, гражданина Сталина «О работе в деревне»? Все плохое из этой статьи судья мне припечатал. Персонально! Старого кулака-зверюку, с лошадиными зубами, с толстой шеей, всем видного, плакатного кулака, как сказал гражданин Сталин, мы извели начисто. Теперь есть новый куркуль, «тихий», сладенький, почти святой. Вот и меня, когда я попал под горячую руку, зачислили в тихие и сладенькие... Верно, я сдал не весь хлеб, не дотянул немного до сверхплановой нормы. Можно было выполнить и перевыполнить, на красной доске красоваться. Почему, спросите, не дотянул? Дорого дюже. Накладно. Колхозников без хлеба, а скот без кормов надо было оставить. Совесть не позволила морить людей голодом. Не саботажник я, а голова колхоза, доверенное лицо хлебороба... — Он сам себя прервал, усмехнулся. — Мало ли кем и чем я себя считаю! Со стороны виднее, кто я такой. Назвали груздем и запихнули, куды следует. Вот так и загремел непрозорливый деревенский работник, незакаленный и переоцененный, как сказал гражданин Сталин. И теперь вот на лагерной наковальне перековываюсь, прозорливости набираюсь. — Алексей Харитонович шумно, всей грудью, будто собираясь нырнуть, вздохнул. — Гражданин начальник, сколько годиков накинете за мою храбрость?

Опускаю голову, внимательно разглядываю под своими ногами хорошо вымытые, выскобленные половицы. Ординарец потихоньку поднимается со стула, сдвигает босые ноги, вытягивается, козыряет:

— Разрешите быть свободным, гражданин начальник?

Опять торчу пугалом в котлованах прораба Пугача. Сегодня пришел сюда с твердым намерением поговорить с Федором Терентьевичем. Он, как я только появился, не дожидаясь расспросов, сам заговорил. Сел рядом со мной на бетонную трубу и, словно продолжая прерванный разговор, сказал:

— Я давно понял, что вы не чекист, а так... Не обносили обмундирование, не по вашим плечам оно. В барак входите без всякого шума и треска, неуверенно. Бывалый, тертый начальник, входя в барак, сразу же передергивает пистолет на живот, поближе к пупу, чтобы какой-нибудь уголовный, подбежав сзади, не выхватил из кобуры оружие. А вы... забываете принять необходимую меру предосторожности. Есть у вас еще примета: чудные вопросы к заключенным. Гражданин начальник не задает вопросов. Ему везде и всегда все ясно, он видит лагерника насквозь и глубже... В общем, шила в мешке не утаишь. На тяжелую жизнь обрекли вы себя, товарищ писатель!

— Вы знаете даже это?!

— И не один я узнал вас. Фамилию можно изменить, а лицо не переделаешь. «Правда» печатала вашу фотографию. Земляки мы с вами. Я родился и до двенадцати лет жил в Макеевке. — Он помолчал, счищая с резиновых сапог сырые и тяжелые комья глины. — Вашей книгой я еще на воле зачитывался. Вот уж не думал, что придется встретиться. Да еще где!

— Как вы сюда попали, Федор Терентьевич?

— Как и всякий заключенный. По приговору советского суда.

— За что?

— В казенной бумаге сказано, что Пугач осужден как антимеханизатор, как злостный противник цикличной системы добычи угля, как пособник вредителей.

— Признали себя виновным?

— Нет. Никогда не признаю себя виноватым ни перед Советской властью, ни перед совестью... Вам не страшно меня слушать, гражданин писатель? Перед всеми другими начальниками я глух и нем, а перед вами... Догадываюсь, зачем вы здесь... И о ваших переживаниях догадываюсь. Не найти вам того, что ищете.

Пугач положил на колени свою кожаную планшетку, до отказа набитую бумагами, — извлек из нее новенькую колоду карт в белой рубашке. Тасуя ее, как завзятый игрок, внимательно смотрел на меня и говорил:

— Помните, вы вечером в бараке застали меня за книгой? Еще тогда я начал готовиться к разговору с вами. Не надеясь на свои силы, обратился за помощью к Марксу. И вот что он мне сказал... — Пугач зажал в левой руке между большим и указательным пальцем талию карточной колоды, наугад достал карту и передал мне. Я взял плотный, аккуратно обрезанный листок картона, похожий на карту, перевернул и увидел несколько закавыченных, написанных чернилами строк.

«Народ видит наказание, но не видит преступления, и именно потому, что он видит наказание там, где нет преступления, он перестает видеть преступление там, где есть наказание».

Я дочитал выписку до конца и, вертя картон в руках, не зная, что с ним делать, вопросительно взглянул на Пугача. Он достал из колоды еще одну карту и молча протянул мне. На ней было написано следующее:

«Задача состоит в том, чтобы сделать наказание действительным следствием преступления. Наказание должно явиться в глазах преступника необходимым результатом его собственного деяния, — следовательно, е г о с о б с т в е н н ы м д е я н и е м. Пределом его наказания должен быть предел его деяния».

Я не успел осмыслить то, что прочитал, а Пугач протягивает мне еще одну карту.

«Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за него... Он не ограничится тем, что для членов одного класса устранит в с е т о, ч т о н е д а е т и м в о з м о ж н о с т и подняться на более высокую ступень правовой сферы, а предоставит самому этому классу р е а л ь н у ю в о з м о ж н о с т ь пользоваться своими правами. Но если государство является для этого недостаточно гуманным, богатым и великодушным, то, по крайней мере, безусловный долг законодателя — не превращать в п р е с т у п л е н и е то, что имеет характер п р о с т у п к а, и то лишь в силу обстоятельств. С величайшей гуманностью должен он исправлять все это, как социальную н е у р я д и ц у, и было бы величайшей несправедливостью карать за эти проступки, как за антисоциальные преступления... Наказание не должно внушать большего отвращения, чем проступок, позор преступления не должен превращаться в позор для закона».

Пугач аккуратно подравнивает на ладони плотную стопку карточек и протягивает мне.

— Оставьте все эти выписки себе на память о нашей встрече.

Я беру пачку картонных пластинок, переворачиваю их исписанной стороной к себе. На верхней написано только одна строка.

«Истинный законодатель ничего не должен бояться кроме беззакония...» — Маркс.

Снизу, со дна глинистого котлована, кто-то требовательно кричит:

— Эй, прораб, сюда, живо!

Пугач поднимается с бетоиной трубы, молча козыряет и уходит.

Вечером меня вызвал к себе Семен Фирин. Не подавая руки, не спуская с меня глаз, полных холода и настороженности, строго, напрямик, спросил:

— Скажи, Саня, чем тебя заинтересовал прораб Пугач? Можешь не отвечать, если хочешь. Предупреждаю: разговаривает с тобой не начальник лагеря, а твой доброжелатель, поклонник твоего таланта.

— Пугач, — говорю я, — заинтересовал меня прежде всего тем, что он и его бригада очень хорошо работают.

— Еще чем? — спрашивает Фирин. Смугло-желтоватое его лицо твердеет.

И я тоже начинаю сердиться.

— Тем, что он мой донецкий земляк, — говорю я, повышая голос. — Тем, что я увидел и почувствовал в этом прорабе душу настоящего человека.

— Вот как! — усмехнулся Фирин. — Интересно! Может быть, ты скажешь мне, что это за душа?

Я, хотя уже сознавал, что не следовало этого делать, рассказал Семену Фирину и о своем разговоре с Пугачем, и о своих сомнениях в том, что Пугач мог быть вредителем или пособником вредителей. И о тяжелых чувствах, вызванных этими сомнениями.

Фирин слушал меня, судя по его глазам, с полным сочувствием. Но когда он заговорил, я не услышал ни одного слова, созвучного моим переживаниям.

— Плохи твои дела, Саня. Оказывается, ты взялся не за свое дело. Может, пока не заработал грыжу, свалишь с плеч непосильный груз? Говорю тебе это опять, как друг. Подумай!

Возвращаясь из Дмитрова к себе домой во Влахернскую, заехал на участок, где был начальником вольнонаемный Н., бывший «тридцатипятник», «перекованный» несколько лет назад на строительстве Беломорканала. Там он был досрочно освобожден, награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Войдя в лагерь, я направился в РУР, в роту усиленного режима, чтобы узнать, кто там сидит и за что именно наказан. РУР — это обычные тюремные камеры, с решетками на окнах и замками на дверях. Содержатся в них заключенные, совершившие какой-либо проступок.

В каждой камере я обнаружил мужика и бабу. Внутренняя лагерная тюрьма стала домом свиданий! В первый момент я не знал, как поступить. С этим осознанным незнанием мне следовало покинуть РУР. Не проявил должной мудрости. Опытный работник не посмел бы замахнуться на уважаемого высоким начальством начальника участка, недавно получившего из рук Калинина орден Трудового Красного Знамени. А я расшумелся и, пользуясь властью, разогнал парочки по камерам-одиночкам. Бывший уголовник, досрочно освобожденный, орденоносец полыхал мне в лицо винным перегаром и размахивал кулаками, требуя освободить своих разгулявшихся дружков. Тогда я приказал и опасного орденоносца водворить в камеру. На трезвых еще действовали мои ромбы.

Утром меня вызвали в Дмитров. На этот раз Фирин разговаривал со мной не у себя дома, а в штабе строительства, в кабинете. Грохнул кулаком по столу.

— На кого покушаетесь, Рыбалка? Вам хорошо известно, что начальник пятого участка награжден орденом. Вам также известно, что он назначен приказом наркома. Так почему учинили над ним расправу? Какое имели право подвергать аресту?!

Я пытался рассказать, чем вызваны мои вчерашние действия. Разговор закончился полным поражением товарища Рыбалки.

Фирин попрощался со мной откровенно враждебно, и я понял, что дни моего пребывания на строительстве канала сочтены.

Плохи мои дела. И Пугачу не поздоровится. Теперь ему вспомнят мой особенный интерес к его судьбе, наши разговоры о Марксе и многое другое. Боюсь, как бы не расправились с ним круто. Могут лишить звания каналоармейца и сослать на лагерную каторгу — в Весьегонск.

Вернувшись к себе, я стал собирать записные книжки, личные вещи. Надо покинуть канал, не дожидаясь особого приглашения.

Вышел на крылечко подышать свежим воздухом.

Мой ординарец предстал передо мной с полной корзиной краснобоких яблок.

— Отведайте, гражданин начальник. Спелые. Медовые.

— Спасибо, Алексей Харитонович, садитесь, погутарим.

Он сел на ступеньки крыльца и с тревогой посмотрел на меня.

— На вас лица нет, гражданин начальник. Что-нибудь грянуло неладное?

— Уезжаю, Алексей Харитонович. Последний вечер вместе. Прощальный вечер. Так вот... Прощаясь с вами, я хочу сказать... Считаю вас честным человеком, оклеветанным, невинно осужденным. Будь моя власть, я бы уже завтра отменил несправедливый приговор.

Казак разрыдался. А я пошел в дом, взял нужную бумагу и вернулся на крыльцо, где все еще сидел бывший председатель колхоза «Заветы Ильича».

— Алексей Харитонович, я написал прошение о вашем помиловании на имя товарища Калинина. Всю вашу историю обстоятельно описал. Прочтите и подпишите.

Я передал ему бумагу и авторучку. Он подписал, не читая. Дабы слезы не испортили прошение, отвернул лицо как можно дальше в сторону.

Фирин на другой день позвонил по телефону и сказал:

— Нарком велел передать тебе, чтобы твоей ноги не было на канале!

И повесил трубку.

Сколько всего я накликал на свою голову! И поделом мне. Не надо было соглашаться на лестное предложение: надеть малиновую фуражку и по два ромба в петлицы и стать певцом перековки. Не надо было менять рабочий Урал на строительство канала. Не мой это профиль — лагерь с его колючей проволокой и невинно осужденными работягами вроде инженера Пугача и Алексея Харитоновича.

Что же делать?

Иду на Лубянку. Еще недавно нарком был гостеприимен, а теперь... передал через своего секретаря Герсона, что ему не о чем со мной разговаривать.

Изгнание со стройки канала неприятно само по себе, но оно грозит еще и тяжелыми последствиями. Ягода позвонит, если уже не позвонил, Мехлису и расскажет, что я провалил важное задание редакции «Истории фабрик и заводов». Часто бывая в доме Горького, Ягода постарается убедить Алексея Максимовича, что я не оправдал доверия Горького, «Правды», чекистов.

Хорошо относится ко мне Алексей Максимович, но едва ли не поверит главному чекисту. Опасного недруга заимел я в лице Генриха Ягоды. Не сумел с его точки зрения воспринять историю осуждения инженера Пугача и других каналоармейцев, хотя бы моего ординарца-казака.

Для Горького каналоармейцы — явление эпохи. Из сотни писателей, побывавших на ББК и на подготовительных площадках трассы Волга — Москва, он выбрал меня, предоставил мне честь быть летописцем строительства нового канала. Понадеялся на меня, а я... Простите, Алексей Максимович. Не мог поступить иначе — совесть не позволила. Не разобрался Ягода в том, что произошло в РУРе пятого участка, и рубанул сплеча. Приказ наркома не подлежит обжалованию. Да еще какого наркома — НКВД. Но я все равно стою на своем: никому, самому заслуженному каналоармейцу и вообще кому бы то ни было, не позволительна вседозволенность.

Это и скажу Горькому. Поймет. Должен понять.

Иду к Алексею Максимовичу. Пусть Горький из первых рук, от меня, а не от Ягоды, узнает, что на самом деле произошло.

Вот и знакомая садовая калитка. Переступаю ее порог с бо́льшим волнением, чем в первый раз. Было бы ужасно, если бы Горький разуверился во мне.

Холодный и колючий ветер треплет уже голые ветви деревьев, несет по дорожкам сада желтый лист. Дождь, мелкий и въедливый, давит к земле дым костров. По стеклам особняка струятся мутные струйки.

Дверь в труднодоступный дом, к моему удивлению, оказалась открытой, вхожу беспрепятственно. Никто не останавливает меня ни в первой, ни во второй прихожей — необычно тихо тут и пусто. Попадаю, никого не встретив, на половину секретаря Горького. Нет и Петра Петровича Крючкова. На его месте сидит один из тех, кто обычно дежурит в первой прихожей. От него я узнаю, что Алексей Максимович в Тессели, в Крыму. Очень плохо себя чувствует. Не работает. Не читает. Никого не принимает. Вернется в Москву с морозами, да и то если пройдет недомогание.

Улица Горького, 48, родная «Правда». Меньше всего надежд возлагал на Мехлиса, но все-таки пришел к нему. Лев Захарович всегда торопится, вспыльчив, резок, нетерпелив, клокочет через край бьющей энергией. Не сможет он выслушать меня внимательно, спокойно и доверчиво.

К счастью, ошибся. Мехлис выслушал меня, понял все, как надо.

— Работайте! — сказал он.

Благодаря Мехлису я еще раз попал на канал. Да еще в самый торжественный момент, в день его открытия. Это было через два года после моего изгнания, когда уже ни одна газета не писала о перековке.

Мехлис предоставил мне возможность помахать с башни Химкинского речного порта флагом победы — отправил на открытие канала специальным корреспондентом «Правды». И я, не скрою, с чувством реванша поехал выполнять почетное задание. Напечатал в «Правде» два больших очерка о путешествии по каналу на флагмане «Иосиф Сталин».

Прочно установилась московская зима. Последние, декабрьские дни тридцать пятого года. По снегу, по морозцу отправился на Малую Никитскую. На этот раз не зря пришел.

Секретарь Горького Крючков Петр Петрович, раньше всегда любезный, встретил меня ледяным молчанием. Порылся в бумагах, угрюмо вручил мне письмо в незапечатанном, без адреса, конверте. Я тут же, подойдя к окну, стоя (сесть меня не догадались пригласить), прочитал послание Алексея Максимовича. Ужасно!.. Пригвоздил!.. Вот тебе и доброжелательный, сентиментальный, щедро ласковый крестный... Наверняка поверил оговору Ягоды.

Еще и еще перечитываю письмо. В нем ни единого слова о том, что произошло в лагере, но я уверен, что тайная суть дела в этом.

Вот что написал мне А. М. Горький. (Письмо без даты. Хранится в архиве Института мировой литературы имени А. М. Горького.)

«А. Авдеенко.

Работали Вы над рукописью все-таки мало и небрежно. Первая половина ее, страниц 150—170, требует, чтобы Вы еще раз прочитали рукопись и сократили ее, особенно в начале, где Вы рассказываете о рождении Недоли, о смерти его матери. Кстати, причина смерти не ясна, роженица умерла от кровоизлияния или оттого, что ей разбили голову? И как она отделила сына от пуповины? Вы очень часто пишете о том, о чем у Вас нет ясного представления, и это говорит о несерьезном отношении Вашем к делу. А несерьезное, поверхностное отношение Ваше к литературной работе объясняется тем, что Вам очень дешево далась известность. Вам следовало бы помнить, что рукопись «Я люблю» дважды читал и правил Вс. Иванов, да и я читал, да вот и теперь прочитал «Судьбу» второй раз. Так что Вы въезжаете в литературу на чужих хребтах.

Я не сказал бы этого, если б видел, что Вы учитесь, но я этого не вижу. Изобразительные приемы Ваши не стали богаче, язык не стал ярче и точнее. Определения не продуманы, сравнения редко удачны и вообще незаметно, чтоб Вы стремились писать с той четкостью и наглядностью, которая необходима Вам и является первым условием подлинного искусства.

Очень много слез в этой Вашей повести, выбросьте половину. Для Шаховского Вы оставили так мало места, что он оказался лишним. Сцена его агитации во время пожара станицы — мало вероятна благодаря той бедности красок, с которой Вы написали ее. Очень бедно написана и катастрофа: на стр. 281—85. И вообще повесть остается почти такой же неудачной, какой она была в первой редакции, когда Вы назвали ее «Столица». Теперь «Столица» превратилась в «Судьбу».

Значение понятия «судьба» Вам, должно быть, не очень ясно.

А Вам пора бы знать, что понятие «судьба» возникло из церковного «учения о предопределении», — о том, что жизнь каждого из нас заранее предопределена, — волею бога. Понятие это выражено в десятках таких пословиц и поговорок, как, например: «Судьба — нам судья», «Против судьбы не попрешь», «Жадна губа, да строга судьба» и т. д.

Судьба имеет и другое наименование — «доля». Вспомните песню:

«...доля бедняка
Тяжела ты, безотрадна,
Тяжела, горька».

Вспомните, что бедняк стал хозяином жизни, героем труда. Отсюда понятно, что в советском лексиконе слово «судьба» не должно иметь места. Магнитогорск создавался не по воле божией, а после постановления ЦК партии и по плану, созданному советскими инженерами.

Взяв материал, грандиозный по его социально-революционному значению, Вы поставили в центре его жизнь — «судьбу» — человека ничтожного,

и весь смысл гигантского строительства сведен Вами к превращению землекопа в сталевара. При этом Вы тщательно отодвигали Вашего героя в сторону от всех катастроф, которые должны были до полусмерти напугать его и вышвырнуть из процесса строительства.

Если Вы возьмете на себя труд подумать о значении строительства во всем его объеме, — Вам будет ясно, как ничтожна Ваша повесть и ничтожен ее главный герой — «Недоля», — неудачный кандидат в кулаки и мироеды».

Понадобилось немало времени, чтобы я более или менее пришел в себя после столь разгромного послания и написал ответ.

Воспроизвожу свое последнее письмо А. М. Горькому, копия которого любезно предоставлена мне работниками ИМЛИ.

«Алексей Максимович!

Я долго думал над Вашим письмом. Неужели его писала та нежная, теплая рука, лежавшая на моей груди всего год назад, рука отца, мудрого учителя, чуткого человека, сказавшего мне самые прекрасные на земле слова об искренности, о сердечном запале? Я эти слова жаждал носить в своем сердце целую жизнь. Я Вас возвеличил как человека. Вы, прежде всего как человек, заполнили мою душу. Сталкиваясь с тысячами людей, я мысленно им говорил: вы должны быть такими, как Он.

Вот почему мне тяжело было читать Ваше письмо. Я думал, что какое-нибудь невероятное раздражение, глубокое горе водили Вашим пером.

Да чего я только и не передумал.

Как бывает в несчастье, вспомнилось самое плохое, что было в моей жизни. Меня до крови избивали кулаками, исхлестывали мокрыми веревками, колотили жердями в спину, как в барабан. Ну тогда понятно, за что меня били. У лабазников я отщипнул от краюхи их счастья крошку счастья себе. А что я сейчас украл? Кровью своего сердца, горькими словами моих сестер и братьев, невыплаканными слезами моей матери я написал книжку «Я люблю».

Разве Вс. Иванов написал за меня хоть одну строчку? Разве следует бить меня за то, что Вс. Иванов, как член редколлегии альманаха «Год XVI», читал и правил рукопись?! Разве помощь и совет старших считаются воровством, паразитизмом, тунеядством? Конечно, нет. Зачем же написаны Вами жестокие слова — «Вы въезжаете в литературу на чужих хребтах».

Слова, слова какие подобраны!

Вы трижды повторяете с музыкальной последовательностью слово, которого не должно быть в социалистическом лексиконе: «ничтожного», «ничтожна», «ничтожен».

Максим Недоля ничтожен? Вы глубоко неправы. Таких людей, как он, миллионы. Их настоящую, человеческую судьбу сделала и делает Советская власть. Да и Вы совсем недавно были такого же мнения. Даже больше того: этот «ничтожный герой» Вами мне подсказан. Вы о нем писали в одной из Ваших программных статей несколько лет назад как о прекрасном человеческом материале для писателя. Я хорошо помню весну 35 года, когда я Вам рассказывал о нем, «ничтожном герое». Вы восторгались. Вы, улыбаясь, ласково смотрели на меня. Вы благословили меня продолжать писать роман и в письме к секретарю магнитогорского горкома партии Вы писали, что роман будет иметь «серьезнейшее культурно-революционное значение».

А теперь Максим Недоля ничтожество. Как быстро Вы обесцениваете людей. Мне больно за Недолю как за человека, больно и за себя, за свое человеческое достоинство, попираемое Вами. И мой герой Недоля, и я, мы много раз слышали от людей горькие слова о своем ничтожестве. Слова эти покривили нам душу. Зачем же ее кривить и дальше?!

Алексей Максимович! От Вашего письма я страдаю как человек. Будь Ваши слова о рукописи трижды ругательнее и действительно трижды справедливее, я смолчал бы и стал писать только лучше. Но, Алексей Максимович, я как человек не могу молчать. Горечью, обидой и за себя, и за Максима Недолю, ставшего человеком, переполнено мое сердце.

Вы, Алексей Максимович Горький, пятьдесят лет мечтающий о Человеке, должны понять, как тяжело на сердце, когда у вас отнимают право не только называться человеком, но и мечту стать человеком отнимают.

Ни права, ни мечты не вырвать у нас, Алексей Максимович. Зубами буду защищать это свое существо. Максим Недоля тоже человек. Да еще какой! Сравните биографию Стаханова и Максима. Много у них есть общего. Скажите живому Недоле, что он ничтожество, — зубами он вырвет у Вас признание, что он человек.

Горько мне, Алексей Максимович, не мне бы Вам писать о Человеке, о достоинстве человеческом.

Москва, 6 января 1936 года».

Алексей Максимович не предал в свое время огласке эти письма, что ему легко было сделать. Видимо, вспомнил, как обстояло дело в действительности.

Повесть «Я люблю» была опубликована в альманахе «Год XVI» не потому, что я влез на хребет Горькому и Всеволоду Иванову, а потому, что работники альманаха во главе с Леопольдом Авербахом сами раздобыли в Кабинете рабочего автора мою, уже подготовленную к печати рукопись. К Всеволоду Вячеславовичу Иванову рукопись была переправлена не мною, а редколлегией альманаха «Год XVI» с целью ее сокращения, ввиду того, что она «не влезала» в уже сверстанный номер.

18 июня 1936 года, когда земля была в цвету, когда радовалось жизни все живое, когда день и ночь поровну поделили между собою время суток, Алексей Максимович Горький скончался.

Ушел. Замолчал.

Лежит величественно спокойный. Единственное в мире лицо. Горьковские усы. Горьковские губы, таящие добрейшую и умнейшую улыбку. Горьковские глубокие морщины. Горьковские скулы. Горьковский лоб. Смерть, кажется, не посмела оставить своей печати на его облике.

Утопает в красных розах, в красном бархате, в красных лентах, в кумаче.

Кто-то прикрепляет к моему рукаву траурную повязку, кто-то деловито шепчет, что моя очередь стоять в почетном карауле, а я не могу подняться со стула. Не могу сдержать рыданий.

Окончание следует

Борис Слуцкий

КАПЛЯ ВРЕМЕНИ

★

Сосредоточусь. Силы напрягу.
Все вспомню. Ничего не позабуду,
Ни другу, ни врагу
Завидовать ни в чем не буду.

И — напишу. Точнее — опишу,
Нет — запишу, магнитофонной лентой
Все то, чем в грозы летние дышу,
Чем задыхаюсь зноем летним.

Магнитофонной лентой будь, поэт,
Скоросшивателем входящих. Стой на этом,
Покуда через сколько-нибудь лет
Не сможешь в самом деле стать поэтом.

Не исправляй действительность в стихах,
Исправь действительность в действительности
И ты поймешь, какие удивительности
Таятся в ежедневных пустяках.



Разошлись по дальним далям ближние,
родичи, знакомые, друзья.
Все ушли. Остались только лишние.
Лишние одни. И с ними я.

Лишние они. И я им лишний.
С ними не размыкаю беду.
Воздуха кубометр свой личный
вскорости сдышу
                    и прочь пойду.



А я — привык. Все те, кто не привыкли,
по-польски згинули, по-украински зныкли.
Их били и сшибали, словно кегли,
и этого немногие избегли.
А я привык. Я выдержал, не так ли?
Неприхотливый, вроде горной сакли,
разношенный, как войлочные туфли,
я теплюсь. Те, кто не привык, — потухли.

В первом номере прошлого года журнал «Знамя» опубликовал книгу стихотворений Бориса Слуцкого «Вопросы к себе» — случай крайне редкий в журнальной практике, однако в отношении Слуцкого вполне уместный. Поэт оставил уникальное наследство: сотни и сотни стихотворений, не публиковавшихся при его жизни.

Предлагаем читателям новую подборку стихотворений, написанных Б. Слуцким в 50—70-х годах и возвращенных нам сегодня постоянным публикатором поэта.

★

Музыка далеких сфер,
противоречивые профессии...
Членом партии, гражданином СССР,
подданным поэзии
был я. Трудно было быть.
Все же был. За страх, за совесть.
Кое-что хотелось бы забыть.
Кое-что запомнить стоит.
Долг, как волк, меня хватал.
(Разные долги, несовпадающие.)
Я как Волга,
                    в пять морей впадающая,
сбился с толку. Высох и устал.



Смолоду и сдуру —
Мучились и гибли.
Зрелость это сдула,
Годы это сшибли.

Смолоду и сослепу
Тыкались щенками.
А теперь-то? После-то?
С битыми щеками?

А теперь-то, нам-то
Гибнуть вовсе скушно.
Надо, значит, надо.
Нужно, значит, нужно.

И толчется совесть,
Словно кровь под кожей,
В зрелость или в псовость.
Как они похожи.



Трудоустроенный кровопийца
крови не пьет, пьет молоко,
предпочитает не торопиться,
дышит легко и глубоко.

Десятилетия перечеркнувши,
выскочивши из неотложки-судьбы,
он собирает грибы-чернушки,
он собирает другие грибы.

Он подписывается на собрание
сочинений Эмиля Золя.
Он посещает все собрания
в жакте, табачищем пыля.

Там, по каким-то сноровкам, ухваткам
он без ошибки определит,
что же является фактом, нефактом,
что, у кого, почему болит.

Не обнаруживая мудрости,
не оглашая вывод свой,
вежливо, выдержанно, нахмуренно
он покачивает головой.

★

Союз писателей похож на Млечный Путь:
миров, почти равновеликих, давка.
Залетная какая-нибудь славка
вдруг чувствует: ни охнуть, ни вздохнуть.

Из качеств областного соловья
сначала выпирает только серость.
Здесь ценят дерзость, лихость или смелость.
Все это некогда прошел и я.

Здесь ресторан меж первым и вторым,
меж часом коньяка и часом водки
талантов публикует сводки,
непререкаемый, как Древний Рим,
а мы — в провинции — ему вторим.

Здесь льстят, оглядываясь на друзей
и перехватывая взор презренья.
О, сколько жалованных здесь князей
в грязи оставило свои воззренья.

Микрорайон, считающий себя
не ниже микрокосма, микрохаос
расценку на величие, сопя,
и гения параметр, чертыхаясь,
назначит, установит и потом
вдруг изогнется ласковым котом,
затявкает находчивым барбосом
пред только что изобретенным боссом.

★

Кем был Бабель? Враль и выдумщик,
Сочинитель и болтун,
Шар из мыльной пены выдувший,
Легкий, светлый шар-летун.

Кем был Бабель? Любопытным
На пожаре, на войне.
Мыт и катан, бит и пытан,
Очень близок Бабель мне.

Очень дорог, очень ясен
И ни капельки не стар,
Не случаен, не напрасен
Этот бабелевский дар.

Порядок

А Блока выселили перед смертью.
Шло уплотнение, и Блоков уплотнили.
Он книги продавал и перелистывал,
и складывал, и перевязывал.
Огромную, давно неремонтированную
и неметеную квартиру жизни
он перед смертью вымыл, вымел, вымерял,
налаживал и обревизовал.

Я помню стол внезапно умершего
поэта Николая Заболоцкого.
Порядок был на письменном столе.
Все черновое было уничтожено.
Все беловое было упорядочено,
перепечатано и вычитано.
И черный, торжественный, парадный
костюм, заказанный заранее,
поспел в тот день.
Растерянный портной
со свертком в дрогнувших руках
смотрел на важного, спокойного
поэта Николая Алексеевича,
в порядке, в чистой, глаженой пижаме
лежащего на вымытом полу.
Порядок!

Мартынов в Париже

Париж глазел на Мартынова:
Париж не понимал,
за что на него Мартынов
ни разу не поднимал
глаза.

Париж привык к глазеющим
новинки в его судьбе.
Но он не привык к глазеющим
под ноги только себе.
Только лишь.

Мы к Эйфелевой башне
с Мартыновым шли вдвоем.
Мартынов как будто на пашне
сохою берет подъем —
глядит под ноги.
А почему?

— Как вещество из молекул —
Париж состоит из камней.
И я сюда приехал,
чтоб разобраться в ней,
в этой истине.

Сначала я все карманы
камнями себе наложу.
А после удобно встану
и не торопясь погляжу,
что из них выстроено.

Слава Лермонтова

Дамоклов меч
разрубит узел Гордиев,
расклюет Прометея воронье,
а мы-то что?
А мы не гордые.
Мы просто дело делаем свое.

А станет мифом или же сказаньем,
достанет наша слава до небес —
мы по своим Рязаням и Казаням
не слишком проявляем интерес.

Но «Выхожу один я на дорогу»
в Сараево, в далекой стороне,
за тыщу верст от отчего порога
мне пел босняк,
и было сладко мне.

Предтечи

Мою фамилию носили три русских поэта:
Николай — сенатор, переводчик Мицкевича
(Рыльский хвалил его переводы);
Александр, точнее, Александр Сергеевич,
пьяница и бедняга
(Фофанов посвятил ему поэму);
и жена Александра,
имя — не помню
(у пьяниц жены с простыми именами).
Ко всем троим я был лоялен,
рассказывал о них на семинарах,
даже помянул в какой-то статейке.
Они мне не мешали.
А Павел Васильев, встречая Сергея Васильева,
говорил: пошел вон с фамилии!
Хотя Сергей не мог помешать Павлу.
Я был терпимее, я был моральнее,
и три предшественника однофамильца
гремят в безвестности, бушуют в пустыне —
сенатор, пьянчуга и жена пьянчуги.
Русские, православные, дворяне,
начавшие до меня за столетье,
превосходившие меня по всем пунктам,
особенно по пятому пункту,
уступающие мне только по одному пункту:
насчет стихов. Я пишу лучше.
По теории вероятности
возможен, даже неизбежен пятый Слуцкий,
терпимый или нетерпимый к однофамильцам,
может быть, буддист, может быть, переплетчик.
Он предоставит мне возможность
греметь в пустыне
и бушевать в безвестности.

★

Казенное благожелательство:
выделенная месткомом
женщина для посещения
тех тяжелобольных,
чьи жизненные обстоятельства
не дали быть знакомым
хоть с кем-нибудь.

Госчеловеколюбие:
сложенные в кулек
три апельсина, купленные
на собранное в учреждении —
примерно, четыре полтинника.

Все-таки лучше, чем ничего.
Я лежал совсем без всего
на сорок две копейки в сутки
(норма больничного питания),
и не было слаще мечтания,
чтобы хотя бы на три минуты,
чтобы хоть на четыре полтинника
одна женщина
принесла бы
один причитающийся мне кулек.

★

Государственных денег не жалко,
слово чести для вас не звучит
до тех пор, пока толстою палкой
государство на вас не стучит.

Вас немало еще, многовато
не внимающих речи живой.
Впрочем, палки одной, суковатой,
толстой
хватит на всех вас с лихвой.

В переводе на более поздний,
на сегодняшний, что ли, язык
так Иван Васильевич Грозный
упрекать своих ближних привык.

Также Петр Алексеич Великий
упрекать своих ближних привык,
разгоняя боярские клики
под историков радостный клик.

Что там пробовать метод учета,
и контроль, и еще уговор.
Ореола большого почета
палка не лишена до сих пор.

Ораторами делаются

В опровержение пословицы
он был пророк в своем отечестве.
Глас вопиял его недаром.
Задаром стал бы он вопить!
Все рыбы в эти сети ловятся!
Все дуры этим даром тешатся —
хоть малым, но зато удалым.
Так было. Так тому и быть.

Он изучил пророков прошлого
и точно ведал, как пророчить,
кого хвалить, кого порочить,
кого и как, когда и где.

И вот без вдохновенья пошлого
и без метафор скособоченных,
но в точных формулах отточенных
он не кричал, что быть беде,

но утверждал: дела налаживаются,
отличное сменяет лучшее
и нет благоприятней случая,
чем тот, что жизнь сейчас дает,
и все рабочие и служащие,
его после работы слушающие,
глядевшие, как охорашивается,
все говорили: во дает!

Им нравились его подробности
и то, что перед правдой робости
он ни в какую не испытывал,
и то, что вдохновенно врал.
Демократизм его им нравился,
каким он был и как исправился,
и то, что он повсюду славился,
подметки резал, когти рвал.

Конечно, врал, но в тоне свойском,
и потому, как витязь с войском
или — что то же — скульптор с воском,
как полагал, так поступал.
Я сам любил внимать историям
его. И по аудиториям
ходить, когда он выступал.

Нечаевцы

Похож был на Есенина. Красивый.
С загадочною русскою душой
и «с небольшой ухватистою силой»
(Есенин о себе). Точней — с большой.

Нечаев... Прикрепили к нему «щину»,
В истории лишили всяких прав.
А он не верил в сельскую общину.
А верил в силу. Оказалось — прав.

— Он был жесток.
— Да, был жесток. Как все.
— Он убивал.
— Не так, как все. Единожды.
Росток травы, возросший при шоссе,
добру колес не доверять был вынужден.

Что этот придорожный столбик знал!
Какой пример он показал потомкам!
Не будем зверствовать над ним, жестоким!
Давайте отведем ему аннал —

Нечаеву... В вине кровавом том —
как пенисто оно и как игристо —

не бакунисты, даже не лавристы,
нечаевцы задали тон.

Задали тон в кровавой той вине,
не умывавшей в холодочке руки,
не уступавшей никакой войне
по цифрам смерти и по мерам муки.

В каких они участвовали дивах,
как нарушали всякий протокол!
Но вскоре на стыдливых и правдивых
нечаевцев
произошел раскол.

Стыдливые нечаевцы не чаяли,
как с помощью брошюр или статей
отмежеваться вовсе от Нечаева.
Им ни к чему Нечаев был, Сергей.

Правдивейшим нечаевцем из всех
был некий прокурор, чудак, калека,
который подсудимых звал: коллега, —
и двое (или трое) из коллег.

Продленная история

Группа царевича Алексея,
как и всегда, ненавидит Петра.
Вроде пришла для забвенья пора.
Нет, не пришла. Ненавидит Петра
группа царевича Алексея.

Клан императора Николая
снова покоя себе не дает.
Ненавистью негасимой пылая,
тщательно мастерит эшафот
для декабристов, ничуть не желая
даже подумать, что время — идет.

Снова опричник на сытом коне
по мостовой пролетает с метлою.
Вижу лицо его подлое, злое,
нагло подмигивающее мне.
Рядом! Не на чужой стороне —
в милой Москве на дебелом коне
рыжий опричник, а небо в огне:
молча горят небеса надо мною.

Медлительность философов

Писатели успели умотать.
Философы — тюлени и растяпы.
Бергсон и Фрейд, как кознодей и тать,
держать ответ пред новыми властями
должны. Немилостива эта власть.
Она, конечно, их помучит всласть.

Они, конечно, не уйдут живыми.
Кого б ни одухотворила плоть,
как ни влияла бы на сотни тысяч,
ее ножом так просто подколоть,
ее ремнем так безопасно высечь.

И если пессимисты вы, Бергсон
и Фрейд, вы — гении эпохи.
А если оптимисты вы, Бергсон
и Фрейд, дела довольно плохи
и вам уж с бренных не сорвать телес,
не смазать с ветхих пиджаков, конечно,
те звезды, что хватали вы с небес.
Пришитые — они шестиконечны.



Уже не холодно, не жарко,
а так себе и ничего.
Уже не жалко ничего
и даже времени не жалко.

Считает молодость года
и щедро тратит годы старость.
О времени жалеть, когда
его почти что не осталось?

А для чего его жалеть —
и злобу дня и дни без злобы?
Моей зимы мои сугробы
повсюду начали белеть.

Не ремонтирую часов,
календарей не покупаю.
Достаточно тех голосов,
что подает мне ночь слепая.

Говорит Фома

Сегодня я ничему не верю:
глазам — не верю,
ушам — не верю.
Пощупаю — тогда, пожалуй, поверю —
если на ощупь, все без обмана.

Мне вспоминаются хмурые немцы,
печальные пленные сорок пятого года,
стоявшие — руки по швам — на допросе.
Я спрашиваю — они отвечают.

— Вы верите Гитлеру? — Нет, не верю.
— Вы верите Герингу? — Нет, не верю.
— Вы верите Геббельсу? — О, пропаганда.
— А мне вы верите? — Минута молчанья:
— Господин комиссар, я вам не верю.
Всё пропаганда. Весь мир — пропаганда.

Если бы я превратился в ребенка,
снова учился в начальной школе
и мне бы сказали такое:
Волга впадает в Каспийское море!
Я бы, конечно, поверил. Но прежде
нашел бы эту самую Волгу,
спустился бы вниз по течению к морю,
умылся его водой мутноватой
и только тогда бы, пожалуй, поверил.

Лошади едят овес и сено!
Ложь! Зимой тридцать третьего года
я жил на тощей, как жердь, Украине.
Лошади ели сначала солому,
потом — худые соломенные крыши,
потом их гнали в Харьков на свалку.
Я лично видел своими глазами
суровых, серьезных, почти что важных
гнедых, караковых и буланых,
молча, неспешно бродивших по свалке.
Они ходили, потом стояли,
а после падали и долго лежали.
Умирали лошади не сразу...
Лошади едят овес и сено!
Нет! Неверно! Ложь, пропаганда.
Всё — пропаганда. Весь мир — пропаганда.

Себастьян

Сплю в обнимку с пленным эсэсовцем,
мне известным уже три месяца
Себастьяном Барбье.
На ничейной земле, в проломе
замка старого, на соломе
в обгорелом лежим тряпье.

До того мы оба устали,
что анкеты наши — детали
незначительные в той большой,
в той инстанции грандиозной,
окончательной и серьезной,
что зовется судьбой и душой.

До того мы устали оба,
от сугроба и до сугроба
целый день пробродив напролет,
до того мы с ним утомились,
что пришли и сразу свалились.
Я прилег. Он рядом прилег.

Верю я его антифашизму,
или нет, ни силы, ни жизни
ни на что. Только б спать и спать.
Я проснусь. Я вскочу среди ночи —
Себастьян храпит что есть мочи.
Я заваливаюсь опять.

Я немедленно спать заваливаюсь.
Тотчас в сон глубокий проваливаюсь.
Сон — о Дне Победы, где, пьян
от вина и от счастья полного,
до полуночи, да, до полночи
он ликует со мной, Себастьян.

★

Много псевдонимов у судьбы:
атом, рак, карательные органы
и календари, с которых сорваны
все листочки. Если бы, кабы

рак стал излечимым, атом — мирным,
органы карательные все
крестиком отчеркивали жирным
нарушенья знаков на шоссе,

вслед за тридцать первым декабря
шел не новый год — тридцать второе,
были б мудрецы мы и герои,
жили б очень долго и не зря.

Но до придорожного столба
следующего
все мои усилья,
а затем судьба, судьба, судьба —
с нею же не справлюсь, не осилю,

а какую надпись столб несет,
это несущественно, не в счет.

★

Жалкие символы наши:
медом и молоком
полные чаши.

Этого можно добиться,
если в лепешку разбиться.
Это недалеко:
мед, молоко.

Скоро накормим медом
и молоком напоим
всех, кто к тому влеком.
Что же мы дальше поставим
целью? Куда позовем?

★

Среднее звено мечтает
облегчить свои задачи.
Все, чего им не хватает,
получить,
облегчить
свои задачи.
Получить
квартиры, дачи,
все, что недодали
им давно.
Все это планирует в недальней дали
среднее звено.

Голоса

Снова — зов голосов, как в давнишнем году.
Понимаю, что это — от нервов, наверно.
Тем не менее, реагирую нервно:
вызывают — иду.

Укоряют, зовут, окликают — иду.
Отвечаю, как только услышу вопросы.
Это что-то превыше и быта и прозы,
неподвластное воле, закону, труду.
Счастье мне посулят или только беду —
если скажут — иду.

Я иду вдоль по узкой дорожке луча,
вдоль по линии тонкой и нитеобразной,
вдохновляясь, задумываясь, бормоча,
но с покорностью рабской и безобразной.

Это просто такая теперь полоса,
что звучат голоса.
Это совестью было и мыслью,
а теперь голосами звучит в голове,
то шуршит малошумною мышью,
то трезвонит, как пасха в бывалой Москве,
то завоет, то хряпнет,
то охнет.
Это скоро ослабнет, заглохнет.

Перспектива

Отчего же ропщется обществу?
Ведь не ропщется же веществу,
хоть оно и томится и топчется
точно так же, по существу.

Золотая мечта тирана —
править атомами, не людьми.
Но пока не время и рано,
не выходит, черт возьми!

И приходится с человечеством
разговаривать по-человечески,
обещать, ссылать, возвращать
из каких-то длительных ссылок
вместо логики, вместо посылок,
шестеренок, чтоб их вращать.

Но, вообще говоря, дело движется
к управлению твердой рукой.
Словно буквы фиту да ижицу,
упразднят наш род людской,
словно лишнюю букву «ять».
Словно твердый знак в конце слова.

Это можно умом объять:
просто свеют, словно полову.

★

Годы приоткрытия вселенной.
Годы ухудшения погоды.
Годы переездов и вселений.
Вот какие были эти годы.

Примесь кукурузы в хлебе.
И еще чего-то. И — гороха.
В то же время — космонавты в небе.
Странная была эпоха.

Смешанная. Емкая. В трамвае
Тоже сорок мест по нормировке.
А вместит, боков не разрывая,
Зло, добро, достоинства, пороки
Ста, ста десяти и больше граждан.
Мы — в трамвае. Празднуем и страждем.

Но дома — росли. И в каждом доме —
Ванная с клозетом. Все удобства.
Книг на полках тоже было вдосталь:
Том на томе.

Было много книг и много зрелищ.
Много было деятелей зрелых.
Много — перезрелых и зеленых.
Много было шуточек соленых.

Пафос — был. Инерция — имелась.
Было все, что нужно для эпохи,
И в особенности — смелость:
Не услышать охи или вздохи.

★

Уже не любят слушать про войну
прошедшую
и, как я ни взгляну
с эстрады в зал,
томятся в зале:
мол, что-нибудь бы новое сказали.

Еще боятся слушать про войну
грядущую,
ее голубизну
небесную,
с грибами убивающего цвета.
Она еще не родила поэта.

Она не закусила удила.
Ее пришествия еще неясны сроки.
Она писателей не родила,
а ныне не рождаются пророки.

Просто жалобы

Не тристии, а жалобы,
и вспомнить не мешало бы,
что за стеной соседи
с работы устают,
и сетованья эти
поспать им не дают.

Не тристии, а стоны
пронзительного тона.

Не тристии, а скрежеты,
мешающие всем,
и я себе: пореже ты
стони, когда совсем
сдержать не можешь стона,
тогда только стони,
не повышая тона.
И долго не тяни.

Памятник Достоевскому

Как искусство ни упирается,
жизнь, что кровь, выступает из пор.
Революция не собирается
с Достоевским рвать договор.
Революция не решается,
хоть отчаянно нарушается
Достоевским тот договор.

Революция
это зеркало,
что ее искривляло, коверкало,
не желает отнюдь разбить.
Не решает точно и веско,
как же ей поступить с Достоевским,
как же ей с Достоевским быть.

Из последних, из сбереженных
на какой-нибудь черный момент —
чемпионов всех нерешенных,
но проклятых
вопросов срочных,
из гранитов особо прочных
воздвигается монумент.

Мы ведь нивы его колосья.
Мы ведь речи его слога́,
голоса его многоголосья
и зимы его мы — пурга.

А желает или не хочет,
проклянет ли, благословит —
капля времени камень точит.
Так что пусть монумент стоит.

Алчба

Алчут алкоголя алкаши.
Им для счастья надобно немного.
Кроме них в округе — ни души.
Ни души, чтобы алкала бога.

Ни души, чтобы алкала духа
или же похожего чего.
Горло мира — как пустыня сухо.
Надо бы смочить его.

Упрямый

Изуродован, обезображен,
как оборванный календарь,
словно образ времени, страшен,
заявляет: «Еще ударь!»

Утверждает с явной обидой
перед темною силою зла:
«Я еще не совсем добитый!
Я сожжен еще не дотла!»

Он живой, покуда пытают,
пока мучат его — живой.
Еще руки его хватают
землю
пополам с травой.

Еще неба синюю правду,
проплывающую без речей,
отражает черная правда
угасающих тихо очей.

Доверительный разговор

— А на что вы согласны?
— На все.
— А на что вы способны?
— На многое.
— И на то, что ужасно?
— Да.
— То, что подло и злобно?
— Конечно.

От решимости вот такой,
раздирающей смело действительность,
предпочтешь и вялый покой,
и ничтожную нерешительность.

— Как же так на все до конца?
— Это нам проще простого.
— И отца?
— Если надо — отца.
— Сына?
— Да хоть духа святого.



Крестьянская ложка-долбленка,
начищенная до блеска.
А в чем ее подоплека?
Она полна интереса.

Она как лодка в бурю
в открытом и грозном море
хлебала и щи и тюрю,
но больше беду и горе.

Но все же горда и рада
за то, что она, бывало,
единственную награду
крестьянину добывала.

Она над столом несется,
губами, а также усами
облизанная, как солнце
облизано небесами.

Крестьянской еды дисциплина:
никто никому не помеха.
Звенит гончарная глина.
Ни суеты, ни спеха.

Вылавливая картошки,
печеные и простые,
звенят деревянные ложки,
как будто они золотые.

Дом в переулке

Проживал трудяга в общаге,
а потом в тюрягу пошел,
и в тюряге до мысли дошел,
что величие вовсе не благо.
По амнистии ворошиловской
получил он свободу с трудом,
а сегодня кончает дом —
строит, лепит — злой и решительный.
Не великий дом — небольшой.
Не большой, а просто крохотный.
Из облезлых ящиков сгроханный,
но с печуркой — домовьей душой.
Он диван подберет и кровать,
стол и ровно два стула поставит,
больше двух покупать не станет,
что ему — гостей приглашать?

Он сюда приведет жену,
все узнав про нее сначала,
чтоб любить лишь ее одну,
чтоб она за себя отвечала.
Он сначала забор возведет,
а потом уже свет проведет.
Он сначала достанет собаку,
а потом уже купит рубаху.
Всех измерив на свой аршин,
доверять и дружить закаясь,
раньше всех домашних машин
раздобудется он замками.
Сам защелкнутый, как замок,
на все пуговицы перезастегнутый,
нависающий, как потолок,
и приземистый, и полусогнутый.
Экономный, словно казна,
кость любую трижды огложет.
Что он хочет?
Хто його зна.
Что он может?
Он много может.



Не верю, что жизнь — это форма
существованья белковых тел.
В этой формуле — норма корма,
дух из нее давно улетел.

Жизнь. Мудреные и бестолковые
деянья в ожиданьи добра.
Индифферентно тело белковое,
а жизнь — добра.

Белковое тело можно выразить,
найдя буквы, подобрав цифры,
а жизнь — только сердцем на дубе вырезать.
Нет у нее другого шифра.

Когда в начале утра раннего
отлетает душа от раненого,
и он, уже едва дыша,
понимает, что жизнь — хороша,

невычислимо то понимание
даже для первых по вниманию
машин, для лучших по уму.
А я и сдуру его пойму.

Поэты

Мы как белые журавли,
или как тасманийские волки,
или как пейзажи на Волге.
Нас сводили, сводят, свели.

Мир бегущий, спешащий свет
не желает подзадержаться,
посмотреть закат и рассвет
и стихи почитать с абзаца.

Без причины и без вины
нас затерло, свело, отставило.
Почему-то из этого правила
исключения исключены,

почему-то этот закон
повернуть хотели, как дышло.
Но не выгорело, не вышло.
Устоял и действует он.

Отъезд

I

Мне снилось, что друг уезжает,
что старый мой, друг мой, встает,
узлами купе загружает,
проститься с собою дает.

Тот самый, в котором души я
не чаял когда-то, давно...
И дети его небольшие
в вагонное смотрят окно.

Куда же он едет, куда же?
К которой спешит он беде?
Как будто бы на распродаже,
разбросаны вещи везде.

Он слушает только вполуха,
не хочет меня понимать,
и вежливая старуха
рыдает в углу — его мать.

И поезд уже затевает
протяжную песню свою.
И друг мне в окошко кивает,
а я на перроне стою.

II

Уезжающие — уезжают,
провожающие — провожают,
и одни, совсем одни
остаются потом они.

Только рявкнет гудок паровозный,
реактивный взревет самолет —
одиночество холод грозный
превращает в снег и в лед.

Превращает в мрак и в стужу,
в феврали, январи, декабри.
Это все случается тут же,
на перроне — гляди, смотри.

И становится слово прочерком.
И становится тишью — звень.
И становятся люди — почерком
в редких письмах
в табельный день.

★

Овдовевшей страшно в отдельной,
в коммунальную хочется ей,
или в праздничный шум отельный,
или — просто назвать гостей.
Что-то словно ножом отрезало,
отрубило, как топором.
С размышления самого трезвого
допьяна пьянеешь порой.
Та, вторая отдельная горница,
называвшаяся кабинет,
переполнена душной горестью,
пересыщена словом «нет».
Два костюма его: рабочий
и второй костюм, выходной,
вместе с разной рухлядью прочей
патетичны, как мир иной.
И куда ни посмотришь, фото
за тобой начинают охоту.
И куда ни пойдешь, засада:
словно звери из зоосада,
книги с полок ревмя ревут
и куда-то с собой зовут.

★

Мещанские добродетели:
помнить, не забывать
и не идти в лжесвидетели
и — долги отдавать.
Не должать — если можно,
одалживать, если нужно.
Не так уж это ложно,
и нечего облыжно
охаивать, осмеивать
добродетель мещан.
Проще их добродетель
с прочими совмещать.
Добродетель Толстого
и Ивана Ильича,
работяги простого
и Владимира Ильича.
Всем им с детства понятна
заповедь: «Не воруй!»
Постепенно освоили
заповедь: «Не лги!»
А когда признают
заповедь: «Не убий!» —
примирятся враги.

Публикация Ю. Болдырева

Олег Ермаков

РАССКАЗЫ

Олегу Ермакову 28 лет, он живет в Смоленске, свою рукопись прислал по почте, но она сразу была замечена: она сама говорила за себя.

Все подлинно в этих его рассказах, читая, вы не спросите, был ли он в Афганистане, кем был... Они из глубины происходящего и пережитого, так может писать только участник событий. И это весьма отличается от описаний тех, кто приезжает повидать и рассказать, нередко заранее зная, как и что следует рассказывать.

Людям одаренным не бывает в литературе тесно. Они рассказывают свое, по-своему и о своем, и их книги становятся на свое место, которое, оказывается, пустовало. Рассказы Олега Ермакова дают основание надеяться, что в нашей литературе появилось новое имя.

Он пишет сдержанно, может даже показаться, суховато, но как точно соблюдено чувство меры, сколько выражено в слове и сколько простора оставлено за словом для мысли и чувства! Возможно, опытный глаз различит тут следы влияния кого-то из классиков — кто через это не проходил? — но Ермакову эта учеба понадобилась для того лишь, чтобы сказать по-своему и о своем.

Григорий БАКЛАНОВ

Крещение

Разведрота выехала из полка ночью. БМП с выключенными фарами покатили на север. Огни полка скоро исчезли, и беспредельная теплая весенняя ночь проглотила колонну.

Солдаты сидели на верху гусеничных машин и смотрели на тяжелые цепи созвездий. Костомыгин тоже глядел на сияющие цепи и думал, что рокот моторов слышен в самых дальних кишлаках на самом краю этой степи, если, конечно, у нее есть край...

Спустя полчаса низко иад степью появилась тусклая луна. Луна медлительно всходила, ночь светлела, и глазам открывались холмистые мохнатые черно-белые пространства.

Впереди забелели стены и башни. Колонна стремительно приближалась к кишлаку.

«Эй, не спите!» — сказал ротный, прижав ларингофоны к горлу, и все командиры БМП услышали его и по очереди отрапортовали: номер такой-то вас понял. Пушки развернулись влево и вправо, солдаты зашевелились и взялись за автоматы.

Колонна, не сбавляя скорости, промчалась сквозь кишлак, и ничего не случилось.

Костомыгин успел увидеть темные оконца башен, дома с плоскими крышами, густые сады за дувалами, ушастый силуэт осла возле сарая.

За кишлаком дорога — теперь она была отлично видна — пошла под уклон и внизу уткнулась в мерцающую реку. Все на той же скорости машины форсировали мелкую широкую реку и поехали дальше.

В кишлаке с цветущими садами Костомыгин наглотался душистого воздуха, и теперь во рту у него было сладко. Он подставлял лицо теплому ветру, ощущал тяжесть подсумка на боку, чувствовал, как туго зашнурованы полусапожки и как свободен и легок масккостюм, — и ему все это нра-

вилось: эта луна, эта страшная степь, и цветочная сладость во рту, и удобная форма, и оружие на груди, и этот бег могучих машин по нескончаемой черно-белой равнине под чужими яркими созвездиями.

Возле гряды низких холмов колонна остановилась. Солдаты соскакивали с машин, разминали ноги.

Рота построилась в колонну по двое и зашагала по дороге. Водители-механики остались в машинах.

Рота двигалась вдоль холмов. Все молчали и угрюмо поглядывали на макушки холмов, отчетливо проступавших на фоне звездного неба. Луна переплыла на западный край неба, стала бронзовой и светила уже не так ярко.

Костомыгин услышал, как шедший следом Опарин, как и он, зеленый «сынок», звякнул пряжкой ремня и открутил крышку фляжки. Тут же раздался глухой удар, и Опарин налетел на Костомыгина. Костомыгин обернулся. Опарин, вобрав голову в плечи, продолжал шагать, торопливо надевая фляжку на ремень. Позади него крупно вышагивал высокий, длинноногий сержант Шварев.

«Надо быть начеку»,— подумал Костомыгин, отворачиваясь.

«Чижи», то есть ребята, отслужившие шесть месяцев, предупреждали «сынов», что они должны быть настороже и делать только то, что скажут; говорили, что все оплошности «сынов» на операции по возвращении в полк будут «разбираться» старослужащими, разведрота—это вам не артбатарея, и не хозвзвод, и не пехота, и всё должно быть «от и до», не хуже, чем у всяких там «беретов».

За месяц службы в роте Костомыгин достаточно насмотрелся на дедовские суды, и на предстоящем «разборе» ему совсем не хотелось быть в числе обвиняемых. А Опарин вот уже и попал в это черное число. Надо ухо востро держать.

Луна скрылась, и степь снова стала черной, и звезды засветились ярче. Рота мерно шагала вдоль холмов.

Посвежело. В степи свистнула птица.

Впереди послышался топот.

— Бегом!—приказал громким шепотом Шварев, и Костомыгин побежал. «Опаздываем»,— сообразил он.

Они долго бежали, потея и глотая пыль.

Костомыгин придерживал одной рукой автомат, другой—флягу. Но подсумок с магазинами больно колотил по другому боку, и он отпустил автомат и начал придерживать подсумок. Автомат, ударяясь о грудь, причинял еще большую боль, и он снова схватился за него.

Они бежали так быстро и долго, что у Костомыгина в груди расхрипелось, и он поклялся не притрагиваться отныне к сигаретам, отныне и во веки веков.

Наконец они добежали до крайнего холма и увидели в степи силуэты башен, домов и дувалов. Ветер дул от кишлака, и Костомыгин уловил все тот же ласковый аромат цветения. Ветер подул сильнее, мощная цветочная волна окатила запыленных, тяжело дышащих людей в мокрой, терпко пахнущей одежде.

Под последним холмом была развилка: одна дорога, та, по которой они бежали, вела в кишлак, а другая уходила в степь. Два взвода во главе с лейтенантами ротный послал к кишлаку, остальные залегли на холме, укрывшись за валунами и направив стволы ручных пулеметов и автоматов на развилку.

Костомыгин тщательно прижимался к камням и чувствовал, как они влажны и как приятно холодят живот и грудь. Он сплевывал пыльную, вязкую слюну и думал: ну, теперь можно глотнуть из фляги или еще нет? Оглянулся по сторонам, осторожно расстегнул ремень, подтянул, не снимая с ремня, фляжку к груди, открутил крышку, пригнул голову, приложился вытянутыми губами к горлышку и насосал полный рот воды. Прополоскав рот, он проглотил воду, пожалев выплюнуть. Еще раз присосался к фляжке, а потом закрутил крышку, застегнул ремень, вытер губы и подумал: покурить бы.

В небе осталась одна звезда—Венера. Дорога посветлела, кишлак

приблизился. Дорога была пуста. Все смотрели на нее, и Костомыгин смотрел, думая о том, что все это бессмысленно: никто здесь не появится, и никакой стрельбы не будет,—просто взойдет солнце, и они вернутся в полк. Это была его первая операция, и он не верил, что она будет настоящей, одной из тех, о которых так живописно рассказывали ротные ветераны.

Ему стало лень глядеть на дорогу, по которой никто не пойдет, он зевнул и прикрыл глаза, чтобы дать им отдых... Он проспал не дольше минуты и очнулся, вздрогнув. «Не расслабляйся»,—сказал он себе и снова принялся истово таращиться на дорогу.

Рассвело, и в кишлачных садах защелкали соловьи, и петух несколько раз подряд покрыл картавой бранью их ласковые трели.

А когда покраснел восток и покраснела степь на востоке, над кишлаком разнесся резкий призывный вопль. С Костомыгина вмиг слетела сонливость, он взялся за автомат и, вытянув шею, заглянул за камни. Вопль повторился, и у Костомыгина сжалось сердце: вот она, война!.. Но лежавшие рядом солдаты были спокойны. Он покосился на них, помялся и все же решил тихо спросить у «чижа» Медведева, что это там такое. Медведев хмыкнул и прошептал, что это ихний поп орет.

Взошло солнце. Степь зеленела до горизонта, в кишлаке кричали петухи, мычали коровы, ревел ишак, и небо было полно светозарной голубизны,— какая еще к черту война!..

Ротный встал, отряхнулся и сказал:

— Курите.

Солдаты поднимались, шумно зевали, переговаривались, чиркали спичками и затягивались сигаретным дымом, прикрывая глаза.

Ротный хмуро глядел на кишлак.

— Саныч,—сказал он радисту,—давай отзывай наших от кишлака и ямщикам передай—пусть гонят сюда телеги.

— Товарищ капитан, а может, караван уже прошел в кишлак?— предположил Шварев.

Капитан покачал головой.

— Нет. По расчетам, от гор сюда им идти как раз ночь. Пока не стемнеет, они никуда не могут тронуться,—значит, они отошли от гор вчера поздно вечером и к утру должны были подойти сюда.

— Нет, ну а вдруг?

— Ну, если у них верблюды реактивные,— нехотя откликнулся ротный.

Радист запрашивал взводы, залегшие в степи вокруг кишлака. Затем вызывал на связь водителей-механиков.

Ротный сел на камень, снял панаму, достал расческу и начал не спеша причесываться. Шварев слонялся вокруг него, поддавал ногой мелкие камни и печально посвистывал.

— Ну что ты ёрзаешь, Шварев?—недовольно окликнул его ротный.

— Товарищ капитан, а может, они как-нибудь умудрились просочиться в кишлак?

— Ну а наши ребята там зря, что ли, полночи валялись? Если только, конечно, они там не дрыхли...

— А может, товарищ капитан, прошмонаем кишлачок? Вдруг он набит оружием и духами?

Капитан задумчиво продул расческу, аккуратно вложил ее в футляр и спрятал. Шварев выжидательно смотрел на него.

— Сколько у тебя там меток, Шварев?—устало спросил капитан.

— Каких меток?

— На прикладе, на прикладе, Шварев. Что я, не знаю, где вы метки ставите? Все знаю, Шварев. И когда-нибудь за порчу оружия три шкуры спущу.

— Разве это порча? Мы легонько. Маленькие царапинки, и все,— сказал с улыбкой стройный сероглазый Салихов.

— А ты зачем на прикладе метки ставишь?

Салихов покраснел и пожал плечами:

— Где же отмечать?

— Тебе? На пятках и кулаках.

Все засмеялись.

«У всех лица бурые, а у него — млечное. Что он, специально бережется от солнца?» — вдруг подумалось Костомыгину, глядевшему на удлиненное ласковое лицо Салихова.

Салихов был любимцем роты. У него был мелодичный голос, и на гитаре он играл отлично. Он никогда ни с кем не ругался, не трогал «сынов» и не кричал на них. Все свободное время он проводил на спортплощадке вместе с земляком из пехотной роты, — их тренировки собирали много зевак. Если же погода была скверная, лежал на кровати с книгой. В миру его ждала большеглазая, черноволосая девушка с таким же нежно-млечным лицом, как и у него; ее большая фотография хранилась в тумбочке, и ротные бабники иногда тайком вынимали ее и сладострастно рассматривали. Салихов очень часто получал от своей девушки пухлые конверты, и все завидовали ему. На шее у него висела кожаная ладанка с прядью ее волос, — и все завидовали Салихову.

Костомыгину хотелось сойтись с ним поближе. Он отводил душу в письмах старшему брату, но что письма? Совсем другое дело — живой разговор с умным собеседником. Он думал, что Салихов тоже, наверное, измучился жить без родственной души, но стеснялся подойти к нему и завести речь о серьезных книгах и всем таком прочем. Он надеялся, что Салихов как-нибудь сам заговорит с ним. Но Салихов не заговаривал и вообще почти не замечал «сынов».

— Так сколько у тебя царапин на прикладе, Шварев? — спросил капитан, наблюдая за возвращающимися от кишлака взводами.

— Шесть.

— И все мало тебе?

— Мало.

— Ты настоящий Дракула, Шварев.

Все засмеялись.

— А что вы ржете? — с усмешкой спросил ротный. — Вы знаете, кто такой Дракула?

— Нет, — откликнулся кто-то.

— Ну так и нечего.

— А кто он такой, товарищ капитан? — угодливо спросил «чиж» Медведев. — Он что, тоже меточки ставил?

— Нет, — ответил капитан. — Он княжил в пятнадцатом веке и прибивал гвоздями шапки...

— К головам? — догадался Медведев.

Капитан кивнул, и все захохотали так, будто он бог весть как остроумно пошутил.

— Ну, я до этого еще не докатился, — с довольной улыбкой сказал Шварев. — Так что какой я Дракула?

— Да, — согласился капитан. — Разница есть. Он был не сержант, а князь.

Подъехали БМП. Солдаты разделились на экипажи, достали сухие пайки: консервированный свиной фарш, консервированный сыр, сахар и хлеб — и приступили к завтраку, рассевшись на земле вокруг машин.

Шварев вмиг опустошил банку с фаршем, прикрывая глаза от удовольствия, съел нежный желтый сыр, похрумкал весь сахар, выдул полфляжки воды, замер, к чему-то прислушиваясь, и вздохнул:

— Только раздраконил.

— Да! — откликнулся водитель Мамедов. — У тебя там ба-а-льшой дракон! — Он ткнул пальцем в поджарый живот Шварева и засмеялся. — Все хаваешь и хаваешь, а мяса нэ нарастишь никак. Тэбя дэвушки лубит нэ будут. Они упитанных лубят.

— Ну-у, — Шварев расправил плечи, — ну-у, Мамед, у вас, может, животами бабочек и удовлетворяют, а наших матрешек... им надо что-нибудь посущественней! — Он взглянул на Опарина и прикрикнул: — Что лыбишься! Жри быстрей, на операции все быстро нужно делать: жрать, с...

Опарин перестал улыбаться, запустил ложку в розовую мякоть и вдруг сказал:

— Товарищ сержант, хотите? Мне что-то не лезет, я вон лучше сырку пожую.

Костомыгин взглянул на Опарина и отвернулся.

Все-таки порядочная скотина этот Опарин. Старается во всем угождать «старикам», надеясь, что они благосклоннее к нему будут и перестанут каждую минуту оскорблять и угнетать. Он единственный из «сынов», кто стирает носки и одежду старослужащим. Остальные наотрез отказались и были биты жестоко, но зато теперь с этим никто к ним не пристает, а Опарин обстирывает всех «дедов» и поныне.

«Кто гнется, того и гнут», — предупреждал старший брат, и Костомыгин, послужив немного в армии, убедился, что это так. Только он прибавил бы теперь к сказанному братом вот что: но нужно всему знать меру. Вон Крылов, он не знал этого, его строптивости не было предела, он отказывался выполнять даже самые необидные и мелкие поручения «дедов», и ему устроили «жизнь по уставу». Ни один человек в армии не живет по уставу; ежедневно и еженощно неукоснительно выполнять уставные требования и предписания — это выше человеческих сил, и ни рядовым, ни генералам, ни маршалам это не под силу, и самый бравый вояка взвоет в первый же день «жизни по уставу». И Крылов не выдержал и написал домой мрачное и правдивое письмо. Родные отослали это письмо в Министерство обороны, и вскоре в полк прикатила гремящая «телега», начались расследования. Крылов призывал «сынов» рассказать всю правду, но никому не хотелось рассказывать правду; «сыны» трезво рассудили, что всех «стариков» в дисбат не упекут, наказать могут одного-двоих, а с остальными придется как-то сосуществовать, — и Крылов оказался в одиночестве. В ходе расследования выяснилось, что его кантовали законно — по уставу, и дело прикрыли, а Крылова отправили служить в подсобное хозяйство — на свинарник. Костомыгин часто видел его возле столовых: грязный, небритый Крылов выносил баки с объедками и опрокидывал их, обливая жижей руки и сапоги, в железную столитровую бочку на колесах, — эту «двуколку» таскал белый трофейный ослик Дух.

Нет, всему нужно знать меру. Меры не знал Крылов, меры не знает Опарин, — даже если он и впрямь не хочет есть, мог бы предложить фарш кому-нибудь из своих, хотя бы и ему, Костомыгину. Да, вот два полюса: Опарин и Крылов, и нужно ни туда, ни сюда не скатиться. «Напишу брату, что он скажет на это?» — подумал Костомыгин.

— Слушай! — резко сказал Шварев. — А ежели, к примеру, зимой мне будет холодно, отдашь свою шинель? Знаешь, какие тут зимы? У-у!

— Э, да ты зимой будэшь мамкины блыны хавать, — напомнил Мамедов.

— Погоди, Мамед, — отмахнулся Шварев. — Ну, Опарыш, отдашь?

Опарин испуганно поглядел на него.

— Отвечай.

— Если очень нужно будет... — пробормотал Опарин и умолк.

— А если бы у тебя баба тут была, уступил бы бабу?

— Ну, вы скажете, товарищ сержант, — застенчиво улыбнулся Опарин.

— Нет, но предположим. Отвечай.

Опарин растерянно заморгал.

— Отвэчай, чморына болотная, — процедил сквозь зубы Мамедов, улыбаясь глазами.

Опарин вздрогнул и сказал едва слышно:

— Это слишком...

— Что-о? — вскричал Шварев.

— Слишком фантастический пример, — добавил Опарин.

— А, жук! Тварь скользкая. Какой ты разведчик? Тебя нужно гнать вслед за Крыловым. Жри свой фарш. Не хочется ему. На операции надо жрать через силу.

— Как похаваешь, так и повоюешь, — вставил Мамедов.

— Ясно? — спросил Шварев. — Это уже вторая ошибка. Помнишь первую?

— Помню, — уныло ответил Опарин, принимаясь за фарш.

Шварев закурил и взглянул рассеянно на Костомыгина.

— Костыль, а ты что отвернулся? Гордый, да?
— Просто смотрю на кишлак, — откликнулся Костомыгин.
— Нэ-э-т, — сказал Мамедов, — нэ просто. Он прэзирает Опарыша.
— Ты презираешь Опарыша? — спросил Шварев.
— Нет, — соврал Костомыгин.
— Ну, а то гляди, в два счета превратишься в Опарыша.
— Вообще-то сыны прыпухли, — заметил Мамедов, прихлебывая из фляжки. — Я вчэра потрэбовал цивыльную сигарэту, а Костыль нэ принес.
— Серьезно? — Шварев, сощурившись, уставился на Костомыгина.
— Надо, надо подкрутыт им гайки. Мы всё Опарыша воспытываем, а про остальных забыли.
— Так, — сказал Шварев. — Вернемся в полк, Костыль, и мы с Мамедом увидим пачку «Явы», Опарыш сосчитает до ста, и мы увидим пачку «Явы». Понял?
— Понял, — отозвался Костомыгин.
— Что?
— Так точно, — поправился Костомыгин.
— Эх! эх! прыпухли! — покачал головой Мамедов.

Позавтракав, все уселись на верху машин, и колонна тронулась в обратный путь.

Возле кишлака на берегу той реки, что так красиво мерцала под луной минувшей ночью, колонна нагнала старенькую желтую открытую «тойоту», набитую вооруженными людьми в разноцветных чалмах и просторных одеждах. Рядом с шофером сидел худощавый усач в форме офицера царандоя. Он вышел из машины и, улыбаясь, направился к БМП ротного.

— Мондана бощи хуб ести! — поприветствовал он ротного.

Ротный наклонился с машины и пожал его смуглую руку.

— Как дела, Акбар?
— Хуб, командир, — ответил офицер, выискивая среди солдат на БМП кого-то. Увидев таджика Кучечкарова, он махнул ему рукой: — Ахат!
— Эй, Кучечкаров! — позвал ротный, обернувшись назад.

К ним подошел хрупкий чернявый солдат. Пожав руку афганскому офицеру и коснувшись три раза щекой его колючей щеки, Ахат начал переводить. Выяснилось: они едут в полк, чтобы сообщить о прибытии большого каравана с оружием в соседний кишлак Паджак. Ротный недоверчиво спросил: откуда они знают, что с оружием? Может быть, верблюды нагружены тряпками, съестным и всякой всячиной, может, это обычный караван бродячих торгашей? Офицер обиделся и ответил, что в Паджаке у него есть свои люди и у этих людей острый глаз и честные языки. Ротный спросил, когда караван появился в Паджаке. Офицер сказал, что на рассвете. Но, возможно, они уже смылись, предположил ротный, вы отправились к нам в полк, а они в это время и смылись. Куда же они днем пойдут, что, их бешеный шакал покусал, возразил офицер Акбар.

— Кто это? — спросил Костомыгин Шварева.
— А, из Спинди-Улии ребята, у них там отряд самообороны, — небрежно сказал Шварев. — Чуть что — к нам в полк, за подмогой бегут. Но угощать горазды. Мамед, помнишь шашлыки?

Мамедов закачал головой и сладко зацокал.

— Ну, кажется, будет дело, — сказал Шварев, и глаза его заблестели. — Эй, Костыль, Опарыш! Будет вам крещение! Чую, неспроста они в полк поперлись.

Усач уже терял терпение, горячился и размахивал руками, убеждая ротного, что его сведения не липа. Ротный и сам догадывался, что это так, — караван, который они поджидали, свернул в Паджак, вот и все, — но он все же дотошно расспросил Акбара обо всем: сколько верблюдов, сколько людей, не появлялись ли в Паджаке подозрительные типы в последнее время и так далее, и только после этого связался с полком и попросил соединить его с кэпом. Минут через десять кэп ответил.

Переговорив с кэпом, ротный махнул афганцам, его машина развернулась и поехала по дороге вдоль реки; за ней потянулась и вся колонна, афганцы на раздолбанной «тойоте» пристроились в хвосте.

— Будет вам крещение, сынки! — крикнул Шварев, хлопая Костомыгина по плечу.

Опарин изобразил радость на лице и воинственно тряхнул автоматом.

Колонна летела в солнечных клубах пыли над мелкой сверкающей рекой. Колонна ревела, выбрасывала черные дымы и грозно хрустела траками гусениц, и Костомыгин, завороженный и оглушенный грохотом и стремительным движением сквозь солнце, пыль и густой полынный аромат степи, думал, что напишет брату обалденное письмо, обалденное! Эта ночь, этот запах цветущих садов, эта луна, эти холмы под звездами, соловьи, засада, вопли муэдзина на заре, разочарование, а потом эта встреча, и вот — солнце, пыль, лязг и копоть, и ожидание, и неизвестность: что там будет, в этом Паджаке? какой он, Паджак? как они будут захватывать караван? сколько там мятежников? какие они, мятежники? свирепые, бородатые... кто погибнет? а вдруг кто-то погибнет? Вон Опарин возьмет и погибнет, вот он сидит рядом, а через час погибнет... или он сам, Костомыгин, погибнет — успеет вспомнить всё и всех и умрет в пыли, палимый солнцем, его тело отправят домой, и будут над ним рыдать друзья и родные...

Он был уверен, что на этот раз все будет настоящим и он напишет брату про свой первый настоящий рейд, напишет, потому что он не погибнет и вообще никогда не умрет. Ну, впрочем, когда-нибудь, может, и умрет, но это будет черт знает когда, через уйму лет, через тысячу лет!

Паджак оказался небольшим кишлаком, мало чем отличающимся от других, увиденных нынче Костомыгиным: серые дувалы — высокие и низкие, серые башни — круглые и многогранные, серые дома — квадратные и прямоугольные коробки с узкими оконцами — и очень зеленые, очень дремучие сады. Паджак стоял на берегу реки. Вокруг простирались уже чахнувшие, буроватые степи. А в Паджаке зеленели и благоухали сады. Как только колонна подъехала к кишлаку, Костомыгин ощутил душистый запах, и во рту у него снова стало сладко.

Солдаты облачились в бронежилеты, надели каски и попрятались за машины, опасаясь снайперов. Но кишлак выглядел вполне мирно: возле дувалов гуляли куры, старик прогнал по улице горбатую корову, там и сям то и дело показывались любопытные мальчишки, они вытягивали шеи и таращились на запыленные машины кафиров [1].

Солнце полыхало в голубом небе, и было очень жарко, чертовски жарко. Солдаты обливались потом, курили и поглядывали из-за машин на кишлак.

— Ну, сейчас мы накроем голубчиков, — сказал Шварев, затягиваясь сигаретой.
— Чего же мы ждем? — спросил Костомыгин.
— Ишь, нетерпеливый, — усмехнулся Шварев. — Дядя Витя знает, что делает. — (Дядей Витей «деды» между собой называли ротного.) — Уж ты не беспокойся, он знает свое дело.

Но прошло полчаса, и Шварев тоже начал нервничать и недоуменно посматривать в сторону машины ротного.

— Мамед, — позвал он механика-водителя, — что зто он, правда, волынку тянет?

Мамедов пожал плечами:

— Черт его знаэт. Может, пэхоту кэп подкинет?

Шварев поморщился.

— Да сколько там этих караванщиков? Ну штук десять, ну, от силы — двадцать.
— А вдруг вэсь кишлак вооружится?
— Пока будем пехтуру ждать, духи все оружие закопают, попробуй потом докажи, что зто тот самый караван, который мы всю ночь прождали. — Шварев сплюнул.
— Нэт, лучше подождать. С пэхотой веселее, — возразил Мамедов.
— Товарищ сержант, можно мне попить? — спросил Опарин.

[1] Кафир — неверный.

— Можно Машку через ляжку! — рявкнул Шварев.
— Разрешите? — поправился Опарин.
— На операции воду нужно беречь, — сказал Шварев.
Опарин вздохнул и покосился на сияющую реку.
— Да что ты на реку смотришь! Из рек пьют только ослы и местные, их никакая хреновина не берет — им-му-ни-те-т. А ты желтуху сразу схватишь. Или тиф. Или еще какой-нибудь сифилис.
— Ясно, — сказал Опарин, облизывая сухим языком окаймленные черной запекшейся грязью губы.
Шварев вдруг замер, прислушиваясь.
— Что? — спросил Мамедов.
— Кажется, едут, — откликнулся Шварев.
Теперь и остальные услышали далекий гул и, повернув головы, начали глядеть на дорогу. Вскоре они увидели над степью пыльные хвосты.
Костомыгин нащупал планку предохранителя и сдвинул ее вниз до упора.
К кишлаку подъехали пехотная рота и четыре танка. Спустя десять минут операция началась.

Ахат Кучечкаров поднес к лицу мегафон и проорал кишлаку несколько отрывистых фраз, выдержал паузу и опять покричал.
Сдаться предлагает, понял Костомыгин.
Прошло несколько минут, но никто не появился, не вышел. Костомыгин удивленно глядел на кишлак и не мог понять, когда это хозяева умудрились очистить улицы от кур, ослов и мальчишек, — кишлак был пуст и нем.
Ахат вопросительно взглянул на ротного. Ротный сказал: «Хватит». И Ахат сунул мегафон в люк.
Несколько БТРов и БМП медленно двинулись на кишлак, солдаты в касках и бронежилетах с автоматами наперевес пошли за машинами. Они вошли в кишлак с одной стороны (чтобы не перестрелять друг друга, догадался Костомыгин) и рассыпались по улочкам.
Кишлак молчал.
Кто-то застучал прикладом в двери. Костомыгин вздрогнул, услышав резкий стук по дереву.
— А мы сюда, — сказал Шварев, сворачивая к обнесенному низким дувалом дому. Он ударил ногой в крепкие ворота, и немного погодя ворота растворились, и на улицу вышел старый костлявый человек с клюкой. У него было сморщенное лицо, желтые руки, покрытые прозрачной шелухой, и равнодушные глаза.
— Нис, нис душман, — проскрипел он.
Шварев молча отстранил его и прошел во двор.
— Медведь! На входе! — бросил он Медведеву и побежал к дому. Опарин, Костомыгин, Салихов и несколько пехотинцев кинулись за ним.
Они обрыскали двухэтажный дом, но никого, кроме кучки женщин в чадрах и детей, набившихся в крошечную, самую дальнюю комнату, и ничего, кроме тряпок, посуды и съестных припасов, не обнаружили.
Кто-то из пехотинцев предложил задрать бабам чадры, — вдруг это не бабы? Но Салихов запротестовал, а Салихова весь полк знал в лицо, и все видели не раз, какие штучки он выкидывает вдвоем с земляком на спортплощадке, и никто не посмел его ослушаться.
Они вышли во двор.
— Сараи проверим, — сказал Шварев, и все пошли было к сараям, но тут вдруг щелкнул выстрел, у ворот вскрикнули, и они метнулись к выходу.
Возле ворот сидел и крякал Медведев.
В кишлаке поднялась стрельба: солдаты поливали очередями окна, сады и крыши; застучал пулемет, разорвалась граната.
Подкатила БМП, и Медведева потащили к машине. Костомыгин тупо глядел, как Медведева подняли наверх и опустили в люк... Он ощутил ногами, что по земле пробежала дрожь, и удивленно посмотрел под ноги. Рядом взвились пыльные султанчики, и Костомыгин откинулся спиной на дувал.

— Сюда! — заорал Шварев, и Костомыгин, опомнившись, вбежал в ворота. От ворот полетели щепки, Костомыгин схватился за лицо и замотал головой.
— Что? Что? — кричал Шварев, отрывая его руки от лица. — Что? — Он нагнулся и заглянул в его лицо. — А! Ерунда! Щепки!
Костомыгин протер глаза, проморгался и оглянулся.
— Что делать? — спросил он у Шварева.
— Бей очередями по тому дому! — Шварев ткнул пальцем в сторону соседнего дома и дал по его окнам очередь.
И Костомыгин, прячась за дувалом, начал выпускать длинные очереди по соседнему дому.
— Болван! — крикнул Шварев. — Береги патроны!
Было жарко. На зубах скрипела пыль. Хотелось сбросить горячую тяжелую каску и громоздкий бронежилет. Костомыгин выпускал короткую очередь, выжидал и снова высовывался из-за дувала и посылал несколько пуль в окна высокого и огромного дома, но никак не мог застичь врасплох пулеметчика. Пулеметчик давал очередь из окна и прятался, переходил к другому окну и бил оттуда.
В кишлаке шла стрельба. То и дело рвались гранаты. В воздухе висела пыль, и сильно пахло порохом.
Взрыкивали скорострельные пушки БМП, глухо и крупно стучали пулеметы. Пороховая вонь смешалась с запахом цветущих деревьев, и Костомыгина тошнило. Чертовски надоело привставать и стрелять, и снова пригибаться, и снова вставать, нажимать на курок и опять прятаться за дувалом. И такая жара, и так воняет порохом и цветами, и в ушах звенит, в горле пересохло, пулеметчик все лупит и лупит, и нет и не будет этому конца, а Медведев, наверно, все еще скулит и выгибается в душной машине, и нет и не будет этому конца... Из какого окна он сейчас будет бить? А где Опарин?
Костомыгин обернулся и увидел слева от себя мокрую, красную рожу с выпученными глазами. Костомыгина затошнило еще сильнее. Он хотел заставить Опарина стрелять, а не стоять столбом перед дувалом с вобранной в плечи головой и опущенным автоматом, но вдруг сообразил, что пулеметчик уже не стреляет. Он осторожно выглянул и обшарил глазами пустые черные окна. Поднял голову еще выше и увидел, как из дверей дома во двор вышел широкоплечий мужчина с поднятыми руками, за ним сгорбившийся парень, а позади этих двоих шли Салихов и пехотинец.
— Они их взяли! — потрясенно закричал Костомыгин Швареву.
— Опарыш! Костыль! — крикнул Шварев на бегу, и Костомыгин с Опариным побежали за ним.
Они выбежали на улицу, достигли ворот соседнего дома и ворвались в тесный дворик.
Шварев молча подлетел к горбоносому, сухопарому, плечистому мужчине в разорванной длиннополой голубой рубахе и ударил его в подбородок прикладом. Горбоносый запрокинул голову, но устоял на ногах. Большеглазый парень, стоявший чуть позади мужчины, съежился и вскрикнул, как будто это его ударили с разбегу прикладом. Мужчина выпрямился. Изо рта у него плыла кровь.
— Какая ж сука Медведева подстрелила? — крикнул Шварев.
Мужчина смотрел на него исподлобья, и на его заросших черной щетиной щеках бугрились желваки. Парень стащил с головы грязную чалму и закрыл ею лицо.
— Ну что? — спросил Салихов.
— Они Медведя подстрелили, — сказал Шварев, оглядываясь.
Салихов кивнул.
— Так, — сказал Шварев, утирая потное лицо рукавом. — Все. Мурд, ребята, мурд. Все, хана, — сказал он пленным, и плечи парня задрожали, а у мужчины сузились глаза.
— Так, — пробормотал Шварев, — так... — Он оглянулся еще раз, встретился взглядом с глазами Опарина и повторил: — Так.
— Тогда давай быстрей, — пробасил пехотинец, — пока офицеры не видели их. — Он подошел к парню и направил дуло автомата в чалму, которой тот все еще прикрывал лицо.
— Погоди, — остановил его Шварев. Он опять обернулся и посмот-

рел на Костомыгина и Опарина.— Погоди... Костыль! Бьешь по мужику. Опарыш! Вот этого кончишь.

— Молодые? Ну-ну,— одобрительно проговорил пехотинец, отступая в сторону.

Костомыгин почувствовал, как у него замерзает затылок. Противно, когда в такую жару так сильно мерзнет что-нибудь. У него застучали зубы. Он сжал зубы и посмотрел на Шварева: что он говорит? кому это он?

— Ну! — крикнул Шварев.

Солнце висело низко над степью, и край степи под солнцем, и узкая полоса неба над солнцем были рдяные. Раскаленный горький воздух медленно остывал.

Длинная колонна змеилась по вечерней степи, и над нею качались серые флаги пыли. Колонна возвращалась в полк. На верху машин, устало опустив плечи, сидели солдаты. Пленные со связанными руками находились внутри машин.

Пыль лезла в глаза и глотки, но солдаты не спускались внутрь: наедет машина на мину, и находящиеся внутри просто размажутся по стенкам, а сидящие наверху всего лишь слетят на землю. Эту простую истину знали все, воевавшие в Афганистане. Знали об этом и пленные караванщики. Они потели внутри машин, вздрагивали, когда машина подлетала на ухабе или ударялась брюхом о камень, и молились аллаху, чтобы он убрал с пути все мины. А может, молились, чтобы всех: и ненавистных кафиров, и их самих — разорвал к чертовой матери мощный фугас. Да, если машина нарывалась на фугас, то редко кто оставался в живых: десятитонные машины опрокидывались, как пустые жестянки, и сидящие наверху превращались в лепешки.

Колонна везла в полк одиннадцать пленных и уйму трофеев: итальянские мины, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, ящики с патронами и гранатами, солидный груз медикаментов — американских и западногерманских.

Пехотные офицеры были довольны операцией и знали, что кэп тоже будет очень доволен. Командир разведроты был хмур и зол: по дороге в полк скончался Медведев — пуля порвала ему кишки,— а командир первого взвода, лейтенант, был серьезно ранен в голову. Не удалось на этот раз чисто сработать...

Костомыгин, один из всего экипажа, лежал внутри БМП на ящиках со снарядами. Он курил сигарету за сигаретой, и ему было наплевать, рванет мина под его машиной или не рванет.

«Мне все равно»,— злобно думал он.

Ему на самом деле было это безразлично, подорвется или не подорвется машина. Он думал об Опарине, и о Салихове, и о том горбоносом мужчине с окровавленными губами. Он хотел не думать обо всем этом, хотел как-нибудь заснуть, заснуть таким сном, чтобы проснуться через тысячу лет и ничего не помнить. Но не думать и не помнить не получалось. И он думал и помнил.

Он отлично помнил все, хотя во время боя ему казалось, что это не он, и все было призрачным и смутным. Но теперь это было отчетливым и походило на замедленные кадры фильма.

Он прекрасно помнил всё, все звуки, голоса, движения. Помнил, как землю под ним пробрала дрожь, как хрустнуло дерево ворот и щепки ударили в лицо, как они бегали по сумеречным комнатам дома, как кто-то из пехоты предложил проверить женщин под чадрами, может, у них усатые морды? И то, как он устал стрелять по окнам соседнего дома, а потом увидел во дворе горбоносого мужчину с поднятыми руками, и парня, и Салихова, и пехотинца... Все-таки интересно, как им удалось провернуть это дело? Интересно?.. Какая теперь разница!.. Плевать.

Он влепил короткую очередь в широкую грудь горбоносого, и тот упал, повыгибался на земле, выдувая носом алые пузыри, и замер.

...Но Медведев же умер по дороге в полк! Ведь он умер? Так и нечего...

А Опарин? Кто бы мог подумать. Ну кто бы мог подумать?..

Костомыгин думал об Опарине. Он ненавидел Опарина. Вспоминал, как, оглянувшись, увидел его потное, красное, трусливое лицо с выпученными глазами, и стонал от отвращения и ненависти.

«Он это из трусости не сделал. Он трус. Он трус»,— повторял Костомыгин, но легче от этого не становилось.

Опарин не выстрелил. Шварев грозил ему, кричал на него, но Опарин не выстрелил. Что ему стоило нажать на курок, ну что ему стоило? Он обливался слезами и просил отпустить его. Отпустить? Куда? Домой к мамаше? Он совсем чокнулся, он истекал слезами и просил, чтобы его отпустили... Боже, что с ним будет в полку!

«Какая мне разница, что будет с этим слизняком! К черту его. Он трус, обыкновенный трус, и нечего о нем думать. Вот Салихов...»,— думал Костомыгин, затягиваясь сигаретой. Он накурился уже до тошноты и едва сдерживался, чтобы не стравить, но доставал из пачки новую сигарету и прикуривал. «Вот Салихов... Неужели там был еще и Салихов?» — спрашивал себя Костомыгин, морщась.

Но в тесном дворике был и Салихов. Это же он вместе с пехотинцем захватил мятежников, долбивших из пулемета.

Да, там был и Салихов. И когда Салихов понял, что Опарин не будет стрелять, что Опарин скорее сам застрелится, чем будет стрелять, когда он это понял, он подошел к парню, который все не отнимал от лица свою растрепанную грязную чалму, и убил его рукой. Он убил его пустой рукой, и это никого не удивило. Он это так быстро сделал, что можно было подумать, будто парень умер своей смертью,— вдруг остановилось сердце, и он замертво упал.

Костомыгина трясло на ящиках со снарядами, он затягивался сигаретой, и ему не хотелось умирать черт знает когда, через тысячу лет. Ему хотелось, чтобы сердце остановилось сейчас. Но оно не останавливалось.

Желтая гора

Было сухо, тепло и желто. Тело было легкое. Странная женщина, вросшая в землю, кормила его с рук красными ягодами. Белый пушистый ком прижимался к щеке, теплый, тяжелый ком.

И раздался взрыв.

Прядильников закричал и проснулся. Он сел в постели, протер глаза, огляделся и понял, что он спал в своей однокомнатной квартире и что его разбудил трезвон будильника. Он потянулся, опустил ноги на пол, прошел к столу, включил магнитофон. По утрам он слушал рок. И в это утро он слушал рок. Это бодрило, как крепкий индийский чай или густой бразильский кофе. Прядильников раздвинул шторы. На улице было солнечно. Стояла ранняя теплая русская осень.

Прядильников прошел босиком в туалет, потом в ванную. Умывшись, он пошел в кухню, достал из холодильника три яйца, зажег газ под чайником и под сковородкой. Сковородка нагрелась, он опустил в нее кусок сливочного масла, масло быстро растопилось, и в желтую пенную лужицу выскользнули три яйца, выпуклых, бледно-желтых, подернутых прозрачной слизью.

Оставаясь в одних трусах, Прядильников сел за стол, съел яичницу, три бутерброда и выпил две чашки рубинового горького чая. Позавтракав, он вернулся в комнату, взял пепельницу, спички, сигареты и лег в постель, треснул спичкой, прикурил.

Над лицом вились сизые чубы и локоны.

Рок рокотал: эй, пойдем с нами, у нас все просто, черное — черное, белое — белое, лучше лежать на поляне с подругой и банкой пива, чем играть в игры взрослых идиотов, лучше быть нищим, но никому не врать, никому не подчиняться и никем не повелевать, мы советуем тебе любить себя, подругу и пиво и не мешать остальным делать то же, это лучше,

чем рассуждать о любви ко всему человечеству, требовать, чтобы все друг друга любили, не любя себя, чтобы превыше всего ставили идею и долг,— это лучше, чем требовать, рассуждать, заставлять и время от времени устраивать резню ради торжества своих человеколюбивых идей, ты не верь, нет, не верь, никому, никогда, ничему, дружище, не верь.

Никотин и рок растворялись в крови, Прядильников балдел.

Ты не верь, нет, не верь...

Настроение было что надо. Оно редко бывало хорошим. Этакая вечно надутая цаца. Все ей не так. А сегодня все так. С чего бы?

Кажется, приснилось что-то?

Да, вроде бы.

Надо вспомнить. Но — потом, потом. Сейчас — рок.

Прядильников посмотрел на часы. Пора. Он встал, надел джинсы, черный свитер и замшевые легкие туфли. Поглядел в зеркало. Ничего. Посвежел. Прихрамывая, Прядильников вышел из квартиры.

У подъезда стоял его «броневик» — «Запорожец» песочного цвета. Прядильников протер тряпкой затуманенные стекла, сел, повернул ключ зажигания, прогрел мотор, включил первую скорость, тронулся. «Броневик» проплутал по каменным лабиринтам, выбрался на широкую улицу и заскользил мимо остановок и толп, магазинов и ресторанов. Прядильников включил приемник, покрутил колесико настройки и нарвался на рок. Рок рокотал все то же: если ты не успел свихнуться от речей и призывов пузачей в цилиндрах, иди к нам, мы никуда не идем, потому что некуда идти, и мы не врем, что куда-то идем и в конце концов придем, мы топчемся на месте, и нам наплевать, кто ты — красный или черный, левый или правый, христианин или буддист, безбожник или анархист, ты человек, и этого достаточно, и этим все сказано, ты пришел к нам, значит, ты устал от человеколюбивых басен, написанных твоей и моей кровью, пускай они проламывают друг другу цилиндры и головы, а мы будем смотреть на солнце, целовать подруг и слушать рок, нас объединяющий рок, нашу идеологию и религию — рок!

«Хорошо,— подумал Прядильников.— Только наивно, ребята. Дяди в цилиндрах вдруг поругаются, обзовут друг друга козлами и пришлют вам повестки. И никуда вы не денетесь, пойдете защищать честь цилиндров и выпускать кишки братьям во Роке».

Он въехал на стоянку, подумав, что сегодня нужно было не сюда приехать, поставил свой броневик рядом с черными и серыми «Волгами» и захромал к парадному входу дома с колоннами. «Не туда приехал»,— опять подумалось.

В здание входили степенные мужчины в костюмах и при галстуках, они чинно кивали и подавали друг другу мягкие белые руки; входили и женщины, одетые на один лад — а-ля Железная Леди из Лондона.

В доме с колоннами, на четвертом этаже, под крылом и неусыпным оком областных властей находились редакции двух газет, партийной и молодежной. Сотрудником последней и был хромоногий прокуренный худосочный молодой человек по фамилии Прядильников. Уже год он приходил в этот дом каждое утро. Пора бы привыкнуть. Но не привыкалось както. И в это утро, оказавшись в просторном вестибюле с зеркалами, автоматами для чистки штиблет и двумя милиционерами за столиком с черными и белыми телефонами, Прядильников почувствовал неловкость, как если бы он незваным гостем заявился на пир, к тому же, на пир иностранцев. Он прошел мимо милиционеров, глядя в сторону. Так и не научился барски кивать им, а братски — не мог.

Здесь было два лифта, один отвозил тех, чьи кабинеты были в правом крыле, другой — левокрылых кабинетчиков. Ему нужно было налево, но среди левокрылых он увидел знакомое круглое лицо и повернул направо. Ну его, этого Завсепеча. Прилипала. Он заведующий сектором печати, под его контролем пресса всей области. Начинал партсекретарем в колхозе «Двадцать лет без урожая» или как там. Теперь — Завсепеч.

Однажды, накануне 23 февраля, Завсепеч предложил Прядильникову

выступать на торжественном собрании. Прядильников отказался: не умею говорить, не знаю, что говорить, нет. Завсепеч начал подсказывать, что нужно и как нужно, и разошелся: наш народ столько лет живет под мирным небом, а тебе, твоим сверстникам выпала... э-э... выпало... выпала, то есть обстоятельства так сложились, что вам... вас позвал интернациональный долг с оружием в руках защищать весеннюю революцию братского южного соседа, и вот вы оказали эту помощь, не мог бы ты прийти с орденом, чтобы мы могли полюбоваться и удостовериться, что на смену нам идет достойная смена, традиции, интернационализм. Испания, герои революции, южные рубежи, американцы не дремлют, что где плохо лежит, они тут как тут — цап! — но вы не дали этим коршунам и ястребам расклевать юную революцию, террор, бандиты, происки, отвага, честь, русское оружие, солнечному небу — да! да! да! — ядерному взрыву — нет! нет! нет!

— Я отдал орден в починку,— сказал Прядильников. Редактор из-за спины Завсепеча показал ему кулак.— Это как же? — удивился Завсепеч. Редакция весело молчала. Редактор корчил жуткие рожи позади Завсепеча.— Резьбу сорвал,— сказал Прядильников. Часто надевал.— Выступишь без ордена,— отрезал редактор.— Он выступит, Демьян Васильевич.

Но Прядильников на следующий день выпросил у заведующей отделом, своей начальницы, задание и исчез на целый день. С тех пор Завсепеч останавливал при встречах Прядильникова, похлопывал его по плечу и говорил:

— Молодой человек, мне кажется, ты чего-то недопонимаешь, конечно, ты принимал непосредственное, как говорится, участие, но из окопа видишь только одно поле боя, и, даже если видишь все поля сражений,— этого недостаточно, потому что, кроме явных сражений, есть тайные, незаметные поверхностному взгляду, есть хитросплетения, недоступные поверхностному мышлению...

Прядильников вошел в кабину с двумя женщинами и седовласым мужчиной. Лифт поплыл наверх. Мужчина неодобрительно смотрел на ветхие джинсы журналиста, наверное, он жалел, что только женщинам запрещено входить сюда в капиталистических штанах. Прядильников поглядывал на женщин в строгих костюмах. Сухая вода. Кривая прямая. Сладкий лимон. Впрочем, правильно, все правильно, подумал он, глядя на чиновниц. И еще правильнее будет выгнать к черту всех мужиков из этого дома. Мужики нет-нет, да и дадут слабину. А эти уж — шиш.

Он вышел на своем этаже и заковылял по малиновым ковровым дорожкам в левое крыло. Проходя мимо двери, на которой было написано «Обллит», вспомнил, как однажды застопорили вторую полосу молодежной газеты. В литературоведческой статейке в одной строке оказались один известный писатель и Булгаков. Редактору позвонили и сказали, что известный советский писатель и Булгаков в одной хвалебной строке — нонсенс. Редактор — покладистый мужик. Но иногда стих на него накатывает, ходит он ходит, молчит и молчит, делая, что скажут, и вдруг увидит очередной кумачовый лозунг: «Топтать головные уборы строго воспрещается!» — сорвет шапчонку и — давай ее месить ногами. И в тот раз стих нашел. Редактор ответил, что он, весь коллектив редакции, автор статьи и умные люди планеты не видят в этом никакого нонсенса. Но тот, кого он таким образом зачислил в неумные люди, был выведен из себя и сказал следующее: воспевание белятины на руку врагам, враждебная ностальгия, упаднический тон, мировые ценности социалистического реализма, выпады и шпильки, растлевающее влияние на формирующиеся сердца и умы, искаженное изображение действительности, мы, советские люди, ощущая величие будней, мы заявляем решительное нет! — не стоять рядом с советским грандиозным литератором этому воспевателю, оплевывателю!

Но редактор — ни в какую: «Пускай газета вообще не выходит. Весь номер». «Это как? Как понимать? Саботаж?» «Да, саквояж»,— ответил шеф и бросил трубку. Через пять минут его вызвал Главный Цензор Обллита. Он выслушал шефа и порекомендовал растянуть предложение так, чтобы один писатель стоял в одной строке, а другой — в другой. Соломон.

Армейская оратория

Его зовут Акимов. В то время, о котором речь, он был майором, начальником штаба полка. Коренастый, невысокий майор с твердым взглядом, маленькими руками и вечно сияющими сапогами. Выбрит. Ни пылинки на форме, хотя место было пыльное, — вокруг полка летом по степи всегда танцевали пыльные джинны, время от времени они сговаривались и кагалом валили на полк, и небо меркло, солнце гасло, и новозаветная тьма покрывала наш палаточный городок.

Мы, четверо солдат, были в наряде, дежурили на КПП. Это был долгий наряд, он длился пять месяцев. Начальству казалось целесообразней иметь на КПП постоянных дежурных. И действительно, это было лучше, чем сменные наряды, которые несли службу не очень исправно. Мы же, вечные дежурные, дорожили жизнью без ежеминутной офицерской опеки, без построений, зарядок, маршировок и служили рьяно. Все называли КПП хутором и завидовали нам. Каменный домик, вернее, сарайчик, стоял в километре от полка, на дороге, уходящей в степь; эта дорога да еще одна на другом краю полка — две дороги были единственными незаминированными отрезками земли, полк окружали минные поля, и дороги соединяли полк и чужой, враждебный мир.

Круглосуточно мы стерегли дорогу. Двое спали, двое, облачившись в бронежилеты, несли дежурство. Кормились мы в батальоне. Ну и, конечно, был у нас очаг в окопе, чайник и таз для плова. На стенах висели вырезки из журналов, на столе лежали книги, в тайнике хранился коротковолновый приемник. Была колода самодельных карт. Неплохо жили.

Еженощно к нам наведывался дежурный по полку, иногда наезжал начальник штаба Акимов или замполит полка.

Акимов любил Блока. Поэта. Александра Блока.

Как-то он заехал к нам проверить, не опились ли мы браги или не накурились ли анаши. Мы не опились и не обкурились, и всюду у нас был порядок, и подворотнички свежие. Майор остался доволен нами. На столе он увидел томик стихов Блока, спросил, чья книга, я сказал, что взял ее в библиотеке, он продекламировал меланхолически: «По вечерам над ресторанами», — сказал, что это любимый его поэт, и взял томик, разрешив мне через неделю за ним прийти. Через неделю я пошел в полк, прождал майора в штабе час, он появился, пригласил в кабинет, протянул книгу и сказал: хрустальные стихи. Я ответил: да, не железные. Он внимательно посмотрел на меня. Я вспотел. Ну иди, отпустил он.

Майор Акимов прервал нашу хуторную жизнь.

Это было вечером. Шел снег. Мы топили печку. Один в брезентовом плаще вышагивал перед шлагбаумом; иногда он подходил к окну и смотрел на нас. Мы готовили праздничный ужин. У нас было жарко, дымно, шумно. Мы пекли лепешки и жарили картошку. У нас был именинник. Он, застенчивый парень, сидел сложа руки и ждал подарков и гостей. Вскоре гости пришли. Их было двое, они принесли в подарок пол-ящика сгущенки и подтяжки: носить подтяжки у нас было очень модно.

Мы уселись вокруг стола, разлили по кружкам виноградный сок, я встал, чтобы произнести речь, но часовой постучал по заснеженному окну и сказал: машина! Все перепугались и начали прятать под койки праздничную снедь, гости бросились вон. Я останавливал всех и говорил: ну что тут такого, если у нас именинник? Но меня никто не слушал.

Машина подъехала. Мы ждали. Хлопнула дверца. Донесся глухой голос нашего часового, он доложил, что за время его дежурррства — и все такое. Дверь отворилась, и в домик вошел хмурый майор Акимов и дежурный по полку, лейтенант. Акимов окинул взглядом наши распаренные, встревоженные лица. Из-под коек пахло лепешками и картошкой, на столе лежали хлеб, консервы и горка порезанного репчатого лука.

— Доставайте, — сказал Акимов. — Всё.

Мы вытащили из-под коек сковороду и тарелку с лепешками.

— Я сказал всё, — напомнил Акимов.

— Это всё, — сказал наш сержант.

— Брагу!

Мы пожали плечами.

— Лейтенант, — позвал Акимов.

Лейтенант обшарил все углы, заглянул под подушки, вышел на улицу.

— Товарищ майор, — начал объяснять наш сержант, — у нас именинник...

Лейтенант вернулся с заснеженными гостями.

— В окопе лежали.

— Так, — сказал, оживляясь, майор. Он снял шапку, пригладил волосы и сел на табурет.

— Откуда? — спросил лейтенант у гостей. Те мялись, понуро клонили головы и молчали.

— Откуда? — тихо спросил майор, и гости вздрогнули, вскинули головы и назвали свои фамилии и подразделения.

— На КПП посторонним запрещается, знаете? — спросил лейтенант. Гости молчали.

— Знаете? — спросил майор, и гости хором ответили: так точно! никак нет!

Один знал, другой нет.

— Так, — сказал майор. — Сержант, вы тоже не знаете?

— Да, но именинник, — сказал наш сержант, — а мы в вечном наряде...

— В вечном? — Майор побледнел. — Паразиты, — сказал он тихо. Посмотрел на стол и вдруг рубанул ребром ладони по ручке сковороды. Картошка вывалилась на пол.

— Именины, — процедил майор, вставая. — Именины! У них именины! Кругом враги, того и гляди всем глотки перережут! Я говорю: война! А у них именины. Име... Ты пачччему сидишь?

Именинник вскочил с койки и вытянул руки по швам.

— Зажрались, закабанели! Веч-ч-чный наряд! Я вам покажу веччный... Я вас научу... мать... Весь полк в цинкачи? В цинкачи, да?.. У них именины! Нет, лейтенант, ты погляди, ты только погляди на барсуков ссулявых! Вечный наряд!

Кто-то, я уже не помню кто, хихикнул. Наверное, от страха. И этого было достаточно, чтобы начштаба совсем сошел с орбиты.

— Смешно? Вам смешно?

Он схватил буханку хлеба, тяжелую, корявую, и смел со стола банки, соль, лепешки, кружки. Один гость струхнул и бросился вон, лейтенант выскочил следом и приволок его в дом. Уцепил его за ухо: ты что, а? что такое ты? куда это ты? может, к духам?

Солдат заплакал. Майор побледнел еще сильнее, гадливо сморщился.

— Убрать все! Живо!

Я взял веник, чтобы замести картошку, лепешки, соль.

— Руками, — сказал майор. — Ручками. Р-ручками! Ну!

Я стоял, опустив голову. У меня дрожали ноги.

— Ну!

Не знаю. Может, я нагнулся бы и начал убирать снедь руками. Не знаю. Вообще-то я трусоват. Но мне не пришлось окончательно струсить, потому что наш сержант вдруг выкинул фортель: шагнул к пирамиде с автоматами и четко проговорил:

— Мы на боевом посту.

Печка дудит. За окном снег. Молчание.

Майор оглянулся на лейтенанта.

— Но! — сказал лейтенант и шагнул к сержанту.

Майор засмеялся:

— Кино! Нет, от скуки не помрешь. — Он перестал смеяться. — Ладно. На губу все пойдете. Наряду — по семь суток, гостям — по трое. А тебе, — сказал он сержанту, — а тебя я...

— К Жилмурдаеву его, — подсказал лейтенант, — он любит таких бедовых.

Жилмурдаев был командиром третьей роты пехотного батальона, к нему отправляли на перевоспитание «трудных». «Трудные» быстро становились легкими.

В отделе учащейся молодежи уже было дымно и пахло кофе. Заведующая отделом захлопала в ладоши:

— О! Федя и вчера не пил!

— Денег, видно, нет, — предположил бородатый корреспондент отдела, красивый и печальный, как Гаршин.

— Федя, иди ко мне, — позвала заведующая.

Прядильников приблизился к ее столу, она положила сигарету на край пепельницы, привстала, цепко обхватила рукой его шею, пригнула его голову и поцеловала в губы. Бородач сказал: бис.

Корреспондентка, недавняя выпускница МГУ, крошечная девочка с большими карими глазами и кудряшками, покраснела и отвернулась.

— Ладно, больше не буду, а то Марина нальет мне когда-нибудь яду в кофе, — сказала заведующая и отпустила Прядильникова.

— Хм! — сказала юная журналистка.

Прядильников сел за свой стол.

— Марина, дай же ему кофейку, — сказала заведующая, беря сигарету и затягиваясь.

— Хочешь? — спросила крошечная журналистка, тепло взглядывая на Прядильникова. Он кивнул.

Девушка встала, грациозно прошла к книжному шкафу — бесшумно и плавно, взяла кофейник, налила в большую чашку коричневой жижи и отнесла ее Прядильникову. Тот поблагодарил, взял чашку, коснувшись пальцами ее маленьких пальцев. Заведующая, тридцатилетняя женщина, уже начавшая борьбу со здравым смыслом и временем, осторожно улыбнулась, — она с недавних пор редко и осторожно улыбалась, чтобы было меньше морщин. Борода тоже улыбнулся, мечтательно: какие ножки.

— Федя, у тебя что, действительно нет денег? — спросила заведующая.

— Есть, — откликнулся Прядильников, прихлебывая кофе. — Просто я решил стать ангелом.

— Я дам, ты не стесняйся, — сказала заведующая.

— Она даст, не сомневайся, — сказал вошедший в комнату фельетонист и карикатурист Гостев. — А мне дашь, Луиза?

Луиза, то есть Лиза, заведующая, ответила невозмутимо:

— А у тебя одно на уме.

— З. Фрейд говорит, что это у всех всегда на уме.

— Интересно, что сегодня на уме у шефа? Ты его видел? С той ноги он изволил встать с койки?

Гостев хотел отчебучить по поводу редактора и койки, но не успел. Дверь отворилась и, чадя папиросой, в комнату вошел редактор, крупный ушастый мужик в очках.

— Егор Петрович! — воскликнул Гостев, вытягивая руки по швам и выпячивая грудь. — Ррота! Смирррна!

— Пшел вон, — сказал редактор, показывая в улыбке большие прокуренные зубы.

— Эсть! — Гостев вышел вон строевым шагом, но тут же вернулся. — Разрешите здесь покараулить! — воскликнул он, замирая у двери.

— Балбес, — сказал редактор.

— Рад стараться!

— Доброе утро, Егор, — сказала заведующая.

Десять лет назад редактор вышел из комсомольского возраста, но считал себя молодым и поэтому настаивал, чтобы его звали просто Егором, если, разумеется, рядом не было посторонних.

— Доброе, — откликнулся редактор. — Кофе пьете?

— Кофе редактору! — рявкнул Гостев и бросился к шкафу наливать кофе в здоровенную глиняную редакторскую кружку.

Посмеиваясь, редактор сел на свободный стул.

— Ну, что ты, Федя, глядишь так печально своими синими брызгами? — спросил редактор, улыбаясь Прядильникову. Он всегда задавал этот вопрос, если вставал с той ноги. Синие брызги он одолжил у Есенина, своего любимого поэта.

— Федя и сегодня огурчик, — сказала заведующая.

— Дэ? — Редактор окинул его взглядом. — Что, нет денег? А я не дам, и не проси, ни! Бутылки пустые сдашь — на хлеб хватит. Просохни.

— Его женить надо, — сказала заведующая, поводя глазами в сторону Марины.

— Женим, — решительно сказал редактор.

— Скорее бы, — вздохнул Борода. У него жена убегала к матери, если он приходил пьяным и не мог убедить ее, что на то были веские причины.

Хорошенько размяв языки, журналисты взялись за перья.

Прядильников работал над статьей о военно-патриотическом воспитании в школах города. Прядильников писал. Сбоку на него поглядывала Марина. Борода ушел брать интервью. Заведующая искала какую-то книгу в шкафу.

Прядильников водил кончиком ручки по бумаге, а стая медленно опускалась в степь перед голыми мягкими горами; он и другие часовые молча смотрели, как большие черные птицы с маленькими головами садятся в траву и цветы; было раннее утро, было тихо, рота спала в бронетранспортерах, птицы приземлялись, складывали свои огромные крылья, чистили клювами перья и, озираясь, ходили в цветах, у них были белые полоски от клюва до груди и красные шапочки, они то и дело замирали, повернув лица в сторону колонны, и приглядывались; часовые не шевелились и, наверное, птицы принимали их за столбы, а бронетранспортеры им казались спящими зелеными черепахами; птицы с белыми шеями расхаживали по степи, птицы были черны, степь зелена, спали голые горы и стадо зеленых черепах, небо на востоке уже светилось ало, было тихо, тепло...

Отворилась дверь.

— Это я даже не буду передавать в Обллит, Федор, — сказал редактор, входя и протягивая рукопись Прядильникову. — Разорвут.

— Я так и думал, — ответил Прядильников.

— Понимаешь...

— Понимаю, что я, не советский, что ли.

— Ну, ты не обобщай. И не расстраивайся. Вот. И знаешь, пишика в стол пока. Когда-нибудь, быть может... гм. А сейчас — увы.

— Понятно.

— И еще. Знаешь, как-то однобоко все у тебя выходит. Неужели все так мрачно было? Один негатив, мм?

— Нет, почему. Сигареты бесплатные давали. На операциях можно было не бриться. Вернее, бриться-то нужно было, но офицеры смотрели на щетину сквозь пальцы. Что еще? Водку в бензобаках из Союза привозили.

— Ха-ха, — невесело хохотнул редактор.

— Тридцать чеков бутылка. Но можно было сбагрить дехканам старые сапоги, бензин, солярку, чтобы на бутылку набрать.

— Негатив, сплошной негатив. Журналист должен быть объективным. В одной статье должен быть и негатив и позитив. Вот что такое объективность.

— Не умею. Туп, однополушарен.

— Чего?

— Одно полушарие работает, то, которое пессимистическое, а оптимистическое от обжорства лопнуло.

— Не пори чушь. И учись быть объективным. Учись, Федор, — сказал редактор и вышел.

— Мемуары? — спросила холодно заведующая. Ей не понравилось, что Прядильников отдал рукопись редактору, а не ей.

— Мемуары. И ничего общего с темой нашего отдела, — сказал Прядильников.

Заведующая промолчала.

— Федя, — позвала Марина. — Дай мне, пожалуйста, почитать.

— Это ерунда.

— Ну, Федя.

Он пожал плечами и протянул ей рукопись.

И вдруг майор сказал:

— Нет. А тебе — благодарность!

Наверное, майор чувствовал себя вторым Суворовым.

С тех пор на КПП дежурили по суткам. Наша хуторская жизнь закончилась. Но не в этом дело.

Летом молодой солдат удрал из полка. Солдаты рыскали по степи, в кишлаках трое суток, но беглеца так и не схватили. Дело получило огласку, началось расследование. Выяснилось, что старослужащие... Ну да хватит страстей-мордастей — выяснилась всякая всячина нечеловеколюбивая, и в полк прилетели представители штаба. Расследовав дело, они решили строго наказать виновных. Перед возвращением в Кабул штабные собрали комсомольских активистов из всех подразделений для беседы. Моя рота послала меня, хоть я и не был никогда в жизни, а тем паче в армии, активистом, просто была у меня дурацкая привычка на всех собраниях задавать вопросы офицерам, чтобы повеселить зевающую публику, и офицеры считали меня активистом.

Беседа проходила в полковом клубе. Ни стен, ни потолка в этом клубе не было, были ряды деревянных скамеек, полукруг сцены, огромный вогнутый белый экран, небо и солнце. На сцене стояли столы, за столами сидели майоры и полковники в полевой форме: густые породистые усы, римские подбородки, очки в тонкой оправе, проницательные глаза, выбритые тугие щеки, белоснежные подворотнички, крепкие лысины и лоснящиеся от пота лбы.

Первым выступал начальник штаба нашего полка, майор Акимов. Он сказал: миролюбивая внешняя политика, но когда соседу плохо, и вот мы здесь, напряженные будни, происки империализма, необъявленная война, потери, трудности, славные Вооруженные Силы, рожденные в огне, традиции, высокий боевой дух, патриотизм, отличники боевой и политической подготовки, десятки успешных операций, кавалеры Красной Звезды, десятки награжденных медалями, три Героя... Акимов налил из графина в стакан воды и, как водку, выпил единым духом. Помолчав, он продолжил: но, несмотря на славные традиции, завещания дедов, несмотря на наличие отличников боевой и политической подготовки, несмотря на десятки успешных операций, трех Героев, кавалеров Красной Звезды и все усилия, прилагаемые командирами, политработниками, имеются отдельные недостатки, хоть с ними и ведется ежедневная кропотливая работа, то есть упорная и бескомпромиссная борьба... и вдруг случилось то, что случилось, случайно ли это случилось? и да, и нет, моральный кодекс, высокий гуманизм идеалов, гармония внутренней и внешней культуры, но бытуют в нашей жизни враждебные социализму уродливые пережитки прошлого, как стяжательство и взяточничество, стремление урвать побольше от общества, ничего не давая ему, бесхозяйственность и расточительство, пьянство и хулиганство, бюрократизм и бездушное отношение к людям, и вот отдельные несознательные элементы, прямо скажем, преступные элементы, позволяют себе физически и морально унижать человека!..

Я сидел в первом ряду и слушал. Я подумал: а может, мне... До демобилизации был еще год. Я смотрел на твердое лицо майора, на его маленькие крепкие руки, на лица штабистов, с удовлетворением слушавших майора, и думал: нет.

Я не встал и ничего не сказал. После майора выступали штабисты, они говорили то же самое, что и Акимов. Отобедав, штабисты улетели на вертолетах в Кабул. Старослужащих, причастных к побегу молодого солдата, посадили. Но остальные «деды» почему-то не образумились и продолжали физически и морально унижать «сынов».

— Федя, наверное, это слишком, — сказала Марина, прочитав рукопись.

— И тебе так кажется? Странно. Ведь это полуправда. На самом деле было хуже.

— А почему оратория?

— Музыка тут ни при чем. От слова оратор.

— Я так и подумала.

— Марина, твою статью я жду уже полнедели, — заметила заведующая Луиза-Лиза.

— Я сегодня сдам, — пробормотала Марина и уткнулась в бумаги.

— Федя, твой материал тоже запаздывает.

— Слушаюсь, — сказал Прядильников и взял ручку.

Он писал о военруках и наглядных пособиях, о воспитании молодежи в духе... традиции... заветы... патриотизм... мы, молодые, вихрастые, наши стремления ясные, нам подавай небосвод!.. А горы спали, и стадо зеленых черепах спало, было тихо, тепло. Но скрипнула крышка люка, из бронетранспортера высунулся прапорщик, он зевнул, окинул взглядом степь и замер, увидев черных журавлей, на миг он скрылся, появился вновь, осторожно сполз с машины и, пригибаясь, пошел в степь с автоматом, часовые следили за ним, птицы заметили его, вытянули шеи, застыли, прапорщик опустился на колено, приставил приклад к плечу, склонил набок голову, прицелился, птицы побежали, подпрыгивая и плеща крыльями, стая взлетела, бледно-красная очередь пронеслась над степью и впилась в черную стаю. Часовые смотрели молча. Это была первая операция Прядильникова, он трусил, не был уверен, что, услышав щелканье пуль у ног и свист осколков над головой, сохранит хладнокровие и поведет себя как мужественный воин, он боялся, что оплошает и побежит с поля боя или еще что-нибудь такое позорное сделает, он вспоминал всех мужественных кино- и книгогероев, но это не помогало, было тошно, аппетит пропал и все время хотелось мочиться, но рейд проходил спокойно, без единого выстрела, и вот этим утром второго дня Прядильников услышал стрельбу и увидел смерть: прапорщик опустился на колено, склонил набок голову, прицелился, и трассирующая очередь, трассирующая, трассирующая... трассирующая... трассирующая... «Куда-то утром захотелось уехать, — подумал Прядильников. — Что-то такое приснилось, и захотелось уехать. Что же это мне приснилось? ...трассирующая... трр-сс-шшш...»

— Луиза, — сказал Прядильников, — что-то как-то ни черта не идет.

— Федор. — Луиза строго посмотрела на него. — Не будь медузой, соберись. Сегодня надо сдать.

Прядильников закурил.

— Так, ребята, — сказала Луиза. — Я — в библиотеку. Этой книги у нас нет. Ведите себя прилично. — Она подошла к зеркалу на стене, поправила короткие темные волосы, подкрасила свои большие выпуклые губы, отступила на два шага, чтобы увидеть отражение ног, поглядела и, улыбнувшись себе, ушла.

Марина и Прядильников сидели за своими столами и молча писали. Марина иногда бросала на Прядильникова быстрые взгляды. Он ей казался сегодня особенно худосочным и уставшим, ей хотелось покормить его. Ей хотелось отобрать у него сигареты. Ей хотелось обметать суровой ниткой измочаленные края его джинсов. Ей хотелось погладить его хромую ногу.

Дверь отворилась.

— О! Пардон, пардон! — крикнул Гостев и скрылся.

Прошло минут десять, и в дверь постучали.

— Да! — отозвался Прядильников.

Дверь приоткрылась. В дверном проеме блеснули очки Завсепеча. Он как-то странно себя вел.

— Я не очень помешал? Можно?

— Пожалуйста, — озадаченно пробормотал Прядильников. Что это с ним?

— Извините, конечно, — сказал Завсепеч, входя. — Я, конечно, понимаю юмор, но... потехе — час, работе — время. — Он цепко оглядел Марину. — Здравствуйте, молодая особа.

Марина оторвалась от статьи, взглянула на него, покраснела и торопливо ответила:

— Здравствуйте.

— И ты здравствуй, ветеран, так сказать, — обратился Завсепеч к Прядильничову.

— Здравия желаем, так сказать.

Завсепеч в упор посмотрел на него: издевается ведь щенок, а?

— Разрешите присесть? — смиренно спросил Завсепеч.

Марина и Прядильников переглянулись.

— Садитесь, садитесь, ради бога, которого нет. Хотите кофе? Мы заварим.

— Нет, спасибо. Благодарю. Пишете?

— Да.

— Дела идут, контора пишет, хе-хе. И что, позвольте узнать, на сей раз взволновало ваши юные сердца?

— Мое юное сердце разрывается от горя, видя несовершенство военно-патриотического воспитания в школах города. А ее — от пьянства и всяких прочих родимых пятен и прыщиков буржуазного прошлого, вскакивающих на теле советского студенчества.

— Пьют студентики?

Марина кивнула.

— Безобра-а-зники. Но не подавляющее ведь большинство?

— Да-да, — ответил вместо Марины Прядильников. — Это нетипично. Она описывает частный случай. А вообще советские студенты очень и очень.

Завсепеч сощурился.

— Что?

— Ничего. Просто очень и очень, и все. Очень и очень и самые-самые.

— Критикуешь все, Прядильников, — сказал Завсепеч, улыбаясь. — Все черные очки на носу держишь, все из окопа на мир взираешь... Орден починил?

— Починил. Только новая беда: краска облупилась, надо покрасить, никак нужной краски не найду.

— Однако, — сказал Завсепеч и нахмурился. — Ты бы думал, что говоришь о государственной награде.

— Мы, журналисты, сначала говорим, а думаем потом, на ковре.

— И плохо! Очень плохо! Я бы посоветовал думать сначала. Хорошенько. Хороше-э-нько! — раздраженно проговорил Завсепеч. — Не пора ли быть серьезнее? Что у вас тут за балаган такой, понимаешь? Что за фиглярство такое? Мне этот стиль совсем не нравится. Разумеется, молодежная пресса несколько раскованна, и это накладывает отпечаток на облик сотрудников редакции, но не до такой же степени! Журналистика — серьезная вещь. Должно быть чувство ответственности. Если не хватает чувства ответственности, то стоит хорошенько подумать, на своем ли я месте.

— Я очень часто думаю, Демьян Васильевич: на своем ли ты месте? Это я так спрашиваю себя: на своем ли ты месте, Федя?

Завсепеч посмотрел пристально на Прядильникова. Марина испуганно улыбнулась и отвернулась к окну. От Завсепеча это не ускользнуло.

— Где редактор? — тихо спросил он. Он еще владел собою.

— У себя, наверное, я не знаю, — ответил Прядильников.

— Позвать.

Прядильников взглянул исподлобья на Завсепеча и повторил:

— Он, наверное, у себя.

Завсепеч уставился на Прядильникова.

— Сейчас, — сказала Марина и встала.

Но Завсепеч тоже поднялся и, ни слова не говоря, вышел.

— Ты обалдел, — сказала Марина.

— Я обалдел, — согласился Прядильников и закурил.

Вскоре за дверью послышался голос Завсепеча:

— Вот, Егор Петрович, вот, полюбуйся художествами. А? Но ведь это редакция, а не цирк. А если бы не я, а посетитель это увидел? Что бы он подумал о нас с вами? Пишут на уровне десятиклассников, а амбиции — о! о-го-го! Распустил ты, Егор Петрович, своих кузнечиков. Никакой серьезности, никакой политической зрелости, одна язвительность. Партия и правительство, понимаешь, заботу проявляют, вашему этому, так сказать, ветерану, понимаешь, автомобиль дали, квартиру дали, — как сыр в масле катается. Что у нас с тобой было в его годы? То-то. А он все язвит и ерничает, все корчит, понимаешь, из себя обиженного. Над государственной наградой изгаляется! В общем, так. Будем аттестацию проводить. Долго я смотрел сквозь пальцы на твоих кузнечиков — хватит. Понабрал, понимаешь, недоспелых всяких шутов — паяцев, понимаешь. Но есть, есть у нас грамотные, серьезные журналисты. Есть. В районках сидят годами. Опытные, зрелые. А ты хватаешь с улицы первого попавшегося. Пишет, как курица, а амбиции — о! о-го-го! И потом у меня есть сведения...

Дверь распахнулась, ударившись ручкой о стену.

— Погляди на него! — потребовал Завсепеч.

Редактор тяжело поглядел на Прядильникова.

— Ты погляди на его лицо. Ему же в ЛТП место. У меня есть достоверные данные.

Прядильников, развалясь на стуле, курил и глядел в потолок.

Завсепеч не вынес этого зрелища: круто развернулся и пошел прочь по коридору. Как только его шаги стихли, в отдел учащейся молодежи потянулись сотрудники, пришла и старушка машинистка. Редактор сел, снял очки, протер их носовым платком, закурил папиросу.

— Что это Демьян Васильевич так? — спросила седая машинистка.

Редактор показал ей лист. Там нарисовано было сердце, пробитое стрелой, было написано: «Перерыв на любовь: 10.00—10.15».

— На двери висело, — пояснил редактор, — а тут этот мимо шел.

Старушка достала очки и, приблизив их к глазам, посмотрела на лист. Она оживилась и с интересом поглядела на Марину. Заведующий отделом комсомольской жизни растянул губы в мертвой улыбке.

— Это твоя работа, балбес? — уныло спросил редактор у Гостева.

Гостев потупился.

— Гостев, вообще-то надо меру знать, — сказал заведующий отделом комсомольской жизни, сумрачный тридцатилетний мужчина, много пивший в молодости, но излечившийся от пагубной страсти пять лет назад. Он не пил, был свеж, энергичен, но все пять лет улыбался иезуитской мертвой улыбкой.

— Я сейчас объясню, — сказал Гостев. — Я догадываюсь, в чем дело.

— Дураков не сеют, не пашут, — пробормотал редактор.

— Я догадываюсь, — сказал Гостев. — Дело не в шутке. Подумаешь, сердце, ну и что. Это же не баба голая. Я догадываюсь, в чем дело. Дело в другом.

— Брошу все к чертовой маме, уеду к теще в деревню, буду бешеных быков пасти, — проговорил редактор.

— Просто Завсепеч, — продолжал Гостев, — испытывает чувства к Марине. Комплексует старик.

— Надоел ты со своим психоанализом, — сказала Марина и вышла.

— Это З. Фрейд, а не я.

— Ну, а ты? Что ты все на рожон лезешь? Что ты на него прешь, как на амбразуру? Кто за язык тянет, Федор — синие брызги, — сказал редактор.

— Мне в армии надоели командиры и замполиты.

Редактор посмотрел в окно на солнечную улицу.

— В деревню. Парное молоко, рыбалка, — пробормотал он. — Охота на зайцев, банька, огород, стадо бешеных быков — рай.

К вечеру голова от табака и военно-патриотических фраз трещала, как печь, набитая еловыми поленьями, с той лишь разницей, что этот треск слышал только Прядильников. Он добил и сдал статью. Луиза поцеловала его в лоб. И он попросил у нее денег. Ты же говорил, есть, ответила она. Я просто очень стеснительный, сказал он. А что ты купишь? Молоко и хлеб. Точно? Клянусь. Ну, гляди, чтоб никакой горючки. Слушаюсь и повинуюсь. Он взял червонец и спросил: позволите ручку поцеловать, мамзель? Лучше Марине. Не дурачься, сказала Марина шагнувшему к ней Прядильникову. Ох, Маринка, не кузнец ты своего счастья, сказала Луиза.

Без пятнадцати шесть все засобирались домой.

— Маэстро, какие планы на вечер? — поинтересовался Прядильников у Бороды.

Борода устремил на него свои печальные красивые глаза и сказал грустно: домой. Ну, ко мне на часок заедем, нажимал Прядильников. Жена опять к теще сбежит, ответил Борода, я пас, позови вон Гостева. Го-

стев мне до чертиков надоел, сказал Прядильников. Ну, не знаю, а я пас, пас, откликнулся Борода, взял «дипломат» и поспешил удалиться, позабыв даже сказать всем до свидания.

— Федор! Что я слышу! — прикрикнула Луиза.

— Шутка.

— Смотри же. — Луиза погрозила ему кулачком. Попрощалась. Ушла.

Марина медленно собирала в стол бумаги. Прядильников снял трубку, накрутил указательным пальцем нужный номер. Не ответили. Побарабанил по аппарату, набрал другой номер. Молчание, точнее, длинные гудки. Еловые поленья кряхтели и разламывались, шуршала груда углей. Прядильников помял указательными пальцами виски. Еще раз набрал оба номера, положил трубку, сказал Марине: пока! — и скрылся за дверью.

Марина сидела и неподвижно глядела на дверь.

Он спустился в лифте вниз, прошел мимо милиционеров, не глядя на них, вышел на крыльцо, прохромал мимо колонн а-ля Парфенон, подошел к своему броневику, отомкнул дверцу, сел. Куда едем? — спросил он у броневика.

Надо вспомнить, что снилось ночью, и тогда станет ясно, куда надо ехать.

Прядильников наморщил лоб. Нет, бесполезно. Повернул ключ зажигания, выехал на улицу. Броневик неторопливо заскользил по осенним улицам. Черные птицы опускались в степь. Опять они прилетели, подумал Прядильников. Черные птицы опускались в степь. Горы спали, зеленое черепашье стадо спало, было тихо, тепло, белели цветы, журавли приземлялись, было тихо и тепло, белели цветы, цветы белели, белецветы, жураженщины, бронечерепа... ччерт!

Он затормозил у винного магазина.

— Вино есть? — спросил у потасканного мужика в спортивных брюках и синей олимпийке.

— Водяра одна, а бормотель, говорят, в «Юбилейном», подвезешь?

— Подвезу. — Мужик сел рядом.

Остановились возле магазина «Юбилейный». На хвост возьмешь? — спросил мужик. Прядильников отрицательно мотнул головой. Облом, сказал мужик и вышел. Следом вышел и Прядильников.

У дверей магазина паслись двое. Они остановили идущего мимо парня и что-то ему сказали. Парень с готовностью полез в карман, отдал им мелочь и пошел своей дорогой. Двое увидели Прядильникова. Один, веселый, кареглазый, шагнул навстречу, улыбнулся и протянул руку: здорова! Прядильников машинально ответил на рукопожатие. Незнакомец стиснул его руку: одолжи, братишка, на винишко, скоренько. Прядильникову было не жалко, но «скоренько» покоробило его, и он ответил, выдергивая руку: я жлоб.

Он купил в магазине вина и сигарет и вышел на улицу. Эй, жлоб, айда побазлаем в кустиках, сказал кареглазый и веселый. Некогда. Ну, Сильвер, ну, айда, а? Но Прядильников шел к своему броневику. Оставь, сказал второй первому, кареглазому и веселому, с убогими грешно махаться. Прядильников стиснул зубы, но не остановился. Он открыл дверцу, сел, положил целлофановый пакет с бутылками на сиденье, повернул ключ. Мотор заработал. Прядильников глянул в окно. Двое все еще паслись. Что за паскудный день, подумал Прядильников и заглушил мотор. Он вынул складной нож из бардачка, подцепил ногтем лезвие и вытащил его из паза. Сунул нож в карман. Распечатал пачку, достал сигарету, прикурил и вышел из машины.

— Ты чего, Сильвер? — удивился веселый. — Ну, пошли, — сказал Прядильников. — Га! кровь у бычка взыграла! — воскликнул веселый. — Мы пошутили, живи, — мирно проговорил второй. — Пошли, — повторил Прядильников. — Слушай, Сильвер, валил бы отсюда, — посоветовал второй, — а то на две ноги захромаешь, ну.

— Салют, мальчики!

Все трое оглянулись. Луиза.

— Салют, киска, коли не шутишь, — живо откликнулся веселый, разглядывая Луизу.

— За молочком, Федя?

Прядильников промолчал.

— Какие проблемы, мальчики?

— Вечные, — ответил веселый. — Вечно не хватает.

— На, — сказала Луиза, вынув из кошелька железный рубль.

— Не фальшивый?

— Ну, еще какие проблемы? — спросила Луиза.

— Всё. Нет проблем, — ответил веселый.

— Поехали домой, — строго сказала Луиза, беря Прядильникова под руку.

— Опоздала, твой уже затарился.

Луиза увлекла Прядильникова за собой.

— Ничего козочка, — сказал веселый.

— Пошли, — сказал второй, и они отправились в магазин.

Броневик катился по улице. Нашел, с кем связываться, сказала Луиза. Прядильников промолчал. Нашел, с кем связываться, они б затоптали тебя, ты что, не знаешь этих зверей? У каждого в кармане, небось, по финке. Рожи уголовные, им что барана зарезать, что человека — одно удовольствие. А тюрьма — родной дом. Кстати, ты что, один собрался пить? Нет, ответил Прядильников, у меня есть два безотказных парня, однокашники. Луиза помолчала. Составить тебе компанию? Прядильников покосился на нее. Составь. Луиза улыбнулась: я пошутила, меня муж ждет, ревнивый, как бык. Разве быки бывают ревнивыми? Не знаю, так, взбрело словечко. Составь, повторил Прядильников. У Луизы залучились глаза. Лучше бы ты Марину пригласил. Марину? А что Марина? Что, что, — разуй глаза и увидишь, что. Ну, так что, ко мне? — спросил Прядильников. Настырный, сказала Луиза, томно закатывая глаза. В следующий раз, Федя, сегодня никак не могу.

Броневик остановился возле дома Луизы. Луиза взяла сумочку, открыла дверцу. Прядильников угрюмо смотрел на нее. Она замешкалась. Прядильников смотрел. Она тихо и твердо сказала: в следующий раз, — и вышла.

К однокашникам не поехал. Расхотелось. Это надо говорить, слушать, улыбаться, а за день надоело говорить, слушать и улыбаться. Язык отяжелел, уши болят, и от улыбок кожа стала резиновой. Хорошо, что он живет один: захотелось — позвал человека, захотелось одному — не позвал. В армии потому тяжело, что негде спрятаться. Даже в сортире вечно кто-нибудь сидит, кряхтит.

Только один человек. Только один человек, желанный всегда, днем и ночью, на работе и дома, когда плохо и когда хорошо, один, только один, понимавший все с полуслова...

Разведрота часто выходила. Да, слишком часто; они надевали штормовые костюмы и кеды — туристы — и ночью выскальзывали из полка, дня через два-три возвращались так же внезапно, пропыленные, обросшие щетиной; разведрота исчезала, и я начинал ждать, ходить каждый день к их палаткам, чтобы узнать, не вернулись ли. Потом рота возвращалась; подходя к палаткам, видел чумазых ребят, они чистили оружие; вытягивал шею, высматривая горбоносое длинное лицо, иногда видел издали его, иногда — нет, подходил к ребятам: ну, мужики, как дело прошло? Они: нормально, — или: хреново, — и добавляли: он в оружейку пошел, или: в баню, или еще куда-нибудь! Я находил его и спрашивал: курите? Он: курю! Я: но Минздрав предупреждает. Он: хочу быть человеком, ибо один дядя ученый сказал: человек — без перьев, на двух ногах, курящее! Я: ну, тогда получите подарок из Африки, — и даю ему пачку сигарет с фильтром, армейское лакомство; сигареты советские или болгарские, но уж так повелось: подарок из Африки да подарок из Африки! Возле полигона была гора, там брали мрамор на строительство бань, каптерок и туалетов. Мра-

мор был белый, с зелено-синими полосами. Иногда нам удавалось уйти туда; устраивались среди облитых солнцем глыб, снежных глыб. Снежные глыбы, солнце светит, больно смотреть на мрамор, он раскрывает книгу и читает вслух Бодлера, бродягу Рембо, Верлена, Бунина, Блока, Евтушенко, я не читаю, у меня хреново получается, а он здорово читает, он здорово читает потому, что сам пишет стихи. Он читает, я лежу на теплых камнях, покуриваю бесплатную махорочную сигаретку, смотрю вниз, на полк, на степь, на далекие южные горы, говорят, там уже Пакистан, говорят, там кедры растут, а на западе горы Искаполь, греки, что ли, их назвали так? Здесь когда-то воевал Александр Македонский... Горы Искаполь голые, вершины в снегу, я смотрю на горы Искаполь, на южные кедровые горы и вижу далеко в степи караван: крошечные верблюды, белые хрупкие шагающие фигурки... Но чаще никто никуда не брел по горячей пыльной твердой и голой земле. «Я человек, как Бог, я обречен познать тоску всех стран и всех времен». Я лежу на теплых сияющих камнях, смотрю на солнце сквозь белую мраморную щепку с морской полосой и говорю, что надо будет пожить на берегу какого-нибудь океана, а? Он откладывает книгу, берет у меня прозрачную щепку, глядит сквозь морскую волну на солнце и соглашается после армии пожить на берегу океана. Изредка он читал свои стихи, и это было лучше Бодлера, Блока и Евтушенко. Рота разведчиков часто выходила в рейды, слишком часто, рота уходила, и я каждый раз узнавал, вернулась ли? Потом я шел и видел издалека черных ребят в выбеленных солнцем штормовках: привет, как дело прошло? Нормально, а он в палатке. Курите? но Минздрав, получите подарок из Африки, что-то ты давно ничего своего не читал. Не пишу, ни черта не получается чего-то, Вийон был отпетый забулдыга, а как писал, а я еще вроде не совсем отпетый, а ни черта,— или уже отпетый? Ничего, ты еще выпулишь бронебойную поэму, и мэтры будут рыдать от зависти. Привет, как дело прошло? Нормально, а он в оружейке. Привет, как дело прошло? Плохо, а он во дворе санчасти. Двор санчасти, в центре брезентовый тент на четырех железных трубах, врытых в землю, под тентом три горбатые простыни. Медик-капитан: не суйся, эй. Надо, капитан, там товарищ. Ну, иди тогда. Стащил с лица простыню, посмотрел, отошел, вернулся, сунул под простыню пачку сигарет, потом стоял посреди двора. Было жарко, по простыням бегали мухи; стоял под солнцем посреди выжженного двора санчасти, под тентом белели простыни, двор санчасти медленно описывал круги, плавные круги, в центре неподвижно белели простыни, мертвые простыни, каменные простыни, двор кружился, кружились санчасть и мраморный сортир, от сортира разило лизолом, клейким бурым лизолом было измазано солнце, вонючий лизол растекался по небу, плыл по земле, а по простыням бегали мухи: туда-сюда, сюда-туда...

Прядильников налил в стакан из бутылки и подумал: надоела редакция... Выпил, съел яблоко и пласт сыра. Подумал, закуривая: дом с колоннами надоел, не хочу видеть Завсепеча. И эта конура осточертела. А где-то есть одно такое местечко, там хорошо. Сигаретный дым кокетливо извивался перед лицом. Жаль, что Луиза не приехала. Луиза, Лиза, лиз-лиз-лиз... Черные прилетели...

Птицы с длинными белыми шеями неслышно били крыльями, вытягивали ноги и становились на землю. В степи белели цветы — плывущие низко над землей комья мыльной пены. Рота спала в бронетранспортерах. Стаю видели часовые. Было раннее утро, было тепло и тихо. Птицы приземлялись, складывали свои огромные крылья, чистили клювами перья и, озираясь, ходили в траве и цветах. У них были белые шеи и красные шапочки, они то и дело замирали, повернув лица в сторону колонны, и приглядывались. Часовые не шевелились, и птицы принимали их за столбы, а бронетранспортеры им казались спящими зелеными черепахами. Птицы с белыми шеями расхаживали по степи, они были черны, степь зелена, спали горы и стадо зеленых черепах, небо на востоке светилось ало. Часовые с улыбками посмотрели друг на друга.

Скрипнула крышка люка, из бронетранспортера высунулся прапорщик, он зевнул, окинул взглядом степь и замер, увидев птиц. На миг он скрылся, появился вновь, сполз с машины и, пригибаясь, пошел в степь

с автоматом в руках. Часовые следили за ним. Птицы заметили прапорщика, вытянули шеи, застыли. Прапорщик вскинул автомат, опустился на колено, приставил приклад к плечу, склонил набок голову, прицелился. Птицы побежали, плеща крыльями. Стая взлетела. Бледно-красная очередь пронеслась над степью и врубилась в стаю. Один из часовых снял с плеча автомат и, не целясь, выпустил короткую очередь. Второй и третий часовые тоже схватились за автоматы и начали стрелять. И Прядильников снял с плеча автомат и выпустил две длинные трассирующие очереди. Первый-второй-третий-четвертый. Первый! Второй! Третий! Четвертый!

Из бронетранспортеров выскакивали с автоматами в руках заспанные солдаты.

Журавли улетели. Несколько птиц неподвижно лежали в степи. Две, ломая крылья, кувыркались в траве. Часовые побежали, добили их прикладами и приволокли за ноги к колонне. Прапорщик и солдаты склонились над растрепанными птицами, отыскивая раны и споря, куда вошли и откуда вылетели пули. Появился недовольный ротный. Он обругал прапорщика и часовых и пообещал за ложную тревогу всыпать всем по трое суток губы. Прапорщик кивнул на восходящее солнце и сказал, что подъем устроен вовремя. Ротный ничего не ответил.

Солдаты отходили в степь и, зевая, мочились и глядели, как встает над зеленой землей бордовое солнце. Потом завтракали. На завтрак были галеты, холодный чай, кусковой сахар и рыбные консервы в томатном соусе. Прапорщик громко рассказывал, как он охотился в тундре на гусей, на серых жирных гусей, на вкусных, тяжелых, нежных гусей. Солдаты глотали мокрые красные куски рыбы и слушали.

Опять это приснилось. Прядильников утром проснулся и первым делом вспомнил сон. Снилось желтое, сухое, шуршащее, выпуклое. Желтое, сухое, шуршащее, выпуклое, желтое, шуршащее, желтое...— гора!

Гора! Прядильников встал и пошел умываться. Он набирал в ковшик ладоней холодной воды и окунал в нее лицо. Гора! Осенняя гора.

Он умылся, вытер лицо полотенцем, пошел в кухню пить чай, крепкий чай, горький, горячий, терпкий, темный божественный чай. На гору. Пятнадцать лет назад была гора. Терпкий, вишневого, нет, торфяного цвета чай. Прядильников вытер рукой потное лицо и налил вторую чашку. На гору. Как он ее забыл? Была гора, и был кролик. Кролик был белый, с алыми глазами. Он отдал за него немецкий ржавый штык пацану из частного деревянного дома. Кролик поселился в квартире на седьмом этаже. Он жил в чемодане под письменным столом. Кролик был, как собака. Мальчик приходил из школы, кролик выпрыгивал из чемодана и скакал по комнате вдоль стены к мальчику. Мальчик кормил его капустой и хлебными корками и нес его за пазухой на прогулку. Родители обзывали кролика стрекозлом и грозились вышвырнуть его вон или потушить в духовке с картошкой. Мальчик говорил кролику: скоро мы убежим. Они с кроликом хотели уйти в лес, построить хижину и жить, питаясь заячьей травой, орехами и грибами. Когда мальчик получал двойку, он показывал дневник кролику и говорил: вот, видишь, плохо быть человеком. Кролик согласно шевелил ушами. Вечером приходил отец. Он проверял дневник и лупил мальчика. Сидя в чемодане и слушая вопли своего хозяина и друга, кролик убеждался окончательно, что лучше быть кроликом. После порки мальчишка сидел у окна. Кролик подбирался к нему и начинал вылизывать его пятки. Нравилось ему почему-то вылизывать пятки, может, там соль от ходьбы выступала?

Отец сказал: еще двойка или тройка, и кроля как не бывало! Мальчишка на следующий же день получил двойку, хоть и выучил все уроки,— от страха не смог ответить как надо. Вернулся домой, положил в рюкзак одеяло, хлеб, ножик, соль, спички, спрятал за пазуху кролика, добрался на трамвае до вокзала, сел на электричку, высмотрел из окна пустынный полустанок и вышел. Он нашел в полях гору, поросшую дубами, и прожил на ней два дня. На вторую ночь кролик исчез. Утром мальчишку нашли крестьяне-грибники. Наверное, кролик почувствовал, что утром придут люди. И удрал. И правильно сделал. Может, и до сих

пор живет на воле, если лисы не съели. А мальчишка не почувствовал и не удрал, и с ним черт знает что сделали.

На гору, на гору, на гору.

Он положил в рюкзак чайник, два одеяла, сахар, чай, хлеб и уехал из города.

После вчерашних возлияний голова кружилась, руки дрожали, и сердце билось рассеянно. Прядильников сильно потел.

Полчаса он ехал по Южному шоссе. Решил, что пора, и свернул на проселочную дорогу. Песочный броневик закачался на ухабах.

Вот поселок. Железная дорога. Пятнадцать лет назад он увидел этот поселок из окна электрички. Электричка остановилась здесь. Тронулась. Была еще остановка и еще. На третьей он вышел. Или на четвертой.

Броневик вскарабкался на холм. Прядильников увидел за железной дорогой поля и перелески. Где-то там должна быть гора. Броневик пересек железную дорогу и поплыл в голые серые поля, затянутые паутиной.

Песочный броневик гудел в полях под высоким пустым небом.

Горы нигде не было. Может, ее вообще не было. Может, приснилось. И белый кролик. И все остальное.

Во рту было сухо. Сердце теперь слишком усердствовало и толкалось в лопатку. Были лужи и болотца, чистой воды нигде не было. Надо заехать в какую-нибудь деревню.

Автомобиль обогнул перелесок. Впереди зачернели дома деревни. Прядильников проехал еще немного в сторону деревни, но передумал и развернул броневик. Не хотелось видеть людей. Может быть, крестьяне этой деревни пошли пятнадцать лет назад по грибы, схватили на горе мальчишку и отвели его в милицию.

Во рту было сухо и горько.

А на горе была вода? Нет, на горе — нет. В овражке, в кустах. Да, под горой есть овражек... Там родник.

Под вечер Прядильников понял, что не найдет.

Нажал на педаль, броневик остановился. Прядильников вышел.

Солнце светило красно, оно уже висело над лесистым горизонтом.

Прядильников огляделся.

Всюду земля была плоской. Желтели перелески. Кое-где стояли красные клены. Было тепло. Надо вспомнить, подумал Прядильников, все хорошенько вспомнить. Он сел на землю, лицом к солнцу.

Итак, был кролик, белый, глаза алые, любил арбузные корки. А потом они удрали. Электричка везла их на юг. Наверное, через час они вышли. Полустанок.

Шел по дороге. Вокруг поля. Увидел гору. Свернул к ней. Она была желтая. Под горой тускло краснели кисти на кусте калины. Калина покормила его своими пахучими ягодами. На горе желтели клены и дубы. С дубов обрывались желуди. Желуди падали в рыжий папоротник. Он снял кепку и стал под самый большой дуб. Дуб сбросил ему на темя крепкий желудь. Смешно. Кролик осторожничал, принюхивался. Белый в рыжем папоротнике. Мы будем здесь жить. Вот здесь построим хижину. А вот из этой осины выйдет отличное копье, чтобы отбиваться от волков. Желуди падали. Вечер был тепел. Между деревьями летали толстые дрозды и яркие сойки. В траве сидели подосиновики. Сытная желтая осень. И совсем не страшно. Кролик рядом. Калина, как человек. Куст, какой еще человек. Но как будто человек. Иди, покормлю ягодами, иди-и.

Надрал соломы из стога на поле. Спал на соломе, укрывшись одеялом. Кролика за пазухой держал, чтобы тепло и не страшно было. Ночью страшно было, хоть где-то рядом и стояла эта тетка с красными ягодами. Ночью луна светила. Листья летели. Попада́ли в свет луны и белели, а ему снилось, что сыплется снег, что снежины садятся на лицо. Он проснулся и увидел, что это листья. До зимы еще далеко, еще успею построить хижину, теплую и прочную.

Утро было желтое. На гору светило сентябрьское солнце. Падали желтые листья, на деревьях покачивались желтые листья, на одеяле лежали желтые листья, землю устилали желтые листья, внизу, на болоте, желтели березы. Побродил вокруг горы, наткнулся на родник в овражке, набрал полную кастрюлю воды. Кашу варил. Кролик позавтракал краюхой хлеба. Кролик попрыгал по горе и вернулся. Калина глядела снизу. Прилетела сорока. Посидела на клене, осмотрела мальчишку и кролика, треснула: караул! — улетела и вскоре вернулась с тремя подругами, все вместе они уставились черными глазами на мальчишку и кролика. Он швырнул в них сучок, они хором крикнули: караул! — и унеслись прочь. По горе бегали мыши. Гора шелестела, желтая шелестящая гора.

Зазубренный горизонт срезал уже половину солнечного шара, когда сидевший на дороге возле автомобиля человек услышал хлопанье крыльев. Сверху опускались тени. Это были черные птицы. Они вытягивали ноги и становились на землю. Птицы складывали крылья. У них были длинные шеи с белыми полосами от клюва до груди и красные пятна на мелких головах. Птицы вышагивали в сухой траве, теребили клювами метелки злаков и склевывали семена с земли. Он отложил автомат, встал и пошел. Он медленно сходил с горы. Он плавно спускался с горы. Он бесшумно шел вниз. Впереди прыгал белый кролик. Птицы увидели их и замерли.

Они не улетали. Большие черные птицы ждали, повернув к нему лица.

Олеся Николаева

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

★

Их Великим Постом Нарьян-Мар муштровал,
исповедовал снег Уренгоя,
«Отче наш» и «Заступницу» лесоповал
в сердце вписывал черной тайгою.

Им нашептывал ветер Надымских широт:
тот спасет и себя, и подругу,
кто, как посуху, заживо вброд перейдет
Тотьму, Прорву, Чулым и Подюгу.

На корню их гордыню ломал ураган,
и боролись в них с помыслом плотским
обмороженный тракт вдоль реки Васюган,
Магадан вместе с морем Охотским.

А когда Баскундук, Барабинск, Белебей
закрывали за ними калитку,
где-то там — выше спутанных черных ветвей
отслужили по ним панихидку.

Голоса

Прицерковное кладбище. Стаи галок, ворон.
Завораживающие картины собственных похорон...
Что же вы так отчаянно жестикулируете,
плачете хором, скопом?
Явно ль меня любили, тайно ли влюблены?
— Ах, дорогая моя, вы еще так юны, —
вот и мерещатся вам сокрушенные кудри
над вашим гробом!

Сколько заплаканных хризантем, растрепанных фраз!
Полюбите меня за то, что смертна, — любой из вас,
затаивая дыханье, к той же прислоняется дверце...
Пусть за меня попросит тот, кто еще не просил.
— Ах, дорогая моя, у вас еще столько сил,
что вам надгробные речи лишь и волнуют сердце!

Юродивая у оградки. Военный на костыле.
Татуированные могильщики копошатся в земле.
Рваные тучки наталкиваются друг на друга,
гонимы к востоку.
Принесите мне лютики, цветки лебеды...
— Ах, дорогая моя, вы еще так горды,
что вам и от нищей чести не будет проку!

Деревья

М. Поздняеву

Кабы речь деревьев могла понимать —
за гнутый пятак
не цеплялась бы к жизни своей,
жила б, ликуя...
У людей — какие слова?
Все не слава Богу им, все не так.
У деревьев же — слава Богу всё!
Аллилуйя!

У людей — какой получишь привет,
какой прием?
Встань, уйди-подвинься,
подай да сделай...
А деревья — благодарственный
зеленый поют псалом,
золотой — величальный
и благоговейный — белый.

И когда они в черном смиренье
идут сквозь тьму,
люди приписывают им страсти свои
и от страха
без оглядки бегут —
неизвестно куда, к кому,
спотыкаясь и вновь
на себя налетая с размаха.

Семейные страсти

Лариса всю жизнь говорила мужу.
«Вот уйду от тебя к Петрову —
он меня любит до смерти...»
Муж сначала боялся
и от ревности стискивал пальцы,
а потом успокоился, щуриться стал и стоял, отвернувшись,
с таким равнодушным затылком!

А однажды, когда пригрозила Лариса ему,
намекнув на Петрова,
неожиданно он рассмеялся
и зло на нее посмотрел:
«Да кому ты нужна,
бестолковая старая дура!»

И Лариса вдруг вздрогнула, «А!» закричала,
к лицу
две ладони прижала и крикнула
в страшном волненье:
«Он меня и такую возьмет!
Он любую меня не разлюбит!»

И у зеркала долго искала ответа она,
и глаза до висков рисовала,
и челку взбивала,
и старалась придать выраженье свободы лицу,

и смотрела, как смотрят лишь «звезды»
картин Голливуда...

И, уткнувшись в стекло окаянное,
прямо лоб в лоб,
вдруг заплакала, запричитала
над долей своею,
что ведь жить невозможно,
когда нет кого-нибудь, кто б
продолжал бы любить ее,
что бы там ни было с нею!

И уже среди ночи
у мужниной теплой щеки
плачет, вдруг возмутившись:
«Как это нечестно и гадко!»
«Что с тобою, Лариса?»
«Любить, так любить без остатка!
Вечно, — шепчет она. — Бесконечно.
И миру всему — вопреки!»

В столовой

— Ничего, — утешает себя человек, — и это пройдет,
и минует холод,
и столько радости еще будет,
что и некуда деть...
Но скорбь — это тяжкий труд, после которого такой вдруг лютый
наваливается голод,
и его только молчаливой, угрюмой пищей можно хоть как-нибудь
одолеть.

И потому идет человек к раздаточному окошку
в придорожной столовой,
деловито дует на борщ, сосредоточенно щурится,
откусывая от куска.
И постепенно глаза у него светлеют, кожа делается
блестящею и пунцовой,
и он может даже откинуться на спинку стула и улыбнуться
как бы издалека.

Здесь

Здесь все съедят — и жир, и маринад,
и гуталин.
Здесь принято гордиться
рудою в шахтах и пространством над,
где сотня Франций может уместиться.

Не дорожат здесь небом дармовым.
Что́ до земли —
должно предназначаться
покойникам — два метра, а живым —
кому — по шесть, кому и по
двенадцать.

Здесь ритуальны подпись и печать
и диктор — для ума глухонемого.
Здесь может так дорогой укачать,
что не проснешься аж до дня
восьмого.

И здесь когда-то
в предрассветной мгле
кому ни есть — всем задали задачу:
построить Царство Божье на земле
с дворцом хрустальным до небес —
в придачу!

Инна Кабыш

ЛИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ

Коммуналка на Кропоткинской

...Тихо. На ремонте хлебзавод.
Что посею, то взойдет к весне лишь.
А пока что на исходе год:
хлеба нет и многовато зрелищ
для одной
на кухне угловой,
где комбыт и выбор, бога ради:
или в стенку биться головой,
или молча проверять тетради.
И свобода.
То есть пустота.
И за все с процентами расплата.
Нет виновных.
Даже у кота,
моющего лапы,
вид Пилата.
И за стенкой преспокойно спят
голубки, уставшие от брани.
И закат классически распят
на оконной выщербленной раме.

Из дневника учителя

...Брыкаются стреноженные отроки,
и удила грызут отроковицы,
и сотрясают воздух наши окрики,
ежовые лысеют рукавицы.
Когда сквозь формы прорастают школьники,
они устоям нашим угрожают:
о смысле жизни думают соколики
и соколят отличницы рожают.
И вырастают — вскормленные литерой
и улицей — в условиях нормальных:
сыны Отчизны — из формальных лидеров
и блудные сыны — из неформальных.
И переходит качество в количество,
и переходят, как из классов в классы,
почти что гармонические личности
в почти что героические массы.

Е. Фейнберг,
член-корреспондент Академии наук СССР

ВЕРНЕР ГЕЙЗЕНБЕРГ: ТРАГЕДИЯ УЧЕНОГО

В мае 1961 года, за 16 месяцев до своей смерти, Нильс Бор приезжал в СССР вместе с сыном Оге, ныне директором Института Нильса Бора в Копенгагене. Я видел Бора и в прежние его приезды — в 1934 и 1938 годах,— но на этот раз не только слушал его выступления, а вместе с коллегами участвовал в долгих беседах с ним, когда он посещал институт, в котором я работаю,— Физический институт имени П. Н. Лебедева Академии наук СССР (ФИАН).

Для физиков Бор не просто великий ученый, но и чрезвычайно привлекательный, высокоэтичный человек — эталонная личность. То, что я видел и слышал в последний его приезд, производило на меня особенно сильное впечатление, и, вернувшись домой, я делал по вечерам записи. Они пролежали нетронутыми четверть века — до столетнего юбилея Бора — и были оглашены на посвященном ему симпозиуме.

Во время одной из бесед речь зашла о знаменитом ученом, если не великом, то «почти великом»,— Вернере Гейзенберге, остававшемся при Гитлере в Германии и принимавшем участие в немецком «урановом проекте». Высказывание о нем Бора, неожиданное и даже сенсационное, затрагивало и проблему «ученый при безжалостной диктатуре», и историю немецкого уранового проекта.

Среди других был задан вопрос, показавшийся мне бесцеремонным: правильно ли Юнг описывает поведение Гейзенберга? Имелось в виду то место в популярно излагающей историю создания атомной бомбы книге Р. Юнга «Ярче тысячи солнц», где рассказано, как Гейзенберг приезжал осенью 1941 года к Бору в Копенгаген якобы с целью сообщить, что Германия не сумеет создать атомную бомбу и нужно побудить английских и американских физиков тоже не создавать ее. Гейзенберг не мог говорить прямо, а его осторожная речь только напугала Бора, и тот вообще перестал понимать что-либо после первого же упоминания о бомбе. Из разговора ничего не получилось. Эта версия излагается и в других книгах («Вирусный флигель» Д. Ирвинга, «Теперь об этом можно рассказать» Л. Гровса, «Прометей раскованный» С. Снегова), а также в появившейся много позднее книге самого Гейзенберга.

В тот вечер я записал: «Бор даже оживился: «Гейзенберг очень честный человек. Но поразительно, как человек способен забывать свои взгляды, если он их п о с т е п е н н о изменял. В рассказе Юнга нет ни слова правды (это часто употребляемое Бором выражение: «Not a single word of truth», видимо, не следует понимать буквально.— **Е. Ф.**). Гейзенберг приехал осенью 41-го года, когда Гитлер завоевал Францию и быстро продвигался в России. Гейзенберг уговаривал, что победа Гитлера неизбежна, глупо в ней сомневаться. Нацисты не уважают науку и поэтому плохо относятся к ученым. Нужно объединиться и помогать Гитлеру, и тогда, когда он победит, отношение к ученым изменится. Нужно сотрудничать с созданными нацистами институтами».

Бор раскуривает трубку и, не выпуская ее изо рта, смотрит на меня

удивленно. Его лицо сильно от этого вытянуто, свисающие по бокам глаз брови не скрывают огромные, чуть желтоватые белки и голубые зрачки. Он очень удивлен даже сейчас. «Он считал, что победа Гитлера неизбежна! Я не мог прямо сказать ему «нет» (то есть отказаться от сотрудничества с Гитлером.— **Е. Ф.**). Я сказал, что не могу решать такой вопрос единолично, необходимо посоветоваться с сотрудниками. (Значит, Бор ему не доверял, Юнг прав, что они друг перед другом скрытничали. — **Е. Ф.**) Из того, что Гейзенберг говорил, мы пришли к выводу, что у Гитлера будет атомное оружие. Иначе почему же победа неизбежна? Я ведь уже до войны знал, что атомное оружие возможно, и опубликовал заметку, что оно скорее возможно с U-235, чем с U-238... Но тогда Лоуренсу с электромагнитным методом разделения изотопов потребовалось бы, чтобы все электростанции Америки работали на него много лет... Но потом ни Гейзенберг, ни приезжавший с ним Вейцзеккер не поднимали этого вопроса. То ли поняли, что я возмущен, то ли повлияли первые поражения немцев под Москвой. Постепенно их взгляды менялись. Я написал об этом Юнгу, но это не подействовало. Удивительно, как люди забывают свои слова, если их взгляды меняются постепенно». Здесь Гинзбург (участвовавший в этом разговоре наш физик.— **Е. Ф.**) вставил: «Люди склонны забывать те свои взгляды, которые хотели бы забыть». Бор в этот момент раскуривал трубку, но понимание засветилось в его полуулыбке.

Начали вставать и расходиться. Я подошел к Оге, который появился незадолго перед этим, и спросил: «Считаете ли вы, что с Гейзенбергом нельзя поддерживать отношения?» Он отрицал это, ссылался на доброе отношение Гейзенберга к отцу. Говорил, что Гейзенберг, хотя и националист, «не любит нацистов и антисемитизм» и т. п. Но когда я сказал, что книга Юнга принесла у нас больше пользы, чем вреда, очень решительно повторил: «Мы н е любим эту книгу»,— и решительность была очень подчеркнута».

Итак, Нильс Бор в 1961 году сделал поразительное заявление: Гейзенберг, «очень честный человек», в октябре 1941 года убеждал его, что все ученые (или вообще интеллектуалы?) должны объединиться, помочь Гитлеру и тем добиться хорошего отношения к науке.

БОР И ГЕЙЗЕНБЕРГ

Гейзенберг (1901—1976) — крупнейший физик, один из создателей квантовой механики и, по крайней мере в прошлом, близкий друг Бора. В Копенгагене он некогда жил в доме Бора, и они до изнеможения ежедневно и еженощно обсуждали главные трудности квантовой механики. В результате этих обсуждений появились знаменитые соотношение неопределенностей Гейзенберга и принцип дополнительности Бора — два аспекта одного и того же фундаментального положения квантовой механики. И вот они встречаются почти как враги, и об их встрече возникают две различные версии. Здесь напрашивается сразу несколько вопросов.

Неужели действительно Гейзенберг предлагал ученым объединиться и помочь Гитлеру? Как в таком случае Бор мог назвать Гейзенберга очень честным человеком? Каково истинное политическое лицо Гейзенберга, в какой мере он сотрудничал с нацистским режимом и почему? И как он вообще вел себя при Гитлере? И дальше: почему немецкие атомники и нацистское государство не создали все же атомную бомбу? И насколько «виноват» в этом Гейзенберг?

Ответы на эти вопросы (за исключением первых двух, которые пока не обсуждались) довольно значительно расходятся.

Сначала о предложении Гейзенберга помочь Гитлеру.

Ни опубликованные материалы, ни свидетельства тех, кто знал Бора и Гейзенберга лично, не подтверждают, что такое предложение было сделано. Однако Гейзенберг — националист, хотя и «проверенный антинацист» («proven anti-Nazi»), как назвал его Бейерхен, серьезный историк науки,— даже вскоре после войны неоднократно ошеломлял своими высказываниями бывших друзей, бежавших из гитлеровской Германии. Так, в 1947 году в доме одного такого друга он, как пишут его официальные биографы, известные физики Мотт и Пайерлс, сказал: «Нацистов следовало бы оставить у власти еще лет на пятьдесят, они стали бы вполне приличными». Авторы замечают по этому поводу, что никто не собирал и не анализировал детально подобные его высказывания, но приведенное ими считают типичным. Все это, по их мнению, показывает, что Гейзенберг был совершенно неспособен понять позицию собеседника. (То же утверждает и выдающийся голландский физик Казимир.) Конечно, слова Гейзенберга переданы его собеседником, и можно предположить, что они несколько искажены. Например, было сказано несколько иначе: «Если бы нацисты пробыли у власти еще пятьдесят лет...» Но все равно ясно, что человек, выражающий подобную точку зрения, вполне мог сказать то, что записал и я. Слова Бора о том, что Гейзенберг «очень честный человек», можно понять как признание откровенности, с которой Гейзенберг всегда высказывал свое мнение.

Прежде всего — о разногласиях по поводу встречи Бора и Гейзенберга, о которой идет речь. С одной стороны — записанные мною слова Бора, с другой — свидетельство самого Гейзенберга, повторяемое и другими.

Поездка в 1941 году к Бору была задумана Гейзенбергом и его учеником и другом, известным физиком фон Вейцзеккером. К Бору пошел Гейзенберг, а Вейцзеккер ожидал результата разговоров в отеле. Гейзенберг вернулся в отчаянии от неудачи. По мнению Вейцзеккера, к основной теме Гейзенберг подходил слишком долго и вполне возможно, что поэтому Бор мог понять его неправильно. «В действительности Гейзенберг хотел сказать, что физики всего мира должны объединиться, чтобы ни в одной стране не была создана атомная бомба... — писал Вейцзеккер, отвечая на вопросы американского историка науки А. Крамиша (1987 год).— Теперь я думаю, что Гейзенберг сделал ошибку... Он должен был сразу сказать: «Дорогой Нильс Бор, я сейчас скажу тебе нечто, что будет стоить мне жизни, если дойдет до тех, кто не должен этого знать («die falschen Leute»). Мы работаем над атомным оружием. Было бы жизненно важно для человечества, если бы мы и наши западные коллеги поняли: мы все должны работать так, чтобы бомба не появилась. Считаешь ли ты это возможным?»

В отличие от всех других авторов Юнг развивает версию, согласно которой ведущие немецкие физики-атомники, в том числе и Гейзенберг, работавшие над проблемой цепной реакции в уране уже с осени 1939 года, с о з н а т е л ь н о саботировали создание атомного оружия и направляли исследования только на осуществление энергетического реактора. Можно думать, что именно это вызвало негодование Бора по поводу книги Юнга (впрочем, в ней есть много и других искажений истины). Между тем и Гейзенберг, и Вейцзеккер утверждают совсем иное. Они знали теоретически все, что требуется для создания атомной бомбы, однако к лету 1941 года пришли к убеждению: для того, чтобы построить реактор и затем получить необходимое для бомбы количество трансуранового элемента (плутоний) или же выделить из природного урана соответствующее количество урана-235, нужны такие усилия, которые невозможны в воюющей Германии.

Утверждение о том, что основные принципы были им известны, вполне обоснованно (если не говорить об ошибке экспериментатора В. Боте, из-за которой графит в качестве замедлителя нейтронов был отвергнут и вся дальнейшая работа пошла по несравненно более трудному пути; мы еще вернемся к этому). Подтверждает его хотя бы неизданная очень полная работа талантливого теоретика Ф. Г. Хоутерманса. Датированная августом 1941 года, она была выполнена в Берлине в частном институте (ныне институт в Дрездене) профессора Манфреда фон Арденне, который и прислал мне недавно экземпляр этой работы. Человек с активным коммунистическим прошлым и с коммунистическими убеждениями, Хоутерманс участвовал в Венском рабочем восстании 1934 года, затем работал в Харьковском физико-техническом институте. В годы сталинского террора был арестован; после заключения пакта с Германией его в числе многих других немецких коммунистов выдали Гитлеру. Через год Хоутерманса выпустили на свободу без права работать в государственном учреждении.

Придя к выводу, что создать бомбу во время войны нереально, Гейзенберг и его коллеги направили усилия на создание энергетического реактора, прежде всего на осуществление самоподдерживающейся цепной реакции в опытной установке. Впоследствии Гейзенберг говорил, что они переоценили трудности, но в то время были рады, что им не нужно активизировать работы, связанные с созданием бомбы, и давать соответствующие рекомендации правительству. Они почувствовали моральное облегчение, но их беспокоила мысль о том, что атомное оружие может быть создано в другой стране. Поэтому Гейзенберг с Вейцзеккером и решили поехать к Бору (что было отнюдь не просто, но они сумели найти официальный повод), сообщить ему о положении дел и попросить его договориться с физиками других стран, чтобы они отказались от участия в создании атомной бомбы.

Существует, правда, и другое объяснение позиции немецких атомников. Согласно этой версии, они отнюдь не стремились склонить гитлеровское руководство к срочному развертыванию работ по атомному оружию и поддерживали его заинтересованность лишь на таком уровне, который позволял спасать научную молодежь от фронта и т. п. Ученые понимали, что если они пообещают сделать бомбу, а это им не удастся, то всем им не сносить головы. Возможно, такой аргумент и имел значение, но сводить все к нему было бы неверно. Ведь они, в сущности, были правы: даже американцы, начавшие строить огромные заводы, не дожидаясь подтверждения правильности расчетов (его дало первое осуществление самоподдерживающейся цепной реакции на опытной установке Ферми в декабре 1942 года), затратившие два миллиарда долларов, то есть ровно в тысячу раз больше, чем немецкие ученые на свой урановый проект (оценка Вейцзеккера, по-видимому, вполне правильная), получили бомбу лишь п о с л е окончания войны в Европе.

Но почему же, однако, так разнятся рассказы об этой встрече Гейзенберга — с одной стороны, Бора (в тексте моих записей) — с другой?

Разговор этот был отягощен тремя обстоятельствами.

Во-первых, Бор с самого начала видел в Гейзенберге не прежнего близкого друга, а ученого, сотрудничающего с бесчеловечным режимом, с правительством, не только уничтожившим миллионы ни в чем не повинных людей, но и оккупировавшим, раздавившим его родную Данию и многие другие страны. И пусть сотрудничество это было очень ограниченным, Бор не мог относиться к Гейзенбергу по-прежнему.

Во-вторых, «как хорошо знали друзья и ученики Бора, он вообще лучше говорил, чем слушал, и вполне был способен неправильно понимать то, что ему говорили другие». Так писал Р. Е. Пайерлс, сам ученик Бора, очень хорошо его знавший.

В-третьих, неосторожность любого из них могла стоить головы им обоим. Беседовали они, гуляя вечером по улице, так как опасались, что в доме Бора установлены потайные микрофоны, но каждый из них мог потом неосторожно проговориться. Оба были очень напряжены.

Юнг пишет, что Гейзенбергу, «к сожалению, не удалось достичь нужной стадии откровенности и искренне сказать, что он и его группа сделают все, что в их силах, чтобы задержать создание такого оружия, если другая сторона согласится поступить так же». Слова о сознательной задержке работ, связанных с созданием бомбы, видимо, выдумка Юнга. Ни приводимое в книге письмо Гейзенберга к нему, ни другие источники этого утверждения не содержат. Просто из-за того, что разговаривали осторожно, обиняками, каждый слышал то, что

ему казалось особенно важным. Так, по свидетельству Л. Д. Ландау, близкого друга и ученика Бора, вопрос Гейзенберга: «Что ты думаешь о возможности создания атомного оружия?» — Бор однозначно воспринял как попытку выведать, не занимаются ли этим оружием физики в странах антигитлеровской коалиции, каковы их успехи,— то есть попросту как попытку шпионажа. Поэтому, когда, узнав о неудаче Гейзенберга, его сотрудник Иенсен по собственной инициативе приехал к Бору и прямо рассказал о низком уровне работ по урану в Германии, Бор воспринял это как грубую провокацию. (После войны выяснилось, что Иенсен все рассказал совершенно точно.)

Едва ли мы когда-нибудь узнаем совершенно точно, что именно говорили Гейзенберг и Бор при встрече. Скорее всего оба они изложили потом факты правильно (оценка всего эпизода как попытки шпионажа — субъективная оценка, а не факт), но каждый придавал значение тому, запомнил то, что ему показалось наиболее важным.

Интересно, что когда после войны многолетний сотрудник Бора профессор С. А. Розенталь спросил Гейзенберга, действительно ли он приезжал, чтобы договориться о противодействии созданию бомбы, тот ответил: «Это было бы безумием, если бы соглашение состоялось, мне после возвращения в Германию сразу отрубили бы голову». На тот же вопрос Вейцзеккер ответил: «Мы были очень наивны».

Снова возникает вопрос: как примирить это с утверждением Бора — «Гейзенберг очень честный человек»?

Весьма возможно, что со временем Бор больше узнал об антинацизме Гейзенберга, о его бескомпромиссной защите науки, понял, что он честен и откровенен в изложении своих мнений, и изменил свое отношение к нему. Вейцзеккер вспоминает, что, когда он в 1950 году, впервые после войны, встретил Бора и хотел разъяснить суть того, что тогда, в 1941 году, намеревался сказать ему Гейзенберг, Бор прервал его словами: «Ах, не будем об этом разговаривать. Я вполне понимаю, что во время войны приоритет для каждого — лояльность по отношению к своей стране. Гейзенберг же знает, что я так думаю». Вейцзеккер в самом начале своих записок замечает, как трудно точно вспоминать то, что происходило и говорилось сорок лет назад. Однако приводимые им слова Бора правдоподобны: считая Гейзенберга националистом, но антинацистом, он, видимо, в принципе признавал его право на «оборонческую» позицию.

Конечно, то был отнюдь не идущий до конца антинацизм. Юнг приводит слова Хоутерманса: «Каждый порядочный человек, столкнувшийся с режимом диктатуры, должен иметь мужество совершить государственную измену». Редактор одного из главных немецких научных журналов, «Натурвиссеншафтен», профессор Розбауд, близко знавший всех ведущих немецких физиков и вхожий в их лаборатории, бесстрашно передавал английской разведке добываемую им ценную информацию о ходе урановых дел в Германии. О Розбауде (нелегальная кличка «Гриф») прекрасно рассказал С. Снегов в своей книге «Прометей раскованный». Но поступать так, как Розбауд, люди иного склада не могли.

Все же, чтобы понять слова Бора, надо разобраться в важной и сложной проблеме: ученый, интеллектуал в условиях жестокого диктаторского режима.

ГЕЙЗЕНБЕРГ И НАУКА ПРИ НАЦИЗМЕ

Многие эмигрировавшие из Германии физики (уехали главным образом подпавшие под действие расистских законов евреи, но отнюдь не только они,— назову нобелевских лауреатов Шредингера, Дебая, Дельбрюка) считали, что те, кто остался в фашистской Германии, уже одним этим выразили согласие на сотрудничество с Гитлером, на поддержку нацизма. Более того, они были убеждены, что все оставшиеся должны были в знак протеста против нацизма подать в отставку. Гейзенберг же объяснял свое нежелание эмигрировать тем, что хотя ему и придется жить в ужасных материальных и моральных условиях, постоянно идти на компромиссы с режимом, он все же сможет оберегать немецкую науку, воспитывать научную молодежь, делать что возможно, чтобы наука не деградировала окончательно и возродилась после войны. Он говорил, что именно так его настроил разговор с Лауэ.

Макс фон Лауэ, знаменитый ученый, нобелевский лауреат (он умер в 1960 году, и услышать от него подтверждение слов Гейзенберга об их разговоре было уже невозможно), тоже остался в Германии, тоже не подал в отставку. Он точно так же, как Гейзенберг, объяснял — почему, добавив в разговоре с Эйнштейном в 1939 году: «Я их так ненавижу, что должен быть поближе к ним». Он тоже участвовал в урановом проекте (в частности, присутствовал в апреле 1945 года (!) при отчаянной попытке осуществить самоподдерживающуюся цепную реакцию в уране). А между тем его имя вызывает всеобщее уважение.

Когда в середине 30-х годов немецкий физик П. П. Эвальд перед возвращением из США в Германию посетил Эйнштейна и спросил, нет ли у него поручений к кому-либо, Эйнштейн ответил: «Передайте привет Лауэ». Эвальд спросил: «Может быть, кому-нибудь еще?» — и назвал несколько имен. Эйнштейн только повторил: «Передайте привет Лауэ».

Известно, что Лауэ не раз спасал людей. Он занимал твердую позицию в науке, и его поведение в существовавших тогда условиях — пример для ученого. Он не преподавал в университете и потому не был обязан, как, например, Гейзенберг, начиная лекцию, выбрасывать вверх руку с возгласом «Хайль Гитлер!». Более того, рассказывают, что, выходя из дому, Лауэ обычно держал в одной руке портфель, а в другой — какой-нибудь сверток, чтобы иметь возможность не отвечать на приветствия знакомых. Он не шел на компромиссы, вместе с другими противодействовал нацистской травле теории относительности и квантовой механики. Так, он не поддался уговорам гамбургского профессора Ленца организовать публикацию статьи о теории относительности, чтобы «избавить ее от еврейского пятна, провозгласив автором теории француза Анри Пуанкаре и этим сделав ее приемлемой в Третьем рейхе».

Вопрос «оставаться или уехать» был, по существу, не нов для ученых. Вероятно, впервые он встал в 1911 году, когда в знак протеста против действий крайне реакционного министра просвещения Кассо (введение полицейских сил в университет, массовые исключения революционно настроенных студентов и т. д.) 130 профессоров покинули Московский университет. Среди них были выдающиеся ученые, в частности физик П. Н. Лебедев. Автор принципиально важных исследований, в которых отразилось изумительное экспериментальное искусство, Лебедев создал первую современную школу физиков в России. Он щедро одарял идеями талантливых молодых людей, которые со студенческих лет работали у него, растил ученых не на «повторении пройденного», а на самостоятельных сложных исследованиях. Знавшие Лебедева вспоминают, что он ночи не спал, мучительно думая, надо ли уходить из университета. Гражданские чувства, общественное мнение побудили уйти. Некоторое время он пытался продолжать работу с учениками в снятой на собранные средства квартире, но это было не то. Больное сердце не выдержало, и менее чем через год, едва дожив до 46 лет, он скончался.

В университете же после ухода Лебедева физика пришла в упадок. Обучать студентов стали профессора, далеко отставшие от современной науки. Положение изменилось лишь в середине 20-х годов, когда, преодолевая сопротивление консерваторов, немногие оставшиеся молодые талантливые ученые (Н. Н. Андреев, С. И. Вавилов) с помощью студенческой общественности (будущие академики А. А. Андронов, М. А. Леонтович) добились приглашения в университет выдающегося ученого Л. И. Мандельштама и некоторых других.

Размышляя о последствиях, вызванных уходом Лебедева из университета, невольно задаешься вопросом: правильно ли он поступил? Вспомним, что академик И. П. Павлов, недоброжелательно отнесшийся к революции, не уехал за границу, а продолжал работать в своей лаборатории. Приходят на память строки Ахматовой:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,—
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Поэтому вряд ли следует безоговорочно осуждать Гейзенберга, как его осуждали американские, английские и другие западные ученые, особенно эмигрировавшие из Германии и Италии.

Гейзенберг, как и его учитель Зоммерфельд, как Планк и некоторые другие оставшиеся в Германии физики, противостоял нацистской идеологии, которая, как известно, признавала только узкоприкладную физику, химию и механику, на роль же фундаментального знания выдвигала полумистические исследования древнегерманской и вообще нордической мифологии, а также антропометрические «основы» арийского расового учения. Теоретическая физика сама по себе считалась бесплодным умствованием, квантовая механика и теория относительности — порождением чуждого духа.

Так что нельзя забывать и недооценивать мужественную защиту науки Гейзенбергом (который, будучи чистокровным арийцем, получил от нацистов прозвище «белый еврей») и его коллегами. Со страниц органа СС «Дер шварце корпс» на Гейзенберга обрушивались прямые политические обвинения; ему, одному из основоположников физики XX века, не дали занять кафедру в Мюнхене после ухода на пенсию Зоммерфельда, который усиленно рекомендовал своего ученика. Кафедру отдали посредственному специалисту по аэро- и гидродинамике, который свел весь курс теоретической физики к одной лишь механике (классической).

Это отстаивание науки принимало разные формы. Например, была устроена дискуссия с нацистскими физиками, на которой удалось добиться компромиссной резолюции:

«1) Теоретическая физика со всем ее математическим аппаратом — необходимая часть всей физики.

2) Опытные факты, суммированные в специальной теории относительности, являются твердой опорой. Однако применение теории относительности к космическим закономерностям не настолько надежно, чтобы не требовалось дальнейших подтверждений ее правильности.

3) Четырехмерное представление процессов в природе является полезным математическим приемом, но не означает введения новых представлений о пространстве и времени.

4) Любая связь между теорией относительности и общей концепцией релятивизма (очевидно, философского.— Е. Ф.) отрицается.

5) Квантовая и волновая механика — единственные известные в настоящее время методы описания атомных явлений. Желательно продвинуться за пределы формализма и его предписаний, чтобы достичь более глубокого понимания атома».

Этот документ содержит и банальные истины, включенные только для того, чтобы можно было противостоять тупости нацистских идеологов (пункты 1 и 4, первая фраза пункта 5), и принижение в угоду им новой физики (конец пункта 5, первая фраза пункта 2: теория относительности ценна только как систематизация фактов, но, согласно пункту 3, не меняет представлений о пространстве и времени, хотя на самом деле ее величие именно в том, что она дает новое понимание пространства и времени).

Не очень-то приятно об этом писать, но физик моего поколения не может не увидеть, как удручающе похожи формулировки компромиссного соглашения на те вульгаризовавшие, принижавшие квантовую механику и теорию относительности формулировки, на которые порой соглашались наши философы, нападавшие на современную науку начиная с 30-х годов и до смерти Сталина. Конечно, основой этих нападок служили не расовые идеи, а «необходимость защиты материализма от буржуазной идеологии», но все же сходство поразительно. Даже в 1952 году, когда у нас уже сформировалась большая наука мирового значения, когда выросли прекрасные кадры молодых физиков, а старшее поколение на практике решения важнейших технических задач доказало ее плодотворность, все еще приходилось опасаться философов (правда, занятых в то время главным образом разгромом биологии и кибернетики). Так, в изданном тогда Академией наук солидном сборнике статей «Философские вопросы современной физики» один из авторов заявлял: «То, что Эйнштейн и эйнштейнианцы выдают за физическую теорию, не может быть признано физической теорией». Оказывается далее, что никакой собственно теории относительности нет, есть «физика быстрых движений». Лишь «реакционные буржуазные ученые поднимают Эйнштейна на щит, как якобы создателя нового физического учения о пространстве и времени». И вывод: «Разоблачение реакционного эйнштейнианства в области физической науки — одна из наиболее актуальных задач советских физиков и философов». Столь же злобно и невежественно говорилось и о квантовой механике.

Быть обвиненным в идеализме было очень опасно, и находились физики (к счастью, немногие), которые от страха шли на вульгаризацию науки точно так же, как иные немецкие физики. Более того, и у нас от исследований часто требовали прямой и немедленной пользы для практики. Необходимость теоретической физики приходилось отстаивать, а исследовательские работы в области ядерной физики академики С. И. Вавилов и А. Ф. Иоффе вплоть до самой войны вели в своих институтах под огнем критики со стороны некоторых руководящих инстанций «за отрыв от практических нужд народного хозяйства».

Но вернемся к компромиссному документу немецких физиков. Нельзя не признать, что он все же сыграл полезную роль: не только позволил сохранить в немецких университетах преподавание фундаментальных наук (пункт 1), в частности «порочной» новой, современной физики, но, как выяснилось впоследствии, даже переубедил некоторых, ранее колебавшихся участников дискуссии и они порвали с «арийской» физикой Ленарда и Штарка. К тому же он был полезен и для студентов, хоть и настроенных в большинстве пронацистски, однако, вероятно, понимавших ценность новой науки.

Конечно, участие в подобных компромиссах было унизительно для настоящих ученых. Лауэ, Планк, Зоммерфельд, Гейзенберг могли позволить себе уклониться, но кто-то все же вынужден был пойти на это ради науки и молодежи.

Какова же все-таки была политическая позиция Гейзенберга? Ее нельзя понять, не учитывая, во-первых, тот факт, что немецкие академические круги, в отличие, например, от российской интеллигенции, традиционно всячески старались изолировать себя от политики. Во-вторых, нужно учесть среду, к которой Гейзенберг принадлежал. И, наконец, в-третьих, и это, вероятно, самое главное,— то, что немецкий народ в огромном большинстве пошел за Гитлером.

ПРИХОД ГИТЛЕРА К ВЛАСТИ

Среда, в которой Гейзенберг жил, уже отнюдь не была тем сообществом, которое существовало до прихода Гитлера к власти,— международным сообществом ученых, преданных науке, творивших новую науку, свободно и дружески общавшихся. Политический, идеологический раскол мира вызвал и раскол в мире ученых.

Вспоминая о «хаосе последних лет войны», Гейзенберг пишет, что радовавших его впечатлений было не много. Одно из них стало частью того фундамента, на котором впоследствии основывалось его отношение к общим политическим вопросам. Эту радость давали ему еженедельные собрания по средам, на которых встречались, музицировали, обсуждали различные темы глава антигитлеровского заговора генерал Бек, священник Попиц, известный хирург Зауэрбрух, посол фон Хассель, посол Германии в Москве до войны, вручивший 22 июня 1941 года Советскому правительству ноту о начале гитлеровской агрессии граф Шуленбург и другие. Эрнст Генри говорит, что Шуленбург был «консерватор и националист, но не фашист». За две недели до нападения гитлеровской Германии он предупредил о нем советских дипломатов, в частности посла СССР Деканозова, то есть, по существу, совершил акт государственной измены.

В июле 1944 года, по дороге из Берлина в Мюнхен, Гейзенберг узнал о неудачном покушении на жизнь Гитлера, казни Бека и аресте нескольких из тех, с кем он встречался по средам.

Гейзенберг — немецкий националист, и его отношение к гитлеризму не могло быть однозначным. С одной стороны, он, конечно, испытывал отвращение к зверствам нацизма, к его варварской идеологии, возмущался подавлением интеллигенции и свободной мысли, тупостью и жестокостью больших и малых фюреров. Но, подобно миллионам своих соотечественников, он не мог не видеть, что с приходом Гитлера к власти закончился многолетний период порожденного непрекращающейся безработицей отчаяния немецкого народа. Пособие по безработице, малое само по себе, выдавалось ограниченное время, а потом человек мог рассчитывать только на общественную благотворительность, эквивалентную 1,75 доллара в неделю. Таких было полтора миллиона. Страну угнетали массовый голод и бесперспективность, экономическое и моральное унижение Версальского договора.

С 1929 по 1932 год Германия металась в поисках выхода. Найти его обещали и нацисты, и сильная коммунистическая партия. Между этими полюсами были еще и социал-демократы, более многочисленные, чем коммунисты, и президент Гинденбург, и магнаты капитала — националисты старопрусского типа. Все они имели массовые военизированные организации: у нацистов — штурмовики, у коммунистов — Рот-фронт, у социал-демократов — шуцбунд, у националистов — Стальной шлем.

США и другие западные страны с беспокойством следили за развитием событий. Дело было не только в том, что, как писал американский журналист Никербокер, из-за предоставленных Германии займов «каждый американский гражданин — мужчина, женщина, ребенок — непосредственно заинтересован в судьбе Германии в сумме 33 доллара». Гораздо важнее было то, что, как писал тот же Никербокер, коммунистическая Германия означает появление Красной Армии на Рейне.

Возникновение коммунистической Германии было вполне реально. В одном Берлине, где уже в 1930 году насчитывалось полмиллиона безработных, за коммунистов голосовали 739 235 человек (за социал-демократов — 738 094), а за национал-социалистов почти вдвое меньше — 395 988. Разница, грубо говоря, определялась тем, что «коммунисты — это те, кто никогда ничего не имел, а национал-социалисты — это те, кто кое-что имел, но потерял все», но жизнь была невыносима и для тех, и для других.

Никербокер в 1931 году объездил всю Германию, беседовал с представителями всех партий, и выраженные в его книге опасения вполне обоснованны. Еще в двадцатые годы на праздничных демонстрациях в Москве можно было видеть лозунг «Советский серп и немецкий молот объединят весь мир». Провозглашали этот лозунг и коммунисты в Германии, знали о нем в США. В 20-е и даже в 30-е годы многие наши комсомольцы и вообще молодые люди комсомольского возраста носили «юнгштурмовки» — рубашку цвета хаки с открытым воротом, подпоясанную кожаным ремнем, и такого же цвета брюки или юбку; через плечо — кожаная портупея. Это была форма немецкого Союза красных фронтовиков — коммунистической организации самообороны, которую возглавлял руководитель Коммунистической партии Германии Эрнст Тельман. Лозунг «Красный флаг от Владивостока до Рейна» звучал на коммунистических митингах и в самой Германии.

Однако в развитие событий неожиданно вмешался мощный внешний фактор — все то, что происходило в Советском Союзе. Сплошная коллективизация со всеми ее ужасами. Невероятные усилия, даже жертвы, которых потребовала так и не выполненная первая пятилетка. Понадобилось свалить на кого-то вину за беспорядок в промышленности, строительстве и на транспорте. Стали искать «вредителей», в частности среди технической интеллигенции. До революции русские инженеры считались едва ли не лучшими в мире — их ценили наравне с бельгийскими. Были и более детальные оценки: лучшие конструкторы — бельгийцы, русские, французы; лучшие технологи — немцы; лучшие путейцы, вне сомнения, — выпускники Петербургского института путей сообщения. Не случайно именно они строили Великий сибирский путь и всю обширную сеть железных дорог. Не случайно после гибели русского военного флота под Цусимой за какие-нибудь десять лет — к первой мировой войне — был создан новый, весьма современный флот. Выдающиеся инженеры многое сделали для возрождения индустрии после гражданской войны. Достаточно назвать автора проекта Днепрогэса И. Г. Александрова, строителя ВолховГЭС Г. О. Графтио, В. Г. Шухова, Е. О. Патона, кораблестроителя А. Н. Крылова — они не пострадали, но сколько замечательных инженеров попало в разряд «вредителей» и было безвинно уничтожено!

Газеты были заполнены отчетами о судебных процессах, на которых обвиняемые признавались в чудовищно неправдоподобных преступлениях.

Все это не могло быть тайной для внешнего мира. Страна тогда вообще была довольно открыта для иностранцев. Зарубежные журналисты ездили повсюду. В связи с индустриализацией, закупками за границей машин и оборудования на стройках и заводах работало множество иностранных специалистов и квалифицированных рабочих, и среди них значительное количество немцев. Иностранные специалисты находились на особом снабжении, однако не могли не видеть, как резко понизился уровень жизни советских людей, не знать о голоде. Одна из немецких газет, например, поместила карикатуру: русский мужик в штанах, сшитых из капустных листьев: подпись — «Колхозы» («Kohlhosen»; игра слов: Kohl — капуста, Hosen — штаны).

Особенно осведомлены обо всем происходившем у нас были именно в Германии. И это важно подчеркнуть.

Во-первых, после подписания Раппальского договора (1922 год), прорвавшего блокаду Советской России и принесшего большую выгоду обеим сторонам, широко развились экономические и другие виды сотрудничества двух стран, связанные с длительным проживанием в нашей стране значительных контингентов немецких граждан.

Во-вторых, и это, пожалуй, даже важнее, в России еще со времен Екатерины II, зазывавшей немецких крестьян в Россию и щедро наделявшей их плодородными землями, были весьма процветавшие чисто немецкие села, «колонии», как их называли даже в советское время, со школами на родном языке и т. п., особенно многочисленные на Украине, в Крыму, в Поволжье. С 1924 по 1941 год на левобережье Волги существовала Автономная Республика Немцев Поволжья (столица — город Энгельс) с населением 600 тысяч человек, из них 64 процента — немцы.

Коллективизация, «раскулачивание», разорение, высылка никого, разумеется, не обошли. В Германии под лозунгом «Братья в нужде» развернулась шумная кампания в защиту советских немцев. Московские газеты, конечно, давали отпор «лживой антисоветской провокации». Но антисоветская и антикоммунистическая кампания на этой основе в Германии продолжалась. В частности,

проводился сбор денег и продовольствия для немцев в СССР. Западногерманский историк К. Никлаусс в своей книге «Советский Союз и захват власти Гитлером» описывает кризис 1929—1931 годов во взаимоотношениях двух государств, вызванный внутренней политикой Сталина и делавший для германского правительства невозможным продолжение курса Рапалло. Представители германского правительства во время многочисленных встреч с советским послом Н. Н. Крестинским, а также немецкий посол в Москве Дирксен при встречах с наркомом иностранных дел М. М. Литвиновым заявляли, что коллективизация и поход против религии (закрытие церквей, преследование духовенства, запрещение колокольного звона в городах) вызвали в Германии возмущение общественного мнения, которое особенно связывало все происходившее с судьбой немецких «колонистов». Поток протестов, адресованных немецкому правительству и президенту республики, антисоветская кампания в прессе делали трудным положение правительства в рейхстаге.

Сложно ли было в этих условиях убедить крестьянство и другие промежуточные и колеблющиеся слои населения Германии, что не от социалистической России, не от коммунистов надо ждать спасения?

Не только то, что происходило в СССР в эти критические годы, толкало значительные массы немецкого народа к другому полюсу. В решающий исторический момент немецкие коммунисты оказались в изоляции. Сталин называл социал-демократов не иначе, как социал-фашистами, любое сотрудничество с ними считалось предательством. Эта позиция стала изменяться лишь незадолго до того, как в 1936 году «Народный фронт против фашизма и войны» пришел во Франции к власти и преградил там дорогу фашизму: Сталин, а следовательно, и Коминтерн признали необходимость сотрудничества со всеми левыми силами. Однако в Германии единый фронт и в то время создан не был.

В результате всего этого немецкий народ, давший миру великих ученых, писателей, художников, религиозных деятелей, философов, основателей научного социализма, сделал выбор в пользу Гитлера.

Этот народ жил в условиях безработицы и голода, испытывал не только физические страдания, но и унижение. Талантливые головы и умелые руки, способные справиться с любой работой, были обречены на бездействие, не могли спасти голодных детей. Все это не могло не вести к всеобщему озлоблению. Вопрос был только в одном: перерастет ли оно в святую злобу, которую, по словам Александра Блока, вел за собой Христос, или же в троглодитскую злобу «сверхчеловеков», вдохновляемую фюрером на создание освенцимов и душегубок? Именно внешние причины покончили с колебаниями — выбор был сделан.

Гитлер варварски подавил культуру, уничтожил миллионы немцев и десятки миллионов людей в завоеванных им странах. Гитлеризм с его жестокостью, бесчеловечностью и коварством — один из самых отвратительных режимов во всей истории. Это несомненно. Тогда почему уже после первого периода жестокого владычества Гитлера немецкий народ в своей массе с надеждой преданно смотрел на него, почему матери в умилении протягивали к нему детей, почему люди готовы были умереть за него?

Разумеется, дело в том, что он вывел немцев из состояния отчаяния, безысходности, избавил от голода. Все получили работу, с унижением и тяготами Версальского договора было покончено, когда Гитлер разорвал его, ввел войска в Рейнскую область и начал усиленно вооружаться. У молодежи появилась хоть и гнусная, но все же цель — поработить другие народы. Гитлер сделал то, что не смогли сделать либералы и социал-демократы с их Веймарской республикой, чего же жалеть, когда гестапо уничтожает их, а тем более коммунистов и евреев?

Гитлер, конечно, получал в той или иной форме помощь от западных капиталистических стран. Более того, достаточно было одной французской дивизии, чтобы заставить его отступить, когда он ввел войска в Рейнскую область. Никто не помешал ему вооружаться, быть может, из опасения, что это вызовет выступление немецкого народа в его защиту.

Огромна вина Сталина перед человечеством. Своей внутренней политикой и изоляцией Компартии Германии от других левых сил он объективно открыл Гитлеру путь к власти, подтолкнул к нему немецкий народ и тем самым впоследствии привел к войне.

Что же удивляться, если и массы немецкого народа, и националисты вроде Гейзенберга посчитали, что новый режим способен осуществить национальную задачу огромного значения. Они старались закрыть глаза на ужасы нацизма, не прислушиваться к сообщениям о концентрационных лагерях; им хотелось верить, что все это, как и сама варварская идеология нацистских вождей, временно, что это неизбежный «накладной расход»: «лес рубят — щепки летят», и по мере достижения всего необходимого нации «негативные явления» будут ослабевать и в конце концов исчезнут.

Такая позиция характерна и для интеллектуалов, и для народных масс при любой диктатуре, использующей для осуществления крупных национальных задач безжалостные, бесчеловечные методы.

Не потому ли и наш народ терпел жестокость и преступления Сталина, что находил им оправдание в решении важнейшей национальной задачи — превращении относительно отсталой огромной страны в современную и сильную индустриальную державу? В обоих случаях на долю умелой пропаганды и демагогии оставалось убедить людей в том, что другого пути к решению великой задачи нет. К примеру, в СССР-де нельзя было придерживаться тезиса Ленина о том, что для победы социализма нам необходимы лишь десять — двадцать лет правильных взаимоотношений с крестьянством. Нужен был, конечно, еще и могучий, всепроникающий карательный аппарат. Но ведь еще Макиавелли в трактате «Государь» писал: «Государь должен внушать страх таким образом, чтобы если не заслужить любовь, то избежать ненависти, потому что вполне возможно устрашать и в то же время не стать ненавистным».

Конечно, и для Гейзенберга, и для подавляющего большинства других националистически настроенных интеллектуалов все было не так просто. Неудивительно, что он все время колебался и в разное время высказывал разные взгляды.

Неудивительно и то, что люди, жившие в то время в совершенно других условиях — в США, Англии, Дании и т. п.— в странах, где не стояло другой большой национальной задачи, кроме спасения от гитлеровской агрессии,— охваченные ненавистью к нацизму, не могли понять Гейзенберга и подобных ему.

Физики, особенно западные, с которыми я говорил о Гейзенберге, зачастую осуждали его: он слишком тесно сотрудничал с властями, ему нравилась роль «первого физика», официальные письма он, как полагалось, завершал словами «Хайль Гитлер!» и вообще при встречах произносил гитлеровское приветствие.

Трудно судить, что значит «слишком тесно сотрудничал». В немецком урановом проекте принимал участие и такой человек, как Лауэ. Гейзенберг, Вейцзеккер, их друг и сотрудник Вирц не были членами нацистской партии. Конечно, это можно считать формальным обстоятельством. Ведь Иенсен состоял в партии, но, по-видимому, был далек от исповедания нацизма. А на Гейзенберга обрушивались свирепые атаки по идеологической линии, и он противостоял им бескомпромиссно.

Что касается гитлеровского приветствия, то оно было обязательным. Гейзенберг утешал себя тем, что писать официальные письма ему приходится очень редко. Устное приветствие имело особое значение только вначале. П. П. Эвальд приводит красочный эпизод (цитирую по книге Бейерхена): «Планк как президент Общества кайзера Вильгельма... прибыл на открытие Института металлов... в Штутгарте. Он должен был произнести речь (это, по-видимому, было в 1934 году), и мы смотрели на Планка, ожидая, как он справится с процедурой открытия, поскольку к этому времени было уже официально предписано такую речь начинать словами «Хайль Гитлер!». ...Планк сто-

ял на возвышении. Он поднял немного руку, но опустил ее. Он сделал это еще раз. Затем наконец рука пошла вверх, и он сказал: «Хайль Гитлер!». Ретроспективно мы понимаем: это было единственное, что можно было сделать, если не желать поставить под угрозу существование всего Общества кайзера Вильгельма» (это основанное в 1911 году общество объединяло обширную сеть исследовательских институтов, субсидировали его правительство и частный капитал).

С течением времени это приветствие превратилось в чистую формальность: небрежный взмах руки, который всем известен по кинофильмам, и скороговоркой — два кабалистических слова. Во всяком случае, участие в собраниях и митингах с аплодисментами, переходящими в овацию при каждом упоминании магического, обожествляемого имени, значило не меньше, поскольку здесь действительно возникало массовое чувство преклонения, восхищения, умиления и преданности.

По-видимому, в период нацизма психологически противоречивые настроения владели Гейзенбергом, а политически он во многом был нестоек, может быть, даже недостаточно зрел. Один известный физик, бежавший из гитлеровской Германии и информированный в подобного рода вопросах, говорил мне (не знаю, кто может подтвердить его слова), что в первые годы войны Гейзенберг желал поражения Германии. Узнав же об ужасных порядках, которые нацисты устанавливают в завоеванных странах, о лагерях смерти и т. п., испугался мести народов в случае неудачного для Германии исхода войны, стал желать победы. В конце войны страшились возмездия и солдаты. Вероятно, именно поэтому многие из них, прошедшие через советский плен, так хорошо относятся к нашей стране,— они не ожидали, что к ним проявят человечность и великодушие.

Когда в 1943 году Гейзенберг посетил своего коллегу Казимира, он старался убедить его, что Европа под германским руководством, быть может, меньшее зло, что только так можно защитить западную культуру. Не отрицая и не оправдывая зверства и вообще отвратительные черты нацизма, на которые, возражая, ссылался Казимир, он лишь утверждал, что после войны следует ожидать изменений к лучшему,— и это после Сталинграда, когда поражение Германии уже наметилось!

Сам Казимир задается вопросом: зачем Гейзенберг говорил ему все это? Перебирая возможные причины (кроме упомянутой), он снова сводит все к тому, что Гейзенберг совершенно не был способен понимать собеседника, в данном случае — ненавидящего гитлеризм голландца.

Необходимо отметить еще вот что. Тот же Казимир пишет, что до войны «всегда восхищался Гейзенбергом не только как физиком. Для меня он был представителем многого из того, что дала германская культура. Он был хороший музыкант и хороший спортсмен, знал древние языки гораздо лучше меня». Но потом стало преобладать неприязненное отношение к нему, возникло немало обвинений, основанных на ложных слухах. Так, например, мне говорили, что во время этого визита Гейзенберг уговаривал Казимира принять участие в немецком урановом проекте. В книге воспоминаний Казимира ни о чем таком нет ни слова. Беседуя со мной в сентябре 1988 года, Казимир категорически опровергал этот слух.

Со временем стало выясняться, что Гейзенберг старался помочь жертвам нацизма. Польский физик Э. К. Гора, ныне живущий в США, опубликовал в 1985 году в американском научном журнале письмо, озаглавленное «Спасенный Гейзенбергом». В этом письме он рассказывает, что когда в 1939 году части вермахта заняли Варшаву, его предупредили о приказе Гитлера уничтожить польскую интеллигенцию. Гора обратился к Гейзенбергу, и тот спас его: пригласил в Лейпциг, помог устроиться на работу трамвайным кондуктором — это дало статут «иностранного рабочего», назвал «иностранным студентом» — это дало возможность продолжить образование и вести научную работу (результаты ее были опубликованы в 1943 году в немецком журнале). Арестованный гестапо, Гора был вскоре освобожден, как он полагает, благодаря Гейзенбергу.

Гейзенберг никогда не писал и не говорил о своей помощи коллегам: считал, вероятно, что это ниже его достоинства, так как выглядело бы самооправданием.

Вообще многие «традиционно аполитичные» антифашистски настроенные ученые были, как выясняется, связаны между собой и старались помочь пострадавшим. Например, когда Хоутерманса переправляли от советской границы в Берлин, он попросил одного случайно задержанного немца, которого должны были освободить, чтобы тот нашел Лауэ и сказал ему всего три слова: «Хоутерманс в Берлине». Лауэ незамедлительно начал хлопоты и добился освобождения Хоутерманса.

Я знал об этом из различных воспоминаний, а подтверждение получил от физика Пейру — одного из тех двух пленных французских офицеров, которых Розбауд сумел вызволить на основании смехотворного предлога: необходимости перевести на французский научную книгу. При этом Розбауд договорился с Жолио-Кюри, что после войны эта работа не будет рассматриваться как сотрудничество с фашистами. До конца войны Пейру работал в лаборатории «Зубра» — Н. В. Тимофеева-Ресовского. Он подтвердил мне также, что когда сына Тимофеева-Ресовского, антифашиста-подпольщика, схватило гестапо, то Гейзенберг пытался помочь спасти его.

Известны лишь немногие факты такого взаимодействия ученых. Обнаруживались они постепенно, а теперь осталось уже мало современников и свидетелей событий.

Надо отметить, что после войны Гейзенберг был в числе восемнадцати западногерманских ученых-атомников, опубликовавших манифест, в котором они осудили атомное оружие и заявили, что никогда не будут принимать участие в его разработке.

И все же долго еще западные физики относились к Гейзенбергу с неприязнью. Научные контакты, конечно, возобновились — он участвовал во многих конференциях. Возобновились отношения с Бором, хотя есть основания полагать, что рана Бора так и не затянулась. Гейзенберг с женой приезжал в Копенгаген, и две супружеские пары подолгу гуляли вместе. Возобновились отношения со старым другом Паули, выдающимся физиком-теоретиком,— в свое время они создавали квантовую теорию поля, а теперь обсуждали новые научные проблемы (Паули, еврей по национальности, постоянно жил в Швейцарии, в 1940 году уехал в США; после войны снова по 5—6 лет подряд жил в Швейцарии).

Несомненно, Гейзенбергу нелегко было чувствовать отчуждение или хотя бы натянутость по отношению к нему.

В августе 1959 года, впервые после войны, в Киеве состоялась большая международная конференция по физике высоких энергий. В числе сотен иностранных ученых приехал и Гейзенберг. Почти все жили в гостинице «Украина». Девушка в бюро регистраций, не имея представления, с кем имеет дело, поселила Гейзенберга в одной из комнат на верхнем этаже с несколькими советскими журналистами. На следующее утро Гейзенберг подошел к известному физику И. Е. Тамму и робко попросил походатайствовать за него: до верхнего этажа не доходит вода, и он не может умыться. Конечно, все было тут же улажено.

Разумеется, Гейзенберг не знал, как его встретят в Киеве. Он был не только человек из гитлеровской Германии. Ему не могло не быть известно, что наши философы, а также некоторые физики клеймили его как идейного врага, «буржуазного идеалиста», физика «копенгагенской школы». Для них он был не одним из великих создателей квантовой механики, о которой Ландау с восторгом говорил: «Человек оказался способен понять то, что невозможно себе представить»,— а носителем идеологического зла.

Опасения Гейзенберга оказались напрасны: в научном общении не чувст-

вовалось никакой натянутости. Я впервые встретился с ним в 1957 году на конференции по космическим лучам в Италии и из-за некоторых причин отнюдь не политического характера мог ожидать, что он встретит меня недоброжелательно, однако он живо, с энтузиазмом рассказал мне кое-что о работе, которой был тогда увлечен. Эта работа вызвала бурный интерес: Ландау с восхищением говорил: «В 57 лет выдвинуть такую блестящую идею!»,— но затем обнаружились недостатки, и возбуждение прошло; именно об этой теории Бор затем сказал: «Это, конечно, безумная теория, но она недостаточно безумна, чтобы быть правильной».

В Киеве молодой талантливый физик из нашей группы в ФИАНе Г. А. Милехин с моей помощью рассказал Гейзенбергу о своей работе, в которой объяснял, почему две теории — Гейзенберга и Ландау — одного и того же важного процесса, очень привлекательные, но внешне принципиально различные, приводят к разным результатам. Милехин доказал, что эти теории можно свести к одной: они в принципе эквивалентны. Различие же выводов объясняется различием в выборе дополнительного элемента теории, который должен быть сделан на основе других соображений. Теория Ландау была более развита, более популярна, и круглое лицо Гейзенберга сияло, он открыто радовался, что все разъяснилось. Были и другие интересные обсуждения. Потом Гейзенберг председательствовал на пленарном заседании. Казалось, все по-прежнему. Но тогда же один известный физик-теоретик, эмигрировавший из Германии после прихода Гитлера к власти, в ответ на вопрос Ландау, как он относится к Гейзенбергу, в моем присутствии сказал: «Я не склонен забывать прошлое так быстро, как некоторые». Это было сказано через четырнадцать лет после окончания войны.

ПОЧЕМУ ГИТЛЕР НЕ ПОЛУЧИЛ АТОМНУЮ БОМБУ

На этот счет существует несколько точек зрения (явно неверное утверждение Юнга о сознательном саботаже ученых я исключаю).

Вот первая из них. Гитлер запретил разрабатывать виды оружия, которые не могут быть изготовлены и использованы на войне в ближайшее время. Действительно, когда немецкие физики в 1941 году пришли к выводу, что для создания атомного оружия нужны материальные и людские ресурсы, которые невозможно выделить во время войны, то это запрещение могло быть истолковано как приказ не заниматься атомным оружием. Но если бы они страстно хотели создать такое оружие, то они едва ли так легко отступили бы. Ведь сроки нельзя определить точно, а работать они начали раньше всех других — летом 1939 года, когда материальные и людские резервы еще не были растрачены (в последующие два года они лишь возрастали).

Другое мнение. Немецкие физики, коллектив которых был ослаблен массовой эмиграцией из Германии крупных ученых, недостаточно хорошо понимали дело, многого не знали. Действительно, Германия лишилась пятнадцати нобелевских лауреатов только в области химии и физики и множества не столь прославленных, но очень крупных физиков, которые сыграли в США ведущую роль при работе над атомным оружием. Но все же в Германии оставалось много сильных ученых — и это видно уже из того, что они очень скоро поняли все необходимое для создания бомбы. При наличии прекрасной промышленности, способной решать любые сложные проблемы химической очистки материалов и конструирования сложных машин и устройств, при наличии запасов урана (в конце 1940 года у немцев его было даже несколько больше, чем через два года у Ферми в США) и т. п. положение отнюдь нельзя было считать безнадежным.

Указывают также на само положение науки при нацизме. Наука и ученые были принижены, Гитлер их презирал. Лишь в сентябре 1944 года Борман запретил призывать научных работников на военную службу и привлекать к выполнению любых других специальных повинностей, не имеющих отношения к их основной профессии. Значительную часть научных работников тогда отозвали с фронта. Однако единой правительственной научной организации не было. Исследования по урановой проблеме вели разобщенные группы, конкурировавшие между собой. Так, даже последняя попытка в апреле 1945 года осуществить самоподдерживающуюся цепную реакцию не удалась только из-за того, что группа Дибнера не отдала группе Гейзенберга свои запасы тяжелой воды и урана.

Разные группы физиков искали покровительства всевозможных правительственных ведомств и порой находили его — одни в министерстве просвещения, другие в военном ведомстве, третьи даже в почтовом. В то же время ученые не хотели слишком заинтересовать власти в этой проблеме, так как знали, что Гитлер может повелеть, например, чтобы бомба была изготовлена за шесть месяцев, а в случае неудачи — казнить виновных. В этих условиях, как тонко замечает в своей книге «Вирусный флигель» Д. Ирвинг, исследователями руководило прежде всего неразрывно связанное с любой научной работой любопытство, желание раскрыть очередную тайну природы. Справедливо и другое замечание Д. Ирвинга: если бы они осуществили мирную цепную реакцию, то это же любопытство неизбежно вызвало бы стремление создать бомбу. Вспомним слова Ферми: «Прежде всего это хорошая физика».

Немаловажное значение имела поразительная самоуверенность многих ведущих немецких физиков: если даже они встретились с непреодолимыми трудностями, то их западные коллеги и вовсе не смогут ничего сделать, так как вообще далеко отстают. Сообщению о первой сброшенной американской бомбе они сначала просто не поверили. Предполагая в будущем создать энергетический реактор, они, как уже говорилось, вплоть до последнего момента — до апреля 1945 года — все свои усилия направляли на получение самоподдерживающейся цепной реакции в уране. Они считали, что если эта попытка будет успешной, то после падения Германии пораженные их успехом союзники должным образом оценят немецкую науку и создадут условия для ее развития. На самом же деле такой опыт был успешно осуществлен под руководством Ферми в Чикаго еще в декабре 1942 года, однако даже при невиданном размахе работ США потребовались еще 2 года 7 месяцев, чтобы создать атомные бомбы, так что, если бы последняя попытка немецких физиков оказалась успешной, это все равно не имело бы военного значения.

Примечателен вот какой факт. Бомбу можно было сделать двумя путями: либо из плутония, получаемого в любом работающем урановом реакторе, либо из изотопа уран-235, который необходимо как-то выделить из природного урана, содержащего его в очень малой пропорции,— задача чрезвычайно трудная. Немецкие физики безуспешно испробовали шесть методов разделения изотопов, пренебрегли лишь одним — именно тем, который применили в США. Возможно, случилось так потому, что к урановому проекту не был привлечен из-за своей национальности крупнейший эксперт в этом вопросе, нобелевский лауреат Густав Герц. Как участник первой мировой войны, награжденный орденом, еврей Герц смог остаться в Германии — на него не распространялись расовые законы. Между тем в Лос-Аламосском центре, где создавалась бомба, ведущими в работе были иммигранты, тогда еще граждане враждебных США стран Европы — Ферми, Сциллард, Теллер, Вайскопф, Бете, фон Нейман, Вигнер и множество других (они еще не прожили в США пяти лет, а без этого нельзя было получить американское гражданство).

Все это, конечно, играло свою роль. Но хотелось бы отметить еще одно не очевидное, но, как мне представляется, решающее обстоятельство.

Категорически отвергая утверждение Юнга о том, что немецкие физики сознательно саботировали создание атомной бомбы, надо сказать о другом. Успех

научной работы зависит отнюдь не только от сознательного решения. Каждый научный работник — математик, физик, химик, биолог, медик — хорошо знает, что добиться чего-либо действительно существенного и трудного можно только ценой полного напряжения интеллекта и душевных сил, только отдавшись целиком, страстно желая достигнуть цели. Были ли охвачены таким желанием немецкие физики?

Они не могли не испытывать отвращения к гитлеризму (характерно, что рьяные нацисты, имевшиеся среди физиков, в частности апологеты «арийской физики», не принимали никакого участия в работах по урановой проблеме. Нечто подобное было и у нас: те немногие квалифицированные физики, которые присоединялись к философам в травле «идеалистической» квантовой механики и теории относительности, ничего не сделали для создания атомного оружия). Они не могли полностью отвлечься от морального аспекта проблемы. Они были убеждены, что американцы и англичане далеко отстали и потому именно они, немцы, должны решать, надо ли создавать ужасное оружие. Известно, что открывший деление урана Отто Ган с самого начала понял, к чему это может привести. Он морально страдал и был близок к самоубийству, мечтал утопить весь уран в океане, но все же участвовал в работах. Ко времени атомной бомбардировки Японии главные немецкие атомники были интернированы в Англии, в поместье Фарм-Холл. Узнав о сброшенной бомбе, о гибели ста тысяч человек, Ган пришел в такой ужас, что друзья опасались за его жизнь, не оставляли одного.

Мог ли ненавидевший нацизм Лауэ всем своим существом желать, чтобы Гитлер получил бомбу? Он писал сыну в 1946 году: «В процессе всех исследований по урану я всегда играл роль наблюдателя, которого участники обычно, хотя и не всегда, держали в курсе дела». Однако он все равно считался одним из главных участников работ и не случайно вместе с другими был интернирован в Фарм-Холле.

Гейзенберг и Вейцзеккер пишут, что испытали облегчение, убедившись в 1941 году в невозможности создать бомбу в воюющей Германии, и оснований не верить им нет. Они и действительно ограничились лишь работами по самоподдерживающейся реакции. В опубликованных материалах нет ни одного упоминания о том, что в этот период они обдумывали устройство бомбы или вели какие-либо расчеты по ней (то, что бомба должна быть «размером в ананас», они знали уже давно).

Формально все они выполняли свою работу вполне добросовестно. Формально — да. Но вот три факта.

Неудача их в значительной мере, если не целиком, связана с роковой ошибкой Боте. Замечательный экспериментатор, нобелевский лауреат, в январе 1941 года он измерял, казалось, тщательно, важнейшую физическую характеристику ядер углерода — длину диффузии тепловых нейтронов в графите. За полгода до этого эксперимент того же Боте дал для нее значение 61 сантиметр. Ожидалось, что в специально очищенном графите получится по крайней мере 70 сантиметров, но Боте получил значение лишь в 35 сантиметров. Из этого следовало, что паразитное поглощение нейтронов графитом недопустимо велико и его нельзя использовать в реакторе в качестве замедлителя нейтронов. Пришлось ориентироваться на тяжелую воду, добывать которую гораздо труднее. Вырабатывали ее только на специальном заводе в Норвегии с огромной затратой электроэнергии. Норвежские патриоты (многие из них при этом погибли) сумели разрушить завод и уничтожить запасы сырья, а затем и транспорт с ранее изготовленной водой, и это сказалось на немецком урановом проекте.

Однако Боте грубо ошибся. Что-то (возможно, заражение азотом из воздуха) не было учтено. В США в реакторах использовали именно графит, а не тяжелую воду. Не ошибись Боте, великолепная немецкая химическая промышленность с легкостью выполнила бы заказ на производство сверхчистого графита. Но непостижимым образом и сам Боте, и все другие не усомнились в правильности его измерений. Ни он, ни кто-либо другой в Германии не повторил их.

Между тем ясно, как действовал бы глубоко озабоченный проблемой ученый. Он снова и снова очищал бы графит, менял постановку опыта, вгрызался в проблему. Здесь же и Боте, и все другие физики с поразительным легкомыслием поверили его результату. Только в апреле 1945 года, когда из-за недостатка тяжелой воды установка была окружена «рубашкой» из графита и размножение нейтронов оказалось более значительным, чем рассчитывали, Вирц заподозрил, что Боте ошибся. Но было уже поздно, к счастью для человечества, как замечает один автор. В самом деле, если бы в январе 1941 года Боте не ошибся, то критический опыт удалось бы осуществить по крайней мере за полтора года до Ферми. Кто знает, не решилось ли бы в этом случае нацистское руководство отрядить необходимые сто двадцать тысяч рабочих для создания мощных реакторов и затем плутониевой бомбы? Ведь в то время в руках Гитлера была почти вся Европа и Германия обладала огромной экономической мощью. В США, как уже говорилось, бомба была создана через два с половиной года после опыта Ферми (правда, строительство реакторов началось несколько раньше). Это значит, что в принципе немцы могли бы создать бомбу, скажем, к началу 1944 года. Конечно, относительная малочисленность научных кадров по сравнению с научными кадрами в США затруднила бы работу. И, быть может, это самое главное — не было бы того бешеного напора, который проявили специалисты в Америке (да и у нас).

А теперь факт второй.

По множеству опубликованных в печати воспоминаний участников «Манхэттенского проекта» мы знаем, как работали ученые и инженеры в США, панически опасаясь, что немцы (науку и технику которых они всегда по старой традиции считали самыми сильными в мире) могут их опередить в создании бомбы. Все эти люди полностью отдали себя атомной проблеме. Их в то время не мучил моральный аспект — речь шла о спасении человечества от гитлеровского порабощения. Они не могли и думать о том, чтобы заняться чем-либо другим, кроме создания бомбы. Напомним: советский физик-ядерщик Г. Н. Флеров потому и заподозрил в конце 1941 года, что в США идут работы по урану, что из американской научной периодики полностью исчезли публикации всех (или почти всех) специалистов по физике атомного ядра. Флеров немедленно обратился с этим своим выводом в Президиум Академии наук, и его вмешательство сыграло значительную роль в возобновлении наших исследований в самый тяжелый для страны период войны.

А что же ведущие участники уранового проекта в Германии?

В июне 1943 года Гейзенберг в качестве редактора подписал предисловие к вышедшему через несколько месяцев сборнику научных статей «Космические лучи». Составленный в честь 75-летия Зоммерфельда, сборник этот был посвящен вопросам, не имеющим никакого отношения к урановой проблеме, хотя и весьма ценным в чисто научном отношении. Из пятнадцати статей в нем двенадцать (!) написаны ведущими участниками уранового проекта: пять (!) самим Гейзенбергом, две Вейцзеккером, две Флюгге, по одной Вирцем, Багге и Боппом.

В том же 1943 году Гейзенберг публикует две статьи, положившие начало целому направлению в фундаментальной квантовой теории полей и частиц. Никакого отношения к практике, а тем более к реакторам или бомбе, они не имели. (Вейцзеккер пишет, что в это же время они регулярно собирались на семинар по биофизике, он сам занимался космологией и т. д.)

Ничего подобного не могло быть в США, где ученые работали над бомбой безотрывно и лихорадочно. Советские ученые были поглощены той же задачей. Во время войны они тоже опасались, что немцы могут опередить, а потом — в период «холодной войны» — считали жизненно необходимым обеспечить равновесие сил ради сохранения мира. В то время в научном коллективе, возглавлявшемся И. В. Курчатовым, не отвлекались даже на защиту диссертаций.

И, наконец, третий факт.

В августе 1945 года ведущие немецкие атомники были интернированы в поместье Фарм-Холл под английской военной охраной; все их разговоры записывались на магнитофонную ленту. Генерал Гровс, административный руководитель всех американских работ по атомной бомбе, в своей книге «Теперь об этом можно рассказать» цитирует эти записи. Первая же запись содержала вопрос Дибнера: «Как вы думаете, они установили тут микрофоны?» — и самоуверенный ответ Гейзенберга: «Микрофоны? (Смеется). Ну, нет. Не такие уж они дотошные. Я уверен, что они не имеют представления о настоящих гестаповских методах». Так что на пленки записаны высказывания, не рассчитанные на посторонний слух.

Когда немецкие физики узнали о сброшенной на Японию первой бомбе, начались бурные споры, взаимные обвинения. Страсти разгорелись. И тут прозвучал голос Вейцзеккера: «Я думаю, основная причина наших неудач в том, что большая часть физиков из принципиальных соображений не хотела этого. Если бы мы все желали победы Германии, мы наверняка добились бы успеха». Багге понял эти слова прямолинейно и ответил: «Мне кажется, заявление Вейцзеккера — абсурд. Конечно, не исключено, что с ним так было, но о всех этого сказать нельзя».

Вейцзеккер говорил не о сознательном нежелании, а подчеркивал внутренний, подсознательный протест. Ган ответил ему: «Я в это не верю, но я все равно рад, что нам это не удалось». А Вирц, имея в виду бомбу, сказал: «Я рад, что у нас ее не оказалось».

С такими настроениями грандиозную проблему создания атомного оружия решить было невозможно.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что политическое поведение Гейзенберга в большей степени определялось его национализмом. Не так уж много на земном шаре стран, где убеждение в превосходстве своей нации над всеми другими столь открыто выражалось даже в национальном гимне: «Германия превыше всего». Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», провозглашенный Марксом и Энгельсом, создавшими Первый Интернационал, тем более замечателен, что оба они — немцы. Второй Интернационал в начале первой мировой войны потерпел крах, как известно, именно потому, что шовинистические чувства в начавшей войну Германии легко возобладали над всеми антивоенными резолюциями предшествовавших конгрессов, где социалисты, немцы прежде всего, торжественно клялись не допустить войну, объявить в случае войны во всех странах всеобщую забастовку и т. д. В предгитлеровские годы националистические чувства были усилены унижением, принесенным Версальским договором, голодом, безработицей, безысходностью, которых не знала ни одна, даже охваченная кризисом, капиталистическая страна.

Гейзенберга в период нацизма, несомненно, раздирали противоречия. Отвращение к нацизму — с одной стороны; удовлетворение от того, что немецкий народ выведен из состояния многолетнего отчаяния, безработицы и голода — с другой; страх перед ужасным возмездием, которое, как он полагал, постигнет Германию после ее поражения,— с третьей; горечь от разрыва с прекрасным интернациональным сообществом физиков, в атмосфере которого он вырос,— с четвертой; наконец, естественное желание уберечь науку — основу своего существования, быть со своим народом. Это типичная судьба интеллектуала при бесчеловечном, варварском деспотизме, если у него нет решимости сделать освобождающий от сомнений выбор. Вдова Гейзенберга назвала свою книгу воспоминаний «Внутренняя ссылка». В предисловии к этой книге авторитетный физик-теоретик и общественный деятель, ученик Паули и Бора, эмигрировавший в 1937 году в США, европеец по воспитанию, Виктор Вайскопф пишет, что Гейзенберг пытался создать «остров порядочности».

Все это, конечно, трагедия не одного Гейзенберга. Это трагедия эпохи.

Иными были позиция и судьба Бора. Он ненавидел нацизм не только потому, что это темная, безжалостная, варварская диктатура, но и потому, что это был прямой враг, раздавивший его Данию. Ненависть не вызывала в нем никаких противоречивых чувств — все было ясно. Он все время находился в тесном контакте с датским Сопротивлением, а через него — с союзными военными органами. Когда настало время, Бора вывезли в Швецию, а затем через Англию в Америку, где он принял деятельное участие в создании атомного оружия. Но когда и эта работа, и война приближались к успешному завершению, его стала мучить проблема послевоенного устройства мира, в котором есть бомба. Он взывал к Рузвельту и Черчиллю, настаивая на передаче «секрета» бомбы СССР, чтобы сохранить союз, возникший во время войны (никто из физиков не знал, что в СССР уже идет энергичная и успешная работа над атомным оружием, и никакого секрета на самом деле нет). Но опытные политики играли Бором, как мячиком, перебрасывая его от одного к другому. Дело было сделано, ученые дали оружие, и теперь можно было распоряжаться им как угодно, не подпуская и близко этих чудаков. Так Бор пришел к своей, иной, чем у Гейзенберга, трагедии. Совсем иной, но она тоже стала трагедией эпохи.

Рой Медведев

О СТАЛИНЕ И СТАЛИНИЗМЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

3

Еще задолго до 1937 года, сразу же после отставки М. Томского, из профсоюзов убрали прежних руководителей. Под предлогом борьбы с «правыми» их перевели на малозначительные посты в хозяйственных или советских органах. В 1937—1938 годах почти все они, в том числе Г. Мельничанский, А. Догадов, Я. Яглом, В. Михайлов, Б. Козелев, В. Шмидт, были репрессированы.

Большую часть нового секретариата ВЦСПС в 1937 году не тронули. Однако некоторых арестовали. Так погибла Е. Н. Егорова, секретарь ВЦСПС. Ее подпись стоит на партийном билете, выданном в 1917 году Ленину от Выборгского райкома партии, где Егорова была одним из секретарей; в июле 1917 года она помогала скрывать Ленина. Погиб в годы террора и ответственный профсоюзный деятель А. А. Коростелев.

В 1936—1937 годах арестовали многих комсомольских руководителей 20—30-х годов, перешедших затем на партийно-хозяйственную работу, но сохранивших связи с комсомолом. Погиб Оскар Рывкин, избранный на Первом съезде комсомола в 1918 году председателем ЦК РКСМ. Перед арестом он был секретарем Краснодарского горкома партии. Погиб Лазарь Шацкин — первый секретарь ЦК РКСМ в 1919—1922 годах, работавший в 30-е годы в Коминтерне. Расстреляли Петра Смородина: у гроба Ленина он дал от имени комсомола клятву верности заветам Ильича. Погиб генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ с 1924 по 1928 год Николай Чаплин. Арестован генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ в 1928—1929 годах Александр Мильчаков. Так что, если верить лживым версиям НКВД, комсомол на протяжении всей истории возглавляли «враги народа».

Вместе с ветеранами комсомола в 1936—1937 годах были арестованы и отдельные его руководители нового поколения. Этого Сталину показалось мало. По свидетельству В. Пикиной, А. Мильчакова и А. Диментмана, в июне 1937 года секретари ЦК ВЛКСМ были вызваны к Сталину. Разговор шел в присутствии Ежова. Сталин упрекал Косарева за то, что ЦК комсомола не помогает органам НКВД разоблачать «врагов народа». Никакие объяснения Косарева не помогли. После этой встречи репрессии среди комсомольских работников заметно усилились. Были арестованы секретари ЦК ВЛКСМ П. Горшенин и Файнберг, член Исполкома КИМа В. Чемоданов, члены ЦК ВЛКСМ Д. Лукьянов, Г. Лебедев, А. Курылев, редактор «Комсомольской правды» В. Бубекин, секретари республиканских и областных организаций С. Андреев, К. Тайшитов, И. Артыков, В. Ал сандров...

В ноябре 1938 года в Москве под председательством А. А. Андреева состоялся очередной пленум ЦК ВЛКСМ, на котором присутствовали Сталин, Молотов и Маленков. Пленум постановил снять генерального секретаря ЦК ВЛКСМ А. В. Косарева и большинство его ближайших соратников с занимаемых ими постов. Жизнь многих из них в годы революции и гражданской войны

Продолжение. Начало см. «Знамя» №№ 1, 2 за 1989 год.

была сходна с жизнью Павла Корчагина. Всех их, как и тысячи других, полных сил и энергии молодых людей, арестовали, объявили «врагами народа», «шпионами»; большинство расстреляли или сгноили в лагерях.

4

В конце 30-х годов руководство Советского Союза ясно отдавало себе отчет в неизбежности войны с фашистскими государствами, уже начавшими агрессию в Абиссинии, Испании, Китае и в центре Европы. В это тревожное время Сталин и органы НКВД нанесли удар по кадрам Красной Армии, уничтожив в течение двух лет десятки тысяч ее лучших командиров и комиссаров.

Первые аресты военных прошли в конце 1936-го — начале 1937 года: видных военачальников и героев гражданской войны И. И. Гарькавого, И. Туровского, Г. Д. Гая, Ю. В. Саблина, Д. М. Шмидта, Б. Кузьмичева обвинили в связях с троцкистами.

11 июня 1937 года в печати появилось сообщение о предании суду Военной Коллегии группы крупнейших военачальников: М. Н. Тухачевского, И. Э. Якира, И. П. Уборевича, Б. М. Фельдмана, А. И. Корка, Р. П. Эйдемана, В. М. Примакова, В. К. Путны. В тот же день они были приговорены к расстрелу.

Один из наиболее выдающихся военачальников Красной Армии, член ЦК ВКП(б) Якир, командовал перед арестом Киевским особым военным округом. Крупнейшим полководцем был и Уборевич. В двадцать два года он командовал в 1919 году 14-й армией, нанесшей под Орлом поражение отборным дивизиям Деникина, а в 1922 году — армией, Дальневосточной Республики, возглавил штурм Спасска и освобождение Владивостока. Перед арестом был командующим войсками Белорусского военного округа. Недавний первый заместитель народного комиссара обороны СССР Тухачевский был после Фрунзе наиболее выдающимся военным деятелем.

Я. Б. Гамарник, начальник Политуправления РККА и зам. наркома обороны, член ЦК ВКП(б) в те дни, по сообщению печати, «запутавшись в своих связях с врагами народа», покончил жизнь самоубийством.

Все это было, однако, только начало. Выступая в августе 1937 года на совещании армейских политработников, Сталин призвал выкорчевывать «врагов народа» в армии, доносить о них. Через день Ворошилов и Ежов издали приказ, где говорилось, что в Красной Армии имеется разветвленная сеть шпионажа. Предлагалось всем, кто как-то связан со шпионами, сознаться в этом, а тем, кто что-то знает или подозревает о шпионской деятельности,— донести.

Во второй половине 1937-го и в 1938 году репрессивные органы нанесли ряд страшных ударов по основному руководящему ядру Красной Армии — от командующих округами и флотами до командиров полков и батальонов.

Были арестованы и погибли маршал А. И. Егоров, начальник Генерального Штаба Красной Армии, руководивший в 1919 году разгромом Деникина, и заместитель наркома обороны И. Ф. Федько, герой гражданской войны, кавалер четырех орденов Красного Знамени. Расстрелян маршал В. К. Блюхер, командующий Особой Дальневосточной армией, герой гражданской войны. Сталин не решился открыто объявить об аресте Блюхера, который пользовался в стране и в армии огромной популярностью.

Погибли заместители наркома обороны по морским делам и ВВС В. М. Орлов и Я. И. Алкснис, начальники управлений наркомата А. И. Седякин, Э. Ф. Аппог, Г. Бокис, Н. Н. Петин, Я. М. Фишман, Р. В. Лонгва, А. И. Геккер, армейский комиссар И. Е. Славин, недавние заместители Гамарника по Политуправлению РККА Г. А. Осепян и А. С. Булин, секретарь Комитета Обороны СНК СССР Г. Д. Базилевич.

Расстреляли почти всех командующих военными округами — героев гражданской войны П. Е. Дыбенко, Н. В. Куйбышева, С. Е. Грибова, Н. Д. Каширина, М. Д. Великанова, И. П. Белова, И. К. Грязнова, Я. П. Гайлита, И. Н. Дубового.

Погибли командующие корпусами и армиями А. Н. Борисенко, М. К. Левандовский, В. В. Хрипин, А. Я. Лапин, Е. И. Ковтюх — герой Таманского похода, описанного Серафимовичем в романе «Железный поток», И. И. Вацетис — бывший командир знаменитой Латышской дивизии и Главнокомандующий вооруженными силами РСФСР. Расстреляны герои гражданской войны И. С. Кутяков, сменивший Чапаева на посту командира 25-й дивизии, Д. Ф. Сердич, И. Я. Строд, Б. С. Горбачев, В. М. Мулин.

Был арестован Г. Х. Эйхе, в прошлом командующий 5-й армией Восточного фронта, разгромившей под Иркутском главные силы Колчака. (Эйхе — один из немногих военачальников, доживших в многолетнем заключении до реабилитации.)

Погибли командующие флотами, флотилиями и особыми соединениями флагманы, адмиралы и вице-адмиралы М. В. Викторов, И. К. Кожанов, К. И. Душенов, А. К. Векман, А. С. Гришин, Д. Г. Дуплицкий, Г. П. Киреев, И. М. Лудри, Г. С. Окунев, В. М. Смирнов, Э. С. Панцержанский, С. П. Ставицкий.

Разгрому подверглись почти все военные академии Красной Армии. Были арестованы их начальники С. А. Пугачев, Б. М. Иппо, М. Я. Германович, Д. А. Кучинский, А. Я. Сазонтов, А. И. Тодорский, а также сотни преподавателей и даже слушателей. При этом погибли видные представители военной науки П. И. Вакулич, А. И. Верховский, А. В. Павлов, А. А. Свечин и другие.

Были физически уничтожены все ведущие политработники армии и флота, а также члены Военных Советов и начальники политуправлений почти всех военных округов — М. П. Амелин, Л. А. Аронштам, Г. И. Векличев, Г. Д. Хаханьян, А. М. Битте, А. И. Мезис.

Среди погибших в годы репрессий герои гражданской войны, которые уже не служили в армии,— секретарь ЦИК СССР И. С. Уншлихт, прежде возглавлявший Управление воздушного флота, а также Р. И. Берзин, который в 1918—1920 годах командовал 3-й и 9-й армиями, а позднее работал в военной промышленности. Был арестован командир знаменитой «Стальной дивизии» Д. П. Жлоба, перешедший на хозяйственную работу на Кубани.

Не пощадил Сталин и многих бывших военачальников, уже не имевших возможности работать. Так, был расстрелян В. И. Шорин, командовавший во время гражданской войны армиями и фронтами. В 1925 году он вышел на пенсию по возрасту и состоянию здоровья. В приказе Реввоенсовета по этому поводу отмечались огромные заслуги Шорина перед Советской властью. Впервые в истории Красной Армии Реввоенсовет постановил навечно оставить имя Шорина в ее списках. Сталин вычеркнул это имя из списков армии и санкционировал расстрел 68-летнего героя.

В предвоенные годы были арестованы три из пяти маршалов СССР, пятнадцать из шестнадцати командармов, все командиры корпусов и почти все командиры дивизий и бригад, около половины командиров полков, все армейские комиссары, почти все комиссары корпусов, дивизий и бригад и третья часть комиссаров полков, многие и многие представители среднего и младшего комсостава. Столь же тяжелые потери были и в Военно-Морском Флоте. Ни в одной войне ни одна армия не понесла такого урона в командном составе, какой понесла Красная Армия в предвоенные годы.

Была сведена на нет многолетняя работа военных академий по подготовке кадров. Осенняя проверка в 1940 году показала, что ни один из 225 командиров полков, привлеченных на сбор, не имел академического образования, лишь 25 окончили военные училища, а остальные 200 — курсы младших лейтенантов. В начале 1940 года 70 процентов командиров дивизий и полков занимали эти должности лишь около года. И это в преддверии войны!

Строя планы нападения на СССР, Гитлер учитывал, что лучшие кадры Красной Армии уничтожены. «Первоклассный состав советских высших военных кадров истреблен Сталиным в 1937 году,— говорил Гитлер генералу Кейтелю.— Таким образом, необходимые умы в подрастающей смене еще пока отсутствуют». А на совещании высших нацистских генералов по поводу подготовки нападения на СССР 9 января 1941 года он заявил: «У них нет хороших полководцев».

5

О большинстве работников карательных и судебно-следственных органов трудно говорить как о честных людях. Они активно участвовали во всех репрессивных кампаниях конца 20-х — начала 30-х годов, готовили первый крупный процесс против бывших лидеров оппозиции. Однако перерождение и политическое разложение среди руководства НКВД, суда и прокуратуры шло не так быстро, как было нужно Сталину. Предполагая направить острие репрессий против ядра партии и государства, Сталин решил коренным образом изменить и состав карательных органов. К тому же эти люди знали «слишком много», а тираны не любят свидетелей своих преступлений.

Вскоре после ареста Ягоды были арестованы и расстреляны его заместители и ближайшие помощники — В. А. Балицкий, Я. С. Агранов, Г. А. Молчанов, Л. Г. Миронов, М. И. Гай, А. М. Шанин, З. Б. Кацнельсон, отравлен начальник иностранного отдела НКВД А. А. Слуцкий. Сталин дал санкцию на расстрел одного из тех, кому особо доверял,— начальника Оперативного отдела НКВД, коменданта Кремля и фактического начальника кремлевской охраны К. В. Паукера.

Участвовавший в организации процесса «Промпартии», Е. Г. Евдокимов в 1936 году перешел на партийную работу в Ростовской области и немало потрудился над ее «очищением» от «врагов народа». В 1937 году его расстреляли. Погиб Т. Д. Дерибас, руководитель «органов» на Дальнем Востоке. По свидетельству П. И. Шабалкина, Дерибас возражал против необоснованных репрессий.

В 1936—1937 годах погибли известные чекисты М. Лацис, С. Мессинг, Н. Быстрых, С. Стырне, А. Артузов, Г. Благонравов, С. Аршакуни, А. Пилляр, В. Р. Домбровский, М. В. Слонимский, Н. Г. Крапивянский, Г. Е. Прокофьев, Л. Б. Залин, Т. Лордкипанидзе, Б. А. Зак. Как свидетельствуют бывшие чекисты, старые большевики С. О. Газарян, М. В. Остроградский и М. М. Ишов, в большинстве эти работники НКВД были субъективно честными людьми и не желали участвовать в уничтожении партийных кадров. Так, Артузов, выступая в 1937 году на активе НКВД, сказал: «При установившемся после смерти Менжинского фельдфебельском стиле руководства отдельные чекисты и даже целые звенья нашей организации вступили на опаснейший путь превращения в простых техников аппарата внутреннего ведомства, со всеми его недостатками, ставящими нас на одну доску с презренными охранками капиталистов».

После этого выступления Артузова арестовали и вскоре расстреляли. Был расстрелян В. Н. Манцев, личный друг Дзержинского. За отказ применять «новые методы» следствия был расстрелян нарком внутренних дел Белоруссии И. М. Леплевский. Был арестован почетный чекист Ф. Т. Фомин. Покончил самоубийством известный чекист и педагог М. С. Погребинский, организатор и руководитель детских коммун. Назначенный начальником Горьковского областного управления НКВД, Погребинский, как об этом свидетельствует его предсмертное письмо, не хотел выполнять преступные приказы «центра». Покончил с собой и следователь по особо важным делам Курский, незадолго до того награжденный орденом Ленина за «успешную подготовку процесса «параллельного центра». Правда, причиной самоубийства был скорее страх, нежели муки совести.

В 1937 году был расстрелян организатор первых лагерей на Колыме, бывший командир дивизии латышских стрелков Э. П. Берзин. Погибли члены коллегии НКВД И. Д. Каширин, Г. И. Бокий и Я. Х. Петерс, близкий соратник Дзержинского.

В своих недавно опубликованных воспоминаниях «Это не должно повто-

риться» старый чекист С. О. Газарян, арестованный в 1937 году и переживший годы заключения, подробно описал на примере Грузии страшную обстановку террора, которая сложилась тогда в НКВД. Сотрудников НКВД Грузии арестовывали и пытали их бывшие сослуживцы и подчиненные. В то же время выдвигались сначала на руководящие посты в НКВД Грузии, а затем и в НКВД СССР приспешники Берии — Кобулов и Хазан, Кримян и Савицкий, Деканозов и Меркулов, Гоглидзе и Мильштейн.

Тяжело пострадала советская разведка — и по линии НКВД и по линии НКО. Многих крупных разведчиков и резидентов вызывали в Москву для «доклада» или для «отдыха» и здесь арестовывали и расстреливали. Немало разведчиков и дипломатов отказались возвращаться на верную гибель. Для расправы с невозвращенцами всех ведомств в структуре НКВД был создан специальный отдел. Его сотрудники выследили и убили Игнатия Рейса, Вальтера Кривицкого, а также бывшего резидента ОГПУ в Турции Агабекова, который порвал со своим ведомством еще в 1929 году и жил в Бельгии.

Основатель и начальник советской военной разведки Я. К. Берзин, назначенный в 1937 году главным советником Испанского республиканского правительства, в 1938 году был вызван в Москву и расстрелян. Погиб и С. П. Урицкий, сменивший Берзина на посту начальника Разведуправления Наркомата Обороны. Большая и превосходно налаженная система разведки была разрушена.

Жестокой чистке подверглись органы суда и прокуратуры. После гибели наркома юстиции СССР Н. В. Крыленко был переведен на другую должность и позднее арестован Генеральный прокурор СССР И. А. Акулов, старейший деятель партии. Были арестованы председатель Московского городского суда Н. М. Немцев, член Верховного Суда СССР А. В. Медведев, прокурор РСФСР В. А. Деготь, видные работники Прокуратуры СССР Р. П. Катанян и М. В. Острогорский. Погибли военные прокуроры и руководители военных трибуналов Н. Н. Гомеров, Ю. А. Дзервит, Е. Л. Перфильев, Л. Я. Плавник. Отстранен от работы заместитель Председателя Верховного Суда СССР П. А. Красиков, вместе с Лениным и Плехановым входивший в бюро Второго съезда РСДРП.

Арона Сольца, бывшего члена Президиума Центральной Контрольной Комиссии ЦК, в 20-е годы называли совестью партии. Он не мог молчать, когда в 1937 году началась развязанная Сталиным кампания массовых репрессий. Сольца стали отстранять от дел. Он не сдавался. В октябре 1937 года выступил на конференции Свердловского партактива с критикой Вышинского и потребовал создать специальную комиссию для расследования всей деятельности этого человека. Часть сидевших в зале замерла от ужаса, а многие закричали: «Долой!», «Вон с трибуны!», «Волк в овечьей шкуре!» Сольц продолжал говорить. Несколько человек подбежали к старику и стащили его с трибуны. Трудно сказать, почему Сталин не разделался с Сольцем попросту, то есть не арестовал его. В феврале 1938 года его окончательно отстранили от работы в прокуратуре. Он безрезультатно пытался добиться приема у Сталина, вместе с которым работал в питерском подполье в 1912—1913 годах и не раз в ту пору спал на одной койке. Сольц объявил голодовку, и его упрятали в психиатрическую лечебницу. Вышел он оттуда совершенно сломленным и вскоре умер, одинокий, больной, всеми забытый.

На смену таким, как Сольц, в юстицию приходили беспринципные, жестокие, готовые на все люди, подобные И. О. Матулевичу, Г. П. Липову, С. Я. Ульяновой, А. А. Батнеру.

6

В середине 30-х годов большинство зарубежных компартий находилось в подполье, и, для того чтобы сохранить их руководство, значительная часть членов ЦК этих компартий работала в Москве, как и основные центральные органы Коминтерна, КИМа, Крестьянского Интернационала, Профинтерна, МОПРа и других организаций международного коммунистического движения. Террор 1937—1938 годов не мог не затронуть их.

Прежде всего пострадали советские сотрудники международных организаций. Был арестован и погиб секретарь ИККИ и член ЦК ВКП(б) И. А. Пятницкий, в прошлом ближайший соратник В. И. Ленина. Расстрелян Рафаэль Хитаров, много лет возглавлявший КИМ. Погиб Павел Миф, ректор Университета имени Сунь Ятсена, ведущий ученый-китаевед и деятель Коминтерна. Погибли Г. Алиханов (Алиханян), заведующий отделом кадров Коминтерна и один из основателей Компартии Армении, ответственные работники Коминтерна К. И. Смолянский, Г. Сафаров, Б. А. Васильев, П. Л. Лапиньский. Органы НКВД расстреляли М. А. Трилиссера, который в 20-е годы был заместителем председателя ОГПУ, а затем возглавил Особый отдел Коминтерна. Он был наделен чрезвычайными полномочиями для «очистки» Коминтерна от «врагов народа», но вскоре сам стал жертвой этой жестокой чистки.

Наряду с советскими работниками под удар НКВД попали и многие деятели зарубежных компартий. Был расстрелян Бела Кун, один из основателей Компартии Венгрии и фактический руководитель Венгерской Советской Республики в 1919 году. Вместе с ним погибли видные деятели Венгерской компартии Ф. Карикаш, Д. Бокань, Ф. Габор, Л. Мадьяр. В застенках НКВД окончили свою жизнь двенадцать народных комиссаров Венгерской Советской Республики 1919 года.

Особенно тяжелые потери понесла Коммунистическая партия Польши: арестовали практически всех ее руководителей и почти всех рядовых членов, находившихся в СССР. Были расстреляны Генеральный секретарь ЦК КПП и член ИККИ Юлиан Лещинский-Ленский; один из основателей социал-демократической, а позднее и Коммунистической партии Польши семидесятилетний А. Варский; отдавшая более 40 лет рабочему движению Польши Вера Костшева (Мария Кошутская); члены ЦК партии Эдвард Прухняк и Бронковский; члены Политбюро КПП Г. Генриховский и Ежи Рынг, которых выманили из Польши якобы для «консультации». Были арестованы и руководители компартий Западной Украины и Белоруссии Р. Д. Вольф, И. К. Логинович, М. С. Майский, Н. П. Масловский и другие. Репрессировали не только польских коммунистов, но и многих поляков-эмигрантов, которые жили главным образом на Украине и в Белоруссии. Летом 1938 года, когда в Польше начался подъем антифашистского движения, Исполком Коминтерна принял решение о роспуске Компартии Польши, а также компартий Западной Украины и Западной Белоруссии, польского комсомола и всех иных коммунистических организаций в Польше. Решение мотивировалось «проникновением» в руководство КПП агентов польской охранки. Все это произвело угнетающее впечатление на коммунистов в самой Польше, значительная часть которых находилась там в заключении, деморализовало многих сочувствующих коммунистам.

Жертвами репрессий стали члены ЦК Компартий Эстонии, Латвии и Литвы Х. Пегельман, Ян Анвельт, Я. Берзин (Зиемелис), Я. Ленцманис, Э. Апине, Я. Круминь (Пилат), Рудольф Эндруп, Е. Таукайте, Н. Янсон, Ф. Деглав, Р. Мирринг, О. Рястас, И. Кясперт, Р. Вакман, Э. Зандрейтер, Ф. Паузер, О. Дзенис и многие другие. Деятельность Центральных Комитетов Компартий Эстонии, Латвии и Литвы на несколько лет прекратилась, были прерваны связи этих партий с Коминтерном, перестали работать даже некоторые городские комитеты партии. Тысячи политэмигрантов из Прибалтики были арестованы, закрыто латышское отделение Педагогического института им. Герцена в Ленинграде, Дом культуры латышей, Эстонский клуб, перестали издаваться в СССР латышская и эстонская газеты.

Многочисленные аресты были проведены среди коммунистов Бессарабии, Ирана, Турции, Румынии, находившихся в Советском Союзе в эмиграции. Погиб в эти годы лидер Компартии Ирана А. Султан-Заде, был арестован лидер Мексиканской компартии Гомес.

Разгрому подверглись руководящие кадры Югославской компартии. Погиб один из ее основателей, Филипп Бошкович. Был расстрелян Генеральный секретарь ЦК КПЮ и член ВКП(б) Милан Горкич (Йосип Чижински), работавший

в Москве с 1932 года. Погиб вернувшийся из Испании секретарь ЦК КПЮ Владимир Чопик, один из командиров Интернациональных бригад. Арестованы видные деятели партии С. Цвинич, Д. Цвинич, Форватин, Цилига, Попович, Новакович. По свидетельству Тито, обсуждался вопрос о роспуске Компартии Югославии, так как практически всех ее руководителей и активистов, находившихся в СССР, арестовали. «Я был один»,— говорил Тито. Коминтерн все же разрешил ему сформировать новый ЦК, и Тито поспешил перевести руководство партии в Югославию. В югославском подполье он чувствовал себя спокойнее, чем в гостинице «Люкс» в Москве. Всего в застенках НКВД погибло более ста активистов КПЮ.

Значительно пострадали кадры Компартии Болгарии. Были арестованы ее представители в Коминтерне Искров и Стомоняков. Арестовали также Попова и Танева, которых вместе с Г. Димитровым судили на знаменитом Лейпцигском процессе 1934 года. После того как фашистский суд был вынужден оправдать подсудимых, СССР предоставил Димитрову, Таневу и Попову советское гражданство. Через три года Попов и Танев были осуждены по клеветническим обвинениям (Попов дожил до XX съезда КПСС). Были арестованы видные деятели БКП М. Л. Стоянов, И. Павлов, Г. Ламбров и многие другие. Погибли сотни коммунистов-эмигрантов из Болгарии — они жили и работали главным образом в Одесской области, поближе к родине. И хотя Г. Димитрову удалось спасти от репрессий нескольких болгар, ему приходилось не только молчать, узнавая об арестах товарищей, но даже санкционировать аресты в Коминтерне по тем фальсифицированным досье, которые ему доставляли из НКВД и которые он не имел возможности проверить. Специальное досье было заведено и на самого Димитрова.

Был арестован представитель Компартии Китая в Коминтерне Го Шаотан и некоторые другие китайские коммунисты. Уничтожены руководители Компартии Индии Мукерджи, Чаттопадхьяя, Лохани. Корейская секция Коминтерна в СССР была ликвидирована полностью.

Гитлер развязал кровавый террор против КПГ — самой крупной в начале 30-х годов компартии в Западной Европе. Не менее жестокий террор обрушился на немецких антифашистов, эмигрировавших в СССР. «Журналь де Моску» в № 19 от 12 апреля 1938 года писал: «Не будет ни в коем случае преувеличением сказать, что каждый японец, живущий за границей, является шпионом так же, как и каждый немецкий гражданин, живущий за границей, является агентом гестапо». К концу апреля 1938 года представитель Германии в ИККИ зарегистрировал 842 арестованных НКВД немца-антифашиста. В действительности их было больше. Многих арестовывали прямо в Доме политэмигранта, который существовал тогда в Москве.

Среди арестованных и погибших германских коммунистов три члена Политбюро КПГ — Герман Реммеле, Фриц Шультке и Герман Шуберг, а также члены ЦК КПГ — Ганс Каппенбергер (руководитель нелегального военного аппарата ЦК), Лео Флик, Ганс Нейман, Генрих Зусканд (главный редактор «Роте Фане»), Гуго Эберлайн (участник Первого конгресса Коминтерна), Вернер Хирш (секретарь Тельмана) и другие. Исключили из партии одного из лучших зарубежных работников Коминтерна, Вилли Мюнценберга, отказавшегося приехать из Парижа в Москву на верную гибель. В 1940 году Мюнценберг был убит во Франции при невыясненных обстоятельствах.

Несколько сот участников Февральского антифашистского вооруженного выступления 1934 года в Австрии бежали в СССР. Приняли шуцбундовцев как героев, а в 1937—1938 годах почти все они оказались в тюрьмах.

После заключения в сентябре 1939 года договора о дружбе с Германией Сталин совершил беспрецедентное преступление: большая группа немецких антифашистов, включая евреев, была передана гестапо. Гестапо тоже передало в руки НКВД несколько человек, о которых мне ничего не известно. Почти все переданные из СССР гестапо дожили до конца войны. Почти все немецкие антифашисты, которые остались в заключении в СССР, погибли. С осени 1939 года советские границы были закрыты для беженцев из порабощенной фашистами Европы.

Погибли многие итальянские коммунисты, и среди них Эдмондо Пелузо, выполнявший ответственные поручения Коминтерна. Был арестован, подвергнут пыткам, но выжил П. Роботти — зять Тольятти. После смерти Сталина в Италии были опубликованы фамилии коммунистов, погибших во время сталинского террора.

Среди арестованных в 1937—1938 годах были бельгийские (М. Виллемс), турецкие (Салих), английские (Чарли Джонсон), румынские (М. Паукер, А. Доброджеиау), а также монгольские, чехословацкие, французские, американские, финские, испанские, даже бразильские коммунисты. В конце 1930-х годов пришлось закрыть все школы Коминтерна: в них некому было учиться и некому учить.

Пострадали не только коммунисты, но все иностранные граждане, постоянно проживавшие в СССР. Были арестованы, например, многие из тех специалистов и членов их семей, кто приехал в СССР по договорам еще в годы первой пятилетки, но решил здесь остаться. Из Ленинграда отправили в ссылку даже престарелых француженок-преподавательниц, приехавших в Россию еще до революции. (Французское посольство платило своим состарившимся в России соотечественникам небольшую пенсию.)

Еще в начале 20-х годов, задолго до массовой коллективизации, в СССР приезжали из разных стран группы энтузиастов и при поддержке центральных и местных властей создавали на свободных землях колхозы и коммуны. Хорошо обеспеченные машинами, эти хозяйства были в большинстве образцовыми. К концу 30-х годов все колхозы и коммуны, организованные «иностранными» гражданами, были ликвидированы. Так, по свидетельству В. И. Волгина, под Ростовом-на-Дону ликвидировали высокоэффективную коммуну «Сеятель», где работали в основном коммунисты из США. Большинство их арестовали и сослали.

7

Сложившаяся в 1936—1938 годах обстановка всеобщей подозрительности и террора не могла не затронуть научную и техническую интеллигенцию. Погибли тысячи ученых, инженеров, хозяйственников. Споры и обсуждения, начинавшиеся на конференциях или на страницах печати, заканчивались нередко пытками и расстрелами в застенках НКВД.

Трагически завершилась, например, дискуссия в исторической науке, длившаяся несколько лет. Критика отдельных ошибок М. Н. Покровского и его школы переросла в погромную кампанию. Многие последователи и ученики Покровского были арестованы.

Жертвой террора стал Ю. М. Стеклов, видный историк и революционер, один из первых редакторов газеты «Известия». Погиб известный историк В. Г. Сорин, автор биографии Ленина, редактор первых Собраний сочинений Ленина, заместитель директора Института Маркса — Энгельса — Ленина. Был расстрелян член ЦК ВКП(б), деятель международного рабочего движения, директор Института красной профессуры В. Г. Кнорин. Еще в 1936 году был арестован и погиб директор Института истории АН СССР академик Н. М. Лукин. Погибли академик М. А. Савельев, активный участник революционного движения, редактор журнала «Пролетарская революция», председатель президиума Коммунистической академии, историки Н. Н. Попов (секретарь ЦК КП(б) Украины), Н. Н. Ванаг, С. А. Пионтковский, С. Бантке, Г. С. Фридлянд, Э. Вейс, В. М. Далин, Ю. Т. Тевосян, С. [illegible]. Коршунов. Умер в заключении историк М. Келдыш, брат будущего президента АН СССР. Были арестованы, но дожили до реабилитации историки С. Лотте, С. М. Дубровский, П. Ф. Преображенский.

Крайне уродливые формы приняла борьба на философском фронте. Основные дискуссии между различными группами и течениями в философии закончились еще в 1931—1932 годах. Тогда победу одержала группа сравнительно молодых, весьма активных философов-сталинистов, которые оттеснили на второй план другие течения, демагогически обозначенные как группы «меньшевиствующих идеалистов» и «механицистов», или «вульгарных механистов». В 1936—1937 годах «победители», занявшие ведущие места в философской печати и в научных учреждениях, решили использовать обстановку в стране для физического уничтожения своих недавних оппонентов. Обвинения в тех или иных философских ошибках сменились на страницах журнала «Под знаменем марксизма» обвинениями во вредительстве и даже террористической деятельности. Погромная кампания, активными организаторами которой были М. Б. Митин, П. Ф. Юдин, Ф. В. Константинов, Б. А. Чагин, привела к тому, что в тюремном заключении оказались А. И. Варьяш, И. К. Луппол, В. Милютин, И. Разумовский, Н. Карев, В. Рудаш, С. Пичугин, Г. Тымянский, М. Фурщик, Г. Дмитриев и многие другие философы. Большинство их погибло, в том числе и мой отец А. Р. Медведев.

Не миновала горькая участь философа и партийного работника Яна Стэна. В своих воспоминаниях его друг Е. Н. Фролов писал: «Вряд ли кто знал Сталина лучше, чем Стэн. Известно, что Сталин не получил никакого систематического образования. Очень плохо разбирался Сталин и в философских вопросах. И вот он призвал в 1925 году Яна Стэна, крупнейшего марксистского философа того времени, руководить его занятиями по гегелевской диалектике. Стэн составил программу занятий и добросовестнейшим образом два раза в неделю втолковывал своему сиятельному ученику гегелевские премудрости... Встречи со Сталиным, беседы с ним во время занятий на философские темы, в которых Ян всегда касался и политических проблем современности, все больше раскрывали ему глаза на истинное лицо Сталина, на его стремление к единовластию, на его коварные замыслы... Еще в 1928 году в узком кругу своих личных друзей Стэн сказал: «Коба будет устраивать такие вещи, что процессы Дрейфуса и Бейлиса поблекнут». Это был его ответ на просьбу товарищей дать прогноз развитию сталинского руководства на 10 лет. Таким образом, Стэн не ошибся ни в характеристике правления Сталина, ни в сроках осуществления им кровавых замыслов». В 1937 году Стэн был арестован по прямому указанию Сталина и расстрелян в Лефортовской тюрьме.

Драматическая обстановка сложилась в педагогической науке и в области народного образования. После ареста Бубнова погибли многие его заместители и члены коллегии, в том числе М. С. Эпштейн и М. А. Алексинский, крупные методисты, ученые и организаторы народного образования А. П. Пинкевич, С. М. Каменев, А. П. Шохин, М. М. Пистрак, С. А. Гайсинович, М. В. Крупенина.

В 1937—1938 годах были разгромлены наркомпросы во всех почти союзных и автономных республиках. Арестовывали не только работников наркоматов, но и десятки тысяч рядовых учителей.

Был арестован и погиб Алексей Капитонович Гастев — профессиональный революционер, поэт, ученый. После революции он занялся организацией новой в России отрасли знаний — педагогики профессионального образования и научной организации труда. После ареста Гастева и его ближайших помощников созданный им Институт труда (ЦИТ) был закрыт и сколько-нибудь серьезная научная работа в этой области приостановлена.

Большие потери понесли лингвистика и филология. Погиб директор Лингвистического института в Киеве Н. М. Сияк, за которого в 1919 году при вступлении его в партию поручился В. И. Ленин. Арестованы выдающийся ученый Е. Д. Поливанов и крупный лингвист и востоковед Н. А. Невский, расшифровавший тунгусские иероглифы. (Его монография, посвященная этой теме, была издана посмертно в 1960 году и удостоена Ленинской премии.)

Многих талантливых ученых недосчитались другие науки. Были арестова-

ны секретарь Академии наук СССР академик Н. П. Горбунов, в прошлом личный секретарь Ленина, управляющий делами СНК и СТО; президент АН БССР И. З. Сурта; ученый секретарь Всесоюзного географического общества Н. Ф. Богданов; один из редакторов БСЭ, экономист Г. И. Крумин; экономист И. Н. Барханов; крупный химик Н. Ф. Юшкевич; организатор Всесоюзного арктического института Р. Л. Самойлович. Погибли видный ученый-аграрник, староста Общества ссыльных и политкаторжан И. А. Теодорович; экономист и государственный деятель А. В. Одинцов; экономист-международник А. Я. Канторович; специалист по НОТу О. А. Ерманский. Был закрыт Аграрный институт, а его руководители репрессированы. Печальный список можно продолжить.

Репрессии, или, как писал журнал «Советская наука», «обостренные классовые бои», затронули все науки о природе. Многие физики, в том числе будущие академики А. И. Берг, Л. Д. Ландау, П. И. Лукирский и В. А. Фок, были арестованы (правда, они провели в заключении сравнительно недолгое время). В 32 года погиб выдающийся физик-теоретик М. П. Бронштейн. Арестован академик А. И. Некрасов, специалист по механике. Не вернулись к своим семьям и к своей работе крупные физики В. К. Фредерикс, Ю. А. Крутков, С. П. Шубин, А. А. Витт, И. П. Шпильрейн.

Выдающиеся химики А. Е. Чичибабин и Н. Н. Ипатьев, генетик Н. В. Тимофеев-Ресовский и другие, опасаясь репрессий, отказались вернуться в СССР из заграничных командировок.

В особенно тяжелом положении оказались в годы террора биологическая и агрономическая науки. Еще в 1936 году по ложному обвинению в шпионаже и вредительстве был арестован известный генетик И. И. Агол, академик-секретарь АН УССР. Погиб крупнейший специалист по медицинской генетике С. Г. Левит, а руководимый им Медико-генетический институт был закрыт. Был арестован известный дарвинист Я. М. Урановский. Выдвинувшийся в это время молодой агроном Т. Д. Лысенко развернул шумную клеветническую кампанию против многих деятелей биологической и сельскохозяйственной наук. Репрессии приняли широкий размах. Был расстрелян президент ВАСХНИЛ академик А. И. Муралов. Погиб академик Г. К. Мейстер, лишь недавно награжденный за заслуги в науке орденом Ленина. Был ошельмован, отстранен от работы и вскоре умер академик Н. К. Кольцов. Разгромлено как «вредительское» руководство институтов хлопководства, животноводства, агрохимии, защиты растений и других.

В 1940 году был арестован и в 1943 году умер в заключении один из наиболее крупных советских ученых, селекционер, генетик и географ, организатор сельскохозяйственной науки в стране, академик Н. И. Вавилов. Это была тяжелая потеря не только для советской, но и для мировой науки. Одновременно были арестованы и в большинстве погибли ученики Вавилова — Г. Д. Карпеченко, Г. А. Левитский, Л. И. Говоров, Н. В. Ковалев и другие.

Такую же погромную кампанию организовали в агрономической науке В. Р. Вильямс и его последователи. Это привело к аресту противников системы Вильямса в Наркомате земледелия, Госплане СССР, Всесоюзном институте удобрений. За выступления против травопольной системы Вильямса был арестован и умер в лагере академик Н. М. Тулайков. Погиб агрохимик Ш. Р. Цинцадзе.

Арестовали микробиолога академика П. Ф. Здродовского и его коллег В. А. Барыкина, О. О. Гартоха, И. Л. Кричевского, М. И. Шустера, Л. А. Зильбера, А. Д. Шеболдаеву, Г. И. Сафронову. Почти все они погибли. Погибли 73-летний академик-микробиолог Г. А. Надсон, директор Института океанографии и рыбного хозяйства К. А. Мехоношин, активный участник гражданской войны, биологи И. Н. Филипьев, А. В. Знаменский, Н. Н. Троицкий. На Колыме охрана до смерти избила известного ботаника А. А. Михеева.

Не избежали общей судьбы и ученые-медики. Погиб директор Центрального института по проблемам туберкулеза В. С. Хольцман. На Колыме за невыполнение плана добычи золота расстрелян известный хирург К. Х. Кох. Конечно,

далеко не все арестованные медики работали на золотых приисках. В некоторых больницах Колымы, Воркуты и других крупных «островов» Гулага именитых врачей было не меньше, чем в лучших больницах Москвы.

Тяжелые репрессии обрушились и на техническую интеллигенцию. В отличие от начала 30-х годов органы НКВД наносили теперь главный удар не по «буржуазным» спецам, а по наиболее видным представителям новой советской интеллигенции, во всяком случае, большинство арестованных были членами партии; их научно-техническая или хозяйственная карьера сложилась уже после революции.

Арестовали, например, большую группу работников ЦАГИ во главе с одним из руководителей этого института Н. М. Харламовым. По клеветническим обвинениям были брошены в тюрьму авиаконструкторы А. Н. Туполев, В. М. Петляков, В. М. Мясищев, Д. Л. Томашевич, Р. Бартини, К. Сциллард, И. Г. Неман — тогда цвет советской авиационной мысли. Чтобы как-то продолжать производство новых самолетов, в рамках НКВД была создана специальная тюрьма-институт (ЦКБ-29), где работали и другие известные инженеры и авиаконструкторы — В. Л. Александров, Б. С. Вахмистров, А. А. Енгибарян, А. М. Изаксон, М. М. Качкарян, Д. С. Марков, С. М. Марков, С. М. Меерсон, А. В. Надашкевич, А. И. Путилов, В. А. Чижевский, А. М. Черемухин, а также специалисты смежных дисциплин — А. С. Файнштейн, Н. Н. Базенков, Б. А. Саукке, Н. Г. Нуров, А. Р. Бонин, Ю. В. Корнев, Г. А. Озеров, Ю. В. Калганов. Часть этих инженеров и ученых освободили в 1940—1942 годах, других — вскоре после войны, но многих реабилитировали лишь посмертно — в 1956 году.

Были арестованы известные градостроители И. Тер-Аствацатрян, В. Чичинадзе, крупный специалист по мостостроению А. Джорджавадзе. Погибли в заключении многие ракетчики, в том числе руководители немногочисленной еще группы энтузиастов ракетного дела, создатели первых ракетных двигателей — начальник Реактивного НИИ И. Т. Клейменов и его заместитель Г. Э. Лангемак, один из действительных изобретателей знаменитой «Катюши». Был арестован и будущий Главный конструктор советских ракет С. П. Королев. «Нашей стране вся ваша пиротехника и фейерверки не нужны и даже опасны»,— заявил Королеву следователь. Вначале Королев попал на Колыму на общие работы, и лишь позднее его перевели в ЦКБ-29. Он был освобожден только в конце войны, когда его «пиротехника» стала крайне важной для страны.

Репрессии затронули и конструкторов оружия — погибли создатель его новых видов В. И. Бекаури, конструктор танков В. И. Заславский, создатель безоткатной пушки Л. Курчевский. В СССР теоретическая и практическая работа по радиолокации началась ранее, чем в США и Англии. В 1937 году были арестованы создатель первых радиолокационных устройств П. К. Ощепков и руководитель работ в этой области Н. Смирнов, а также многие их сотрудники, и наша армия встретила Отечественную войну без радиолокаторов, их пришлось закупать в США и Англии. Был арестован основатель общества межпланетных путешествий при Военно-воздушной инженерной академии М. Лейтензен.

Были разгромлены кадры всех отраслей промышленности. Погибли тысячи директоров, главных инженеров, ведущих специалистов заводов, комбинатов, строек, начальников железных дорог. Среди них начальник Кузнецкстроя С. М. Франкфурт, руководитель строительства Днепрогэса В. М. Михайлов, начальник строительства Магнитогорского комбината Чингиз Ильдрым, директор Соликамского треста В. Е. Цифринович, директор Запорожского металлургического комбината М. Лурье, директор Макеевского металлургического завода Г. В. Гвахария, директор Горьковского автозавода С. С. Дьяконов, директор Кировского завода К. М. Отс, директор Ростсельмаша Н. П. Глебов-Авилов, директор Кузнецкого комбината Г. П. Бутенко, директор Азовстали Я. С. Гугель, директор Краматорского металлургического завода И. П. Хренов, директор Сормовского автозавода М. А. Сурков, директора Харьковского тракторного завода И. П. Бондаренко и П. И. Свистун, директора крупных химических предприятий П. Г. Арутюнянц, Л. Т. Стреж, начальники железных дорог Г. К. Кавтарадзе, З. Я. Прокофьев, Л. Р. Милх.

В годы первой и второй пятилеток кадры руководителей промышленности были в основном стабильны. Так, в системе Наркомтяжпрома за весь 1935 год были перемещены всего 6 директоров и главных инженеров. В 1940 году только по Управлению металлургической промышленности Наркомтяжпрома из 151 директора основных предприятий 62 работали меньше года, 55 — от одного года до двух лет.

В 1935 году журнал «Большевик» с гордостью писал о кадрах Наркомтяжпрома: «Из 200 директоров крупнейших машиностроительных заводов, персонально учитываемых НКТП, 198 — члены партии, из них 11% с партстажем до 1917 года, 62% со стажем от 1917 до 1920 года. В своем подавляющем большинстве эти высшие руководители машиностроительной промышленности — пролетарии, лично испытавшие труд шахтеров, станочников и т. д. А теперь они осуществляют руководство гигантами, стоящими на аванпостах мировой техники». В 1939 году большинство этих капитанов советской индустрии были арестованы, многие из них были расстреляны или умерли во время пыток, на этапах и в лагерях.

8

Первая волна репрессий против писателей прокатилась в 1936 году, когда «врагами народа» и «троцкистами» объявили Б. А. Пильняка (с которым у Сталина были давние счеты) и Галину Серебрякову. «Был в нашей среде и такой заклятый враг, как Серебрякова,— говорил на собрании московских писателей секретарь правления ССП В. Ставский.— Мы с ней встречались... и не распознали в ней врага. Мы исключили таких людей, как Серебрякова. Но кто поручится, что среди нас нет еще заклятых врагов рабочего класса?» Никто, однако, поручиться не мог, и аресты писателей стали принимать все более широкий размах.

Трудно перечислить всех арестованных в 1936—1939 годах. Погиб И. Э. Бабель. Умер в заключении Бруно Ясенский. В 1938 году был арестован вторично и умер от голода О. Мандельштам. Погибли Артем Веселый, В. И. Нарбут, С. М. Третьяков, А. Зорич, И. И. Катаев, И. М. Беспалов, Б. П. Корнилов, Г. К. Никифоров, Н. А. Клюев, В. П. Кин, А. И. Тарасов-Родионов, М. П. Лоскутов, Вольф Эрлих, Г. О. Куклин, М. П. Герасимов, Н. К. Губер, В. Т. Кириллов, Н. Н. Зарудин, П. Н. Васильев, Г. Е. Горбачев, В. М. Киршон, Л. Л. Авербах, А. Я. Аросев, А. К. Воронский. Были арестованы, но пережили тяжелые многолетние испытания А. К. Лебеденко, А. Костерин, А. С. Горелов, С. Д. Спасский, Н. А. Заболоцкий, И. М. Гронский, В. Т. Шаламов, Е. Я. Драбкина, литературовед Ю. Г. Оксман. Около двух лет держали в тюрьме О. Берггольц. В декабре 1938 года после возвращения из Испании был расстрелян Михаил Кольцов.

Не миновали репрессий и писательские организации в союзных и автономных республиках. На Украине погибли И. К. Микитенко, Г. Д. Эпик, В. П. Бобинский, М. Кулиш и другие. В Белоруссии были арестованы Ю. Таубин, Платон Головач, Т. Гартный, В. И. Голубок. В Армении погибли Егише Чаренц и Аксель Бакунц, арестованы Гурген Маари, Ваан Тотовенц, Ваграм Алазан, В. Норенц, Мкртич Армен. В Грузии погибли Тициан Табидзе, М. Джавахишвили, Н. Мицишвили, П. Кикодзе, Бенито Буачидзе. После нескольких вызовов в НКВД застрелился Паоло Яшвили. В Азербайджане были арестованы Т. Шахбази, В. Хулуфлу, Р. Ахундов, Гусейн Джавид, Сейд Гусейн. В Казахстане погибли основоположник казахской советской литературы Сакен Сейфуллин, И. Джансугуров, Б. Майлин. Погибли деятели татарской советской культуры Галимджан Ибрагимов, К. Тинчурин, К. Наджми. Погибли зачинатели удмуртской

литературы Дмитрий Корепанов-Кедра и Михаил Коновалов, первый черкесский прозаик Магомет Дышеков, первый нанайский писатель Б. Ходжер, марийские литераторы Ипай Олык и С. Г. Чавайн, первые бурятские писатели Ц. Дон и И. Дамбинов, первый чеченский писатель Саид Бадуев, башкирские писатели А. Г. Амантай, С. Галимов, Г. Давлетшин, И. Насыри, хакасский писатель В. Кобяков. В заключении окончил жизнь родоначальник якутской литературы и председатель ЦИК Якутской АССР Платон Ойунский. Список жертв сталинского террора в литературе можно продолжить.

Репрессии захватили в 1937—1938 годах и все другие творческие организации. Так, была расстреляна художественный руководитель Мосфильма Елена Соколовская, возглавлявшая в годы гражданской войны одесское подполье. В Ленинграде погиб руководитель сценарного отдела Ленфильма А. И. Пиотровский. Был арестован известный кино- и фотодокументалист А. Ф. Дорн, создавший фотолетопись революции. Погиб В. Э. Мейерхольд.

Были арестованы выдающийся украинский режиссер Лесь Курбас, театральные деятели и артисты Сандро Ахметели, Игорь Терентьев, К. Эггерт, И. Правов, Л. Варпаховский, Мих. Рафальский, Наталья Сац, О. Щербинская, З. Смирнова, дирижер Евг. Микеладзе. Арестовали также артиста Алексея Дикого, но в 1941 году освободили; позднее он играл в театре и кино самого Сталина.

Был арестован вернувшийся из-за границы художник В. И. Шухаев. Погиб замечательный театральный художник Л. Никитин. Арестовали ленинградского художника-портретиста Шарапова. Он был вызван в Москву, чтобы написать портрет вождя. После двух сеансов работа прекратилась: вероятно, Сталину не понравились первые же наброски, отразившие его сухорукость, которую он тщательно скрывал всю жизнь.

В 1937—1938 годах погибли редакторы большинства центральных, республиканских и областных газет — Г. Е. Цыпин («Вечерняя Москва»), Д. В. Антошкин («Рабочая Москва»), Болотников («Литературная газета»), С. М. Закс («Ленинградская правда»), Д. Брагинский («Заря Востока»), Н. И. Смирнов («Беднота»), Е. С. Кусильман («Пролетарская правда»), С. Модонов («Красный Крым»), А. В. Швер («Тихоокеанская правда») и многие другие. Были арестованы сотни журналистов центральной и местной печати.

9

Здесь перечислено около тысячи наиболее известных имен. Но репрессии обрушились и на множество работников среднего и низшего звена, и на все слои населения.

Между 1936 и 1939 годами из партии было исключено более миллиона человек. За этим почти всегда следовал арест. Сюда нужно прибавить тех, кого исключили из партии во время чисток 1933—1934 годов — 1,1 миллиона человек; очень многие из них, если не большинство, были через несколько лет арестованы. Конечно, аресты проводились и среди беспартийных, но обычно это были родственники, друзья и сослуживцы арестованных коммунистов.

Особенно пострадали старейшие члены партии. Если среди делегатов XVI и XVII съездов ВКП(б) было около 80 процентов вступивших в партию до 1920 года, то на XVIII съезде — только 19 процентов. Велики были потери и среди молодой партийной интеллигенции, и среди рядовых рабочих. На Электрозаводе в Москве, по свидетельству Л. М. Портнова, репрессировали более тысячи рабочих и служащих, очень много рабочих и служащих арестовали на Кировском заводе в Ленинграде, сотни людей — в коллективе Московского метростроя. И так было по всей стране. Органы НКВД арестовали и почти всех рабочих, служащих, инженеров, которые в конце 20-х — начале 30-х годов проходили практику на американских и немецких заводах.

Велики были потери многострадальной деревни. А. И. Тодорский встречался в заключении с низовым работником системы «Заготзерно» на Северном Кав-

казе. Тот рассказал, что в ту ночь, когда его забрали, арестовали почти весь районный актив — двести человек. Е. С. Гинзбург писала в своих воспоминаниях о старой колхознице, которой объявили при аресте, что она «троцкистка». Не понимая этого слова, старуха доказывала, что она не «трактористка» и что в их деревне старых людей на трактор не назначают. «В углу нашей камеры,— писал в неопубликованных воспоминаниях партийный работник из Белоруссии Я. И. Дробинский,— сидел старик колхозник. С каждой пайки он оставлял кусочек для сына, который был свидетелем обвинения. Здоровый крестьянский парень то ли не выдержал избиений и издевательств, то ли еще что-нибудь, но он показал, что отец уговаривал его убить председателя колхоза. Старик отрицал, совесть не позволяла лгать. Никакие пытки и побои не могли его поколебать. На очную ставку с сыном он шел с твердым намерением отстаивать правду. Но когда он увидел измученного сына со следами побоев, в душе старика что-то сломалось и, обращаясь к следователю и сыну, он сказал: «Верно, подтверждаю, ты, Илюшка, не сумневайся. Все, что ты сказал, подтверждаю». И тут же подписал протокол очной ставки... Готовясь к встрече с сыном на суде, старик каждый день оставлял часть пайки, и когда его вызвали, то он, на какую-то секунду оторвавшись от конвоира, передал Илюшке несколько паек. И тогда Илюшка не выдержал, упал перед стариком на колени и, разрывая на себе рубаху, вопя и стеная, кричал: «Простите, тата, простите, оговорил вас, простите». Старик что-то лепетал, гладил его по голове, по спине... Конвой смешался, растерялся...»

Надо сказать и о волне мелких «открытых» процессов, которая прошла в 1937—1938 годах. Широко известно только о московских «открытых» процессах над бывшими лидерами оппозиции. Но «свой» процесс проводился в те годы почти в каждой республике, области, даже районе. Об этих процессах не упоминалось в центральной печати, но рассказывалось подробно в областных и районных газетах. Сообщалось здесь и о закрытых процессах над местными работниками (публиковали обычно обвинительное заключение и приговор).

Так, например, во второй половине 1937 года «открытые» процессы прошли в сотнях районов и десятках областей. Вели эти процессы, обычно по обвинению во «вредительской», «антисоветской» и «правотроцкистской» деятельности, спецколлегии областного суда и областная прокуратура. Почти всегда среди подсудимых были секретарь райкома партии, председатель райисполкома, заведующий райзо, директор МТС, два-три председателя колхоза, старший агроном, иногда зоотехник или ветврач, несколько колхозников. В первую очередь такие процессы устраивались в тех районах, где показатели колхозного производства были ниже средних по области. Все недостатки работы колхозов и совхозов — запоздалый сбор урожая, плохая обработка земли, падеж скота, отсутствие кормов для скота — рассматривали как результат вредительской и контрреволюционной деятельности с целью вызвать недовольство колхозников и рабочих Советской властью.

Типичный в этом отношении процесс состоялся в конце 1937 года в Красногвардейском районе Ленинградской области. Спецколлегия областного суда с участием прокурора Б. П. Позерна судила секретаря райкома И. В. Васильева, председателя райисполкома А. И. Дмитриченко, директора МТС С. А. Семенова, старшего землеустроителя А. И. Портнова и некоторых других районных работников. Они обвинялись в развале колхозного производства «в целях вредительства», в задолженности местных колхозов государству, в крайне низкой оплате труда колхозников. Как утверждалось в обвинительном заключении, все это делалось для «реставрации капитализма в СССР». Секретарь райкома Васильев признал факты тяжелого положения колхозов района, однако решительно отрицал какое-либо сознательное вредительство или участие в антисоветской организации. Но другие подсудимые полностью «признались» в своей контрреволюционной деятельности. После речи прокурора был объявлен приговор: всех ожидал расстрел.

Иногда устраивался показательный суд в столице союзной или автономной республики. Так, в Минске, в Клубе пищевиков, судили «вредителей» из конторы «Заготзерно». В Орджоникидзе специальная сессия Верховного суда Северной

Осетии судила за «вредительство» и создание «кулацкой повстанческой организации» тринадцать колхозников и колхозных активистов из села Даргавс. Шесть из них были приговорены к расстрелу. Такого же рода судилища прошли в Куйбышеве, Архангельске, Воронеже, Ярославле и других городах.

Во многих областях и союзных республиках состоялись особые показательные процессы над «вредителями» — работниками торговли. Их обвиняли в умышленной организации перебоев в снабжении населения товарами с целью вызвать недовольство Советской властью. Особенно много судебных процессов состоялось по поводу «вредительства» на железных дорогах. Так, в 1937 году в городе Свободном выездная сессия Военной Коллегии Верховного Суда СССР рассмотрела дело о «троцкистско-шпионской террористической деятельности» на Амурской железной дороге. По этому делу было приговорено к расстрелу 46 человек. До конца года в этом же городе состоялись еще три судебных процесса над железнодорожниками, на которых были приговорены к расстрелу соответственно 28, 60 и 24 человека. Аналогичные процессы выездная сессия Военной Коллегии провела в Хабаровске и Владивостоке, где в общей сложности было расстреляно более 100 человек.

В некоторых областях обезумевшие сотрудники НКВД привлекали к ответственности за «контрреволюцию» и «террор» даже детей. Например, в городе Ленинске-Кузнецком арестовали 60 детей 10—12-летнего возраста, якобы создавших «контрреволюционную террористическую группу». Восемь месяцев этих детей держали в городской тюрьме. Одновременно были заведены «дела» на еще 100 детей. Возмущение этим в городе было столь сильно, что пришлось вмешаться областным организациям. Детей выпустили на свободу и «реабилитировали», а работников НКВД А. Т. Лунькова, А. М. Савкина, А. И. Белоусова и других привлекли к судебной ответственности.

Гонения на церковь, борьба с «религиозными предрассудками» начались еще в 20-х годах, причем принимали временами характер антицерковного террора. Тогда пострадали все религиозные организации и церковные группы, но прежде всего православная церковь. Арестовывали и ссылали многих видных и авторитетных церковных деятелей. В 1928 году был сослан, а позднее арестован и погиб крупнейший русский религиозный мыслитель Павел Флоренский. В 1928—1929 годах были закрыты все монастыри, функционировавшие в тот период как образцовые сельскохозяйственные артели. Тысячи монахов и монахинь выслали в Сибирь. В середине 1929 года в ЦК ВКП(б) было проведено совещание по антирелигиозной работе, а вскоре состоялся и Второй Всесоюзный съезд воинствующих безбожников. После съезда антирелигиозный террор усилился повсеместно, особенно в деревне. По-видимому, Сталин считал церковь одним из главных препятствий в деле коллективизации. После того как в той или иной деревне принимали решение о коллективизации, обычно сразу же закрывали местную церковь. При этом с купола церкви сбивали крест , а иконы и церковную утварь сжигали. Многих сельских священников арестовывали так же, как и тех крестьян, которые пытались воспротивиться уничтожению церкви. Тысячи людей пострадали, таким образом, не по социальному, а по религиозному признаку.

К началу 1930 года антицерковный террор достиг особенно широкого размаха. Запуганная Академия наук специальным решением сняла с охраны большинство памятников старины, связанных с «религиозными культами». В старинных русских городах — Тверь, Нижний Новгород, Псков, Новгород, Самара, Вятка, Рязань, Тула и других сносили и разрушали ценнейшие памятники архитектуры.

Очень пострадала Москва. Церкви разрушали даже в Кремле, хотя против этого решительно возражали А. В. Луначарский и А. С. Енукидзе.

В январе 1930 года папа Римский Пий XI призвал верующих к всеобщему молебну за гонимых в России христиан. Кампания протеста в зарубежных странах стала угрожать политическим и экономическим интересам СССР. Это побудило Сталина не только приостановить на время антирелигиозный террор, но даже дезавуировать его как якобы проявление местного произвола и перегибов.

15 марта 1930 года, за день до объявленного папой Римским всеобщего молебна, газеты опубликовали постановление об «искривлениях» партийной линии в колхозном движении. В этом постановлении было признано ошибкой местных властей административное закрытие церквей. Постановление грозило строгими карами за оскорбление религиозных чувств верующих. Это была, несомненно, уступка мировому общественному мнению. Однако ничего существенного не произошло: закрытые церкви не открыли, сосланные по религиозным мотивам в Сибирь и на Север там и остались. К концу 1930 года было закрыто около 80 процентов всех сельских храмов; значительная часть духовенства числилась среди раскулаченных.

В 1937—1938 годах гонения на церковь возобновились с новой силой. Опять стали закрывать или сносить церковные здания. В Петрограде в начале 20-х годов было 96 действующих храмов, принадлежащих к различным течениям православной церкви, к концу 30-х годов сохранилось 7. И так повсюду. К началу войны в стране было не более 150 действующих храмов, правда, к этому надо добавить несколько сот на территории Бессарабии, Западной Украины и Западной Белоруссии и в республиках Прибалтики. Еще до начала «ежовщины» около ста архиереев и не менее тысячи рядовых священников уже содержались в заключении. В 1936—1938 годах арестовали примерно 800 православных и обновленческих архиереев и многие тысячи рядовых священнников всех церквей. Арестовали и тысячи верующих, в том числе приверженцев различных сект (баптисты, адвентисты и другие). Популярный среди населения католикос Армении Хорен I Мурадбекян был убит в 1937 году в своей резиденции. В Грузии из 200 епископов на свободе осталось только пять.

Огромного количества тюрем, построенных за столетия царского режима, оказалось мало. Во многих районах спешно строили новые тюрьмы. Под тюрьмы переоборудовали бывшие монастыри, церкви, гостиницы, даже бани и конюшни.

После Октябрьской революции многие царские тюрьмы были превращены в историко-революционные музеи. Таким музеем была и знаменитая Лефортовская тюрьма; посетители могли увидеть в камерах восковые фигуры ее бывших узников. С началом массовых репрессий музей закрыли, а камеры заполнили новыми узниками. Тюрьму модернизировали и расширили.

Еще быстрее, чем тюрьмы, по всей стране, но главным образом на Дальнем Востоке, в Сибири, в Казахстане, на Севере Европейской части СССР создавались концентрационные лагеря.

В 1936—1938 годах Сталин перекрыл все рекорды политического террора, известные истории. Как следует из источника, заслуживающего доверия, в 1936 году было вынесено 1116 смертных приговоров, в 1937 году — 353 680. Данные за 1938 год мне не известны, но с большой вероятностью можно назвать 200—300 тысяч расстрелянных. Всего по политическим мотивам за эти три года было арестовано не менее 5 миллионов человек. В 1937—1938 годах казни шли столь интенсивно, что только в Москве в отдельные дни расстреливали по приговорам судов и Особого совещания более тысячи человек. В одной лишь Центральной тюрьме НКВД на Лубянке регистрировалось за сутки до 200 расстрелов.

РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕПРЕССИИ 1939—1941 ГОДОВ

1

Тюрьмы и лагеря были переполнены, наличный состав органов НКВД не справлялся с допросами и даже охраной миллионов заключенных. Репрессии 1937—1938 годов все заметнее сказывались на политических настроениях в стране и на ее экономике. Цели, которые преследовал Сталин, развязывая террор,

были достигнуты. Для того чтобы закрепить достигнутое, теперь требовались перемены.

Неожиданно ЦК ВКП(б) по предложению Сталина назначил для проверки деятельности НКВД специальную комиссию, в которую вошли, в частности, Л. Берия и Г. Маленков. При обсуждении этого вопроса на Политбюро Каганович предложил назначить Берию заместителем наркома внутренних дел, чтобы «облегчить ему доступ ко всем материалам НКВД». Предложение было принято.

Ни в самой стране, ни за ее пределами почти никто не обратил внимания на это назначение. Но для Ежова и его окружения то был тревожный сигнал. Берия перевел из Грузии в Москву нескольких наиболее близких ему людей; в высшем аппарате НКВД произошли некоторые перемещения. В конце сентября один из ближайших помощников Ежова, И. И. Ильицкий, сел в лодку, выехал на середину Москвы-реки и, перегнувшись через борт, выстрелил себе в голову.

17 ноября 1938 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли два секретных постановления:

«1. Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» и «2. О наборе честных людей для работы в органах». В этих постановлениях выдвигалась задача упорядочить работу карательных органов.

Еще в апреле 1938 года Н. И. Ежов был назначен по совместительству народным комиссаром водного транспорта СССР. Это не вызвало тогда никаких кривотолков. Вспоминали даже, что Ф. Э. Дзержинский был когда-то по совместительству наркомом железнодорожного транспорта.

8 декабря на последних страницах центральных газет в разделе «Хроника» кратко сообщалось, что Н. И. Ежов освобожден, согласно его просьбе, от обязанностей наркома внутренних дел с оставлением его наркомом водного транспорта; вместо Ежова наркомом внутренних дел СССР назначен Л. П. Берия.

Сразу же началась новая волна арестов и смещений в органах НКВД. Были арестованы начальники всех крупных тюрем и лагерей. Расстреляны все заместители и ближайшие помощники Ежова, в том числе М. Фриновский и Л. Заковский, служившие еще при Ягоде. Арестован и вскоре расстрелян свояк Сталина С. Реденс, женатый на сестре Н. Аллилуевой. В 1937 году Реденс, тогда начальник столичного управления НКВД, руководил массовыми репрессиями в Москве; затем он был назначен наркомом внутренних дел Казахстана, где возглавил разгром партийного аппарата республики.

После смещения Ежова работников НКВД охватила паника. Старые большевики А. В. Снегов, М. П. Баторгин и П. И. Шабалкин рассказали мне о Г. Люшкове, который с конца 20-х годов возглавлял в ОГПУ специальную группу по борьбе с троцкистами. В 1935 году он вел следствие по делу Зиновьева и Евдокимова. В 1937 году в качестве начальника Ростовского управления НКВД руководил истреблением кадров этой области. Затем был назначен начальником управления НКВД на Дальнем Востоке. Узнав о смещении Ежова, Люшков, в подчинении которого находились и все пограничные части, бежал в Маньчжурию, прихватив валюту, а также документы и печати из сейфов НКВД. Он выдал командованию японской Квантунской армии дислокацию советских войск на Дальнем Востоке и «разоблачил» преступления Сталина, участником которых был.

Между тем Ежов еще несколько месяцев находился на свободе. 21 января 1939 года он появился рядом со Сталиным на траурном заседании в Большом театре, посвященном 15-й годовщине смерти Ленина. Как член ЦК ВКП(б) Ежов присутствовал на XVIII съезде партии и на первых заседаниях сидел в президиуме. О зако в новом составе ЦК ВКП(б) его фамилии уже нет. Не упомянут Ежов и в вышедшей вскоре стенограмме съезда. Однако он продолжал посещать наркомат водного транспорта. Его поведение свидетельствовало о тяжелой депрессии или даже расстройстве психики. На заседаниях коллегии нарко-

мата он молчал, ни во что не вмешивался. Иногда складывал из бумаги «голубков», «самолетики», пускал их, потом подбирал, порой даже залезал для этого под стол и стулья.

В печати не было сообщений об аресте Ежова. Он просто исчез, и об этом человеке, который, по утверждению «Правды», был «любимцем народа», обладал «величайшей бдительностью, железной волей, тончайшим пролетарским чутьем, огромным организаторским талантом и недюжинным умом», больше не упоминалось ни в одной из газет.

По свидетельству Снегова, Ежов был расстрелян летом 1940 года. Последние недели своей жизни он провел в Сухановской тюрьме НКВД под Москвой, где содержались «особо опасные враги народа». Среди других здесь весной 1940 года находился микробиолог П. Ф. Здродовский. Следователь, который вел его дело, показывал ему в окно небольшую часовню, где был заключен «сам Ежов». (В народе распространялись слухи, что Ежов-де сошел с ума и теперь в психиатрической больнице. Возможно, они распространялись умышленно, так как, вроде бы объясняя причину массовых репрессий, служили политическим громоотводом и сеяли различного рода иллюзии.) С декабря 1938 года наркомом внутренних дел СССР становится Л. П. Берия.

Революционером Берия никогда не был. Свою страшную карьеру он начал незаметным инспектором жилотдела в аппарате Бакинского Совета. С самого начала в органы ВЧК, и это признавал неоднократно Дзержинский, попадало немало случайных людей и авантюристов. Таким авантюристом был М. А. Багиров, оказавшийся в первые годы Советской власти руководителем АзЧК, а позднее и до смерти Сталина возглавлявший партийную организацию Азербайджана. Багиров привлек Берию на работу в ЧК. Советская власть на Кавказе держалась в то время не слишком прочно, и Берия или Багиров, желая застраховаться на случай перемен, поддерживали какие-то связи с тайными службами азербайджанских националистов (мусаватистов) и грузинских меньшевиков. Эти сведения содержались в обвинительном заключении по делу Берии, когда он был арестован и предан суду Военной коллегии в 1953 году. Сам Берия не отвергал факта связей такого рода, но утверждал, что они были установлены по заданию ЧК.

В 20-е годы карьера Берии в органах ЧК — ГПУ развивалась при поддержке Багирова весьма успешно. Если было нужно, он шел не только на сомнительные интриги, но и на преступления. Вскоре Берия стал председателем ГПУ Грузии, а затем и всей Закавказской Федерации.

До 1931 года Сталин лично не был знаком с Берией, но, конечно, знал о нем, а также о неприязненном отношении к нему партийного руководства Закавказья. Первый секретарь крайкома ЗСФСР Л. Картвелишвили не раз просил Москву убрать Берию из Тифлиса, но его просьбы оставались без ответа. Крайне резко отзывались о Берии С. М. Киров и Серго Орджоникидзе. Многие видные кавказские большевики и выходцы с Кавказа (С. Орджоникидзе, Г. Алиханов, А. Ханджян и другие) не здоровались с Берией при встрече.

Личное знакомство Сталина с Берией состоялось в 1931 году; осенью того же года Берия был избран первым секретарем ЦК партии Грузии, а затем и всей Закавказской Федерации. Сразу же в Грузии началась массовая замена партийных кадров, причем 32 начальника районных управлений НКВД стали первыми секретарями райкомов партии.

Берия был груб, невежествен, жаден до плотских наслаждений, при этом ловок и хитер. В среде партийной интеллигенции о нем говорили, что он не прочел ни одной книги «еще со времен Гутенберга», но все же побаивались его. И хотя Сталин получал много писем и сообщений из Закавказья о моральном разложении, грубости и даже преступлениях Берии, он их игнорировал.

Нет никакого сомнения в том, что именно по совету Сталина несколько научных работников в Грузии срочно начали разыскивать в архивах материалы о раннем периоде его революционной деятельности. Одновременно фальсифици-

ровалась вся история социал-демократической и большевистской организаций в Закавказье, принижалась роль многих крупных марксистов и большевиков и преувеличивалась роль Сталина. На основании этой работы, которая велась сначала втайне даже от Тбилисского филиала ИМЭЛа, был составлен обширный доклад, который, несомненно, просмотрел сам Сталин. 21—22 июля 1935 года этот доклад был зачитан на собрании Тбилисского партийного актива Л. Берией, а потом опубликован под его фамилией в «Правде» и в закавказских газетах, а вскоре вышел отдельной книгой. Уже первое издание книги Берии «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье» вызвало протест ряда историков и известных большевиков — А. Енукидзе, Филиппа Махарадзе, М. Орахелашвили. Они хорошо помнили те события, о которых говорилось в книге. После того как волна террора уничтожила большинство виднейших деятелей закавказского революционного движения, Берия выпустил второе издание этой книги, где Сталин предстал уже не только главным, но и почти единственным действующим лицом.

На Пленуме ЦК в 1937 году Г. Каминский выдвинул ряд серьезных обвинений против Берии, говорил и о его весьма темных связях с мусаватистами, но даже это не помешало стремительной карьере: именно в руки Берии Сталин передал руководство карательными органами страны.

Надо отметить, что в 1938—1939 годах в широких кругах партии Берию знали мало. Поэтому замену Ежова многие восприняли с надеждой. И действительно, в первое время после назначения Берии массовые репрессии были приостановлены, сотни тысяч новых дел и доносов отложены в сторону. Продолжала работать комиссия по проверке деятельности НКВД — теперь во главе с А. А. Андреевым, активным участником репрессий 1937—1938 годов. По-видимому, это обстоятельство было для Сталина основным при назначении нового руководителя комиссии.

2

На XVIII съезде партии немало говорилось о реабилитации невинно репрессированных (особые надежды возбудило выступление А. А. Жданова), но в действительности из каждой сотни осужденных освобождали не более двух. Реабилитация, впрочем, и не могла быть массовой, ибо сотни тысяч людей были уже расстреляны, и их оправдание означало бы признание Сталиным своих преступлений.

В первую очередь «разгрузили» некоторые тюрьмы в Москве и других городах. Освободили тех арестованных, по делам которых еще не закончилось предварительное следствие. В Москве, например, был реабилитирован партийный работник Л. М. Портнов, на свидетельства которого мне уже приходилось ссылаться. Был освобожден австрийский физик, коммунист А. Вайсберг-Цыбульский, арест которого вызвал беспокойство западных ученых.

В конце 1939 и начале 1940 года был реабилитирован ряд командиров Красной Армии, так как во время советско-финской войны выявились нехватка командных кадров, их некомпетентность. Среди реабилитированных было немало тех, кто потом прославился в Отечественной войне,— будущие маршалы К. К. Рокоссовский, К. А. Мерецков и С. И. Богданов, будущий генерал армии А. В. Горбатов, будущий вице-адмирал Г. Н. Холостяков, будущий комиссар украинских партизан С. В. Руднев, герой ленинградской обороны Н. Ю. Озерянский и другие. Был возвращен в партию и армию Л. Г. Петровский, младший сын Г. И. Петровского. Командуя корпусом, он погиб в августе 1941 года. Однако большинство таких же способных командиров остались в лагерях, а многие к началу 1940 года были расстреляны или умерли от голода и непосильного труда.

Реабилитировали и небольшую часть ученых и конструкторов. Перед войной были освобождены физики А. Берг и Л. Ландау. В начале войны получили свободу А. Туполев, В. Петляков, В. Мясищев, Н. Поликарпов и другие конструкторы и инженеры. Напуганный опасностью эпидемий, Сталин разрешил освободить микробиологов Л. А. Зильбера и П. Ф. Здродовского — одного из лучших в стране специалистов по борьбе с эпидемиями.

При реабилитации, по свидетельству А. В. Горбатова, каждый должен был подписать обязательство не предавать огласке увиденное в тюрьмах и лагерях. Все же некоторые из реабилитированных, рискуя снова оказаться в тюрьме, обращались с пространными письмами к Сталину и в ЦК ВКП(б). Мне рассказывали, что в Киеве реабилитированный командир Красной Армии, встретив на улице следователя, который подвергал пыткам подследственных, тут же застрелил его. Бывший ответственный работник Наркомлеса Альбрехт, немец по национальности, был арестован в 1937 и освобожден в 1939 году. Когда в августе 1939 года в Советский Союз приехал Риббентроп, Альбрехт, вбежав в немецкое посольство, попросил политического убежища. Сталин разрешил Риббентропу увезти Альбрехта в Германию. Там он написал две книги — «Бутырская тюрьма. Камера 99» и «Революция, которую предали». По свидетельству Л. З. Копелева, во время войны служившего в подразделениях контрпропаганды, эти книги были в каждой роте вермахта.

Частичные реабилитации, начавшиеся в 1939 году, были лишь отвлекающим маневром. Сталин рассчитывал, что это несколько успокоит общественное мнение, а также объяснит исчезновение Ежова. Кроме того, небольшое количество реабилитаций должно было подчеркнуть правильность и обоснованность массовых репрессий.

3

В 1939—1941 годах репрессии в среде партийных и советских работников, военных и деятелей культуры продолжались, но уже не принимали таких масштабов, как в 1937—1938 годах. Встав на путь беззаконий и террора, Сталин не мог ни остановиться, ни сойти с этого пути до конца своей жизни.

После смещения Ежова исполнение вынесенных ранее смертных приговоров временно прекратилось. В переполненных камерах смертников забрезжила надежда. Однако вскоре расстрелы в подвалах тюрем НКВД возобновились. Не стали пересматривать даже дела обвиненных в подготовке «террористических актов» против самого Ежова, а также против Блюхера, Постышева, Эйхе, Косиора, то есть тех, кто был, в свою очередь, объявлен «врагом народа».

Именно в 1939—1940 годах арестовали А. В. Косарева, Н. И. Вавилова, Г. К. Карпеченко, И. Э. Бабеля, В. Э. Мейерхольда, В. Чопича. В 1941 году был арестован поэт и драматург Даниил Хармс (Ювачев), вскоре умерший от голода в ленинградской тюрьме.

Погиб в это время старый большевик, активный участник гражданской войны и видный в прошлом работник ОГПУ М. С. Кедров, который в 1939 году был уже на пенсии. Один из его сыновей, Игорь, следователь в центральном аппарате НКВД, отличался особой жестокостью. Он участвовал в подготовке «открытых» процессов как при Ягоде, так и при Ежове. Однако, когда после смещения Ежова начался разгром центрального аппарата НКВД, отец и сын Кедровы направили Сталину несколько писем, разоблачающих Берию. Ответом на эти письма был арест и расстрел Игоря Кедрова. В апреле 1939 года арестовали и М. С. Кедрова, но Военная коллегия Верховного Суда полностью его оправдала. Берия, однако, не разрешил освободить Кедрова, и в октябре 1941 года его расстреляли. Новый приговор был оформлен задним числом — после расстрела.

В 1939 году был арестован и погиб старейший партийный деятель Ф. И. Голощекин, на Пражской конференции в 1912 году избранный в ЦК РСДРП. В конце 30-х годов он занимал пост Главного арбитра Совнаркома СССР.

После отстранения М. М. Литвинова провели новые аресты среди дипломатов и начали готовить процесс по делу «врагов народа в НКИД» — по каким-то причинам он не состоялся.

Неудачи в первый период советско-финляндской войны вызвали немало новых арестов среди военных. Бесследно исчез, например, начальник штаба ЛВО Н. Е. Варфоломеев.

Многочисленные аресты были предприняты и среди тех военных, которые участвовали в гражданской войне в Испании. Еще в 1938 году был вызван в Москву и расстрелян военный атташе в Испании, организатор обороны Мадрида В. Е. Горев — всего за два дня до ареста М. И. Калинин вручил ему орден Ленина. Расстреляли крупного военачальника Г. М. Штерна, который вернулся из Испании, чтобы заменить Блюхера на посту командующего ОКДВА. Штерн был избран на XVIII съезде партии членом ЦК ВКП(б), руководил в 1940 году военными действиями на Халхин-Голе. Незадолго до войны арестовали еще одну группу военных, вернувшихся из Испании, главным образом летчиков, в том числе 22 Героев Советского Союза и нескольких дважды Героев Советского Союза. Среди арестованных — Я. В. Смушкевич и П. Рычагов, возглавившие после возвращения из Испании ВВС СССР, командир авиационной бригады П. И. Пумпура, а также Е. С. Птухин, И. И. Проскуров, Э. Шахт. В 1941 году погиб А. Д. Локтионов, кандидат в члены ЦК ВКП(б), командующий Прибалтийским военным округом. Был арестован, но освобожден в первые месяцы войны нарком вооружений СССР член ЦК ВКП(б) Б. Л. Ванников.

На территории Бессарабии, Западной Украины, Западной Белоруссии и в Прибалтике репрессировали не только руководителей фашистских и полуфашистских организаций и перешедших в подполье работников местных охранок, но и тысячи ни в чем не повинных работников прежней администрации, членов различных политических группировок, представителей сельской и городской буржуазии. Сотни тысяч людей, не предъявив им каких-либо конкретных обвинений, переселяли в восточные районы страны. Так, из западных районов Украины и Белоруссии депортировали на Восток 200 тысяч солдат и офицеров разгромленной немцами польской армии и взятых в плен Красной Армией. В Прибалтике отличавшиеся особой массовостью репрессии были проведены 13—14 июня 1941 года — всего за неделю до нападения фашистской Германии. Эти карательные акции отнюдь не сделали советский тыл в Прибалтике более устойчивым.

Перед войной тюрьмы Львова, Кишинева, Риги, Таллина, Вильнюса, Каунаса и других западных городов были переполнены. Не сумев в суматохе первых дней войны эвакуировать заключенных, органы НКВД, явно с одобрения Берии и Сталина, отдали приказ об их расстреле. Тела убитых не успели убрать, и фашистские оккупационные власти, открыв тюрьмы, разрешили местным жителям приходить туда для опознания своих родственников и организации их похорон. Варварский расстрел заключенных, вызвавший взрыв негодования среди населения, широко использовала фашистская и националистическая пропаганда.

В конце июня 1940 года был принят Закон об уголовной ответственности за прогулы и систематические опоздания на работу. Под суд отдавали за три незначительных опоздания, за невыход на работу без уважительной причины. Все этапы и тюрьмы в конце 1940 года были забиты заключенными по этому закону, многих из них не освободили до конца войны, хотя срок наказания давно кончился.

4

Международные отклики на репрессии 1936—1938 годов были различны, противоречивы и не составляли слишком большой проблемы для Сталина и НКВД. Несравнимые по масштабам репрессии во времена Брежнева вызывали гораздо больше беспокойства во всем мире, чем репрессии 30-х годов.

Разумеется, буржуазная печать, а также печать фашистских стран широко использовала известия о политическом терроре в СССР для антикоммунистической пропаганды. Однако никто не знал тогда о подлинном размахе террора, и основное внимание зарубежная печать сосредоточила на «открытых» политических процессах в Москве. Механизм и детали подготовки этих процессов были тогда неизвестны, однако западным наблюдателям (не говоря уже о тайных службах Запада, за агентов которых выдавались подсудимые) было нетрудно установить, что большинство показаний обвиняемых ложно. Тем не менее, сообщая о терроре в СССР, буржуазные газеты не высказывали сожаления или сочувствия его жертвам. Также и в эмигрантских газетах чувствовалось удовлетворение: коммунисты убивают в России других коммунистов.

Представители либеральной буржуазии, левой интеллигенции, социал-демократии и коммунистических партий не могли понять, что происходит в Москве. Некоторые из них продолжали верить Сталину, другие сомневались, но молчали, третьи выступали с протестами.

Показательна позиция Лиона Фейхтвангера, приехавшего в СССР в начале 1937 года и сразу же принятого и обласканного Сталиным. Побывав на процессе «параллельного центра», Фейхтвангер полностью поддержал все версии обвинения. «С процессом Зиновьева и Каменева,— писал он,— я ознакомился по печати и рассказам очевидцев. На процессе Пятакова и Радека я присутствовал лично. Во время первого процесса я находился в атмосфере Западной Европы, во время второго — в атмосфере Москвы. В первом случае на меня действовал воздух Европы, во втором — Москвы, и это дало мне возможность особенно остро ощутить ту грандиозную разницу, которая существует между Советским Союзом и Западом. Некоторые из моих друзей... называют эти процессы трагикомичными, варварскими, не заслуживающими доверия, чудовищными как по форме, так и по содержанию. Целый ряд людей, принадлежавших ранее к друзьям Советского Союза, стали после этих процессов его противниками. Многих, видевших в общественном строе Союза идеал социалистической гуманности, этот процесс просто поставил в тупик, им казалось, что пули, поразившие Зиновьева и Каменева, убили вместе с ними и новый мир. И мне тоже до тех пор, пока я находился в Европе, обвинения, предъявленные на процессе Зиновьева, казались не заслуживающими доверия. Мне казалось, что истерические признания обвиняемых добываются какими-то таинственными путями. Весь процесс представлялся мне какой-то театральной инсценировкой, поставленной с необычайно жутким, предельным искусством. Но когда я присутствовал в Москве на втором процессе, когда я услышал Пятакова, Радека и их друзей, я почувствовал, что мои сомнения растворились, как соль в воде, под влиянием непосредственного впечатления от того, что говорили подсудимые и как они это говорили. Если все это было вымышлено или подстроено, то я не знаю, что тогда значит правда».

Все же Фейхтвангер заметил, что понял не все, но тут же добавил, что никоим образом не желал бы опорочить ведение процесса или его результаты. Он даже вспомнил слова Сократа, который по поводу некоторых неясностей у Гераклита сказал: «То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно».

Кощунственно называя «прекрасными» судебные процессы и расстрелы в Москве, Фейхтвангер торопился выразить свое восхищение Сталиным, человеком «простым и полным добродушия», «хорошо понимающим юмор и не обижающимся на критику в свой адрес». «Открытые» процессы Фейхтвангер связывает с демократизацией советского общества, считая, что правительство СССР не хотело, чтобы троцкисты воспользовались ею.

Конечно же, книга Фейхтвангера «Москва. 1937 год» была быстро переведена на русский язык и издана огромным тиражом. В производство ее сдали 23 ноября 1937 года, а подписали в печать уже на следующий день. Автор получил большой гонорар не только за эту книгу, но и за свои романы, которые публиковались ранее. В то время мало кто из западных авторов получал гонорар за издание переводов своих книг в СССР.

Мучительно переживал репрессии 1936—1938 годов друг Советского Союза Ромен Роллан. Свои мысли он доверял только дневнику: «...Это строй абсолютно бесконтрольного произвола, без малейшей гарантии, оставленной элементарным свободам, священным правам справедливости и человечности. Я чувствую, как поднимается во мне боль и возмущение. Я подавляю в себе потребность говорить и писать об этом. Я не мог бы высказать ни малейшего осуждения этого режима без того, чтобы бешеные враги во Франции и во всем мире не воспользовались моими словами как оружием, отравив его самой преступной злой волей». Когда же Роллану приходилось говорить, он выступал в защиту Советского Союза, видя в нем заслон от опасности фашизма в Западной Европе, а друзьям пояснял, что дело выше Сталина и его приспешников.

Ничего не понял Джозеф Э. Дэвис, специальный посол президента США Ф. Рузвельта. В своих секретных депешах государственному секретарю К. Хэллу, в письмах к дочери, в дневниковых записях этот дипломат, который лично присутствовал на двух московских процессах, неизменно утверждал, что подсудимые действительно виновны в измене и шпионаже и что процессы эти ни в коем случае не являются инсценировкой. По утверждению Дэвиса, такой же точки зрения придерживалось и большинство дипломатов, аккредитованных в Москве.

Даже такой осведомленный человек, как У. Черчилль, был введен в заблуждение, поверил он и той дезинформации, которую агентура НКВД распространяла по закрытым каналам, чтобы сбить с толку политических и общественных деятелей и общественное мнение западных стран. В первом томе мемуаров Черчилля «Вторая мировая война» можно прочесть: «Через советское посольство в Праге проходила корреспонденция между важными лицами в России и Германским правительством. Это была часть так называемого заговора военных и «старых большевиков» с целью свергнуть Сталина и установить новый режим, основанный на прогерманской политике. Президент Бенеш, не теряя времени, сообщил Сталину все, что смог узнать. За этим последовала беспощадная, но, может быть, не излишняя военная и политическая чистка и ряд процессов...».

Конечно, среди интеллигенции, политиков на Западе было немало таких, кто не верил «открытым» процессам, осуждал репрессии. Антисталинскую позицию заняла вся почти лейбористская партия.

В смятении были Герберт Уэллс и Андре Жид. Бертольту Брехту, написавшему Лиону Фейхтвангеру, что книга «Москва. 1937 год» — лучшее, что написано на данную тему в западной литературе, вскоре довелось узнать о гибели многих знакомых ему антифашистов, об исчезновении близкого ему человека — Каролы Неер, о расстреле своего учителя в марксизме и друга писателя Третьякова. Именно тогда Брехт написал стихотворение «Неужели народ безгрешен?», в котором есть такие строки:

Мой учитель Третьяков,
такой великий и такой сердечный,
расстрелян. Суд народа осудил его
как шпиона. Имя его предано проклятью.
Сожжены его книги. И говорить о нем страшно.
И умолкает шепот.
А если он невиновен?

К Сталину, Калинину, Вышинскому приходили из-за рубежа просьбы о разъяснении.

«Подписавшие это письмо, друзья Советского Союза, считают своим долгом обратить Ваше внимание на следующие факты.

Заключение двух выдающихся зарубежных физиков — доктора Фридриха Хоутерманса, арестованного 1 декабря 1937 года в Москве, и Александра Вайсберга, арестованного 1 марта того же года в Харькове, вызвало большое беспокойство в кругах ученых в Европе и США. Хоутерманс и Вайсберг хорошо известны в этих кругах, и можно опасаться, что их длительное заключение даст новый повод к той политической кампании, которая в последнее время уже нанесла тяжелый ущерб престижу страны социализма и совместной работе СССР с великими демократиями Запада. Эти обстоятельства усугубляются тем, что те западные ученые, которые хорошо известны как друзья Советского Союза, которые защищали Советский Союз от нападок его врагов, до сих пор ничего не знают о судьбе Хоутерманса и Вайсберга... Это лишает нас возможности объяснить общественности наших стран подобного рода мероприятия». Так писали в Москву в июне 1938 года три лауреата Нобелевской премии — Ирэн и Фредерик Жолио-Кюри и Жан Перрен.

16 мая письмо Сталину направил Альберт Эйнштейн. Он протестовал против ареста многих ученых, пользующихся среди своих коллег на Западе огромным уважением. Ни на это письмо, ни на такого же характера письмо Нильса Бора Сталин не ответил.

Газеты зарубежных компартий безоговорочно поддерживали тогда политику Сталина и просто повторяли то, что печатали «Правда» и «Известия». Коммунисты говорили, что советский суд — это суд пролетарский, он не может не быть справедливым. Все слухи о пытках и истязаниях заключенных коммунистическая пресса всего мира отвергала как злостную клевету. «Марксисты в то время не могли поверить,— писал в 1956 году американский коммунист Г. Мейер,— что Сталин способен отдать приказ об уничтожении невинных людей, ибо они не могли себе представить, чтобы сами они оказались способны на такие преступления. Мир воочию видел неопровержимые исторические завоевания социализма.., видел несомненную любовь и преданность большинства советских людей своему вождю... Сообщения о нарушении законности в Советском Союзе опровергались как антисоветские измышления».

Были, конечно, и сомневающиеся. И. Майский, тогда посол СССР в Англии, писал позже: «Хорошо помню, как английские коммунисты, которых в те годы мне приходилось видеть, с горечью, почти с отчаянием задавали мне вопрос: «...Что у вас происходит? Мы не можем поверить, чтобы столько старых, заслуженных, испытанных в боях членов партии вдруг оказались изменниками». И рассказывали, как события, происходящие в СССР, отталкивают рабочих от Советской страны, подрывают коммунистическое влияние среди пролетариата. То же самое происходило тогда во Франции, Скандинавии, Бельгии, Голландии и многих других странах».

Определенное влияние на общественное мнение западных стран оказывали письма и заявления некоторых советских дипломатов и разведчиков, отказавшихся вернуться на верную гибель в СССР. В декабре 1937 года европейские газеты опубликовали адресованное руководству коммунистической и социалистической партии Франции и в бюро IV Интернационала «Открытое письмо» В. Кривицкого, содержащее резкую критику преступлений Сталина. Аналогичное письмо направил в Лигу прав человека бывший посол СССР в Греции А. Г. Бармин. Опытный разведчик, Кривицкий несколько лет скрывался от агентов НКВД, организовавших за ним настоящую охоту, сумел даже опубликовать книгу в защиту уничтоженных Сталиным людей. В феврале 1941 года его нашли застреленным в номере вашингтонской гостиницы. О судьбе Бармина мне неизвестно.

Герой революции и гражданской войны, руководитель большевиков Кронштадта в 1917 году, командующий Балтийским флотом, писатель и публицист Ф. Ф. Раскольников в 30-е годы находился на дипломатической работе. С тревогой наблюдал он за репрессиями, медлил вернуться в СССР по вызову наркомата иностранных дел. Летом 1939 года его сместили с поста посла СССР в Болгарии и объявили «врагом народа». В ответ Раскольников опубликовал заявление «Как меня сделали врагом народа», а в сентябре 1939 года передал французскому агентству новостей известное теперь «Открытое письмо Сталину». Уже началась вторая мировая война, и потому письмо это напечатала лишь русская эмигрантская пресса.

ПРОТИВОЗАКОННЫЕ МЕТОДЫ СЛЕДСТВИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1

Аресты невинных людей — лишь одно из звеньев сталинского террора. Целью его была не только изоляция или уничтожение неугодных. Надо было сломить их волю, заставить дать ложные признания в шпионаже и вредительстве, назвать себя «врагами народа». При соблюдении законных методов и форм следствия это было невозможно. Поэтому Сталин санкционировал применение физических методов воздействия. Разумеется, пытки и истязания не сразу, не в один день вошли в практику НКВД,— это был постепенный, но последовательный процесс. Избиения заключенных, следственный «конвейер», лишение сна, пытки жарой и холодом, голодом и жаждой,— все эти методы достаточно широко применялись в 1929—1931 годах в отношении «вредителей», нэпманов при изъятии у них золота, а также в отношении других «классово чуждых элементов». Более «гуманно» обращались, однако, органы ГПУ — НКВД с арестованными коммунистами. До весны 1937 года пытали и истязали только отдельных из них особо отобранные следователи, главным образом из верхушки НКВД. Так, при подготовке процессов «троцкистско-зиновьевского» и «параллельного» «центров» следователям разрешалось каким угодно путем сломить заключенных. После февральско-мартовского Пленума право применять по отношению к «упорствующим врагам народа» любые методы физического и психического воздействий было предоставлено большинству следователей. Не были отменены пытки и истязания заключенных и в 1939 году, когда устранили Ежова.

В начале XX века телесные наказания или рукоприкладство в тюрьмах вызывали бурное возмущение всех «политических» заключенных — эсеров, анархистов, меньшевиков, большевиков. В знак протеста устраивали коллективные голодовки, известны даже случаи коллективных самоубийств. Действия покорных Сталину карательных органов были надругательством над памятью всех поколений русских революционеров.

Но дело не только в том, что пытки и истязания принципиально неприемлемы для социалистического государства. Пытки и истязания — наиболее несовершенный метод следствия, который в большинстве случаев ведет не к выяснению, а к искажению истины, к оговору, к согласию обвиняемого на любые показания, лишь бы прекратить мучения. Это хорошо знали еще инквизиторы средних веков, добивавшиеся от узников показаний о связях с дьяволом. Это понимают разведки большинства стран. Это хорошо понимали Сталин и его подручные, вынуждая свои жертвы давать самые невероятные показания.

Известно, что даже «святая» инквизиция пыталась ввести какие-то ограничения в свою пыточную практику. Для НКВД никаких ограничений не существовало. Озверевшие следователи не только били, но и уродовали заключенных: выкалывали им глаза, вырывали ногти, жгли раскаленным железом, ломали руки и ноги, калечили половые органы.

По свидетельству Р. Г. Алихановой, известный партийный работник И. Хансуваров во время следствия 10 дней подряд простоял в воде. Жена одного из видных партийцев рассказала Алихановой, что, не сумев сломить ее мужа пытками, палачи привели в комнату, где шло следствие, их 16-летнюю дочь и изнасиловали на глазах отца. Подследственный подписал все «показания», которые ему подсовывали, а его дочь, выпущенная из тюрьмы, бросилась под поезд. В Бутырской тюрьме бывали случаи, когда мужа подвергали истязаниям на глазах жены, а жену — на глазах мужа.

«Имейте в виду,— сказали попавшему в Сухановскую тюрьму микробиологу П. Здродовскому,— здесь позволено все». В этой тюрьме, почти все заключенные которой принадлежали еще недавно к «верхам» общества, первый допрос начинали часто с жестокой порки, чтобы сразу же унизить человека, сломить его волю. «Мне повезло,— рассказывал Здродовский,— по лицу меня били, но не пороли». Жену Папулии Орджоникидзе в Сухановской тюрьме засекли плетьми до смерти.

По свидетельству А. В. Снегова, в пыточных камерах Ленинградского НКВД заключенных сажали на цементный пол и накрывали ящиком, в котором с четырех сторон торчали гвозди. Вверху была решетка — через нее раз в сутки заключенных осматривал врач. Таким ящиком размером в кубометр накрывали небольшого ростом Снегова и крупного П. Е. Дыбенко. Говорили, что этот метод заимствован у финской охранки. Опыт пыток НКВД перенимал и у гестапо.

Один из полковников НКВД мочился в стакан и требовал, чтобы допрашиваемый выпил его содержимое. По свидетельству С. Газаряна, не добившись от Сосо Буачидзе, командира грузинской дивизии, нужных показаний, ему распороли живот и бросили, умирающего, в камеру.

Большинство подвергнутых жестоким истязаниям подписали фальшивые протоколы следствия. Их воля к борьбе была сломлена, они были деморализованы, сбиты с толку, не понимали, что происходит. Нельзя осуждать этих людей, нельзя согласиться с генералом А. В. Горбатовым, который в своих мемуарах, опубликованных в 1964 году журналом «Новый мир», возмущается не столько следователями, истязавшими узников, сколько узниками, не вытерпевшими истязаний. Конечно, люди вели себя по-разному. Одни сразу же начинали давать любые показания, оговаривать десятки своих знакомых и сослуживцев, требуя их ареста. Такие люди становились тайными осведомителями НКВД, «стукачами» и доносили на своих соседей по тюремной камере или по лагерному бараку. Другие заключенные после первых же допросов разбивали себе голову о стены камеры, об умывальник, кидались на охранников во время прогулок, бросались в пролеты лестниц, в окна, вскрывали себе вены. Третьи долго и упорно сопротивлялись, но все же подписывали фальшивые протоколы. По свидетельству С. О. Газаряна, известного грузинского большевика Давида Багратиони пытали пятнадцать ночей подряд — до тех пор, пока он не потерял контроль над собой и подписал все, что от него требовали. Несколько месяцев, по свидетельству И. П. Алексахина, не давал показаний о своей «вредительской» деятельности видный работник Наркомтяжпрома И. П. Павлуновский. Его бросили в карцер, полный воды и кишащий крысами, и тут он не выдержал, стал стучать в дверь: «Варвары, что хотите, то пишите...»

Четвертые подписывали любые показания, которые касались их лично, но наотрез отказывались оговаривать кого-либо другого.

И, наконец, были такие, кто прошел через тяжелейшие испытания и не подписал фальшивых протоколов. Не подписал их старый большевик, секретарь одного из московских райкомов партии С. П. Писарев, которого 43 раза подвергали избиениям и пыткам. Не подписали Сурен Газарян и А. В. Горбатов. Самые изощренные истязания перенес Н. С. Кузнецов, но не оговорил ни себя, ни своих товарищей. В первый же «конвейер» он простоял восемь суток подряд перед следователями, на девятый день упал, потеряв сознание, но ничего не подписал[1]. Не подписала молодая, красивая жена Нестора Лакобы, посмертно объявленного «врагом народа». Вскоре после неожиданной смерти Лакобы, отравленного на обеде у Берии, ее арестовали. По свидетельству Нуцы Гогоберидзе, находившейся в 1937 году в одной камере с женой Лакобы, эту молчаливую и спокойную женщину ежевечерне уводили на «допрос», а утром, окровавленную и без сознания, втаскивали в камеру. Несчастная рассказала, что в ответ на требование подписать фальшивку о том, как Лакоба «предал Абхазию Турции», она односложно отвечала: «Не буду клеветать на память своего

[1] Перед арестом Н. С. Кузнецов — первый секретарь Северо-Казахстанского обкома партии. Свои мемуары он передал К. М. Симонову, который и познакомил меня с ними.

мужа». Устояла даже тогда, когда арестовали ее горячо любимого сына, 16-летнего школьника, избили и втолкнули, плачущего, в кабинет следователя во время одного из допросов. Сказали, что мальчика убьют, если мать не подпишет протокол (угрозу позднее выполнили). После одной из пыток она умерла в камере, так и не подписав протокола...

Не удалось сломить следствию руководителей ЦК ВЛКСМ во главе с Косаревым, несмотря на самые жестокие истязания. По свидетельству В. Ф. Пикиной, именно стойкость Косарева и его соратников помешала НКВД организовать открытый «молодежный» процесс.

Заслуживают осуждения малодушные, сразу же оговаривавшие себя и других, добровольные доносчики. Восхищает мужество таких, как Писарев, Газарян, Кузнецов, жена Лакобы, Косарев, Горбатов. Но нет у нас права осуждать и тех, кто, как Павлуновский или Багратиони, изнемог в неравной борьбе. И потому нельзя согласиться с утверждением Горбатова, что эти люди «вводили в заблуждение следствие», когда подписывали фальшивые протоколы.

Оказавшись в одной камере с другом, оговорившим его на «следствии», Н. Кузнецов обнял этого человека. Так же вел себя С. Газарян, когда встретил своего знакомого, давшего ложные показания по его делу.

Иначе думал о товарищах по несчастью Горбатов. «Своими ложными показаниями,— заявил он,— вы уже совершили тяжелое преступление, за которое вас держат в тюрьме».

В 1965 году умер партийный работник и философ П. И. Шабалкин, который дважды проходил в сталинские годы через суд и следствие и около 20 лет провел в тюрьмах и лагерях. На втором следствии, не выдержав пыток, он подписал фальсифицированные протоколы. В лагере он более десяти лет заведовал столовой, а это предполагает значительную степень сотрудничества с администрацией. Свою совесть Шабалкин успокаивал тем, что не давал никаких привилегий блатным и подкармливал некоторых политических. Перед смертью он познакомил меня со своим дневником. Я обратил внимание на следующую запись:

«Почему так много людей, преданных революции и готовых умереть за нее, людей, которые прошли через царские тюрьмы и ссылки и не раз смотрели в глаза смерти, почему столь многие из этих людей сдались на следствии и подписали фальшивые протоколы, «признавшись» во всякого рода преступлениях, которых они никогда не совершали? Причина этих «признаний» и «самооклеветания» заключается в следующем:

1) Сразу же после ареста начинается активная обработка арестованного. Сначала словесная обработка с соблюдением некоторой доли вежливости, потом крик и ругань, унижения и оскорбления, плевки в лицо, легкие удары, издевательства. «Ты сволочь», «Ты подлец», «Ты предатель и шпион», «Ты настоящая дрянь» и т. д. и т. п. Человека унижают до беспредельности, ему внушают, что он ничтожество.

Так идет день за днем, ночь за ночью. Устраивается так называемый «конвейер». Следователи меняются, а заключенный стоит или сидит. Это сутками. Меня, например, держали на «конвейере» восемь суток. Не дают спать... «Конвейер» — страшная пытка. А в это же время тебя пинают, оскорбляют, если сопротивляешься,— бьют. Задача «конвейера» — морально сломить человека, превратить его в тряпку.

Но если вы выдержали «конвейер» и не «раскололись», тогда следует физическая пытка. Измученного человека доводят до состояния, когда ему все становится безразличным и он склонен принять все, что ему внушают.

— Ты подлец.
— Да, подлец.
— Ты предатель.
— Да, предатель.
— Ты был провокатором.
— Да, я был провокатором.
— Ты хотел убить Сталина.

— Да, я хотел убить Сталина.
И т. д.

В это время арестованному подсовывают версии, сочиненные следователем, и арестованный безропотно их принимает. Следователи торопятся закрепить достигнутый успех. Оформляются первые протоколы или «собственноручные показания».

2) Следующий этап — это этап закрепления полученных «достижений». Арестованного начинают кормить прилично. Дают ему папиросы, передачи от родных, разрешают даже чтение газет и книг. Но работа над несчастным продолжается. Ему внушают, что теперь поворот невозможен, что спасти себя он может только «чистосердечным раскаянием», что он сам должен теперь думать над тем, что еще может он сообщить следствию. Заключенного снабжают бумагой, чернилами, чтобы он писал «показания» в камере, подсказывают ему тему и контролируют работу.

У жертв обработки нередко возникают колебания. В НКВД придумали, однако, тысячи способов подавления этих колебаний. Заключенному устраивают очные ставки с такими же, как он, несчастными людьми. Происходит «взаимовлияние». Применяются дополнительные методы физического воздействия. Заключенных вызывают к «прокурору», который оказывается переодетым следователем. Устраивают провокационные заседания «суда» и т. д.

3) Если подследственный должен предстать перед судом (абсолютное большинство заключенных осуждалось заочно различными «тройками», Особым совещанием и т. п.), то с ним проводится дополнительная работа, своеобразная репетиция суда. Тут все — и угрозы, и внушения, и «серьезные разговоры»: «Имей в виду, не просто расстреляем, а будем мучить, раздирать по частям» и т. д. Многим внушается мысль, что никакого расстрела не будет, что это только для печати, а в действительности все остаются живыми и невредимыми. Для примера показывают живых «расстрелянных» (потом этих людей все равно расстреляют, а пока используют для обмана живых). Во время суда палачи и истязатели тут же, перед носом заключенного. Они — живое напоминание о том, что будет в случае колебаний...

4) Следствием была разработана очень сложная система «индивидуального подхода» к подследственному. Его предварительно изучают через камерных стукачей, через систему коротких вызовов к следователю (если он сидит в одиночке). Обработка идет в камере, в кабинете следователя. Одного берут на испуг, другого на уговоры, третьего на посулы, к четвертому применяют сочетание разных методов. Но главное — заключенного лишают сразу всякой возможности защищаться.

5) И все же главная причина того, что люди, сильные волей, не раз смотревшие в глаза смерти, нередко ломались на следствии, соглашались на чудовищное самооклеветание, состояла не в страшной жестокости следствия. Все дело было в том, что эти люди неожиданно были лишены почвы, на которой они выросли. Тут человек напоминает растение, выдернутое из земли и брошенное на произвол ветров и непогоды, лишенное питания, влаги и солнца. Идеалы разбиты. Врагов классовых перед тобой как будто нет. Народ, советский народ, настроен враждебно. Ты — «враг народа». Опереться не на что. Человек летит в пропасть и не понимает причины. Почему? За что?..

Разумеется, было немало людей, которые сдавались без боя. Атмосфера внутритюремно-следственного террора создавала соответствующие безнадежные настроения. Многие «свеженькие» заключенные сразу же подписывали все, что им подсовывали, считая, что сопротивление бесполезно и защита невозможна. При этом возникало новое явление в следственной практике, когда стороны мирно договаривались и о «преступлениях», и о «мере наказания». Очень многие военные поражали меня подобной «мягкостью». Они говорили: «Нет, бить себя я не позволю. Если не нужен им — пусть расстреливают. Подпишу все, что они хотят». И делали это без всякой борьбы, без сопротивления. И это тоже был своеобразный протест против произвола».

2

Политических заключенных различные «тройки», Особые совещания осуждали заочно. Порой все же состоялись суды, но суды «особые» — на них никого не допускали, не было защитников, не было даже прокурора. Продолжался такой суд, даже по сложным делам, не более 5—10 минут. Суд над Косаревым занял 15 минут — это было редкое исключение. Для многих заключенных день суда становился их последним днем, так как по закону от 1 декабря 1934 года приговор следовало приводить в исполнение немедленно. Некоторых приговоренных к высшей мере несколько дней, а то и месяцев держали по каким-то причинам в камере смертников. Большинство казнили сразу после суда: стреляли в затылок на лестнице или в тюремном коридоре, расстреливали в подвале группами. В подвале на Лубянке и в Лефортове, как мне рассказывали, запускали тракторный двигатель, чтобы на улице не было слышно выстрелов. Узников других московских тюрем возили расстреливать на окраину города. Е. П. Фролов записал рассказ одного из тех, кто не раз конвоировал приговоренных. Их отвозили на пустырь, примыкающий к одному из московских кладбищ. Там, у кладбищенской стены, и расстреливали. Занимались этим двое людей, жившие в землянке. Когда привозили осужденных, из землянки выходил человек с испитым лицом, принимал документы и заключенных и тут же расстреливал. В землянке, куда конвоир однажды зашел, на столе стояли две бутылки — одна с водой, другая с водкой.

Расстреливали мужчин и женщин, молодых и глубоких стариков, здоровых и больных. Как свидетельствует старый большевик А. П. Спундэ, известного латышского коммуниста Ю. П. Гавена доставили к месту расстрела на носилках. Гавен вступил в РСДРП в 1902 году, активно участвовал в революции 1905 года, провел многие годы на каторге, где был искалечен и тяжело заболел туберкулезом. Он занимал пост председателя ЦИК Крымской АССР, а затем работал на дипломатической службе. По свидетельству дочери Героя Советского Союза генерал-лейтенанта и начальника ВВС Красной Армии Я. В. Смушкевича, его также несли расстреливать на носилках.

Тех, кто не был приговорен к расстрелу, после осуждения ждали долгие годы тюрем, а затем лагерей. Исторического описания этих тюрем, лагерей и ссылки, подобных, например, многотомному исследованию М. Н. Гарнета по истории царской тюрьмы, пока нет. Однако немало сделали художественная литература и мемуаристика. Под рубрикой «Лагерная литература» в моей библиографии около 200 наименований рукописей и книг, почти половина которых опубликована зарубежными издательствами.

Концентрационные лагеря и временные тюрьмы для политзаключенных или заложников возникли еще в годы гражданской войны. Однако более или менее упорядоченная пенитенциарная система начала создаваться лишь с начала 20-х годов. К этому времени стали разрабатывать и соответствующее законодательство. Режим политических заключенных в начале 20-х годов был сравнительно мягким. Они сохраняли одежду, книги, письменные принадлежности, ножи, могли выписывать газеты и журналы, получали надбавку к общему питанию, освобождались от принудительных работ и не подвергались унизительной проверке. В политизоляторах допускалось самоуправление, заключенные выбирали старосту и через него сносились с администрацией. Надо сказать, что к «политическим» относили тогда эсеров, меньшевиков, анархистов и представителей других социалистических партий, участвовавших в революционной борьбе против царизма. Члены буржуазных, а тем более монархических партий, участники белогвардейского движения значились в документах ВЧК как контрреволюционеры и содержались вместе с уголовниками. Для них установили жесткий карательный режим, хотя это было явным нарушением провозглашенных вскоре после Октябрьской революции принципов новой власти.

Конечно, в практике ВЧК—ОГПУ начала 20-х годов немало случаев, которые можно квалифицировать как издевательство над заключенными, но то было

не правило, а исключение. В «Исправительно-трудовом кодексе» 1924 года, регулирующем положение всех заключенных, включая уголовников и контрреволюционеров, на странице 49 напечатано: «...режим должен быть лишен признаков мучительства, отнюдь не допуская: наручников, карцера, строго одиночного заключения, лишения пищи, свидания через решетку». В большинстве случаев кодекс соблюдался, и нарком здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко вполне обоснованно заявлял, что в советских тюрьмах установлен гуманный режим, какого не могло быть в тюрьмах капиталистических стран.

Постепенно, однако, режим ограничивали, урезали по мелочам «вольности» политзаключенных, а то, что было прежде исключением, становилось правилом. В 30-е годы тюремный режим продолжал ухудшаться, и теперь «вредители» не могли и мечтать о тюремных порядках начала 20-х годов. С началом массовых репрессий режим в тысячах старых и новых тюрем был ужесточен до предела. В камеры, рассчитаные на одного заключенного, запирали до пяти человек, в камеры, рассчитанные на десять заключенных,— до 50. В камеры на 25 заключенных помещали их от 75 до 100. Запрещалось подходить к окну, ложиться днем на нары, иногда — даже разговаривать. По малейшему поводу бросали в карцер, лишали прогулки, переписки, возможности читать.

«Я попал в камеру № 47 внутренней тюрьмы площадью примерно 35 метров,— вспоминает ростовский агроном В. И. Волгин.— В камере всегда находилось 50—60 человек. Было начало июня 1939 года. Жара стояла во дворе, и пекло в камере. Мы приникали к щелям полов, чтобы высасывать оттуда свежесть воздуха, и теснились по очереди около двери, через щели которой ощущался сквозной ветерок. Старики не выдерживали, и скоро их выносили на вечный покой».

В Куйбышеве многих поместили в обширный тюремный подвал, где проходили трубы центрального отопления. Летом заключенные насчитали в этом подвале 33 вида насекомых, включая, конечно, мух, вшей, блох, клопов и тараканов. Зимой от изнуряющей жары все эти насекомые исчезли. Тела людей покрывались язвами. В Сухановской тюрьме под Москвой заключенных морили голодом, и через два месяца человек превращался в обтянутый кожей скелет. Тюрьма эта располагалась в подвале и нижних этажах здания, а в верхних его этажах — дом отдыха для работников НКВД.

По свидетельству старого большевика И. П. Гаврилова, страшные условия в Барнаульской городской тюрьме вызвали массовый протест заключенных — они даже вырвались из переполненных камер на тюремный двор. Несколько человек после этого расстреляли, однако режим несколько изменился к лучшему.

Бесчеловечно относились к заключенным и после тюрьмы — на этапах. В каждое купе тюремных «столыпинских» вагонов, рассчитанное на 6 человек, заталкивали по 20, а то и по 30. По 100 и более человек загоняли в товарный вагон-теплушку. В некоторых поездах люди по многу дней подряд стояли, тесно прижавшись друг к другу. Долго шли эти поезда на восток, и почти каждая их остановка была отмечена могилами заключенных. В своей неопубликованной поэме «Колыма» ленинградская писательница Е. Владимирова, прошедшая с миллионами людей страшный путь на восток, писала:

...он видел, как конвой этапа,
людей раздевши догола,
в бесцеремонных, грубых лапах
вертел их хилые тела;
как в эшелонах по два дня
людей держали без питья,
кормя их рыбою соленой;
видал калек на костылях
и женщин, запертых в вагоны,
с детьми грудными на руках.

Еще тяжелей были условия перевозки по Охотскому морю из Владивостока на Колыму. В тесных трюмах люди нередко лежали друг на друге, хлеб им, как зверям, кидали через люки. Трупы умерших во время рейса сбрасывали

прямо в море. В случае организованного протеста или бунта конвой заливал трюмы ледяной забортной водой. Тысячи заключенных после этого погибали или были сильно обморожены.

В большинстве тюрем «политические» и уголовные содержались раздельно, впервые сталкивались они во время этапов. В. И. Волгин писал: «Уголовники грабили политических почти явно, так как они (то есть уголовные) находились под опекой охраны. Очередной жертве показывали из-под полы нож и перекладывали вещи в свои руки. Борьба с блатными была в большинстве случаев немыслимой, так как она могла быть только кровавой и не в нашу пользу. На радость охраны мы были бы порезаны при явном их поощрении. В пути мы узнали об этом страшном в этапах, и никто не хотел лишиться жизни из-за лоскута. Тогда же мы узнали, что этапы — самое страшное, что может быть для политических, и что это новое истязание людей поддерживается администрацией лагерей как мера истребления».

3

Основным местом заключения миллионов людей были не тюрьмы, а лагеря, густая сеть которых покрыла страну, особенно районы Северо-Запада, Северо-Востока, Казахстана, Сибири, Дальнего Востока.

Так называемые «исправительно-трудовые» лагеря были организованы в некоторых отдаленных районах еще в начале 30-х годов. В Карелии — лагеря ББК (Беломорско-Балтийского канала), в Сибири — лагеря БАМ (Байкало-Амурской магистрали), в Центральной России — лагеря Дмитровлаг (канал Москва — Волга). Появились и первые лагеря на Колыме (Дальстрой), в Коми АССР и других районах. Состав заключенных уже тогда был весьма пестрым, преобладали крестьяне, верующие, уголовники.

В «исправительно-трудовых лагерях» 30-х годов было множество случаев крайней жестокости и произвола. Берега канала Москва—Волга и Беломорско-Балтийского канала усеяны костями заключенных. Но среди лагерного руководства было немало людей, искренне стремившихся помочь исправиться тем, кто встал на путь преступления. Лагеря не считались секретными, из них освобождали не только после окончания срока, но зачастую и до этого. В книгах, написанных об этих лагерях с участием М. Горького В. Катаева, М. Зощенко, В. Инбер, Б. Ясенского, о многом умалчивалось, многое искажалось, но содержалась и правда, о чем тоже не следует забывать.

Как ни сурова природа Колымы, в 1932—1937 годах мало кто умирал в лагерях Дальстроя. Заключенных неплохо кормили и одевали. Рабочий день зимой продолжался 4—6 часов, летом — 10. Существовала система «зачетов», позволявшая осужденным на 10 лет освободиться уже через 3 года. Заработок был приличный, давал возможность помогать семьям, вернуться домой обеспеченными. Об этом можно прочесть не только в книге бывшего начальника одного из колымских лагерей В. Вяткина, но и в «Колымских рассказах» В. Шаламова.

В 1937 году все изменилось. Было объявлено, что подобный либерализм является вредительством. После ареста начальника Дальстроя Берзина и большинства руководителей колымских лагерей уже не осталось следа «либеральных» порядков во всей быстро разраставшейся системе Гулага. Новые указания из Москвы и новое поколение гулаговских начальников быстро превратили «исправительно-трудовые» лагеря в каторжные, рассчитанные не столько на исправление, сколько на уничтожение заключенных.

Неимоверно тяжелый, отупляющий труд, редко где по 10, а чаще по 12, 14 и даже 16 часов в сутки, жестокая борьба за существование, голод, произвол блатных и охранников, одежда, плохо защищающая тело, скверное медицинское обслуживание — все это стало нормой. Лагерями уничтожения стали всякого рода штрафные, «специальные», «особые» лагеря, золотые прииски Колымы, лесоповалы. На золотых приисках Колымы здоровый человек через полтора-два

месяца, а то и через месяц, превращался в «доходягу», истощенного и неспособного работать. За год бригада несколько раз меняла состав: одни заключенные погибали, других переводили на более легкие работы а какие-либо «лагпункты», третьи попадали в больницы. Оставались в живых обычно лишь дневальный, бригадир и кто-либо из его личных друзей.

В сущности, режим большинства колымских и других северных лагерей был сознательно рассчитан на уничтожение заключенных. Сталин и его окружение не хотели, чтобы репрессированные возвращались, они должны были исчезнуть. И большинство узников быстро убеждалось, что их привезли в лагерь на верную смерть.

Между прочим, над входом во все лагерные отделения («лагпункты») Колымы висел предписанный лагерным уставом лозунг: «Труд есть дело чести, доблести и геройства». Вспомним надпись на воротах Освенцима: «Труд делает свободным».

Конфликт между «политическими» и уголовными, который начинался на этапах, продолжался и в лагерях. Администрация сознательно натравливала уголовников на других заключенных. «При каждом удобном случае,— писал в одну из газет бывший уголовник Г. Минаев,— нам, ворам, старались дать понять, что мы для Родины все-таки еще не потерянные, так сказать, хоть и блудные, но все-таки сыновья. А вот «фашистам», «контрикам» (то есть политическим.— Р. М.) на этой бренной земле места нет и не будет во веки веков... И коли мы воры, то наше место у печки, а «фраерам» и всяким прочим — у дверей и по углам...»

Издевались над «политическими» не только уголовники, но и все большие и малые начальники. В 1938 году по лагерям прокатилась волна открытого массового террора: по обвинению в саботаже, или в попытке восстания, или по спискам, полученным из центра, тысячи узников расстреливали без суда и следствия. Так, по свидетельству А. И. Тодорского, в северных лагерях присланные из центра комиссии приговаривали к расстрелу политических, получивших пяти- и десятилетние сроки еще в начале 30-х годов,— в основном участников различных оппозиций. Одна из таких комиссий, в которую входили сотрудник специального отдела НКВД Кашкетин, начальник особого отдела Гулага Григоришин и начальник III Оперотдела НКВД Чучелов, приговорила к расстрелу в Ухтинском лагере Коми АССР большое количество заключенных. Специальный взвод приводил приговоры в исполнение. Эта же комиссия Кашкетина под предлогом существования в лагерях Воркуты контрреволюционной организации, подготавливающей якобы восстание, уничтожила тысячи заключенных. Чудом оставшийся в живых бывший «воркутинец», А. Пергамент, в начале 20-х годов сотрудник Троцкого, рассказал мне, что на Воркуте ни о чем не подозревавших заключенных переводили на Кирпичный завод, держали некоторое время в наспех поставленных палатках, потом объявляли о переводе в другой «лагпункт» и по дороге расстреливали из пулеметов. После того как Кашкетин и его комиссия выполнили свою жестокую миссию, их самих расстреляли. «В том году,— писал в своих мемуарах М. Байтальский,— из лагерных пунктов, расположенных вниз по реке,— из Кочемаса, Сивой Маски и других мест, шли в Воркуту экстренные, составленные по особым спискам этапы. Шли, подгоняемые конвоем. Но некоторых конвой не успел переправить через разлившиеся речки, и люди не скоро узнали, для чего такая спешка. Спешили убить их. И кого успели довести вовремя,— расстреляли. В том году в воркутинских лагерях свирепствовал человек, фамилию которого произносили оглядываясь. Позже в Котласской тюрьме слышали крики из окна: «Передайте людям, что я Кашкетин! Я тот, кто расстрелял в Воркуте всех врагов народа! Передайте людям!» Эти крики слышали в том же году, но передали людям много лет спустя. Взвод охранников, приводивших приговор в исполнение, тоже исчез».

От присланных из центра комиссий не отставали и местные лагерные власти. Они имели право убивать заключенных и без согласования с Москвой. Начальник Дальстроя Павлов и его помощник Гаранин вместе с подручными рас-

стреляли на Колыме не менее 40 тысяч заключенных, обвинив их в саботаже. Особенно зверствовал полковник Гаранин. Приезжая в лагерь, он приказывал выстроить «отказчиков» от работы — обычно это были больные и «доходяги». Разъяренный Гаранин проходил вдоль шеренги и расстреливал людей в упор. Сзади шли два охранника и поочередно заряжали ему пистолеты. Трупы расстрелянных нередко складывали у ворот вахты срубом, как колодец, и отправляющимся на работу бригадам говорили: «То же будет и вам за отказ».

В 1939 году Гаранина расстреляли по обвинению в «шпионаже» и «вредительстве», устранили или расстреляли многих начальников лагерей. Это было следствием перемен в руководстве НКВД после смещения Ежова. Положение же заключенных облегчилось ненадолго. С началом Отечественной войны рабочий день почти везде был увеличен, а голодный и без того паек еще более урезан. По свидетельству П. И. Негретова, в Коми АССР, в отдельных лагпунктах на лесоповале списочный состав в 1942 году вымирал за 100—150 дней. Общее число заключенных в 1941—1942 годах, по моим подсчетам, примерно можно сравнить с числом бойцов действующей армии. И потери людей в это время на Востоке и на Западе были примерно равны.

Надо отметить, что почти все те, кто уцелел в лагерях, пережил тяготы заключения и затем описал их в рассказах, повестях, романах и мемуарах, большую часть своего срока были не на общих работах, а занимали должности кладовщика, библиотекаря, повара, санитара, бригадира и т. п. И судить о поведении этих людей можно только в зависимости от того, старались ли они помочь другим уцелеть или, напротив, сами включались в страшный механизм уничтожения.

4

Создавали и приводили в движение задуманную Сталиным машину террора работники НКВД. Люди эти были разные, и вели они себя по-разному.

Рядовые солдаты и младшие командиры конвойных войск НКВД, осуществлявшие наружную охрану лагерей, почти не соприкасались с заключенными и не знали, что это не столько преступники, сколько ни в чем не повинные люди.

Были в НКВД и такие, кто в глубине души сознавал, что перед ними не враги, а люди, невинно пострадавшие, оклеветанные. Разобраться в происходящем они не могли или не хотели, но во многих случаях старались помогать тем или иным заключенным.

Большинство же работников НКВД во времена Ежова и Берии понимали, кому они служат и против кого борются. Среди следователей были и верившие тем версиям, которые им приказывали «выбить» любой ценой. Однако основная часть следователей знала, что перед ними люди, никогда не совершавшие тех преступлений, в которых их обвиняют. Это отнюдь не ослабляло усердия и садистской изощренности следователей. Чаще всего они сами придумывали те фальшивые версии, которые служили основой для обвинения и затем вдалбливались заключенным.

О сознательной фальсификации данных следствия говорил и Н. С. Хрущев на XX съезде партии. После этого съезда стало известно о бесчисленных и часто нелепых «делах», фабриковавшихся в органах НКВД. По свидетельству С. Газаряна, старого учителя А. Афанасьева обвинили в том, что еще в годы гражданской войны он создал в Барнауле террористическую группу, которая должна была убить Ленина, *если он туда приедет*. Начальство не утвердило это слишком надуманное дело, и тогда следователь объявил Афанасьева японским шпионом. Дело опять не утвердили, так как в нем не указывалось, через кого обвиняемый передавал в Японию секретные сведения. Спешно стали искать «соучастников шпионажа», «обнаружили» и «резидента японской разведки».

М. Ф. Позигун, член партии с 1920 года, рассказал мне о Фрице Платтене — они вместе лежали в тюремной больнице. Платтена, который прикрыл собой Ленина от пуль террористов, вначале объявили немецким шпионом. Как его ни пытали, он отказался подписать обвинение. «Если вы объявите меня немецким шпионом,— сказал он следователям,— то это бросит тень на Ленина, а на это я никогда не пойду». Следователи пошли на «уступки» и записали Платтена шпионом другого государства. (Позигун забыл, какого именно.)

По свидетельству В. И. Волгина, в Ростове-на-Дону одного из капитанов речного флота обвинили в том, что своим танкером «Смелый» он потопил миноносец «Бурый». Капитан рассмеялся и спросил следователя, знает ли тот, что такое танкер. «Танкер, танк,— стал бормотать следователь,— это военное судно». «Это нефтеналивное судно,— разъяснил капитан,— которое не может потопить миноносец». «Ну черт с тобой,— миролюбиво сказал следователь,— ты перепиши, как это там нужно, и уйдешь в лагерь со свежим воздухом, а тут ты сгниешь». В той же камере 27 человек подписали показания о поджоге «в диверсионных целях» ростовской мельницы, 13 «сознались» в том, что взорвали железнодорожный мост. А мельница и мост стояли невредимы, уцелели даже в войну.

Один из командиров в Белорусском военном округе, Поваров, «признался», что создал контрреволюционную организацию из 40 человек, назвал вымышленные фамилии и должности. С этими показаниями дело передали в суд, и Поваров был осужден. Показания не проверялись. Следователи не знали, что людей, указанных в протоколе, вообще не существует. Но они хорошо знали, что те, кого называют на следствии, никуда не убегут, а пока что с ними можно и подождать — «план» арестов был уже выполнен.

Планы и «контрольные цифры» арестов действительно существовали. Шифрованная телеграмма из Москвы сообщала областному управлению НКВД: «В вашей области, по данным следственных органов центра, имеется столько-то террористов и антисоветских агитаторов. Арестовать и судить». И органы НКВД области должны были выполнить «задание» и ждать на следующий месяц или квартал новых «контрольных цифр».

Обычно оперативные группы НКВД проводили обыски у «врагов народа» весьма небрежно. Забирали бумаги из письменного стола. Забирали золотые и другие ценные вещи, но не записывали об этом в протокол обыска. «Тайников» не искали, не вскрывали полы, не вспарывали матрацы. Знали по опыту, что никаких документов о «подрывной работе» не найдут, и не хотели зря тратить время. Никто, по существу, не анализировал изъятых бумаг; после беглого просмотра их чаще всего сжигали. И кто знает, сколько ценнейших материалов погибло. Бесследно исчезли, например, все бумаги Вавилова и других ученых; для перевозки приходилось иногда вызывать грузовик. Исчезли рукописи сотен писателей и поэтов, воспоминания, дневники и письма многих выдающихся деятелей партии и государства. Изъятые материалы и документы в НКВД никто не считал уликами, с помощью которых можно было бы «изобличать» преступника. Драматург А. К. Гладков сообщил мне, что у одного писателя изъяли три подлинных письма великого философа Канта, представлявшие большую историко-культурную ценность. Казалось бы, письма на немецком языке должны были привлечь особое внимание следователей. Однако их даже не перевели на русский язык и сожгли вместе с другими материалами. В акте, который показали писателю после реабилитации, они числятся как «письма неизвестного автора на иностранном языке».

Судьи, за 5—10 минут приговаривающие людей к длительным срокам заключения или к расстрелу, прокуроры, дававшие санкцию на арест,— все они хорошо знали, что творят произвол. Но для них предпочтительнее было творить произвол, чем становиться его жертвами. «Без щемящего душу трепета,— писал в своих мемуарах бывший военный прокурор Ишов,— нельзя вспоминать работавшую во втором отделе Главной Военной прокуратуры Соню Ульянову. Все дела, сфабрикованные в НКВД на честных советских граждан, проходили через

окровавленные руки женщины, готовой переступить через горы трупов честных коммунистов во имя сохранения собственной ничтожной жизни».

Достаточно ясно представляя себе, с какими людьми они имеют дело, все почти начальники лагерей и большая часть офицерского состава относились к заключенным с чрезмерной и даже подчеркиваемой жестокостью. Что превращало работников НКВД (хотя и не всех) в садистов? Что заставляло их переступать все законы и нормы человечности? Ведь многие из них были в свое время неплохими людьми, и не по призванию, а по партийной или комсомольской путевке пришли в органы НКВД! Причин несколько. И, пожалуй, главная — страх самому оказаться в положении заключенного. Этот страх глушил все иные чувства. «Если многие арестованные,— сказал мне один весьма информированный собеседник,— из страха перед расстрелом или пытками почти без сопротивления давали на следствии любые показания, идя таким образом на сотрудничество с органами НКВД, то тот же самый страх сковывал и большинство работников НКВД». Кроме того, в органах НКВД шел особый отбор: тех, кто немного умнее и гуманнее других,— отсеивали, самых худших и невежественных — оставляли.

Надо отметить, что во времена Сталина для НКВД специально готовили работников, способных выполнить любой, даже преступный приказ. Известно, например, что в «бригады», пытавшие по назначению следователя арестованных, включали обычно не только заматерелых палачей, но и 18—20-летних курсантов из школ НКВД — их водили на пытки, как водят студентов-медиков в анатомический театр.

Часть работников НКВД уничтожили во времена Сталина. Некоторых наказали в 1953—1957 годах. Но очень многие отделались легким испугом — их сместили с занимаемых ими постов и отправили на другую работу или на пенсию. В большинстве случаев свои преступления они объясняли и объясняют тем, что руководствовались приказами свыше. Можно напомнить в этой связи, что Международный Военный Трибунал в Нюрнберге в решениях, под которыми стоит и подпись представителя Советского Союза, указал, что приказы, противоречащие основным правилам морали, попирающие нравственные веления, на которых зиждется человеческое общество, разрушающие самые основы человеческого общежития, не могут служить ни моральным, ни юридическим оправданием для тех, кто их выполняет.

О ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТАЛИНА ЗА ТЕРРОР 1937—1938 ГОДОВ

1

Многие восприняли террор 1937—1938 годов как страшное бедствие и стремились найти ему объяснение, дать какую-то версию. Чаще всего это были не столько поиски истины, сколько попытки уйти от нее, найти формулу, которая помогла бы сохранить веру в Сталина.

Одна из наиболее распространенных версий состояла в том, что Сталин ничего не знает о волне террора, которая захлестнула Советский Союз, что от Сталина скрывают правду, что все преступления вершатся за его спиной.

Конечно, нелепо полагать, будто Сталин, обладая безграничной властью, не знал об арестах и расстрелах членов ЦК и Политбюро, наркомов и секретарей обкомов, высших военных и хозяйственных руководителей, крупнейших писателей и ученых. Но такова уж особенность сознания, ослепленного верой в некое высшее существо. У такого сознания своя логика: все хорошее связывается с божеством, а все плохое — с сатаной. Именно этими особенностями религиозного сознания можно объяснить возникновение версии о неведении Сталина.

«Мы думали,— писал в своих мемуарах «Люди. Годы. Жизнь» И. Г. Эренбург,— (вероятно, потому, что нам хотелось так думать), что Сталин не знает о бессмысленной расправе с коммунистами, с советской интеллигенцией». Эренбург рассказывает о встрече с Пастернаком, который размахивал руками среди сугробов и повторял: «Вот если бы кто-нибудь рассказал про все Сталину!..» Мейерхольд тоже повторял: «От Сталина скрывают».

Характерен для того времени разговор комиссара 29-й стрелковой дивизии Ф. А. Стебнева с военкомом Вяземского участка А. Я. Веденинным, будущим комендантом Кремля: «Что творится, Андрей Яковлевич? — встретил меня Стебнев.— Что творится? — Он нервно ходил по комнате.— Я не верю, что в партии столько врагов. Не верю. Может быть, в каком-то высоком звене партии, в органах безопасности сидят не наши люди? Похоже, что партийные кадры уничтожают сознательно. Я даю голову на отсечение, что Иосиф Виссарионович не знает об этом. Сигналы, жалобы, протесты перехватываются и до него не доходят. Надо добиться, чтобы Сталин узнал об этом. Иначе — гибель. Завтра возьмут тебя, а за тобой и меня. Молчать нельзя» [1].

Философа А. Кольмана арестовали уже через несколько лет после войны. В тюрьме он оказался в одной камере с маршалом авиации Г. А. Ворожейкиным, участником первой мировой, гражданской и Отечественной войн. Занимая крупные должности, Ворожейкин часто встречался со Сталиным и именно его обвинял в массовых репрессиях. В своих мемуарах А. Кольман писал: «Я пытался убедить Ворожейкина, что он глубоко ошибается. Его ослепляет вполне понятное чувство личной обиды, тем более сильной, чем больше его, Ворожейкина, заслуги. Он смотрит на все эти ужасные события субъективно, а не с единственно правильной точки зрения, как на исторический процесс, вызванный классовой борьбой. Не в личности Сталина дело. Сталин — гениальный теоретик и революционный вождь. Он такой же продолжатель дела Ленина, как Ленин был продолжателем дела Маркса и Энгельса. Но Сталин так же, как и мы, стал жертвой пятой колонны. Империалисты, убедившись в безуспешности своих попыток покончить с Советским Союзом извне, интервенцией и войной, пытаются уничтожить его изнутри, через своих агентов, таких, как Ягода, Ежов, Берия».

Это наивное убеждение в том, что Сталину неведомы трагические события в стране, отразилось и в слове «ежовщина», которым нарекли террор 1937—1938 годов. Неожиданное смещение и исчезновение Ежова, казалось бы, подтверждали эту версию. Основывалась она и на особенностях поведения самого Сталина. Хотя имя Сталина было у всех на устах, о его деятельности в конце 30-х годов было мало известно. Скрытный и замкнутый, он старался направлять события из-за кулис, многие дела решал единолично или в кругу немногих помощников. Редко выступал на собраниях, не афишировал свое участие в репрессиях, предпочитая выдвигать на первый план других. Более того, многие выступления и поступки Сталина давали повод полагать, что он не слишком хорошо осведомлен о действительном масштабе репрессий. На февральско-мартовском Пленуме ЦК в 1937 году Сталин требовал не подвергать репрессиям троцкистов и зиновьевцев, которые давно порвали все связи с Троцким и осудили свою оппозиционную деятельность. А между тем их продолжали арестовывать по всей стране. Сталин высмеивал на Пленуме тех, «для которых ничего не стоит исключить из партии десятки тысяч людей». А между тем в это же время из партии исключали и репрессировали не десятки, а сотни тысяч коммунистов.

На одном из приемов Сталин поднял тост за здоровье героя гражданской войны Д. Ф. Сердича, которого знал еще по обороне Царицына в 1918 году,

---

[1] А. Я. Веденин. Годы и люди. М., 1964.

подошел к нему и предложил выпить на брудершафт. А вскоре Сердича арестовали.

Всего за несколько дней до ареста Блюхера на одном из совещаний Сталин очень тепло отозвался о нем.

По свидетельству художника М. Сарьяна, принимая в Москве армянскую делегацию, Сталин подробно расспрашивал о поэте Е. Чаренце, говорил, что этого поэта нужно беречь. Через несколько месяцев Чаренц был арестован и убит.

Когда заместитель наркомтяжпрома А. Серебровский лежал в 1937 году в больнице, его жене неожиданно позвонил Сталин: «Говорят, вы ходите пешком. Это нехорошо. Люди могут подумать не то, что нужно. Я вам пришлю машину, если ваша в ремонте». И действительно, утром из гаража Кремля в распоряжение жены Серебровского пришла легковая машина. А еще через два дня Серебровского прямо из больницы забрали в тюрьму.

Бывший заместитель Сталина по наркомнацу Г. И. Бройдо, когда к нему ночью постучали, прежде чем открыть двери, позвонил по телефону-вертушке Сталину: «Коба, за мной пришли». «Глупости,— ответил Сталин.— Кто может тебя обвинить? Иди спокойно в НКВД и помоги им установить истину». Бройдо все же «повезло»: в 1940 году он был освобожден.

Снятый со своего поста нарком юстиции СССР Н. В. Крыленко, передав дела новому наркому Н. М. Рычкову, уехал на подмосковную дачу, где собралась вся его семья. Неожиданно позвонил из Москвы Сталин. «Не расстраивайся,— сказал он.— Мы тебе доверяем. Продолжай порученную тебе работу над новым кодексом законов». В ту же ночь оперативная группа НКВД окружила дачу. Крыленко и почти все члены его семьи были арестованы.

По свидетельству А. В. Снегова, директор Госбанка Л. Е. Марьясин при встрече со Сталиным высказал опасения насчет своей судьбы. Сталин обнял Марьясина со словами: «Ты же не оппозиционер. Ты наш красный банкир. Чего тебе бояться?» Через неделю Марьясина арестовали. По свидетельству И. П. Алексахина, видный публицист и историк Ю. Стеклов, обеспокоенный арестами, позвонил Сталину, которого хорошо знал, и попросил принять его. «Приходи, конечно»,— сказал Сталин, а при встрече заверил: «Партия тебя знает и доверяет, тебе не о чем беспокоиться». В эту же ночь Стеклова арестовали. В 1937 году А. Мильчакова, работавшего в управлении золотодобывающей промышленности, неожиданно сняли с работы и исключили из партии. Через несколько дней после этого его разыскал взволнованный парторг управления: «Поедем в Кремль, тебя вызывает Сталин». В кремлевском кабинете их приняли Сталин и Каганович. «До чего дошли, таких, как Мильчаков, исключают,— сказал Сталин.— Мы назначаем тебя заместителем начальника Главзолото. Иди, исполняй свои обязанности». Через две-три недели, когда арестовали Серебровского, Мильчаков стал уже начальником Главзолото. А еще через два месяца его арестовали, и вернулся он в Москву через 16 лет.

О решающем участии Сталина в деятельности карательных органов говорилось в 1937—1938 годах на многих партийных активах. Приезжавшие на места для руководства репрессиями Каганович, А. А. Андреев, Маленков, Микоян, Шкирятов и другие неизменно отмечали, что выступают они по поручению Сталина. Однако речи их не публиковали. Лишь после смещения Ежова и накануне XVIII съезда ВКП(б) печать стала подчеркивать решающую роль Сталина в разгроме «врагов народа». Об этом же говорили и многие делегаты на самом съезде. «...Работой по очищению рядов партии от пробравшихся в нее врагов руководил товарищ Сталин,— сказал Шкирятов.— Товарищ Сталин учит нас, как нужно с новыми вредителями бороться по-новому, учит нас, как нужно покончить с этими враждебными элементами быстро и решительно». Делегаты приводили немало подробностей на этот счет.

Впрочем, и позднее Сталин продолжал скрывать свои преступления. В книге «Цель жизни» авиаконструктор А. С. Яковлев писал, что в самом начале войны в разговоре с ним Сталин сказал буквально следующее: «Ежов мерзавец... Многих невинных погубил. Мы его за это расстреляли».

Теперь стали известны документы, которые неопровержимо доказывают, что все основные репрессии 30-х годов вершились не только с ведома, но по прямым указаниям Сталина. Вот один из таких документов, зачитанный на XXII съезде КПСС З. Т. Сердюком:

«Тов. Сталину. Посылаю на утверждение четыре списка лиц, подлежащих суду Военной коллегии:

1) Список № 1 (общий).
2) Список № 2 (бывшие военные работники).
3) Список № 3 (бывшие работники НКВД).
4) Список № 4 (жены врагов народа).

Прошу санкции осудить всех по первой категории. Ежов». (Первая категория осуждения означала расстрел.)

После убийства руководителей Армении А. Ханджяна и С. Тер-Габриэляна к власти здесь пришли Г. Аматуни, С. Акопов и К. Мугдуси. Аресты старых большевиков продолжались, но Сталин был недоволен их масштабами. В Армению были направлены А. Микоян и Г. Маленков. Они зачитали на пленуме ЦК КП(б) Армении личное письмо Сталина от 8 сентября 1937 года, где отмечалось, что народное хозяйство республики якобы разваливается, а троцкистские и антипартийные элементы не получают должного отпора. Руководители Армении будто бы покровительствуют врагам народа. Тер-Габриэляна убили до следствия, чтобы он не дал разоблачительных показаний. «Нельзя допустить,— говорилось в письме,— чтобы враги армянского народа свободно разгуливали в Армении». Аматуни, Акопова и Мугдуси исключили из партии и арестовали. Первым секретарем ЦК КП(б) Армении стал Г. А. Арутюнян, под руководством которого репрессии приняли особенно кровавый характер.

Столь же активно участвовал Сталин и в разгроме кадров Узбекистана. По его личному указанию был арестован председатель СНК Узбекистана Ф. Ходжаев. Один из организаторов националистической младобухарской партии (джадиды), Ходжаев возглавил после прихода в Бухару Красной Армии правительство демократической Бухарской республики. В партию большевиков он вступил лишь в 1922 году. Через несколько месяцев был арестован и новый председатель СНК республики, А. Каримов. А. Икрамов, позвонив Сталину, сказал ему, что не понимает действий НКВД, что Каримов человек вполне проверенный и безупречный и не может быть замешан ни в каких контрреволюционных делах. Неизвестно, что ответил Сталин. Но после этого разговора Икрамова, который еще оставался первым секретарем ЦК КП(б) Узбекистана и членом ЦК ВКП(б), перестали соединять со Сталиным. А вскоре в Ташкент пришло закрытое письмо Сталина и Молотова. В нем Икрамов обвинялся в политической слепоте по отношению к буржуазным националистам и в связях с Бухариным, А. П. Смирновым, И. Зеленским и другими уже арестованными в Москве бывшими оппозиционерами. После зачтения этого письма на специальном пленуме ЦК КП(б) Узбекистана была спешно создана комиссия, которая тут же «установила» правильность всех выдвинутых против Икрамова обвинений. Пленум исключил его из партии и передал дело в НКВД. Икрамова немедленно арестовали.

Сталин не только давал указания об арестах. Он внимательно следил за ходом следствия по делам многих видных большевиков, просматривал протоколы допросов. Иногда даже советовал, какие именно пытки применять в отношении известных ему людей.

Когда в показаниях подвергнутых пытке появлялись фамилии десятков «соучастников», Сталин, не проводя никаких проверок, писал на протоколах следствия: «Арестовать» или: «Всех арестовать». В одной из очередных записок Ежов доложил об аресте группы работников (приводился список) и одновременно сообщил, что получены данные в отношении других лиц, которые пока проверяются. Сталин подчеркнул последние слова и рядом написал: «Не проверять, а арестовать нужно». Известно, что Сталин лично подписал около 400 списков-проскрипций, содержавших фамилии 44 тысяч человек — партийных и совет-

ских активистов, военных, писателей, деятелей культуры. Просматривая эти списки, Сталин иногда вычеркивал кого-либо, вовсе не интересуясь, какие обвинения против этого человека выдвинуты. Так, из списка литераторов, подготовленного на предмет ареста, Сталин вычеркнул Л. Брик. «Не будем трогать жену Маяковского»,— сказал он Ежову. Позднее Сталин «пощадил» М. Шолохова, бежавшего в Москву из Вешенской, когда туда прибыла группа чекистов, чтобы арестовать его.

Многие партийные руководители на местах, подобно Икрамову, обращались к Сталину, протестуя против действий НКВД. Разговор такого рода произошел в сентябре 1937 года между Сталиным и секретарем Дальневосточного крайкома партии Варейкисом. «Что он тебе ответил?» — спросила жена у Варейкиса. «Страшно даже сказать... Я вначале подумал, что у телефона не Сталин, а кто-то другой. Но это был он... Да, он. Сталин крикнул: «Не вмешивайся, куда не следует. НКВД знает, что делает». Потом сказал, что защищать Тухачевского и других может только враг Советской власти, и бросил трубку». Через несколько дней Варейкиса срочно вызвали в Москву и там арестовали, а спустя несколько дней в Хабаровске арестовали его жену.

После смещения Ежова руководители местных партийных организаций начали открыто осуждать работников НКВД за применение пыток к арестованным. Узнав об этом, Сталин направил секретарям обкомов, крайкомов, ЦК национальных компартий, начальникам управлений НКВД телеграмму: «ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б). Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата и притом применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружившихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод».

Прекрасно знал Сталин и о бесчеловечном режиме в «исправительно-трудовых» лагерях. Получив с Колымы телеграмму с жалобой на произвол, чинимый там новым начальником Дальстроя Павловым и его помощником Гаранином, Сталин ответил: «Нагаево. Газета «Советская Колыма». Осьмакову, Ромашеву, Ягненкову. Копия: Дальстрой, Павлову. Получил длинную телеграмму Осьмакова, Ромашева, Ягненкова с жалобой на порядки в Дальстрое и недостатки в работе Павлова. Телеграмму считаю демагогической и необоснованной. Газета должна помогать Павлову, а не ставить палки в колеса. Сталин».

Конечно, Сталин не мог знать обо всех беззакониях, которые творились в те годы, но директивы о направлении и масштабах репрессий исходили именно от него. В одном из лагерей П. И. Шабалкин встретился с бывшим чекистом из личной охраны Сталина. Этот человек рассказал, что в 1937—1938 годах Ежов почти ежедневно приходил к Сталину с толстой папкой и они вдвоем совещались по 3—4 часа. Так что главный виновник поистине «большого террора» — Сталин, что не снимает, конечно, вины и со всех его соучастников.

«Иногда утверждают,— говорил М. С. Горбачев,— что Сталин не знал о фактах беззакония. Документы, которыми мы располагаем, говорят, что это не так. Вина Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за допущенные массовые репрессии и беззакония огромна и непростительна. Это урок для всех поколений».

Из большой работы генерал-полковника Д. А. Волкогонова «Триумф и трагедия» мы узнали, что в 1937 году заместитель Председателя Верховного Суда В. В. Ульрих и А. Я. Вышинский ежемесячно докладывали Сталину и обычно присутствовавшим при этом Молотову и Ежову о всех процессах и приговорах. Ульрих регулярно представлял Сталину «сводку» об общем числе лиц, приговоренных «за шпионскую и террористическую деятельность», и Сталин читал эти сводки вместе со сводками об уборке урожая, добыче угля и выплавке стали.

2

Контраст между образом Сталина, утвердившимся в сознании народа, и действительностью, открывшейся после XX съезда КПСС, был настолько разителен, что у многих возникло стремление как-то смягчить то нравственное потрясение, которого не может избежать человек, узнавший о злодеяниях своего отца, своего лучшего друга, своего любимого учителя. Это стремление сочеталось часто со стремлением смягчить критику и в свой адрес. Именно этим можно объяснить появление весьма примитивной версии о трагедии «обманутого» Сталина.

Сторонники этой версии не отрицают личного участия Сталина в репрессиях 30-х годов. Однако они считают, что Сталин действовал не по своему злому умыслу, а был обманут авантюристами и карьеристами и даже агентами вражеских разведок, пробравшимися в органы НКВД и желавшими ослабить и деморализовать СССР и ВКП(б). «Ключ к пониманию событий,— писала, например, в книге «Эра Сталина» А.-Л. Стронг,— вероятнее всего, следует искать в действительно широком проникновении нацистской пятой колонны в органы ГПУ, во многих действительных заговорах, а также в том воздействии, которое эти заговоры оказали на исключительно подозрительного человека. Он видел, что замышлялось его убийство, и верил в то, что спасает революцию, осуществляя жестокую чистку».

Эту версию можно встретить и в книгах, вышедших в свет после XXII съезда КПСС. Так, И. Верховцев писал: «Грубость и болезненная подозрительность Сталина оказались на руку иностранным разведкам, а также карьеристам, авантюристам, враждебным элементам, пробравшимся в советские органы безопасности и начавшим в массовом порядке фабриковать одно за другим дела об измене и предательстве руководящих работников партии».

Примерно такую же версию «обманутого» Сталина защищала и бежавшая из СССР его дочь Светлана в книге «20 писем к другу».

Версию «обманутого» Сталина поддерживают и сейчас некоторые писатели и работники культуры, усердно пытаясь подчистить и восстановить облик «великого вождя народов». Автор романа «Москва, 41-й» И. Стаднюк, который в своем романе «Война» намекал на виновность Тухачевского и Якира, позже писал о К. Рокоссовском: «Случалось, что в привычное и хлопотливое течение жизни врывалась беда, потрясая своей неожиданностью и своей сущностью. Так произошло в 1937 году. Необоснованный арест, вздорные обвинения в шпионаже на иностранную разведку, состряпанные затаившимися врагами Октябрьской революции, которые мечтали о возврате старых порядков, обретении утерянных богатств и с этой целью делали все возможное, чтобы ослабить командный состав Красной Армии, внести разлад в ряды партии и в ее руководство. Много несчастий принесли они советскому народу... Но Константина Рокоссовского не сломили, не поселили в его сердце злобу и обиду...».

Приведенные в моих очерках факты опровергают эту примитивную версию. Конечно, Сталин был подозрителен и во многих отношениях весьма ограничен; при его «дворе» так же, как в окружении любого из тиранов прошлого, плелись всяческие интриги, шла борьба за влияние и власть. Оторванный от народа, Сталин плохо знал положение в стране, и это позволяло в ряде случаев вводить его в заблуждение. Можно предположить, что некоторым из приближенных Сталина путем клеветы и провокаций удавалось иногда возбудить у него подозрения в отношении тех, кому он ранее доверял. Так, во время судебного процесса над приспешниками Берии в Грузии было установлено, что «покушение» на Сталина и Берию во время прогулки на катере по Черному морю было организовано самим Берией и не грозило жизни Сталина. Несколько проходимцев, нанятых Бе-

рией, стреляли с гор в воздух, а затем, придя за вознаграждением, были уничтожены. Берии это «покушение» дало желанный повод расправиться с председателем ЦИК Н. Лакобой, который считался личным другом Сталина. Я бы не удивился, если бы узнал, что и сам Сталин был посвящен в тайну этой провокации: слухи о подобном покушении были для него еще более важны, чем для Берии.

Провокации с целью обмануть Сталина предпринимали, как теперь известно, и зарубежные разведки. По свидетельству Ф. Раскольникова, болгарская контрразведка подсунула агентам Ежова фальшивые документы, вызвавшие арест почти всех работников советского полпредства в Софии — от шофера М. И. Казакова до военного атташе В. Т. Сухорукова. Объяснять репрессии 30-х годов подобного рода провокациями, однако, не следует. Напротив, именно развязанный Сталиным террор создавал питательную почву и для отдельных провокаций западных спецслужб.

Показательна в этом отношении трагическая судьба М. Тухачевского и его соратников. Еще в 20-е годы западная печать немало писала о Тухачевском, подчеркивая знатность его происхождения и приписывая ему бонапартистские замыслы. Иногда его прямо называли «Красным Наполеоном». С другой стороны, немецкие военные и фашистские лидеры, готовясь к войне с СССР, стремились каким-либо образом дискредитировать Тухачевского, Якира и других крупных военачальников Красной Армии, которых знали и могли оценить по совместной работе начала 20-х годов, встречам на маневрах, а также в немецких военных академиях, куда в 20-е годы ЦК ВКП(б) направлял «красных генералов» на обучение.

В 1937 году в гестапо сфабриковали «письмо» Тухачевского своим «друзьям» в Германии. В нем сообщалось о намерении избавиться от опеки гражданских лиц, осуществив государственный переворот. Гестаповцы скопировали не только почерк, но и характерный стиль Тухачевского. На письме были штампы абвера «Совершенно секретно», «Конфиденциально» и даже подлинная резолюция Гитлера: организовать слежку за генералами, которые будто бы поддерживают с Тухачевским тайную связь. Для того, чтобы переправить это «письмо» Сталину, была симулирована кража «досье» Тухачевского из здания абвера во время пожара агентами чехословацкой разведки. В своих мемуарах бывший президент Чехословакии Э. Бенеш свидетельствовал, что еще в январе 1937 года он получил неофициальные сведения о переговорах Гитлера с Тухачевским, Рыковым и другими. Цель переговоров — свержение Сталина и установление власти прогерманского направления. Бенеш сразу же сообщил об этом в Москву через посольство СССР в Праге.

Можно полагать, таким образом, что Сталин действительно был обманут, что он попался на удочку гестапо. Но это не так. История гибели Тухачевского гораздо сложнее, и в ней еще не все до конца ясно. Из опубликованной в западной печати информации известно, что о «заговоре» Тухачевского шеф гестапо Р. Гейдрих узнал от русского белоэмигранта генерала Ник. Скоблина. И сам Скоблин, и его жена Надежда Плевицкая были заметными фигурами белой эмиграции. Именно Скоблин организовал похищение генерала А. П. Кутепова, который после смерти Врангеля возглавлял белогвардейский Русский общевоинский союз (РОВС).

Столь желанные для него «достоверные сведения» об «измене» Тухачевского Сталин получил в январе 1937 года, но снял заместителя наркома обороны с его поста не сразу. Даже после ареста Тухачевского переданное из Чехословакии «досье» не было представлено Военному Совету, на заседании которого 1—4 июня 1937 года, еще до начала судебного разбирательства, рассматривался вопрос об «измене» Тухачевского и других военачальников. Членам Военного Совета Ежов раздал сфабрикованные в НКВД «показания» ранее арестованных военных, из которых следовало, что Тухачевский, Якир, Уборевич и другие изменили Родине и намеревались совершить государственный переворот. Что касается «досье» Тухачевского, то оно было использовано главным образом для обмана западных политических деятелей. Через Бенеша «досье» узнали некоторые французские политики, в том числе лидер социалистов Л. Блюм. В СССР эта фальшивка, инспирированная НКВД, была подшита к делу Тухачевского уже после того, как его расстреляли.

Сталин был до крайности скрытным человеком и ни с кем не делился своими намерениями. В этом смысле — и только в этом — у него никогда не было ни доверенных друзей, ни сообщников. До самых последних дней своей жизни он продолжал утверждать как устно, так и письменно, что все уничтоженные им люди были врагами народа, хотя, несомненно, знал, что ни Блюхер, ни Постышев, ни Чубарь, ни Сванидзе, ни Якир, ни Бухарин, ни Рыков, ни тысячи других видных партийцев, арестованных по его распоряжению, вовсе не были шпионами или изменниками.

Дав санкцию на арест своих недавних соратников и друзей, Сталин внимательно следил за ходом следствия, но никогда не выражал желания увидеть или расспросить кого-либо из них. Он знал, что некоторые из арестованных так и не признали себя виновными или отказались потом от своих показаний, однако давал санкцию на их расстрел. Теперь известно, что Сталину передавали предсмертные письма многих его соратников с просьбами принять и выслушать их. Он не отвечал на эти письма, хотя и хранил некоторые из них в своем сейфе. Одно из таких писем — с ним обратился к Сталину кандидат в члены Политбюро Р. Эйхе — было зачитано на XX съезде КПСС Н. С. Хрущевым. Письмо было оставлено без внимания, и 4 февраля 1940 года Эйхе расстреляли.

Полностью отказался на суде от вынужденных показаний и другой кандидат в члены Политбюро — Я. Рудзутак. В протоколе заседания Военной Коллегии Верховного Суда записано: «...Его единственная просьба к суду — довести до сведения ЦК ВКП(б) о том, что в органах НКВД имеется еще не выкорчеванный гнойник, который искусственно создает дела, принуждая ни в чем не повинных людей признать себя виновными... Методы следствия таковы, что заставляют выдумывать и оговаривать ни в чем не повинных людей, не говоря уже о самом подследственном...»

Сталин, прочитав этот протокол, отложил его в сторону. Рудзутак был расстрелян.

А ведь и Эйхе, и Рудзутак так же, как многие другие, думали, что НКВД обманывает Сталина.

Лион Фейхтвангер писал в своей книге, что Сталин рассказал ему о полученном от Радека длинном письме с заверениями в невиновности. Можно представить себе реакцию Сталина: как сказал он Фейхтвангеру, уже на следующий день после отправки этого письма Радек сознался во всех своих преступлениях.

Если исходить из предположения, что Сталин был убежден в виновности арестованных по его приказу, то неясно, почему он так заботился о сохранении тайны следствия, о том, чтобы ни один посторонний взгляд, даже взгляд прокурора, не проник в застенки НКВД? Почему в отношении политических заключенных было отменено всякое законное судебное разбирательство? Почему их лишили права на защиту? Почему большинство заключенных приговаривали к длительным срокам даже без всякого судебного разбирательства? Почему всех арестованных коммунистов исключали из партии задолго до окончания следствия? Почему был установлен такой порядок, при котором органы НКВД сами арестовывали, сами проводили следствие, сами выносили приговор и сами приводили его в исполнение?

Не справляясь с огромными «планами» репрессий, в некоторых областях до крайности упростили следствие. Как свидетельствует М. М. Ишов, в Новосибирске следователи сами составляли и сами подписывали протоколы не проведенных ими «допросов». Приговор выносился заочно, и часто это был приговор к высшей мере. Людей не допрашивали, не пытали — просто расстреливали без всяких объяснений.

В Москве и других крупных городах любыми средствами добивались, чтобы заключенные собственноручно подписали фальсифицированные показания.

Объясняется это стремлением не только сломить, морально уничтожить подследственного, но и скрыть преступления, придать убийству ни в чем не виновных людей видимость законного основания. Желанием скрыть свои преступления можно объяснить и тот бесчеловечный режим, который по требованию Сталина был установлен в лагерях и приводил к гибели большинства заключенных. Отправляя миллионы людей в лагеря уничтожения, гитлеровцы писали на сопроводительных документах: «Возвращение нежелательно». Сталин и его подручные были лицемернее. На многих делах «врагов народа» значилось: «Использовать только на тяжелых физических работах». На 99 процентов это означало смерть.

Органы НКВД превратились в сборище всякого рода авантюристов и карьеристов, зачастую с темным политическим и уголовным прошлым. Сталин понимал, с кем имеет дело, но именно авантюристы и малограмотные садисты и были нужны ему. Они полностью зависели от него, наделившего их почти неограниченной властью, и, не рассуждая и не мучаясь угрызениями совести, выполняли любое приказание. Сталин не только крепко держал в своих руках контроль над карательными органами, он постоянно менял там людей, уничтожая одних и выдвигая других. Так что примитивная версия «обманутого» Сталина несостоятельна.

Несостоятельна и версия о человеке со слабыми нервами, мнительном и мятущемся, который, оказавшись во главе единственного в мире социалистического государства, начинает повсюду видеть врагов и заговорщиков и в конце концов убивает своих лучших друзей и отдает страну во власть честолюбивых авантюристов, сумевших войти к нему в доверие. Сталин не был таким. Он обладал крепкими нервами, непреклонной волей и большой выдержкой. И действовал он так или иначе не потому, что боялся или был обманут, а вполне сознательно и продуманно. «Не так-то легко вводить в заблуждение товарища Сталина»,— заметил он как-то о себе в одном из писем.

3

Существует версия о тяжелой психической болезни Сталина. В этом были глубоко убеждены, к примеру, Дм. Шостакович и Н. А. Алексеев, член партии с 1897 года, врач по специальности. Эту же версию выдвинул в своем выступлении на партактиве Краснопресненского района Москвы в ноябре 1961 года И. П. Алексахин, вернувшийся домой после 17-летнего заключения. Защищали ее и некоторые зарубежные коммунисты. «...Ужас вызвала причастность Сталина к осуждению на смерть тысяч невинных людей, его безжалостное подавление внутрипартийных разногласий и критики, одобрение им пытки как способа добиться признания, его патологическая подозрительность и создание им общей атмосферы террора. Эти жестокие нарушения законности не могли быть вызваны и не вызывались исторической необходимостью... Эти преступления вызваны исторической случайностью — паранойей Сталина, фактором, находящимся вне сферы политики и экономики, то есть вне того, что принято называть объективными историческими условиями»,— писал американский коммунист Г. Мейер.

Надо сказать, что версия эта не совсем беспочвенна. В поведении и поступках Сталина явны элементы патологии: болезненная подозрительность, усилившаяся с возрастом, нетерпимость к критике, злопамятность и мстительность, переоценка собственной личности, граничащая с манией величия, жестокость, доходящая до садизма. Однако при всем том Сталин был безусловно вменяемым человеком и ясно отдавал себе отчет в своих действиях. И никакой суд, в том числе и суд истории, не может оправдать Сталина, сославшись на его невменяемость.

Показательно, что при всей своей подозрительности Сталин никогда не наносил намеченной им жертве удара без хорошо продуманной предварительной подготовки — он осторожно организовывал ее травлю, постепенно опутывал паутиной клеветы.

Органы НКВД при разгроме советского и партийного аппарата применяли преимущественно два метода.

Первый метод можно условно назвать «сверху вниз». В той или иной области, республике, наркомате на основании сфабрикованных в Москве показаний одним ударом репрессировали руководящий состав. Затем арестовывали работников областных и районных организаций, а в центральных учреждениях в Москве — руководителей отделов и управлений, многих рядовых сотрудников. Считалось само собой разумеющимся, что «враги народа» и «шпионы», возглавляющие ту или иную область или наркомат, сумели везде насадить свою «агентуру».

Второй метод можно условно назвать «снизу вверх». Вначале органы НКВД без согласования с секретарем обкома или наркомом арестовывали несколько рядовых работников и объявляли их «шпионами» или «врагами народа». При этом центральные газеты публиковали статьи, выражавшие возмущение руководителями области или наркомата, которые проглядели вражескую деятельность. Аресты продолжались, и в число «врагов» попадало все больше и больше людей. Арестовывали отдельных работников аппарата обкома или наркомата и некоторых из тех, кто стоял близко к руководству. Это мог быть личный шофер, референт, редактор, технический секретарь, родственник. Естественное желание руководителя защитить близких и хорошо знакомых людей расценивалось уже не просто как потеря бдительности, но и как покровительство «врагам народа». Тон газет становился все более развязным и угрожающим. Публиковались материалы, где выражалось откровенное недоверие к секретарю обкома или наркому. Типичен в этом отношении призыв в статье «Пора омским большевикам заговорить полным голосом» («Правда», 28 сентября 1937 года): «Если руководители Омского обкома бездействуют и покровительствуют троцкистско-бухаринским шпионам, то пора, чтобы омские большевики заговорили полным голосом».

Вся эта долгая или короткая кампания приводила к деморализации руководителей, порождала у них растерянность и недоумение, а с другой стороны, поощряла их личных врагов и всякого рода клеветников и карьеристов. Заканчивалась кампания арестом и гибелью намеченной Сталиным жертвы.

Показательно, что во многих случаях Сталин ограничивался вначале смещением, но не арестом того или иного крупного партийного деятеля, хотя и располагал «компрометирующими» показаниями или доносами. Человека переводили на другую работу, иногда даже более ответственную, вырывая его таким образом из привычного окружения. Случалось, за короткий срок видный коммунист несколько раз переходил из одного обкома в другой, из одного наркомата в другой. Так, Дыбенко в 1937 году был освобожден от командования Приволжским военным округом и назначен командующим Ленинградским военным округом. Через несколько месяцев он был неожиданно назначен заместителем наркома лесной промышленности СССР и направлен в командировку на Урал, где его и арестовали в апреле 1938 года. Освобожденный от руководства на Украине Косиор был переведен в Москву и назначен заместителем председателя Совнаркома СССР, а его ближайшие соратники по руководству партийной организацией Украины В. Чубарь и П. Постышев были направлены на партийную работу в Соликамск и Куйбышев, где их и арестовали. Не сразу после VII Пленума ЦК ВЛКСМ был арестован и Косарев, уже объявленный «врагом народа». По свидетельству жены Косарева Марии Викторовны, за ним следили из-за каждого дерева на дачном участке, но вначале не трогали.

Все это говорит о том, что Сталин вовсе не был невменяем.

Многих из людей, близких Ленину, но оказавшихся неугодными Сталину, вообще не тронули, хотя их тесная связь и дружба с арестованными «врагами народа» не представляла секрета. К тем, кто уже был назван в этой связи, можно добавить М. Цхакая, Ф. Махарадзе, Е. Стасову, Л. Фотиеву, Н. Семашко. Почему, уничтожая одних представителей «старой гвардии», Сталин «пожалел» других? Думаю, из веских политических соображений: оставляя на свободе несколько действительных друзей и соратников Ленина, Сталин как бы демонстрировал преемственность его делу. Многих старых большевиков заставляли постоянно выступать с восхвалениями Сталина, в дни его рождения они подписывали коллективные послания «верному ленинцу».

В провокационном деле о «диверсионном центре» работников культуры, по которому судили Бабеля и Мейерхольда, соучастниками были названы Пастернак и Олеша. Сталин вычеркнул их имена из списков «центра». Не был арестован замечательный писатель Булгаков, об «антисоветских настроениях» которого в НКВД поступало немало доносов. Сталин в гневе ушел с оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Композитор оказался в длительной опале, к тому же было известно о его дружбе с Мейерхольдом и знакомстве с Тухачевским. Каждую ночь ждал Шостакович ареста, плохо спал, приготовил «тюремный чемодан». Но Сталин не разрешил арестовать Шостаковича, оставил на свободе Зощенко и Ахматову, Пастернака и Платонова. Не разрешил он арестовать в 1937—1939 годах ни одного из тогда еще немногих видных кинорежиссеров, хотя и на них были заведены «дела» в НКВД. Может быть, потому, что любил кино. Некоторые фильмы — «Большой вальс», «Огни большого города», «Ленин в Октябре», «Волга-Волга», «Кубанские казаки» — он и сам смотрел по 50 и более раз, и заставлял смотреть своих приближенных.

О продуманности совершаемых Сталиным преступлений, а отнюдь не о его невменяемости свидетельствует и то, что в ряде случаев он в целях шантажа приказывал арестовать жену или другого близкого родственника кого-либо из виднейших деятелей партии и государства. Сам же этот деятель продолжал работать, как и работал, и Сталин по-прежнему встречался с ним и в официальной, и в неофициальной обстановке. Так, в разные годы были арестованы жены Калинина, Молотова, А. В. Хрулева, Поскребышева, жена и сын Куусинена, два сына Микояна, брат Орджоникидзе, сноха Хрущева. Обвиненный в принадлежности к «фашистскому центру», покончил самоубийством старший брат Л. М. Кагановича — М. М. Каганович.

Иногда как «милость» Сталин разрешал освободить того или иного родственника своих приближенных. По просьбе Калинина его жена была освобождена за несколько недель до кончины Всесоюзного старосты. Беседуя однажды с Куусиненом, Сталин спросил, почему тот не хлопочет о своем сыне. «Очевидно, были серьезные причины для его ареста»,— ответил Куусинен. Сталин усмехнулся. Вскоре сын Куусинена был освобожден.

Жена Поскребышева была родной сестрой жены Седова — сына Троцкого, однако это не помешало ему стать одним из наиболее доверенных людей Сталина. И даже когда Сталин позднее велел арестовать жену Поскребышева, тот остался его главным личным секретарем. Отставлен он был только за несколько месяцев до смерти Сталина, но не арестован.

Все это свидетельствует о презрении Сталина к своим ближайшим соратникам, но не о страхе перед ними, и никак не вяжется с версией о его невменяемости.

Предугадать, как решит Сталин судьбу тех или иных хорошо знакомых ему людей, было невозможно. Сергей Иванович Кавтарадзе в годы подполья оказал Сталину немало услуг. Однажды, рискуя собственной безопасностью, он помог ему скрыться от агентов охранки. В 20-е годы Кавтарадзе примыкал к троцкистам, и как бывшего троцкиста после убийства Кирова его выслали в Казань. Оттуда он написал Сталину, что давно не ведет антипартийной работы. Сталин вернул его из ссылки. Вскоре центральные газеты напечатали воспоминания Кавтарадзе об одном из эпизодов их совместной подпольной работы. Воспоминания эти понравились Сталину, однако больше на эту тему Кавтарадзе не писал, он даже не стал восстанавливаться в партии и жил, не привлекая внимания. В конце 1936 года Кавтарадзе и его жена были арестованы и после жестоких истязаний приговорены к расстрелу. Кавтарадзе обвинили, в частности, в том, что вместе с Буду Мдивани он якобы готовил убийство Сталина. Мдивани расстреляли, а Кавтарадзе долгое время содержали в камере смертников. Однажды его неожиданно вызвали к Берии, в кабинете которого он увидел свою изменившуюся до неузнаваемости жену. Обоих освободили. Поселились они в коммунальной квартире, устроились на работу. Оказалось, Сталин не забыл о Кавтарадзе и даже стал проявлять к нему внимание, приглашал в Кремль на обед. Как-то он вместе с Берией без предупреждения навестил Кавтарадзе в его многонаселенной квартире. Поднялся переполох, одна из соседок упала в обморок, увидев, по ее словам, на пороге квартиры «портрет товарища Сталина». Сергей Иванович рассказывал, что, когда он обедал у Сталина, тот был очень радушен, сам разливал суп, шутил, вспоминал прошлое. Но вот однажды сказал гостю: «А все-таки вы хотели меня убить».

Кое-кто может посчитать эти слова Сталина доказательством его маниакальной подозрительности. Но ведь Сталин прекрасно знал, что Кавтарадзе и думать не думал о его убийстве. Открыто же признать это не мог, чтобы не подвергать сомнению правомерность расстрела Буду Мдивани и других коммунистов. Проще было «простить» одного Кавтарадзе.

Обо всем этом мне рассказала переводчица Е. Д. Гогоберидзе, хорошо знавшая Сергея Ивановича. В 1941 году Кавтарадзе был назначен заместителем министра иностранных дел, участвовал в Ялтинской и Потсдамской конференциях, потом направлен послом в Румынию. Он одобрял разоблачение Сталина на XX съезде, был делегатом XXII съезда. Умер Кавтарадзе в 1971 году в возрасте 86 лет.

Незадолго до расстрела А. Сванидзе передали, что он будет «прощен», если извинится перед Сталиным. Сванидзе отказался.

Такого рода поступки характерны для презирающего людей тирана, а отнюдь не для человека больного, невменяемого.

Обычно Сталин отклонял просьбы об освобождении тех или иных людей. Иногда ему приходилось и уступать. Требование академика П. Л. Капицы освободить молодого физика Л. Ландау было выполнено НКВД по указанию Сталина. Капица был нужен Сталину, так что пришлось пойти на уступку.

Уже во время войны было принято решение о быстрейшем создании отечественных радиолокаторов. Академик А. Ф. Иоффе в специальной записке в правительство, отметив большие заслуги в этой отрасли инженера-изобретателя П. К. Ощепкова, просил освободить его из заключения. Хлопоты увенчались успехом.

После советско-финской войны, а также в первые месяцы Отечественной войны Сталин «разрешил» освободить из лагерей и тюрем несколько тысяч командиров Красной Армии. Многие из них выдвинулись затем на ответственные посты. Освободили и недавнего наркома вооружений Ванникова — его прямо из тюрьмы привезли на заседание Политбюро. Сталин сказал, чтобы он принимал дела, так как в оборонной промышленности сложилась трудная ситуация. Ванников отказался. Сталин обернулся к членам Политбюро: «А ведь он на нас обиделся». Решением Политбюро Ванников был назначен заместителем наркома вооружений, а через некоторое время — наркомом боеприпасов.

Почти одновременно, в октябре 1941 года и летом 1942 года, Сталин приказал расстрелять большую группу содержавшихся в лагерях видных командиров Красной Армии, которых считал опасными для себя в случае если сложится неблагоприятная обстановка на советско-германском фронте.

Такие поступки отнюдь не характерны для невменяемого человека, страдающего манией преследования. С версией о тяжелом психическом заболевании и мании преследования плохо согласуется и тот факт, что Сталин нередко приближал к себе людей с весьма темным прошлым, таких, например, как Берия и Абакумов. Не было секретом для Сталина, что А. Я. Вышинский до 1920 года состоял членом партии меньшевиков и в августе 1917 года, будучи начальником милиции Арбатского района Москвы, выписывал ордера на арест большевиков. Однако Вышинскому был доверен пост Генерального прокурора СССР, а позднее и пост министра иностранных дел СССР.

Немало компрометирующих материалов поступало к Сталину и на его ближайших помощников. По свидетельству В. Шаламова, некоторые видные военные, давая фальсифицированные показания, называли имя Ворошилова, причем иногда даже под давлением следователей. По свидетельству старого партийца Ф. Застенкера, только в Свердловской области было «заготовлено» несколько пудов показаний на Кагановича и Молотова. Много показаний на Молотова по-

лучили в Куйбышевской области. Подвергая истязаниям жену Калинина, следователи добивались от нее компрометирующих показаний на мужа. Сталин из одному ему ведомых соображений до поры до времени не пускал в ход все эти материалы.

Конечно, Сталин был не только груб, зол, эгоистичен и жесток, но и подозрителен. Эти качества, естественно, усилились в последние годы его жизни. Уничтожив миллионы людей, поправ все юридические и человеческие законы, Сталин имел достаточно оснований бояться окружающих, и это нередко толкало его на новые преступления. И все же репрессии 30-х годов были вызваны не манией преследования и подозрительностью Сталина, свойственными ему, как всякому тирану и деспоту. Нельзя объяснять подозрительностью и страхом сам деспотизм.

4

Вскоре после XX съезда партии мне довелось услышать от весьма ответственного работника довольно странную версию кровавых чисток 30-х годов:

— Да, Сталин хорошо знал, что люди, которых он обрек на смерть, не шпионы и не вредители. Эти обвинения были сфабрикованы для удобства репрессий. Конечно, с точки зрения моральных или правовых норм действия Сталина были незаконны. И все же они были необходимы для дальнейшего развития революции в нашей стране. Люди, которых устранял Сталин, имели большую власть и были очень популярны. Они так же, как и Сталин, принимали участие в революции. Поэтому их нельзя было просто снять с работы или исключить из партии. Их надо было обвинить в каких-то чудовищных преступлениях, в попытке реставрации капитализма, в шпионаже, во вредительстве, а затем, обманув народные массы, уничтожить.

— Но почему революции нужно было избавиться от ее активных участников? — спросил я.

— Такова логика всех революций. Дело в том, что большинство бывших революционеров, которых устранил Сталин, к середине 30-х годов перестали быть революционерами, они переродились в чиновников и бюрократов. Эти люди толкали нашу партию и государство уже не по социалистическому пути, они шли не вперед, а назад. Поэтому перед Сталиным и возникла задача устранить тех, кто мешал дальнейшему развертыванию социалистической революции, и выдвинуть молодых работников, способных вести дальше нашу революцию.

Позднее я убедился, что версия эта довольно широко распространена среди некоторых отставных партийных деятелей, выдвинувшихся в 30—40-е годы. Рассуждают на сей счет, как правило, не публично, а «доверительно». Не исключено, что источник легенды о «перманентной» революции — высказывания самого Сталина.

Такой же примерно точки зрения придерживаются и некоторые зарубежные авторы. Так, Исаак Дейчер в своей книге «Пророк в изгнании», рассуждая о причинах сталинских «чисток», пытается доказать, будто Сталин боялся, что бюрократия превратится в новый класс, и потому под предлогом борьбы с троцкистами и бухаринцами он выступил против собственной бюрократии. Дейчер полагает, что именно сталинский террор препятствовал превращению правящих групп в новый социальный слой. «Это была,— пишет он,— одна из самых темных, наименее обсужденных, но очень важных сторон перманентного террора... Этот террор не только уничтожил гвардию большевиков, но держал бюрократию в состоянии текучести, постоянно обновляя ее состав. Так же как Сталин на собственный, автократический, варварский манер ликвидировал кулака, так он постоянно ликвидировал эмбрион нового класса».

Что можно сказать об этой версии, весьма сходной с официальной версией китайской «культурной» революции 1965—1969 годов, призывающей «открыть огонь по штабам» и свергать тех, «кто стоит у власти, но идет по капиталистическому пути»?

Конечно, перерождение части партийных и государственных кадров в послереволюционный период затронуло не только тех, кто примкнул к революции на ее поздних этапах, но и некоторых профессиональных революционеров ленинской партийной гвардии. Но это вовсе не должно было с фатальной неизбежностью вести к перерождению партии и государственной власти. В процессе энергичной борьбы с бюрократизмом и карьеризмом, начатой еще при Ленине, в партии и в комсомоле вырос в 20-е годы и в годы первой пятилетки значительный слой молодых, талантливых и энергичных работников, всецело преданных Советской власти и идеалам социализма.

Быть может, Сталин был не удовлетворен масштабами борьбы против бюрократизма и хотел расширить ее с помощью своих варварских методов, как думает И. Дейчер? Это предположение не выдерживает критики.

Во-первых, кроме действительно обюрократившихся и развратившихся руководителей, которых можно было бы условно назвать «эмбрионом» нового господствующего класса, репрессии 1936—1939 годов захватили множество преданных народу, талантливых партийных и советских работников, военачальников, инженеров, ученых, деятелей культуры. Погибли не только высшие руководители 45—60 лет, но и работники среднего звена партийно-государственного руководства (и комсомольские лидеры) 30—45 лет. Репрессиям подверглась также наиболее образованная часть партийной интеллигенции, подготовке которой уделялось ранее очень большое внимание.

Во-вторых, на место уничтоженных Сталиным в большинстве случаев выдвигались люди менее опытные, менее стойкие, а часто и менее образованные. Не только в составе ЦК ВКП(б), но и во всех высших звеньях партийно-государственного и хозяйственного аппаратов стало значительно меньше выходцев из интеллигентных семей и семей потомственных пролетариев, зато увеличилось число выходцев из крестьян и городской мелкой буржуазии. Среди непосредственного окружения Сталина выдвинулись такие, как Молотов, Берия, Каганович, Мехлис, Маленков, Багиров, Ворошилов, Шкирятов, Вышинский и т. п., которых в первую очередь можно назвать перерожденцами, неспособными развивать далее революцию и революционные возможности Советского государства.

Иную версию выдвинул бывший советский ответственный работник М. Восленский в своей книге «Номенклатура», вышедшей в Париже в 1980 году. В противоположность Дейчеру, который считает, что Сталин при помощи террора ликвидировал «эмбрион» нового класса, М. Восленский пытается доказать, что, уничтожив старую большевистскую гвардию, Сталин, напротив, начал создавать основы «нового класса» — «номенклатуру». В рамках советского руководящего слоя к середине 30-х годов возникла-де большая группа спаянных между собой молодых, честолюбивых и крайне агрессивных руководителей (П. Поспелов, М. Митин, П. Юдин, А. Жданов, А. Щербаков и другие), которая как раз и составила эмбрион нового класса, поддержала Сталина и толкнула его на жестокий террор. Причем эти люди не только сами были выдвиженцами Сталина, но и его выдвинули как своего вождя и потому могли влиять на его решения.

Версия эта также совершенно несостоятельна. Сталин исполнял не чью-либо, а свою волю и опирался как на молодых «сталинцев», так и на недавних «ленинцев» — Молотова, Ворошилова, Микояна, Крыленко, Калинина. При этом он вскоре уничтожил и тех «сталинцев», которые ему недавно помогали,— например, Ежова, и тех «ленинцев», которые также оказали ему посильную помощь, например, Крыленко. Новое сталинское окружение складывалось и из молодых, и из старых большевиков — дело не в возрасте.

Колоссальные масштабы репрессий привели к колоссальной нехватке кадров. На руководящую работу пришлось выдвигать новых людей «снизу». Тысячи рабочих были назначены в конце 30-х годов начальниками цехов, директорами предприятий. Недавние рядовые становились командирами взводов и рот, командиры рот и взводов — командирами батальонов и полков, командиры батальонов и полков — командирами корпусов и дивизий. Недавние рядовые научные сотрудники возглавили лаборатории и отделы, руководители лабората-

рий — крупные институты. Короче, это было время, когда сотни тысяч людей сразу оказались на таких постах, о которых они и помышлять не могли. В подавляющем большинстве это были честные люди; они с огромным уважением относились и к Ленину, и к Сталину, работали с большой энергией, но плохо понимали, что происходит в стране.

Оснований приветствовать такое насильственное «обновление» кадров нет: обстановка, которая сложилась после репрессий 30-х годов, была уже иной, чем до начала «великого террора». И неудивительно, что многие выдвиженцы, даже из среды рядовых рабочих, крестьян и служащих, стали перерождаться, «портиться» от соприкосновения с властью.

Бюрократия 70-х годов чувствовала себя вольготнее и сильнее, чем бюрократия 30-х, но и она не стала «новым классом». Многие особенности поведения бюрократов вызваны именно тем, что они не ощущают себя новым классом и понимают крайнюю непрочность своего положения. Их привилегии не столь уж велики, как кажется, и не закреплены ни традициями, ни происхождением, ни юридическими нормами, да к тому же не наследуются.

Аппарат управления перемешивался и менялся уже несколько раз, а классы складываются веками. Можно говорить о правящей элите и особенностях психологии чиновников, но все это есть и в других профессиональных и социальных группах.

Окончание следует

Владислав Ходасевич

«ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЗОШЛИ НА НЕБОСВОД...»

Владислав Ходасевич вернулся к нам. Мы знакомимся с ним жадно и беспорядочно. Лучшие стихи и самые значительные работы — то, что следовало бы читать в школьных учебниках и популярных хрестоматиях,— приходят к нам одновременно с юношескими опытами, полузабытыми, им же переработанными статьями и письмами, не предназначавшимися для печати. Исторический принцип был в очередной раз нарушен и в очередной раз — не по нашей вине. Сейчас общими усилиями исследователей литературы, публикаторов и хранителей архивов по крупицам собирается богатство, которое со временем — будем надеяться — ляжет в основу полного собрания сочинений. На его страницах найдется место не только для стихов, книг о Пушкине и Державине, воспоминаний, критических статей и докладов, но и для пародий, шуток, посланий в стихах и прозе, писем, надписей на книгах. Тогда читатель сможет сравнить один жанр с другим, увидеть все их многообразие.

Владислав Ходасевич был не только поэтом. Современникам он был известен как критик, сотни его статей и рецензий рассыпаны по страницам русских, советских и зарубежных периодических изданий. В историю отечественной филологии он вошел как исследователь русской поэзии и прозы, автор многочисленных эссе, фундаментальных работ о Пушкине, биографии Державина.

В нашу публикацию включены три произведения, написанные в трех жанрах: речь, статья и стихотворение, посвященные литературе XIX века — Пушкину, Лермонтову, Герцену и Огареву.

К поэтам и писателям прошлого у Ходасевича отношение очень личное: каждый из них был для него фигурой в высшей степени притягательной, не только предметом исследования, но и собеседником. Товарищем по цеху изящной словесности. Иной раз — учителем. Подчас — соперником. Личность творца занимала его не меньше, чем самое творение, к фактам биографии автора, поворотам его судьбы относился он с тем же пристальным вниманием, что и к текстам — движению сюжета, полету стиха. Жизнь поэта и его творчество — сообщающиеся сосуды, Ходасевич всегда анализирует их слитно — следит, как реалии перетекают из одного в другой, как они переплетаются, изменяются и приобретают новое качество.

В искусстве творение долговечнее творца. Верный биографическому методу анализа, Ходасевич всматривается в жизнь поэтических

произведений после смерти их создателей, в существование старых книг «средь новых поколений», каждое из которых прочитывает те же страницы по-своему. Об этом идет речь и в статье о Лермонтове, и — с особой силой — в «Колеблемом треножнике».

«Фрагменты о Лермонтове» написаны в сентябре 1914-го, к столетнему юбилею поэта, однако по сей день нигде напечатаны не были.

«Колеблемый треножник» — знаменитая речь Владислава Ходасевича. Он произнес ее на одном из вечеров, посвященных памяти Пушкина, зимой 1921 года. Она вошла в сборник, изданный в том же году Домом Литераторов, и — с некоторыми сокращениями — в книгу Ходасевича «Статьи о русской поэзии» (Петроград, 1922). Фрагменты из нее поместил «Огонек» в своем Пушкинском номере 1987-го года. Здесь воспроизводится полный текст — в том виде, как он прозвучал 14-го февраля 1921 года в Доме Литераторов в Петрограде.

Стихотворение «Четыре звездочки взошли на небосвод...» тоже было написано специально для литературного вечера. Оно датировано 21-м января 1920 года. В этот день в Москве — а Ходасевич в ту пору еще не распрощался с родным городом, в Петроград он переедет лишь в ноябре — в торжественной обстановке отмечалась пятидесятая годовщина со дня смерти Александра Ивановича Герцена. Устроителем вечера был Московский союз писателей, свое помещение предоставил Малый театр. Стихи, посвященные Герцену, кроме Владислава Ходасевича, читали Андрей Белый, Константин Бальмонт, Юргис Балтрушайтис. В нашей стране стихотворение «Четыре звездочки...» публикуется впервые.

Речь, статья и стихотворение, посвященные трем юбилеям, написанные в разное время, в различных исторических и душевных обстоятельствах, объединены тем, что говорят с нами не только о литературных, но и о нравственных ценностях. Речь о Пушкине трагична. Для Ходасевича Пушкин был символом не только русской поэзии, но и русской культуры. Забвение его равносильно отречению от жизни духа. Эту страшную опасность предрекал он соотечественникам и от нее предостерегал. Лермонтов в его восприятии — почти антипод Пушкина. Воплощение антигармонии. Добро и зло в постоянной и жестокой борьбе живут в этой душе, в прямом смысле слова разрывая ее. В стихотворении о Герцене и Огареве речь идет тоже о душевной борьбе: о соревновании двух высоких чувств, любви и дружбы. Дружба оказывается сильнее, она продлевает боль, причиненную любовью.

Все три текста — из одного архива. Они были сохранены Александром Ивичем (Игнатием Игнатьевичем Ивичем-Бернштейном), моим отцом. «Колеблемый треножник» и «Фрагменты о Лермонтове» — это машинописные тексты с авторской правкой, с небольшими рукописными вставками. От руки вписан заключительный абзац речи о Пушкине—его нет в изданиях 20-х годов. Стихотворение «Четыре звездочки взошли на небосвод...» переписано Анной Ивановной Чулковой, второй женой Ходасевича. Поэт добавил эпиграф, а внизу размашисто, толстым, плохо отточенным лиловым карандашом, с поправками и перечеркиваниями, сокращая слова и явно торопясь, записал для памяти то, что, по-видимому, намеревался сказать, прежде чем прочитать стихи: «В сер.<едине> 60-х годов Нат.<алия> Алексеевна Огар. <ева>, подразумевая себя самое, Герцена, его покойную жену и Огарева, писала Г<ерце>ну. Вот эти слова и служат эпиграфом к моим стихам».

Речь, статья и стихотворение должны войти в двухтомник Владислава Ходасевича, который готовится сейчас в издательстве «Художественная литература».

Колеблемый треножник

В каждом художественном произведении находим ряд заданий, поставленных себе автором. Задания эти бывают различного порядка: философского, психологического, описательного и т. д. — до заданий чисто формальных включительно. Ставятся они не с одинаковой сознательностью. Часто в процессе творчества одна такая задача оказывается разрешенной полнее, чем другие, как бы подавленные, приглушенные, несущие лишь служебную роль. Но самая наличность ряда проблем в художественном произведении неизбежна; в частности, стихотворец, по самой природе своего ремесла, не может себе поставить менее двух заданий, ибо стих содержит в себе по крайней мере два содержания: логическое и звуковое.

Одно из самых поразительных свойств пушкинской поэзии, может быть—одна из тайн пресловутой ее гармоничности, заключается в необыкновенном равновесии, с каким разрешает поэт эти параллельные задания. Поразительно, с какой равномерностью делит он между ними свое внимание, с какой исчерпывающей полнотой одновременно разрешает их все. В пьесе, которой смысл — благословение мирной, домашней, трудовой жизни,— с равным вниманием изображен и добрый домовой, к которому обращено стихотворение, и молитвенное смирение обитателя дома, и, наконец, самое поместье, с его лесом, садом, разрушенным забором, шумными кленами и зеленым скатом холмов. Задачи лирика, передающего свое непосредственное чувство, и фольклориста, и живописца разрешены каждая в отдельности совершенно полно. В читателе одновременно и с равной силой затронуты три различных чувства. Трехпланность картины дает ей панорамическую глубину.

Подобные ряды параллельных заданий можно вскрыть в любом из творений Пушкина, но нигде его мастерство не достигает таких вершин, как в поэмах. Здесь поражает не только мастерство в разрешении заданий, но и количество их. Можно составить длинный перечень тем, получивших полную и глубокую разработку, например, в «Медном всаднике». Это, во-первых, трагедия национальная в тесном смысле слова: здесь, как не раз указывалось, изображено столкновение петровского самодержавия с исконным свободолюбием массы; особый смысл приобретает эта трагедия, если на бунт бедного Евгения посмотреть как на протест личности против принуждения государственного, как на столкновение интересов частных с общими; особый оттенок получит эта трагедия, если вспомним, что именно пушкинский Петр смотрит на Петербург, как на окно в Европу: тут вскроется нам кое-что из проклятейшего вопроса, имя которому — Европа и мы. Но нельзя забывать, что «Медный всадник» есть в то же время ответ на польские события 1831 г., что бунт Евгения против Петра есть мятеж Польши против России. Наконец, как мне уже приходилось указывать, «Медный всадник» есть одно из звеньев в цепи петербургских повестей Пушкина, изображающих столкновения человека с демонами. Однако, сказанным далеко не исчерпаны задания поэмы. Прав будет тот, кто увидит в ней бесхитростную повесть о разбитых любовных надеждах маленького человека; прав и тот, кто выделит из поэмы ее описательную сторону и подчеркнет в ней чудесное изображение Петербурга, то благоденствующего, то «всплывающего, как Тритон» из волн наводнения, которое само по себе описано с документальной точностью. Наконец, мы будем не правы, если не отдадим должного «Вступлению» к поэме как образцу блистательной поэтической полемики с Мицкевичем.

Но параллельные задания у Пушкина — тема большого, пристального исследования. Сейчас я коснулся ее затем только, чтобы на примере напомнить, как ряд заданий поэта придает его творениям ряд параллельных смыслов. Пушкин показывает предмет с целого множества точек зрения. Вещам своего мечтаемого мира он придает такую же полноту бытия, такую же выпуклость, многомерность и многоцветность, какой обладают предметы мира реального. Поэтому к каждому из его созданий приложим целый ряд критериев, как он приложим к вещам, окружающим нас. Подобно тому, как художник, и геометр, и ботаник, и физик в одном предмете вскрывают различные ряды свойств, так и в творениях Пушкина разные люди усматривают разное — с равными на то основаниями. Воистину — творец Пушкин, ибо полна и многообразна жизнь, созидаемая его мечтой. Есть нечто чудесное в возникновении этой жизни. Но нет ничего ни чудесного, ни даже удивительного в том, что, раз возникнув, мир, сотворенный Пушкиным, обретает собственную судьбу, самостоятельно протекающую историю.

Исключительная многотемность Пушкина влечет за собой такую же исключительную многозначимость его произведений. И если творения всех великих художников, заключая в себе ряды смыслов, вызывают соответственные ряды толкований, то творения Пушкина принадлежат к числу наиболее соблазнительных в этом отношении. Этот соблазн вытекает из самой природы пушкинского реализма. Так что, если к тому же мы примем во внимание естественное свойство критики отражать лицо критика по крайней мере в такой же степени, как и лицо поэта; другими словами, если припомним, с какой неизбежностью произведения великих художников приобретают разные оттенки, значения, смыслы в глазах сменяющихся поколений и целых народов, то нам станет исторически понятно все многоразличие смыслов, вскрываемых в произведениях Пушкина. Пушкина толковали и толкуют по-разному. Но многообразие толкований есть, так сказать, профессиональный риск гениев — и надо признаться, что в последнее время смелость суждений о Пушкине начинает бросаться в глаза. Правда, многое намечается верно и зорко, но многое поражает отдаленностью от того непосредственного и непредвзятого впечатления, которое дается произведениями поэта; многое, наконец, положительно идет вразрез с непререкаемой ясностью пушкинского текста. Я имею в виду отнюдь не сознательные передергивания и подтасовки, совершаемые ради литературной, а то и просто житейской корысти,— хотя, к несчастию и стыду нашему, бывает и так. Но такие явления случайны и ничего не говорят о внутреннем соотношении между Пушкиным и нашей эпохой. Зато глубоко показательными представляются некоторые безукоризненно добросовестные труды, в которых даются толкования, находящие слишком смутное подтверждение в пушкинском тексте, делаются обобщения, слишком смелые, высказываются гипотезы, слишком маловероятные. Как один из примеров, со всевозможными оговорками, я бы все же решился назвать книгу Гершензона «Мудрость Пушкина», в высшей степени ценную и интересную по глубине и оригинальности многих мыслей. Немало верного сказано в ней о Пушкине—а все-таки не без меткости кто-то назвал ее «Мудростью Гершензона». Вся беда в том, что историк литературы Гершензон, выступая истолкователем Пушкина, оказался человеком слишком иного уклада, нежели сам Пушкин: Гершензон стоит уже на той незримой черте, которой история разделяет эпохи.

И Гершензон не один. С каждым днем таких критиков, большего или меньшего значения, является и будет являться все больше. Если, как я уже говорил, лицо великого писателя неизбежно меняется в глазах сменяющихся поколений, то в наши дни, да еще по отношению

к бесконечно многосмысленному Пушкину, эта смена должна проявиться с особой силой. История наша сделала такой бросок, что между вчерашним и нынешним оказалась какая-то пустота, психологически болезненная, как раскрытая рана. И все вокруг нас изменилось: не только политический строй и все общественные отношения, но и внешний порядок, ритм жизни, уклад, быт, стиль. У нас новые обычаи, нравы, одежды, даже, если угодно, моды. Тот Петербург, по которому мы сегодня пойдем домой,— не Петербург недавнего прошлого. Мир, окружающий нас, стал иной. Происшедшие изменения глубоки и стойки. Они стали намечаться еще с 1905 года, 1917-й только дал последний толчок, показавший воочию, что мы присутствуем при смене двух эпох. Прежняя Россия, а тем самым Россия Пушкинская, сразу и резко отодвинулась от нас на неизмеримо большее пространство, чем отодвинулась бы она за тот же период при эволюционном ходе событий. Петровский и Петербургский период русской истории кончился; что бы ни предстояло — старое не вернется. Возврат немыслим ни исторически, ни психологически.

И вот, в применении к пушкинскому наследству, из создавшихся условий приходится сделать некоторые выводы. Мало того, что созданиям Пушкина предстоит претерпеть ряд изменений в сознании читателей. Об этих изменениях я говорил только как о явственном признаке того, что Пушкин уже, так сказать, отделился от своего времени и вышел в открытое море истории, и ему, как Софоклу или Данту, предстоит обрасти толкованиями и комментариями. Должно произойти еще и другое.

В истории русской литературы уже был момент, когда Писарев «упразднил» Пушкина, объявив его лишним и ничтожным. Но писаревское течение не увлекло широкого круга читателей и вскоре исчезло. С тех пор имя Писарева не раз произносилось с раздражением, даже со злобой, естественной для ценителей литературы, но невозможной для историка, равнодушно внимающего добру и злу. Писаревское отношение к Пушкину было неумно и безвкусно. Однако же—оно подсказывалось идеями, которые тогда носились в воздухе, до известной степени выражало дух времени, и, высказывая его, Писарев выражал взгляд известной части русского общества. Те, на кого опирался Писарев, были людьми небольшого ума и убогого эстетического развития,— но никак невозможно сказать, что это были дурные люди, хулиганы или мракобесы. В исконном расколе русского общества стояли они как раз на той стороне, на которой стояла его лучшая, а не худшая часть.

Это было первое затмение пушкинского солнца. Мне кажется, что недалеко второе. Оно выразится не в такой грубой форме. Пушкин не будет ни осмеян, ни оскорблен. Но — предстоит охлаждение к нему.

Конечно, нельзя на часах указать ту минуту, когда это второе затмение станет очевидно для всех. Нельзя и среди людей точно определить те круги, те группы, на которые падет его тень. Но уже эти люди, не видящие Пушкина, вкраплены между нами. Уже многие не слышат Пушкина так отчетливо, как мы его слышим, потому что от грохота последних шести лет стали они туговаты на ухо. Чувство Пушкина приходится им переводить на язык своих ощущений, притупленных раздирающими драмами кинематографа. Уже многие образы Пушкина меньше говорят им, нежели говорили нам, ибо неясно им виден мир, из которого почерпнуты эти образы, из соприкосновения с которым они родились. И тут снова — не отщепенцы, не выродки: это просто новые люди. Многие из них безусыми юношами, чуть не мальчиками, посланы были в окопы, перевидали целые горы трупов, сами распороли немало человеческих животов, нажгли городов, разворотили дорог, вытоптали полей — и вот, вчера возвратились, разнося свою психиче-

скую заразу. Не они в этом виноваты,— но все же до понимания Пушкина им надо еще долго расти. Между тем необходимость учиться и развиваться духовно ими сознается недостаточно,— хотя в иных областях жизни, особенно в практических, они проявляют большую активность.

И не только среди читателей: в поэзии русской намечается то же. Многое в Пушкине почти непонятно иным молодым поэтам—потому, между прочим, что они не всегда достаточно знакомы со всем окружением Пушкина, потому, что дух, стиль эпохи его им чужд, и остатков его поры они уже не застали. То же нужно сказать о языке. Быть может, они даже следуют пушкинскому завету учиться языку у московской просвирни, но просвирня сама уже говорит не тем языком. Многие оттенки пушкинского словаря, такие многозначительные для нас— для них не более как архаизмы. Иные слова, с которыми связана драгоценнейшая традиция и которые вводишь в свой стих с опаской, не зная, имеешь ли внутреннее право на них — такой особый, сакраментальный смысл имеют они для нас, — оказываются попросту бледными перед судом молодого стихотворца, и не подозревающего, что́ еще значат для нас эти слова сверх того, что значат они для всех по словарю Даля. Порой целые ряды заветнейших мыслей и чувств оказываются неизъяснимыми иначе, как в пределах пушкинского словаря и синтаксиса,— и вот это заветнейшее оказывается всего только «стилизацией»!

Нельзя не указать тут же и на воскресшее в последнее время отсечение формы от содержания и проповедь главенства формы, подобно тому, как в пору первого затмения проповедовалось главенство содержания. И то, и другое одинаково враждебно всему духу пушкинской поэзии. Те, кто утверждает, что Пушкин велик виртуозностью своей формы, содержание же его — вещь второстепенная, потому что вообще содержание в поэзии не имеет значения,— суть клеветники и тайные враги Пушкина, действующие под личиной друзей.

Говоря все это, я имею в виду вовсе не футуристов, а представителей гораздо более «умеренных» литературных групп. Можно бы рассказать великое множество прискорбных курьезов, доказывающих, что прямое, элементарное непонимание и незнание Пушкина есть явление, равно распространенное в молодой литературной среде, как и в среде читательской. Все это — следствие нарастающего невнимания к Пушкину; возникает оно из того, что эпоха Пушкина — уже не наша эпоха, а писателем древности он еще не сделался, так что научное изучение Пушкина, какие бы огромные шаги оно ни сделало, составляет еще достояние немногих. Важность и ценность такого изучения еще непонятны ни массовому читателю, ни массовому писателю. И вот наивный юноша наших дней, равно читатель или молодой стихотворец, полагает, что Пушкин «попросту устарел».

То обстоятельство, что холодность к Пушкину вырабатывается не в колбах литературной лаборатории, что она обща и писателю, и читателю—показывает, что она питается ежедневно возникающими условиями действительности. Как и во дни Писарева, охлаждение к Пушкину, забвение Пушкина и нечувствительность к нему опираются на читательскую массу, т. е. проистекают из причин в литературно-общественном смысле органических. Причины эти не те, что были во дни Писарева, отстранение от Пушкина теперь по-другому мотивируется, но оно может оказаться более прочным, распространиться шире и держаться дольше, потому что подготовлено историческими событиями огромного значения и размаха.

Не мало доброго принесла революция. Но все мы знаем, что вместе с войной принесла она небывалое ожесточение и огрубение во всех без исключения слоях русского народа. Целый ряд иных обстоятельств ведет к тому, что как бы ни напрягали мы силы для сохранения культуры — ей предстоит полоса временного упадка и помрачения. С нею вместе омрачен будет и образ Пушкина.

Но я был бы неоткровенен, если б, заговорив об этом, высказался не до конца. Может случиться так, что общие сумерки культуры нашей рассеются, но их частность, то, что назвал я затмением Пушкина, затянется дольше — и не пройдет бесследно. Исторический разрыв с предыдущей, пушкинской эпохой навсегда отодвинет Пушкина в глубину истории. Та близость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится никогда.

Пушкин не дорожил народной любовью, потому что не верил в нее. В лучшем случае надеялся он быть любезным народу «долго»,— отнюдь не «всегда»: «И долго буду тем любезен я народу...» Охлаждение представлялось ему неизбежным и внешне выражающимся двояко: или толпа плюет на алтарь поэта, то есть его оскорбляет и ненавидит —или колеблет треножник его «в детской резвости». По отношению к самому Пушкину первая формула уже невозможна: «толпа» никогда не плюнет на алтарь, где горит огонь его; но следующий стих: «И в детской резвости колеблет твой треножник» — сбудется полностью. Мы уже наблюдаем наступление второго затмения. Но будут и еще. Треножник не упадет вовеки, но будет периодически колебаться под напором толпы, резвой и ничего не жалеющей, как история, как время — это «дитя играющее», которому никто не сумеет сказать: «Остановись! Не шали!»

Время гонит толпу людей, спешащих выбраться на подмостки истории, чтобы сыграть свою роль—и уступить место другим, уже напирающим сзади. Шумя и теснясь, толпа колеблет треножник поэта. Наше самое драгоценное достояние, нашу любовь к Пушкину, как горсть благовонной травы, мы бросаем в огонь треножника. И она сгорит.

О, никогда не порвется кровная, неизбывная связь русской культуры с Пушкиным. Только она получит новый оттенок. Как мы, так и наши потомки не перестанут ходить по земле, унаследованной от Пушкина, потому что с нее им уйти некуда. Но она еще много раз будет размежевана и перепахана по-иному. И самое имя того, кто дал эту землю и полил ее своей кровью, порой будет забываться.

Отодвинутый в «дым столетий», Пушкин восстанет там гигантским образом. Национальная гордость им выльется в несокрушимые, медные формы,— но той непосредственной близости, той задушевной нежности, с какой любили Пушкина мы,— грядущие поколения знать не будут. Этого счастия им не будет дано. Лицо Пушкина они уже не увидят таким, каким мы его видели. Это таинственное лицо, лицо полубога, будет меняться, как порою кажется, будто меняется бронзовое лицо статуи. И кто знает, что́ прочитают на нем грядущие люди, какие открытия они сделают в мире, созданном Пушкиным? Быть может, они разгадают то, чего мы не разгадали. Но многое из того, что видели и любили мы, они уже не увидят.

То, о чем я говорил, должно ощутиться многими, как жгучая тоска, как нечто жуткое, от чего, может быть, хочется спрятаться. Может быть, и мне больно, и мне хочется спрятаться,— но что делать? История вообще неуютна. «И от судеб защиты нет».

Тот приподнятый интерес к поэту, который многими ощущался в последние годы, возникал, может быть, из предчувствия, из настоятельной потребности отчасти — разобраться в Пушкине, пока не поздно, пока не совсем утрачена связь с его временем, отчасти — страстным желанием еще раз ощутить его близость, потому что мы переживаем последние часы этой близости перед разлукой. И наше желание сделать день смерти Пушкина днем всенародного празднования, отча-

сти, мне думается, подсказано тем же предчувствием: это мы условливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке.

И мрак этот неизбежен, ибо что бы ни было — после больших извержений в воздухе еще долго носится черная пыль.

Фрагменты о Лермонтове

1

Мне вспоминается маленькое пророчество. Года два тому назад одна женщина, любящая поэзию Лермонтова и иногда (хоть это немного смешно теперь) плачущая об его судьбе, говорила: «Вот попомните мое слово, даже юбилея его не справят, как следует: что-нибудь помешает. При жизни мучили, смерть оскорбили, после смерти семьдесят лет память его приносили в жертву памяти Пушкина,— и уж как-нибудь да случится, что юбилея Лермонтова не будет».

Так почти и случилось. Не в тихие дни труда и спокойствия справляет Россия мирный праздник своей поэзии. Столетний юбилей Лермонтова совпал с ужасами войны. Как сто лет назад, когда в «спаленной пожаром» Москве поэт появился в мир, так и теперь, когда вся краткая жизнь его уже стала для нас преданием,— все помыслы России обращены туда, на запад, где снова решаются судьбы Европы.

Конечно, юбилей Лермонтова не пройдет незамеченным; но несомненно и то, что голоса войны в значительной доле его заглушат. В мирные дни мы отпраздновали бы его громче; несколько дней вся Россия жила бы воспоминаниями о поэте, размышлениями о нем, как, например, было недавно, во дни торжеств гоголевских.

Теперь этого не будет. Маленькое пророчество, к несчастию, сбылось. Конечно, тени поэта в ее, так сказать, большом бессмертии нет уже дела до наших чувств. Мертвому Лермонтову не нужны наши почести, наши поздние сожаления:

Что жизни мелочные сны,
И стон, и слезы бедной девы
Для гостя райской стороны?

Но земной судьбе Лермонтова, еще не оконченной, его **маленькому** бессмертию, живущему здесь, в нашей среде, в нашей памяти, — до юбилея есть дело. Давно окончились отношения между людьми и Лермонтовым-человеком. Но отношения между ними и Лермонтовым-поэтом никогда не прерывались. Юбилей — одна из границ в истории этих отношений, и не все равно, как она будет написана. Но вот — она не написалась «как следует». Мы в этом не виноваты, но и не виноват Лермонтов. Кто ж виноват? Простите за общее место, но из песни слова не выкинешь: виновата судьба.

Если теперь Лермонтову «не посчастливилось» с юбилеем, то это только отдельное, оторванное звено из той цепи несчастных событий, которая звалась его жизнью. Он родился некрасивым и этим мучился. С детских лет жил среди семейных раздоров и ими томился. Женщины его мучили. В общежитии встречали его «месть врагов и клевета друзей», бывшие столько же следствием его дурного характера, как и благородного «жара души». Нужно было выстрадать слишком много, чтобы и к Богу обратиться с последней благодарностью и последней просьбой:

За все, за все Тебя благодарю я...
. . . .
Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

Бога Лермонтов укорял много раз. Но нигде укор не был выражен им с таким вызовом, как в этом язвительном прозаизме:

Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

Вот строки, кажется, самые кощунственные во всей русской литературе: в них дерзость содержания подчеркнута оскорбительной простотой формы.

2

Россия XVIII века, особенно Россия екатерининская, победная и торжествующая, создала такую же победную и торжествующую поэзию. Русские люди екатерининского века были прежде всего созидателями. Пробуждение внутренней самодеятельности, как естественное продолжение толчка, данного Петром Великим, создание и укрепление внешней мощи России — дело их рук. Напряженное политическое строительство заставляло их и в самих себе чтить прежде всего способности организаторские, творческие. Творцы государства и его силы — как должны были они преклоняться перед Творцом всего мира! И от «Размышлений» Ломоносова до державинской оды «Бог» непрестанно звучали в русской поэзии гимны щедрому и всемогущему Зиждителю.

Но волна напряженной деятельности постепенно спадала. Создатели России один за другим сходили со сцены: их роль была сыграна. Ими созданная, цветущая Россия от восхвалений Творца переходила к восхвалению творений. Здесь и заключена основная, первоначальная разница между Державиным и Пушкиным, который застал Россию уже созданную. Первый воспел Творца, второй — тварь; Державин — господина, Пушкин — раба; Державин — Фелицу-Екатерину, Пушкин — декабристов и горестную судьбу «бедного Евгения». Основание пушкинской всеотзывчивости—любовь к земле, к «равнодушной природе», сияющей «красою вечною». Наиболее категорическое выражение этой любви дано в формуле:

Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений.

Правда, сам Пушкин впоследствии как будто отдалялся от нее все далее и далее, расширял и углублял ее смысл; но для поэтов так называемой пушкинской плеяды формула эта в чистом виде надолго осталась заповедью ненарушимой, тем более, что она находила отзыв в их собственных сердцах.

К концу 20-х годов, то есть к тому моменту, когда Лермонтов начал жить сознательной жизнью, «красота» господствовала в русской поэзии по всей линии. Вся беда была в том, что поэты пушкинской школы, даже наиболее выдающиеся, не были Пушкиными. В их творчестве красота вырождалась в красивость, объектом их поклонения было уже не «прекрасное», а «красивое». Слишком часто увлечение «красивым» вело к эстетизму довольно невыносимому: для примера укажем хотя бы «Фракийские элегии» Теплякова *. И едва ли мы очень

* Виктор Григорьевич Тепляков (1804—1842) — поэт, археолог. Был близок декабристам. В 1826 заключен в Петропавловскую крепость, позднее — сослан в Херсон. «Фракийские элегии» вышли в свет в 1836 году и были замечены Пушкиным.

ошибемся, если скажем, что такому вырождению способствовали все, кроме самого Пушкина да еще Боратынского.

Так обстояло дело в официальной, уже окончательно признанной поэзии в течение всей жизни Лермонтова; еще в год его смерти русская критика с редким и поразительным единодушием восторженно приветствовала очаровательную, но пустую поэзию графини Ростопчиной. Вскоре эстетизму 20-х и 30-х годов предстояло кончиться. Но до конца этого Лермонтов не дожил. В течение же его деятельности и критика, и сами поэты как бы говорили каждому вновь приходящему: «Мы ждем от тебя «красивого».

3

Лермонтов меньше кого бы то ни было мог оправдать эти ожидания. Слишком сложна была его душевная трагедия, чтобы можно было в кратких словах выяснить причины такого явления. Но самая наличность его несомненна. «Светлое» и «красивое» никогда не влекло к себе Лермонтова, как художника. Уже в 1829 году пишет он «Преступника», стихотворение, обнаруживающее поразительное в пятнадцатилетнем мальчике внимание к пороку, к «порыву болезненных страстей», склонность глубоко вникать в переживания соблазнительные и злобные:

Как часто я чело покоил
В коленях мачехи моей,
И с нею вместе козни строил
Против отца, среди ночей.
Ее пронзительных лобзаний
Огонь впивал я в грудь свою.
Я помню ночь страстей, желаний,
Мольбы, угроз и заклинаний,
Но слезы злобы только лью!..

А последние строки «Преступника» говорят уже не о минутных соблазнах, но о понимании твердой, неколебимой склонности ко злу:

Старик преступный, безрассудный,
Я всем далек, я всем чужой.
Но жар подавленный очнется,
Когда за волюшку мою
В кругу удалых приведется,
Что чашу полную налью.
Поминки юности забвенной
Прославлю я и шум крамол;
И нож мой, нож окровавленный
Воткну смеясь в дубовый стол!..

Так писал Лермонтов пятнадцати лет. С годами его зоркость ко злу не ослабевала, а напротив, обострялась,— видимо, питаемая нарастающими богатствами личного опыта. Уже незадолго до смерти мерещился ему предательский и соблазнительный образ морской царевны и образ царицы Тамары, которая

Прекрасна как ангел небесный,
Как демон коварна и зла.

Здесь разница между Лермонтовым и Пушкиным разительна. Пушкин с проникновенностью гениального художника умел **показать** читателю темную сторону души некоторых своих героев. Но всегда между читателем и героем проводил он неуловимую, но непереступаемую черту, нечто вроде рампы, отделяющей актера от зрителя. Герой оставался по одну сторону этой черты, читатель — по другую. И зло, и добро были для Пушкина составными частями того прекрасного, что зовется миром. Поэт, как и летописец, добру и злу «внимал равнодушно», памятуя, что

Прекрасное должно быть величаво.

Привить читателю чувства порочного героя не входило в задачу Пушкина, даже было прямо враждебно этой задаче. Напротив, Лермонтов стремился переступить рампу и увлечь за собою зрителя. Он не только помещал зрителя в центре событий, но и заставлял его самого переживать все пороки и злобы героев. Лермонтов систематически **прививает** читателю жгучий яд страстей и страданий. Читательский покой ему так же несносен, как покой собственный. Он душу читателя водит по мытарствам страстей вместе с душой действующего лица. И чем страшней эти мытарства, тем выразительнее становится язык Лермонтова, тем, кажется, он полнее ощущает удовлетворение. Лучшие свидетельства тому — некоторые страницы из «Героя нашего времени» (особенно «Бэла»), «Хаджи Абрек», «Преступник», уже названный мною, «Измаил-Бей».

Лермонтовские герои, истерзанные собственными страстями, ищущие бурь и самому раскаянию предающиеся, как новой страсти, упорно не хотят быть только людьми. Они «хотят их превзойти в добре и зле» — и уж во всяком случае превосходят в страдании. Чтобы страдать так, как страдает Демон, надо быть Демоном.

4

Но этого для Лермонтова недостаточно. Мало заставить читателя вынести муки и страсти нечеловеческие: надо еще показать, как на пути «превосходства в добре и зле» можно терять человеческий облик вовсе. Демон, томящийся своим мятежом, готов вочеловечиться. Мцыри, томящийся миром, звереет. Это минутное озверение для него сладостно, и едва ли каким-нибудь другим словом, кроме сладострастия, можно обозначить тот трепет, с каким Лермонтов описывает борьбу Мцыри с барсом:

Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружье... Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я — и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык...

Напряженность, с какою написаны эти строки, лишний раз выдает то, чего, впрочем, Лермонтов и не скрывал: ему самому, как мцыри, были слишком знакомы приступы слепой, зверской страсти, искажающей лицо и сжимающей горло,— была ли это страсть гнева, злобы или любви. Из этих страстей злоба — опаснейшая, и мы знаем, что ей поэт принес обильную дань в действительной своей жизни. Существуя самостоятельно, злоба умеет еще, как паразит, присасываться к другим страстям, делая еще более мутным их и без того мутный поток. Так, говоря о любви к женщинам, Лугин, герой «Отрывка из начатой повести» *, признается: «к моей страсти примешивалось всегда немного злости; — все это грустно, а правда!..»

Пожалуй, в детских стихах «Преступника» можно бы видеть заимствование, подражание, то есть притворство, но нет: подлинность этого раннего опыта подтверждена рядом свидетельств позднейших, сделанных уже прямо от первого лица, от лица самого Лермонтова. Из них наиболее выразительно то, которое находим в альбоме С. Н. Карамзиной:

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.

Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.

Здесь впервые в русской поэзии «безобразная красота» является не романтическим украшением, не завитком, не безобразною частностью, призванной только подчеркнуть, оттенить основную красоту целого, а действительным, полным признанием страсти космической, безобразия и зла мирового. Вот где отличие поэзии Лермонтова от среднего, так сказать «нормального» романтизма. У романтиков мир, сам по себе прекрасный, еще украшен, сдобрен пороком и безобразием,— злом, вводимым в малых дозах, как острая и вредная приправа.

По Лермонтову, порочный и страстный, а потому безобразный мир пытается скрыть лицо под личиною красоты. И это ему удается. «Красота безобразия» — соблазн, к которому прибегает зло. Так соблазнился мцыри, захотевший «узнать, прекрасна ли земля». Он обратился в зверя, в злейшего из зверей, в змея:

Змея скользила меж камней;
Но страх не сжал души моей:
Я сам, как зверь, был чужд людей,
И полз и прятался, как змей.

Так соблазнился любовью герой «Преступника» — и стал отцеубийцей. А разве не божественное лицо у любви?

Так зло величайшее и страшнейшее, смерть, коварно принимает образ пленительный. Среди прекрасной, цветущей природы являет она свой лик, как будто и сам он — часть этой природы. «Бесценный» дар Терека дышит запахом разложения: это —

Труп казачки молодой,
С темно-бледными плечами,
С светло-русою косой.
Грустен лик ее туманный,
Взор так тихо, сладко спит,
А на грудь из малой раны
Струйка алая бежит.

* В современных изданиях этот отрывок печатается под названием «<Штосс>».

И Каспий пленяется трупом, жизнь влюбляется в смерть:

И старик во блеске власти
Встал, могучий, как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.

Для Демона любовь к Тамаре была путем добра, но и его этот земной путь привел к падению, уже окончательному: мир своей прелестью соблазнил самого соблазнителя. Даже к добру земному нельзя прикоснуться и при этом не впасть в руки зла. Таков вывод Лермонтова.

«Все это грустно, а правда...»

5

Стихи, написанные в альбом С. Н. Карамзиной, содержат в себе признания, слишком неальбомные. Счеты Лермонтова с Богом и миром были слишком глубоки и сложны, чтобы могли разрешиться так просто: в действительности ему, несомненно, не «наскучил», как он говорит, а стал невмоготу «несвязный и оглушающий язык» страстей. Стихотворение закончено такой строфой:

Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор...

Но поверить этим словам можно только отчасти. Быть может, мирная жизнь, «ясная погода» и «тихий разговор» до известной степени могли на время давать отдых измученной душе Лермонтова; но предполагать, что если бы через год после написания этих стихов он не умер, то и на самом деле превратился бы в тихого идиллика, вроде, например, Богдановича,— было бы даже смешно. Вся его жизнь и самая смерть говорят о другом. Минуты, когда Лермонтов «видел Бога», были редки. Ему больше были знакомы другие чувства:

Что мне сиянье Божьей власти
И рай святой?
Я перенес земные страсти
Туда с собой.
. . . .
Увы, твой страх, твои моленья,
К чему оне?
Покоя, мира и забвенья *
Не надо мне!

Он не хотел ни небесного покоя, ни забвения о земле. Покорности Богу, примирения с Ним в смысле смирения он не ждал от себя. О предстоящем Божьем суде говорит он, как о состязании двух равных, у которых свои, непостижимые людям отношения:

Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, за что страдал,
Тому судья лишь Бог да совесть!

* Ходасевич приводит один из вариантов стихотворения «Любовь мертвеца». В окончательной редакции строка звучит иначе: «Ты знаешь: мира и забвенья...»

Им сердце в чувствах даст отчет;
У них попросит сожаленья;
И пусть меня накажет Тот,
Кто изобрел мои мученья.

Лермонтов стоял перед Богом лицом к лицу, гоня людей прочь. Еще решительнее говорит он об этом в «Оправдании», одном из последних своих стихотворений. Безразлично, к кому оно относится, и даже безразлично, существовала ли в действительности та женщина, к которой обращены стихи. Важно то, как здесь определено отношение Лермонтова к суду людскому, к возможности людского вмешательства в его личную судьбу:

Того, кто страстью и пороком
Затмил твои младые дни,
Молю: язвительным упреком
Ты в оный час не помяни.

Но пред судом толпы лукавой
Скажи, что **судит нас Иной...** *

Так среди людей Лермонтов соглашался оставить после себя

...одни воспоминанья
О заблуждениях страстей,—

а примирится ли он с Богом, погибнет ли — людям до этого не должно быть дела: здесь для них тайна. Ни их сожалений, ни оправданий, ни порицаний не хотел знать он, «превосходящий людей в добре и зле». Всю жизнь он судил себя сам судом совести.

Таким образом, делая нас свидетелями своей трагедии и суда над самим собой, Лермонтов все же не позволяет нам досмотреть трагедию до конца: в должный миг завеса задергивается — и мы уже не смеем присутствовать при последнем его разговоре с Богом. Здесь — тайна, и поэт, скрываясь за занавес, движением руки удерживает нас от попытки последовать за ним. Приговора мы не узнаем. Узнал его только сам Лермонтов.

6

Поэзия Лермонтова — поэзия страдающей совести. Его спор с небом — попытка переложить ответственность с себя, соблазненного миром, на Того, кто этот соблазнительный мир создал, кто «изобрел» его мучения.

В послелермонтовской литературе вопросы совести сделались мотивом преобладающим, особенно в прозе: потому, может быть, что она дает больше простора для пристальных психологических изысканий. И в этом смысле можно сказать, что первая **русская** проза — «Герой нашего времени», в то время как «Повести Белкина», при всей их гениальности, есть до известной степени еще только проза французская.

Лермонтов первый открыто подошел к вопросу о добре и зле не только как художник, но и как человек, первый потребовал разрешения этого вопроса, как неотложной для каждого и насущной необходимости жизненной,— сделал дело поэзии делом совести. Может быть, он предчувствовал, какой пламенный отклик найдет впоследствии его зов, когда говорил о себе, что он

* Подчеркнуто Ходасевичем.

...не Байрон, но другой *,
Еще неведомый избранник,
Как он гонимый миром странник,
Но только с **русскою** душой.

Лермонтов дал первый толчок тому движению, которое впоследствии благодаря Гоголю, Достоевскому и Толстому сделало русскую литературу литературой исповеди, вознесло на высоту недосягаемую, сделало искусством подлинно религиозным.

Но и еще в одном отношении литература русская глубоко перед ним обязана: он жизнью своей создал для нас великий образец художника. Уходя от суда людского и не допуская людей присутствовать при последнем суде, Божьем,— как человек он, быть может, был прав, быть может,— нет. Этот вопрос разрешен тем же приговором, которого мы не знаем. Но как художник он был несомненно прав. Неизбежная спутница художественного творчества — тайна. Для каждого художника рано или поздно настает мгновение, когда он должен сделать рукою жест жреческий и произнести свою формулу. После этого завеса его скрывает, он останется один, лицом к лицу с Богом.

И каждый художник, помня о Лермонтове, обязан спросить себя: имею ли я право произнести жреческую формулу, как имел это право он, **превзошедший людей в добре и зле?**

* * *

Мы какие-то четыре звездочки, и как их ни сложи, все выходит хорошо.

Нат. Алексеевна Огарева— Герцену

Четыре звездочки взошли на небосвод.
Мечтателей пленяет их мерцанье.
Но тайный Рок в спокойный звездный ход
Ужасное вложил знаменованье.

Четыре звездочки! Безмолвный приговор!
С какою неразрывностью суровой
Сплетаются в свой узел, в свой узор
Созвездье Герцена—с созвездьем Огарева!

Четыре звездочки! Как под рукой Творца
Небесных звезд незыблемо движенье —
Так их вело единое служенье
От юности до смертного конца.

Четыре звездочки! В слепую ночь страстей,
В соблазны ревности судьба их заводила,—
Но никогда, до наших страшных дней,
Ни жизнь, ни смерть — ничто не разделило.

* У Лермонтова: «Нет, я не Байрон, я другой...». Подчеркнуто Ходасевичем.

Вступление, публикация и подготовка текста Софьи Богатыревой

В. Кардин

МИФОЛОГИЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Преемственность и отрицание, сопутствующие развитию культуры, ставят ее в прямую зависимость от того, что она принимает и что отрицает. Как сама оценивает свое прошлое, в чем видит благо, в чем — зло, замечая бесчисленность оттенков того и другого.

Литература, в чем-то опередив другие сферы искусства, сказала во всеуслышание о преступлениях прошлого, их гибельности не только для хозяйственных дел, но и для душ человеческих. Однако наше время хочет знать, какова была роль самой литературы, когда творились злодеяния, людям внушались нелепости, лишая их веры в идею, собственный разум, обрекая на пассивность. Апелляция к темным силам души нуждалась в подкреплении художественным словом не меньше, чем в газетной трескотне.

Предположить, будто литература здесь ни при чем, крайне трудно. Однако литературное движение противоречиво. Взгляды писателей разнятся; одни и те же авторы не всегда выступают в одинаковом качестве. Элементарное представление о монолитном единстве литературных взглядов и подходов благополучно изживает себя. Вместе с тем хотелось бы избежать поспешных обличений. Нельзя нам сейчас позволить себе такую роскошь, много уже наломано дров.

Благодаря своей исконной активности литература не могла оставаться в стороне от событий, определяющих народную жизнь. Благодаря своей природной связи с мифологией не могла, видимо, не поддаться тенденциям, мифологическим по своим истокам.

Об этих тенденциях преимущественно и пойдет речь. И об этой активности. О том, как мифология сказалась на активности, куда направляла ее.

Нет, вероятно, ни одного крупного писателя, который не испытал бы на своем творчестве благого воздействия мифов, остался безразличным к древним сказаниям, к этому виду стихийного народного творчества, выражению народной мудрости.

А. Пушкин, завершая письмо к А. Дельвигу, признался: «Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических...» О мифологии вспоминал В. Белинский, размышляя о сочинениях Пушкина. О мифотворчестве говорил М. Горький с трибуны I Всесоюзного съезда писателей...

Однако мифология, на которой хотелось бы сосредоточить внимание в этой статье, принципиально отлична от мифологии, привлекавшей Пушкина, Белинского, Горького. Но и отличаясь — прежде всего тем, что создавалась отнюдь не стихийно, зарождалась не в глубинах народного бытия,— она достаточно умело использовала постулаты традиционной мифологии, подменяла реальные обстоятельства фантастическими, отделяла естественное от сверхъестественного, не старалась установить причинно-следственную связь, обнаружить действительные противоречия. Культовый мир, творимый мифами, всегда священен и обычно окружен тайной, доступной лишь избранным, жрецам, приобщенным к таинству.

Общеизвестна живучесть некоторых моделей мифологического мышления в сфере политической идеологии и связанной с ней социальной психологии. Массовое сознание способно стать питательной средой для «социального» или «политического» мифа. Так, древнегерманскую языческую мифологию нацисты приспособили для своих нужд, учредив расовый миф, присовокупив к нему культ фюрера, которому сопутствовали тысячные сборища, факельные шествия: толпы скандировали фашистские лозунги.

Сталин тоже нуждался в мифотворцах. Он сформировал корпус льстецов, связанных круговой порукой и страхом перед главарем. Выходцы из народа, бюрократы в первом поколении, они отлично знали, каким неотразимым воздействием на народ обладает миф, непременно приправленный тайной.

К. Маркс писал: «Всеобщий дух бюрократии есть т а й н а, таинство. Соблюдение этого таинства обеспечивается в ее собственной среде ее иерархической организацией, а по отношению к внешнему миру — ее замкнутым корпоративным характером. Открытый дух государства, а также государственное мышление представляется поэтому бюрократии п р е д а т е л ь с т в о м по отношению к ее тайне... Что касается отдельного бюрократа, то государственная цель превращается в его личную цель».

Иногда можно услышать сегодня недоуменные голоса: почему запретили такую-то книгу? Почему не позволяли печатать такие-то стихи?

Профессор-экономист Г. Попов в статье «С точки зрения экономиста», анализируя роман А. Бека «Новое назначение», вскрывает существо и болезни административной системы, которые она менее всего хотела бы обнажать. Ломающая души «ошибка», то есть противоречие между тем, в чем внутренне убеждены такие руководители, как Онисимов, и тем, что они делают, вынуждены делать — неизбежна. Онисимов живет в постоянном страхе перед Сталиным, Берией. Но испытывает страх и перед инициативой снизу.

А. Бек пишет о «трагических парадоксах» времени, порожденных административной системой. Один из них — возведение строек коммунизма руками заключенных. О стройках полагалось трубить на всех углах, об армиях зеков — молчать.

Зачем смаковать недостатки, когда налицо исторические победы? Зачем выискивать трудности, если «живем мы весело сегодня, а завтра будем веселей»? Какие основания выражать неудовольствие коллективизацией? Кто смеет усомниться в вине «врагов народа», когда Лион Фейхтвангер вместе с товарищем Сталиным посмеялся над большим числом портретов вождя, но подтвердил: процессы в общем проводились законно, подсудимые чистосердечно признавали свою вину? А почему кого-то занимают западные модернисты? Чем интересны русские философы-идеалисты? Откуда низкопоклонство? Зачем вспоминать поражения сорок первого, коль война победно завершилась в сорок пятом? Кому какое дело до безвестно погибших и павших, когда кавалеры Золотой Звезды, вернувшись с фронта, повсеместно творят чудеса? И вообще: кому это выгодно? на чью мельницу вода? не с чужого ли голоса песня?..

В бесчисленных вопросах таилась нескрываемая угроза всякому, посягнувшему на тайну. Угрозы подтверждались расстрелами, тюремной решеткой и лагерной проволокой.

Тайна внушает мистический страх, когда распространяются неведение, недомыслие, лживые легенды.

А что же писатели? Быть может, они творили в состоянии вечного испуга и постоянного непонимания?

Но в таком состоянии писать нельзя. Можно жить жизнью героя «Московской улицы», воссозданной Б. Ямпольским после смерти Сталина, однако тогда еще не помышлявшим о ее напечатании.

Но все же литература жила и после года «великого перелома», и после тридцать седьмого, и после других омытых кровью лет.

При Гитлере немецкая литература в Германии вымерла. Оставшиеся в стране писатели ушли во внутреннюю эмиграцию. Непримиримого антифашиста Карла Осецкого после трех лет концлагеря пришлось освободить,— и он умер в своей постели, успев удостоиться Нобелевской премии.

При Сталине одних писателей уничтожали, других гноили в тюрьмах и лагерях, а третьи продолжали писать, будто ничего не происходило. И далеко не в каждого из этих «третьих» бросишь камень, заподозрив в трусости и сервилизме.

Мифология, принятая на вооружение Гитлером, предназначалась для толпы, сталинская мифология — для народа. Ее изготавливали преимущественно на материале современности. Что касается «великих предков», то Сталин вспомнил о них в ноябре 1941 года, пытаясь овладеть секретами, при посредстве которых Гитлер перехитрил его, а гитлеровская армия приблизилась к Москве.

Эта мифология умело использовала действительные достижения и революционные традиции. Объективные трудности и субъективные просчеты руководства преподносились как дело вражеских рук. Количество врагов — будь то крестьяне, университетские профессора, священнослужители, врачи — сколько их ни уничтожали — не уменьшалось. Искусно внедряли идею непрерывности междоусобной борьбы, непременности внутренних врагов.

Роман А. Бека безусловно следовало запретить — скрыть загнивающий, но по-прежнему опасный для народа потаенный механизм административной системы. «Зеленую улицу» надлежало давать, скажем, романам В. Кочетова «Журбины», «Братья Ершовы», «Секретарь обкома», где нет ни «ошибок», ни «трагических парадоксов». Герои функционируют вне системы, а если и сталкиваются с ней, то убеждаются в ее совершенстве, видят такой, какой она и должна была выглядеть, дабы соответствовать официальному мифу.

Свои сокровенные задачи система решала не одними лишь запретами неугодных произведений, но и поощрением книг, насаждавших легенды, облагораживающие ее, оправдывающие крутые меры.

В первые послереволюционные годы завязывались литературные бои, значение которых прояснится лишь со временем. В 1926 году Лариса Рейснер защищала Л. Сейфуллину и И. Бабеля от «литературного бандитизма».

Гражданская война еще жива в памяти, а уже навязывали нормативы, указывали, как писать о войне, обходя кровопролития, изуверства, весь ужас боев, когда сосед шел на соседа, сын стрелял в отца, брат — в брата.

Первые мифы о гражданской войне складывались не без участия лиц, в них заинтересованных. Против «Конармии» выступил С. Буденный, гневно написавший о «бабизме Бабеля». На Л. Сейфуллину, описавшую в «Виринее» и «Правонарушителях» сцены беспощадной жестокости, ополчились те, кто войдет в историю под именем «неистовых ревнителей». Они норовили монополизировать право на правду и указывали, какие дозы художественной достоверности необходимы, тем самым расчищая дорогу для официального мифотворчества.

То, что Л. Рейснер называла «литературным бандитизмом»,— детская игра по сравнению с грядущими «играми». Еще существовал плюрализм в критике, перед жертвами «литературного бандитизма» не возникала угроза непечатания, не говоря уже об аресте. Сама Л. Рейснер занимала влиятельное положение в литературе и обществе: знаменитая писательница, отважная участница гражданской войны, в прошлом жена Федора Раскольникова, теперь — Карла Радека...

Маяковский и Асеев тоже поддерживали Сейфуллину. Маяковского, правда, уже зачислили в «деклассированные элементы», Асеева долбали за «словесные узоры».

Официальная мифология еще делала первые шаги, место главного героя мифов оставалось вакантным. Однако уже подоспело время попугать талант, пригрозить ему. Талант непредсказуем, неподконтролен, и, во избежание сюрпризов, следовало напомнить о ежовых рукавицах, поставить в пример покладистую бездарь.

Ни малейших возражений у «неистовых ревнителей» не вызывали такие, например, вирши:

Любовь моя незнаемая.
Знайте, друзья и други,
Части его упругие...
Обнимаю динамо я.

Эти вполне всерьез сочиненные строки трудно отличить от пародийных:

И он пожал в тени завода
Ее мозолистую грудь.

Предпочтение, оказываемое «неистовыми ревнителями» неталантливой литературе, диктовалось одержимым догматизмом, эстетической глухотой, донельзя упрощенными взглядами на искусство. Доходило до того, что в пейзаже, если он не сугубо индустриальный, усматривали буржуазно-дворянский пережиток, намекая на Толстого, Гоголя, Достоевского. Брался курс на безликую, лишенную художественного наполнения или, как мы сейчас говорим, серую литературу. В ниспровергательском ажиотаже рыхлили почву для унифицированной прозы и поэзии, призванных иллюстрировать очередные лозунги.

Воинствующий атеизм 20—30-х годов в конечном счете не что иное, как стремление освободить человеческие души от религиозных мифов и заменить другими — нравственно выхолощенными, безразличными к гуманистической традиции, историческому опыту. И литература вовлекалась в эту деятельность: «неистовые ревнители» претендовали на роль пастырей Они проявляли идеологическое сверхусердие, не всегда толком понимая, что к чему. Наиболее сметливый среди них — В. Ермилов — при необходимости обличал своих собратьев, самого себя и читал доклад «За боевую творческую перестройку», а уже «перестроившись», громил Твардовского, Платонова, Мартынова, Ильфа и Петрова...

Ермилов знаменует переход «неистовых ревнителей» в «неистовые охранители», которые в отличие от своих предшественников прекрасно понимали, что почем, отдавали должное классике (В. Ермилов на досуге писал о Чехове) и постоянно находились в состоянии мобилизационной готовности, чтобы по первому слову или, повинуясь обостренному чутью, броситься на опального автора. «Неистовых ревнителей» отличали по преимуществу начетничество, догматическая тупость. «Неистовых охранителей» — цинизм и холодный расчет — свойства, незаменимые для служителей культа, защитников официально-культовой мифологии. «Ревнители» разрушали, смутно надеясь возвести храм. Правда, без божества. «Охранители» хотели незамедлительно получить синицу в собственные руки.

Имя Ермилова всплыло сегодня не по чьей-то злой воле. Здесь та же закономерная неотвратимость, что и при упоминании имен Вышинского или Жданова. Вспоминая о жертвах, вспоминают и тех, кто, распаляя вражду и ненависть, громогласно обосновывал гонения.

Разумеется, у каждого из трех названных деятелей своя роль, своя сфера мифотворчества.

Возвращение, точнее узаконение в литературе Платонова, Булгакова, Клюева, Пастернака, Замятина, Эрдмана, Зощенко, Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, заставляет по-новому взглянуть и на писателей, всегда занимавших в ней относительно прочное положение. (Слово «относительно» употребляется вполне оправданно. Куда, думалось, прочнее положение А. Фадеева, но и он не избежал высочайшего нагоняя за «Молодую гвардию». Не говорю уже о других творческих, политических и человеческих драмах, приведших его к самоубийству.) Сама система фаворитов и «постылых» постоянно обеспечивала нервозную нестабильность в литературной жизни. Эта система предполагала периодические подзатыльники фаворитам (их не избежал, пожалуй, ни один) и дискриминацию «постылых», вплоть до арестов, высылки из страны.

В наши дни авторитет давних и недавних фаворитов заметно пошатнулся. Чаша весов качнулась, центр тяжести сместился. И — закипели страсти.

Оглядываясь ради будущего в прошлое, мы лишены права упрощать. Необходимо разобраться в противоречиях, не поддающихся легким и броским истолкованиям.

Едва ли не главное тут, на мой взгляд, противоречие — это дистанция между народом и партийно-советской верхушкой.

Разобщенность массы и руководства, вообразившего себя монопольным выразителем коренных интересов этой массы, их взаимное непонимание драматичны сами по себе, чреваты бедой, далеко не сразу понятой многими писателями, поверившими в миф о морально-политическом единстве.

Внутренняя свобода редко нисходит к художнику, подобно великодушному дару природы или бесплатному приложению к таланту. Талант есть, а свободу надо еще добывать, не соглашаясь на ее подделки. Лишь обретя свободу, талант развертывается в полную мощь. Литература, рожденная Октябрьской революцией, оказалась в положении, роковая двойственность которого становится очевидной лишь сегодня. Многие крупные писатели уехали на чужбину. «Неистовые ревнители» жаждали избавиться от груза «отжившей» классики. Значительная часть интеллигенции, начиная от ученых и кончая офицерством, приняла революцию, увидела в ней предвестье справедливого и совершенного общественного устройства. Однако эти надежды не спешили осуществиться. Суровая регламентация, как-то оправданная в военные годы, распространилась и на мирный период. Но легко ли отречься от надежд, даже когда они превращаются в иллюзии, а факты начинают приноситься в жертву легендам? Беспримерность революции по-своему способствовала распространению легенд. Способствовала ему и грандиозность грядущих замыслов.

Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.

Эти зацитированные строчки В. Маяковского таят смысл более серьезный, чем приходит на ум, когда слышишь, как пафосно декламируется поэма «Хорошо!» с эстрады. Поэма писалась к десятилетию Великой Октябрьской социалистической революции. «Громадьё» планов — продолжение революции, залог исполнения обещаний, начертанных на ее знаменах. Нэп позволил накормить разоренную страну, и поэт радовался, проходя мимо изобильных витрин. Но воспевать «Эстомак» — роскошный гастрономический магазин в центре Москвы — поэзия не собиралась. Мотив разочарования — «за что боролись?» — упрямо звучал в некоторых стихотворениях, в речах на писательских собраниях. Зато смелые планы индустриального преобразования страны, замены сохи трактором, создания коллективного хозяйства на селе вызывали общий народный подъем — революция, набрав сил, смело зашагает вперед. Книгой М. Ильина «Рассказ о великом плане» (1930 г.), предназначенной детям, зачитывались тогда и взрослые.

Доверие к революции было безмерно велико, и редко кому из писателей приходило на ум: а насколько основательны, реальны планы, каковы перспективы их осуществления? Где кончается реальность и начинается пропагандистский миф?

Планы становились все более дерзкими и — катастрофически не выполнялись. Однако одна за другой выпускались утки-легенды о сказочном их перевыполнении.

Зона секретности расширялась за счет сокрытия цифр и фактов. Строгая тайна окутывала голод 30-х годов. Крестьяне не могли покинуть обреченные на смерть деревни. Город лишили возможности поделиться с ними последним куском хлеба, лишали права на милосердие, оставив ему только право на беззаветный энтузиазм и безропотную самоотверженность.

Легенды о «выполнили — перевыполнили» обманывали, сбивали с толку. Проекты светлого будущего маскировали поворот в настоящем к казарменному социализму.

Каким воздействием обладала массированная ложь, с какой силой вколачивалась, если ей — пусть в меньшей степени, чем другие,— уступил М. Шолохов, знавший истинное положение. Сейчас опубликованы письма, убеждающие, что он не только знал, но пытался воспрепятствовать «перегибам», помочь землякам, спасти обреченных. Видел несуразность совершавшегося на селе и хотел найти ему объяснение. Это было трудно еще и потому, что само движение «двадцатипятитысячников» окончательно все запутывало. Почему питерский пролетарий, в прошлом балтийский моряк Семен Давыдов, герой «Поднятой целины», учит крестьян вести хозяйство, навязывая им л и н и ю?

Решение о «двадцатипятитысячниках» принял пленум ЦК ВКП(б) в ноябре 1929 г. На пленуме говорилось о небывалых темпах коллективизации, превосходящих самые оптимистические прогнозы, о стремительной тяге бедняков и середняков к социалистическим формам хозяйства и т. д. Зачем же тогда, спрашивается, было лишать заводы и фабрики квалифицированных рабочих, а число «двадцатипятитысячников» дово-

дить до 60 тысяч? Давыдову ничего не остается, как соучаствовать в разжигании страстей. В этой кровавой бане, выдаваемой за «классовую борьбу», гибнет и Семен Давыдов, и «кулак» Тимофей Рваный. Гибнет сельское хозяйство.

Абсурдность — почти непременная составная официального мифа. Она сообщает ему дополнительную загадочность, многозначительную непознаваемость.

Сделав уступку директивным легендам в «Поднятой целине», не спеша ее завершить, М. Шолохов вернулся к «Тихому Дону» и в 1940 году выпустил четвертую, заключительную книгу эпопеи, самую, на мой взгляд, значительную, содержащую также вызов укоренившимся мифам о гражданской войне. Нам остается догадываться о душевных терзаниях художника, о причинах его долгого молчания.

Судьба писателей, принимавших казенные небылицы за чистую монету и соответственно строивших свою деятельность, подчас складывалась драматично. Бруно Ясенский, в 1929 году приехавший в Советский Союз, поверил россказням о повсеместном вредительстве и шпионаже, написал авантюрный роман «Человек меняет кожу». Однако сомнения заставили его приняться за роман «Заговор равнодушных». Но прежде чем была поставлена точка, за автором пришли.

Драматург А. Афиногенов в ожидании ареста вел лихорадочные дневниковые записи, надеясь убедить следователей и судей в своей невиновности. Врагами он называл собственных коллег, предъявивших ему нелепые обвинения, исключивших его из Союза писателей.

В «Новом назначении» болезнь, именуемая «сшибкой», поражает и писателя Пыжова, норовившего подстраивать литературу под вкусы Сталина. Пыжов заставляет вспомнить о Фадееве.

Симптомы «сшибки» мы обнаруживаем и в предсмертных воспоминаниях К. Симонова.

Прозаик А. Письменный долгие годы собирал материал для книги «Приговор» — про вредителей, орудующих на угольных копях. Книга стала анахронизмом уже к моменту своего выхода.

Приправленная детективной тайной легенда о засилье «врагов народа», злонамеренных кулаков и «вредителей», давала спасительные ответы на вопросы, откуда все беды, трудности, неудачи, несчастья, нехватка хлеба...

Даже идущие за легендой писатели, если они сохранили совесть, со временем приходили к здравому пониманию хода вещей. Так, незадолго до смерти, А. Письменный написал нечто вроде послесловия к своему роману, где заново, непредубежденно и беспощадно проанализировал факты, впечатления, тем самым вынеся приговор своему роману.

Мифам о фантастических преступлениях, вроде тайного туннеля между Бомбеем и Лондоном, о котором мы спустя десятилетия узнаем из фильма «Покаяние», сопутствовали мифы о чудесах в самых разных областях. Провинциальный агроном, экспериментируя, вывел на Тамбовщине новые растения и был причислен к великим преобразователям природы. Ему, кудеснику, посвящаются очерки и стихи, выходит фильм «Юг в Тамбове». Его изречения почитаются как безусловные истины, основополагающим для науки и практики объявляют его принцип: «М ы н е м о ж е м ж д а т ь милостей от природы: взять и х у н е е — наша задача».

Не будь ажиотажа, ученые спокойно поправили бы И. Мичурина, растолковали, что брать у природы легче, чем отдавать ей, сберегать ее. Но куда там! Именем Мичурина обозначается новый этап дарвинизма. Не без ссылки на высокий авторитет Мичурина Лысенко громит отечественную генетику, суля очередные чудеса: ветвистую пшеницу, сказочные гибриды, фантастические надои и т. д. Беда не сводится к урону, нанесенному науке и сельскому хозяйству. Воцаряется потребительское отношение к природе; Грацианские всех мастей находят аргументы, оправдывающие истребление лесов, отравление рек и озер, выдвигают ошеломляющие проекты дальнейшего «улучшения» природы. Однако чудеса оборачиваются не только гибелью природных богатств, но и губительным воздействием на генетический код человека.

Но сколько было выпущено романов, повестей, стихотворений во славу преобразования природы!

Даже безобидные на первый взгляд мифы стандартно-газетного происхождения, сказки о чудесах в решете, выдаваемые за научные или исторически непреложные факты, подобны бикфордову шнуру. Шнур догорит — грянет катастрофа.

А. Толстой писал повесть «Хлеб» (она публиковалась в 1937 и 1938 гг. в журналах «Молодая гвардия» и «Новый мир») во искупление ошибки, допущенной в «Хождении по мукам». Он сам называл ошибкой умолчание о боях за Царицын. Поверил-де печатным материалам, обходившим молчанием эти события.

Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы догадаться, почему Толстой допустил «ошибку», когда на исходе двадцатых годов писал вторую книгу своей трилогии, и почему на исходе тридцатых, осознав ее, вознамерился исправить.

Документальные материалы для новой повести ему доставлялись непосредственно из редакции «Истории гражданской войны в СССР» (Первое назначение этой редакции — перекроить историю таким образом, чтобы главные победы в гражданской войне достались лично И. Сталину.) Встретился А. Толстой и с участниками давних сражений —

прежде всего с К. Ворошиловым, который рассказал «ряд захватывающих эпизодов из обороны Царицына», а также с С. Буденным и другими.

Документы, поступавшие к писателю, разумеется, подвергались тщательному отбору и соответствующей обработке.

Концентрированная атака историков и «боевых соратников» Сталина на А. Толстого имеет и причины, связанные с моментом написания повести. Все нарастая, шло уничтожение командных кадров Красной Армии, и становилось совершенно непонятно, каким образом красноармейские полки выиграли гражданскую войну. Легенда, как это случалось и случится еще не однажды, призывалась заполнить вакуум, образовавшийся после изъятия фактов. Одна из таких легенд — о решающем значении боев за Царицын, выдающейся роли в них лично Сталина. («Крестный отец» мафии Л. Брежнев, раздувая с помощью подхалимов значение операции на Малой земле в годы Великой Отечественной войны и свое в ней участие, всего лишь повторил «Царицынскую эпопею», изготовленную на потребу «отца народов».)

К 1937 году окончательно утвердилась версия о Сталине — организаторе Красной Армии и ее побед. Первый среди создателей версии — К. Ворошилов, еще в 1929 году написавший статью «Сталин и Красная Армия». Этот миф он продолжал неутомимо развивать и дополнять. В его книге, изданной через несколько лет,— «Оборона СССР» — Сталин именовался «первым Маршалом социалистической революции, великим Маршалом побед на фронтах гражданской войны...» В 1951 году Ворошилов выпустил работу «Сталин и Вооруженные Силы СССР». Для этих сочинений подошел бы общий эпиграф: «Из всех ядов, способных испортить свидетельство, самый вредоносный — это обман». (Марк Блок. «Апология истории».)

Журнал «Юность» напечатал воспоминания Л. Разгона «Непридуманное». В памяти писателя остались люди, встречавшиеся ему в молодости, а потом на пересылках, на этапах, в тюрьмах и лагерях. Он пишет и о мифотворчестве, формировавшем вкусы, симпатии, мировоззрение сверстников, о системе «запудривания мозгов». Его интригует легенда о «первом красном офицере»: «Я хочу понять, каким образом не только создалась легенда о Ворошилове — почему она существует, живет, развивается, обрастает книгами, альбомами, памятниками, стихами, поэмами...»

Однако Л. Разгон заблуждается, полагая, будто миф о Ворошилове возник на пустом месте. Это место обильно полито кровью.

Ворошилов отлично знал правду о Царицыне. О том, что летом 1918 года сюда с мандатом Ленина прибыл А. Снесарев — царский генерал, добровольно вступивший в Красную Армию. Назначенный военным руководителем Северо-Кавказского военного округа, Снесарев обеспечил оборону города, отбил сильный натиск Краснова. И — вызвал ярость Сталина, обвинившего его во вредительстве, саботаже, приказавшего арестовать бывшего генерала, как он уже арестовал почти всех штабных офицеров, якобы составивших заговор. Арестованных содержали на барже, переоборудованной в тюрьму, здесь же и расстреливали.

Уцелевших военспецов и А. Снесарева освободили по настоянию прибывшей из Москвы инспекции, возглавляемой членом ВЦИК А. Окуловым. Нарушив, однако, план Снесарева, Сталин затеял авантюру с наступлением; в итоге Царицын попал в полуокружение.

Объектом интриг, клеветы Сталина и Ворошилова стал также бывший генерал П. Сытин, назначенный командующим Южным фронтом.

В последнее время опубликованы материалы, освещающие царицынские события и неприглядную роль в них Сталина и «первого красного офицера» (особенно обращаю внимание на интервью генерал-лейтенанта, профессора Н. Павленко в «Советской культуре», 1988, 23 августа).

Творя апокриф о Царицыне, Ворошилов, как нередко случалось со сталинскими соратниками, преследовал и свои цели, снимал с себя вину за оплошности и сомнительные поступки. Он был кровно заинтересован в царицынских мифах и легендах, умышленно игнорировал участие в событиях «врагов народа» Снесарева, Сытина, Окулова и Мехоношина, умалчивал о Думенко.

Борис Думенко стяжал славу «первой шашки республики», организовал первые конные красные части на Дону, бесстрашно командовал под Царицыном 1-й Донской советской кавалерийской бригадой. (Вот кто был подлинным создателем красной конницы.) Трижды раненный, удостоенный ордена боевого Красного Знамени, Думенко стал жертвой клеветы. Ему предъявили вздорные обвинения и расстреляли в мае 1920 г. К этому делу приложил руку и «луганский слесарь».

Бездарный военачальник, Ворошилов не выносил командиров смелых, талантливых. Прежде всего М. Тухачевского, предвидевшего характер будущей войны. К. Ворошилов препятствовал осуществлению идеи моторизации и механизации РККА. Когда же Тухачевского и других видных армейских деятелей уничтожили, Ворошилов, Буденный, Кулик — «конники», уверенные, что грядущая война окажется повторением войны гражданской, принялись выкорчевывать последствия «вредительства» и «пораженчества» — линия Тухачевского на производство современных видов вооружения свертывалась. Базы, созданные И. Якиром на случай партизанских действий в тылу захватившего нашу территорию врага, ликвидировались.

Беспомощность Ворошилова-военачальника проявилась и в советско-финской войне, и в войне Великой Отечественной (под Ленинградом его пришлось заменить Жуковым).

Однако «первому красному офицеру», «луганскому слесарю»» все сходило с рук. Сталин, дороживший легендой, рисующей его создателем Красной Армии, вдохновителем ее побед, видимо, придерживался по отношению к Ворошилову принципа: «Ты мне — миф, я тебе — миф». Из Большой Советской Энциклопедии (том вышел в 1951 г.) мы узнаем, что Ворошилов не только виднейший организатор Советских Вооруженных Сил, но еще в годы первой русской революции именно он вместе с Лениным и Сталиным строил большевистскую партию и т. д.

До войны существовало добровольное общество «ворошиловских всадников», почетное звание «ворошиловский стрелок». Бесчисленные репродукции воспроизводили величественное полотно: Сталин и Ворошилов прогуливаются по Кремлю. Другое полотно — сцена в тире: Ворошилов самодовольно улыбается, сжимая винтовку, Горький усмехается виновато и смущенно — не выполнил упражнение по стрельбе.

Если первая картина намекала на прочную дружбу «героев» Царицына, то вторая — на близость Ворошилова к музам: он слыл покровителем искусств.

Я нарочно остановился на благодушной, казалось бы, фигуре Ворошилова. Но в благодушных и безгрешных Сталин не нуждался, имеющих собственное мнение, придерживающихся определенных нравственных правил не терпел.

Политика далеко не всегда согласуется с нормами морали. Заблуждаться не приходится. Но есть и предел аморальности.

Сейчас историки спорят о целесообразности и реальных результатах советско-германского пакта о ненападении. Доктор исторических наук В. Кулиш убежден, что отсрочка нападения Германии на нашу страну не заслуга пакта и выиграл от нее Гитлер. Маршал Г. Жуков говорил: «вначале у него (Сталина.— В. К.) была уверенность, что именно он обведет Гитлера вокруг пальца в результате заключения пакта. Хотя потом все вышло как раз наоборот».

Из двух политиков с большой дороги один, слывший ясновидящим, обошел другого, слывшего мудрейшим. (У каждого — своя легенда.) На нашу беду, Гитлер перехитрил Сталина. Во что это обошлось советскому народу, более или менее известно.

Показательны методы, какими Сталин надеялся завоевать расположение Гитлера, выказывая симпатии к нему.

Будет досадно, если в потоке литературных новинок пройдет незамеченной повесть в документах О. Горчакова «Накануне, или Трагедия Кассандры». Повесть состоит только из документов, преимущественно — донесений разведчиков с 1939 по 1941 г. Но впечатление от Сталина складывается достаточно определенное. Риббентроп рассказал Сталину берлинский анекдот: поскольку ему, Сталину, больше всего не по нутру капиталисты, английские лавочники и дельцы Сити, то он еще станет членом антикоминтерновского пакта. Сталин на это улыбнулся «довольно кисло». (Впоследствии Риббентроп признавался, что, находясь в обществе Сталина и сталинских сподвижников, он чувствовал себя словно среди своих «партайгеноссен».)

Демонстрируя дружелюбие, доказывая единство сердец, Сталин передал Гитлеру группу немецких коммунистов-эмигрантов, безвинно томившихся в советских лагерях.

13 апреля 1941 года, провожая министра иностранных дел самурайской Японии Мацуоку, Сталин, вопреки протоколу, приехал на вокзал, обнял Мацуоку. Потом на глазах ошеломленных свидетелей обнял германского военного атташе полковника Кребса, посла Шуленбурга, заверяя их в дружеских чувствах.

Не зря Гитлер молил, «чтобы провидение даровало Сталину долгую жизнь... А случись что-либо со Сталиным, новое Советское правительство могло бы порвать наш договор!..» Не зря в ответ на известие о заключении этого договора Геринг во время заседания высшего военного совета в Оберзальцбурге исполнил дикий танец на столе.

Хватало им причин и молиться, и танцевать. На Военном Совете СССР в июне 1941 года Маленков заявил, что благодаря гениальному руководству Сталина ни сегодня, ни завтра Советскому Союзу война не угрожает. Его поддержали Берия, Жданов, Ворошилов и Молотов.

Сейчас справедливо пишут о жестоких перехлестах революции, гражданской войны, без околичностей называют имена, но никто, кроме Сталина, не сумел обратить кровавые перехлесты в партийно-государственную систему, обеспечивающую личную власть. Ее укреплению содействовала объяснимая человеческая слабость: люди, замороченные сказками, выдаваемыми за быль, жаждали чуда, верили кумиру, трепетно надеялись на покровителя, заступника, «мудрейшего отца народов».

«Отец народов» не жаловал свой народ и не доверял окружению. Он заискивал перед Гитлером, уповал на взаимность. Вдвоем они решили бы судьбы не только собственных стран, но и всего человечества. Однако Гитлер его коварно подвел.

Когда Молотов 22 июня сорок первого года призвал отбить и разгромить врага, он, видимо, забыл, что менее двух лет назад утверждал: «... не только бессмысленно, но и преступно вести

такую войну, как война за «уничтожение гитлеризма», прикрываемая фальшивым флагом борьбы за «демократию».

Один из персонажей романа Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей» говорит в тридцать седьмом году:

«Мир захвачен мелкими людьми. Людьми, видящими не дальше своего сапога. Они — мелочь, придурки, петрушки, кутейкины, но мир гибнет именно из-за них. Не от силы их гибнет, а от своей слабости». Слабые, они умели лишать силы сильных. Они владели великим искусством лжи.

Бюрократическая мифология замешена на беспредельном презрении к людям, которых следовало постоянно обманывать, натравливать одних на других. Бедного крестьянина — на соседа побогаче. Сына — на отца. Атеиста — на верующего. Необразованных — на интеллигенцию. Студентов — на профессуру. Больных — на врачей. Рабочих — на инженеров-«вредителей». Любой научный спор следовало преподносить как классовое единоборство.

Вспомним книги, пьесы, фильмы дои послевоенных десятилетий. С кем только не ведет борьбу положительный герой! Кого только не обнаружишь среди побежденных!

С великим опозданием мы начали сознавать чудовищность напрасно понесенных жертв. Врагами народа были не обреченные на голодную смерть крестьяне, не инженеры, проходившие по Шахтинскому делу и делу Промпартии, не Борис Думенко, расстрелянный в двадцатом году, не Михаил Тухачевский, расстрелянный в тридцать седьмом, не Вавилов, не Чаянов и Кондратьев с учениками, не участники «праволевацких» и всяких иных «центров», не партийцы, пытавшиеся перечить Сталину, не участники «Ленинградского дела»... Врагами были устроители и вдохновители всех этих дел. Они повинны не только в реках крови, но и в растлении душ, в насаждении извращенного мышления. В отравлении человеческого сознания ядом губительной, бессмысленной злобы.

Сейчас мы ищем противоядие. Ищем средства к действительному, а не плакатному сплочению.

Понятно возобладавшее ныне отвращение к любому разоблачительству, вплоть до пресловутого «либерального террора», который один незадачливый и не шибко грамотный критик принял за синоним понятия «апелляция к городовому».

С «апелляцией к городовому» все более или менее ясно. Десятилетиями она служила в руках «ревнителей» и «охранителей» испытанным средством расправы с неугодными и упрочения собственного места в литературе.

Но не совсем ясно, кто «либеральные террористы»? Академик Д. Лихачев, гневно восставший против гнусного понятия «некрофильство»? Алесь Адамович, обидевший в своей статье Сталина и привлеченный одним из сталинистов к суду? Может быть, от «либерального террора» пострадал А. Софронов...

Возможно, обстановку «либерального террора» создают такие романы, как «Факультет ненужных вещей», вскрывающий, в частности, механизм доносительства?

Не исключено, что ее порождает, скажем, публикация книг В. Набокова. Один не на шутку испугавшийся беллетрист отозвался на нее злобно-доносительской статьей «Реванш?».

Надо бы все-таки разобраться. Иначе любое несогласие с «заединщиками» объявят «либеральным террором», а покушение на казенные мифы — посягательством на святыни.

Боязнь прослыть кем-то «не тем», быть причисленным к какому-то лагерю заставляет, например, автора одной из статей терзаться вопросом: «А если тебе Сталин отвратителен, но и Бухарин, утверждающий в своем предсмертном письме, что у него «вот уже седьмой год нет и тени разногласия с партией», не кажется достаточно радужной альтернативой Сталину — тогда как?»

Да никак. Тоже мне — страдания молодого Вертера. Если уж невмоготу, делитесь ими в семейном кругу. Там, глядишь, и посочувствуют, оценят эдакую независимость и самобытность.

О, всепоглощающая страсть к непохожести, непохожести любой ценой. Вплоть до гордого молчания. Один поэт заверяет, что ни за какие коврижки не станет печатать свои давние антисталинские стихи — ему «претит участвовать в широкомасштабном негативном буме, где, как в хаосе, перемешалась правда с полуправдой и даже с неправдой...».

Придется обойтись без них, утешая себя мыслью, что вернулись к нам стихи поэтов, уничтоженных «широкоформатным позитивным бумом» или выброшенных им на чужбину. Что напечатаны давние стихи Анатолия Жигулина и Ярослава Смелякова; что Марии Аввакумовой, Инне Лиснянской, Владимиру Корнилову, Александру Межирову, Булату Окуджаве, Семену Липкину, Борису Чичибабину «не претит» публиковать строфы, которые еще вчера читались лишь в кругу друзей.

Поспешно сотворенное в угоду моде, рожденное желанием покрасоваться и пошуметь,— а такого, увы, хватает,— можно без труда отличить от созданного с душой и болью.

Позицию автора легко отличить от позы.

Погруженный в медитацию, поэт заставляет вспомнить прозаика, который так объяснял свое нежелание писать о Сталине: вот схлынет волна, он себя покажет, откроет истину. Не вступая с ним в полемику, коллега предостерег: с таким персонажем, как генералиссимус, без шекспировской кисти не управишься...

Не стоит тешить себя иллюзией, будто «культовая» ложь, использовавшая извечные формы мифа, приказала долго жить. Она имеет к тому же защитников явных и тайных, ей благоприятствуют душевная инертность, апатия, наконец, усталость людей, надежда на чудодейственную силу «твердой руки». Она паразитирует на слабостях, свойственных человеку. Тщеславие, властолюбие, жажда привилегий — не последние среди этих слабостей, порой приукрашиваемых, «героизируемых» в нашей литературе, когда она упоенно воспевала вождя и вождизм.

В ответ на внедряемые в массовое сознание легенды о «врагах народа» рождались легенды о чудесном их спасении. В годы войны я слышал от «очевидцев»: профессор Плетнев врачует где-то в глухой провинции, Мейерхольд руководит театром в Караганде, Михаил Кольцов командует ротой на Карельском фронте...

Война была порой бурного мифотворчества. Слагались легенды, безотчетно продолжавшие официальные версии или безотчетно их опровергавшие.

Гитлеровцы захватили Минск, а Москва полнилась слухами о нашем гигантском десанте неподалеку от Берлина. О наших войсках, ведущих бои за Варшаву. О новом оружии, которое мгновенно дарует нам военную удачу.

Шпиономания достигла фантастического размаха. В первые недели и месяцы войны на улицах столицы прохожие неутомимо вылавливали «немецких парашютистов» и «диверсантов»; даже в те неласковые времена задержанных через час выпускали из милиции.

Мифы способны воздействовать на сознание не слабее фактов. Знали (очень, разумеется, приблизительно): уничтожена верхушка Красной Армии. Но продолжали верить: на вражьей земле, могучим ударом... Слышали, что каких-то генералов накануне войны выпустили из тюрем, и, давая волю воображению, придумывали байки, наподобие той, которая рассказывала о Кольцове.

Вера в правоту своего дела соединялась с естественной для нормального человека верой в торжество справедливости.

Война давно отошла в историю, но обросла такими конъюнктурными небылицами, так преднамеренно была «залегендирована», что В. Астафьев говорит о выдуманной «другой войне». Он как солдат никакого отношения к ней не имеет.

Мы, более всего пострадавшие от врага, менее всех знаем о нем, его повадках, идеологических ухищрениях, системе табу, механизме воздействия на массы, отношении к религии, искусству. У нас не переведены фундаментальные исследования на эти темы. Антифашистская направленность войны всячески приглушается. В одном из писем В. Семин говорит о настороженности, с какой в наших редакциях относились к антифашистским повестям.

Имей мы достоверно написанную историю, знай факты, относящиеся к каждому этапу войны, цифры потерь каждой стороны, объективные характеристики военачальников и генштабистов, мы бы не только имели верное представление о прошлом, но и лучше разбирались бы в настоящем, точнее сознавали, какие силы внутри общества действуют центробежно, какие — центростремительно, что сплачивает народ, а что содействует разобщению.

Много ли, например, нам известно о «Русской освободительной армии», возглавляемой изменником Власовым, об «Украинской повстанческой армии», о «Белорусской краевой обороне»? А они существовали, с ними связаны судьбы тысяч соотечественников.

Если бы наконец была произнесена полная правда о РОА, УПА, о других формированиях, выступавших против Советской Армии, об их идеологии, пропаганде, действительных целях, если бы от фактов не отмахивались, а подвергли добросовестному анализу, вполне возможно, некоторые сегодняшние проблемы удалось бы легче решить, а многие мифы рассыпались бы в прах.

Желание отделить правду от легенд — объективная потребность времени. Однако практическую работу осуществляют люди, от их добропорядочности и добросовестности зависит ее оправданность, результаты.

В 1940 году Павел Коган написал о «земшарной республике Советов». Таким наивно представлялось ему провозглашенное Маяковским «единое человечье общежитье» — идеально справедливое жизнеустройство, исключающее войны.

В наши дни завязалась полемика над могилами молодых поэтов, павших в боях Великой Отечественной войны,— кое-кто ставит под сомнение правильность целей, за которые они сражались и гибли.

Из московского содружества студентов-поэтов вернулись с фронта С. Наровчатов, Д. Самойлов, Б. Слуцкий, Ю. Левитанский. При всем различии дарований, наверное, можно все-таки судить о том, в каком направлении развивалось бы творчество и не вернувшихся с войны друзей, их сверстников. Упрек в недостаточности общечеловеческого, походя брошенный А. Латыниной, отпадает сам собой. Предвоенные стихи М. Кульчицкого, Н. Майорова, П. Когана полнятся тревогой — нарушена историческая и духовная преемственность, попираются принципы гуманизма... Они понимали далеко не все, но писали о братоубийственной крови, пролитой в гражданскую войну, содрогались от трагедий 37-го года.

А кровавая нить продолжала виться; А. Межиров, оглядываясь назад, уже в наше время написал:

...Шли, сопровождаемые взрывами,
По своей и по чужой вине.
О, какими были б мы счастливыми,
Если б нас убили на войне.

Неужто неясно: их стихи, их веру, их могилы облаяли из той же подворотни, из какой это было сделано в отношении творчества Ахматовой, Мандельштама и Пастернака: слабовато, видите ли, народное начало...

Поэты, конечно, разные; подворотня — одна.

С середины 50-х годов противодействие мифологии особого назначения усиливается, набирает активность. Выходят рассказы А. Яшина «Рычаги», повесть Д. Гранина «Собственное мнение», повести П. Нилина «Испытательный срок» и «Жестокость». Настоящее и прошлое предстают в не предусмотренном легендами виде. То, что принято было выдавать за безоговорочное единство, зачастую, оказывается, скрывало двоемыслие и двоедушие, боязнь додумывать вещи до конца.

«Лейтенантская» проза продолжала традиции повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда» и отвергала концепции о планомерном отступлении к Москве и Волге, о проницательности Верховного командования, любого начальства.

Любопытно, что у Сталина, пролившего реки крови, находится множество защитников. У Брежнева, не совершившего и десятой доли таких преступлений,— ни одного адвоката. Попробуйте после этого не оценить власть умело, целенаправленно сотворенных легенд!

Бывшие лейтенанты и сержанты, ставшие прозаиками и поэтами, не стремились опровергать расхожие мифы, они хотели выразить лишь доподлинно им известное, и крайняя необходимость заставляла их вступать в спор с разгневанными корифеями. Не знавшие ни журнальных баталий прежних лет, ни рапповских установок, ни периодического разгула литературного бандитизма, они сформировались далеко не в идеальных для творчества обстоятельствах. Но отличных от обстоятельств, многое определивших в творчестве авторов старшего поколения. Ощутима разница даже в десять, а то и меньше лет. Воспоминания К. Симонова «Глазами человека моего поколения» позволяют увидеть, как стремление соответствовать указаниям, попасть в русло, сподобиться высочайшей похвалы становилось второй натурой и как трудно все это поддавалось преодолению, когда наконец в нем возникла потребность.

У истоков «деревенской прозы» тоже стояли вчерашние фронтовики, и она дала картину до- и послевоенной жизни села, основательно отличавшуюся от нарисованной в поспешно канонизированных повестях, романах, поэмах. «Великий перелом» надломил хребет крестьянству, обрек его на крепостное бесправие и нищету; преобразовательские начинания разрушали природу, вековечные нравственные нормы.

Рождалась как бы новая литература, внушавшая настороженность к прежней, основывавшейся не столько на действительном положении деревни, сколько на сталинской интерпретации этого положения.

Недоверие ширилось. Начиная с «Отблеска костра», Ю. Трифонов все настойчивее пересматривает ту версию истории революции и гражданской войны, которую небезуспешно навязывали А. Толстому, другим писателям.

Но, может быть, все это напрасно — поиски, пересмотр старых концепций, выработка новых?

В одной литературно-критической статье не без вызова отдается предпочтение герою повести Н. Шмелева «Пашков дом» Александру Яковлевичу Горту. Истинный интеллигент, историк, не подстраивающийся к времени, внутренне независимый, не примыкающий ни к бюрократам, ни к диссидентам, носитель единственно созидательной идеи, готовый додумывать в одиночестве, «сколько поколений нужно, чтобы хоть как-то восполнить ущерб от всех этих побоищ последних десятилетий, чтобы восстановить накопленное веками».

Мне тоже по душе такой характер, но больше импонирует сам Н. Шмелев, когда берется за перо публициста и не ждет, пока чудодейственно восстановится накопленное веками.

Может статься, пожелав узнать, восстановилось ли накопленное веками, сквозь фортку крикну детворе: «Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе? Кто тропку к двери проторил, К дыре, засыпанной крупой, Пока я с Байроном курил, Пока я пил с Эдгаром По?» А «милые» спросят: чегой-то у тебя, дяденька, фамилие чудное? почему пьешь-куришь, компанию водишь не с нашими ребятами? И тюкнут дядечку по темечку.

Перспектива, которую Н. Шмелев, судя по его статьям, не исключает. А как ее исключить, если своими глазами в сочинении одного критика видишь, как тот, стараясь учесть не понравившегося ему публициста, дотошно исследует его чудное отчество.

Процесс демифологизации идет по нарастающей — сорвана завеса тайны, укрывавшая многие документы и факты, гласность становится нормой жизни, полемика — средством приближения к истине.

Однако в литературной жизни — надо честно признаться — она таким средством служит далеко не всегда. Споры ведутся нередко о том, как надо вести споры.

«Неистовые ревнители» и «неистовые охранители» выработали традиции изничтожения оппонента любыми средствами. От таких традиций трудно отказаться некоторым сегодняшним полемистам,

да они, признаться, и не желают этого, предпочитая обогащать их.

Даже когда, проявляя высочайшую лояльность, «стоящие над схваткой» рассматривают сочинения таких полемистов, то едва не на каждой странице обнаруживают передержки, подтасовки, ложь, фальсификацию. Однако советуют: будем проявлять терпимость. И ставят в пример британского политика, который великодушно бросил своему противнику: «Сэр, для меня неприемлемы ваши взгляды, но я готов положить жизнь, чтобы вы могли их свободно излагать».

Но как быть, коль некоторые наши «сэры» нечисты на руку и зачастую мошенничают? «Сэры», покровительствующие им, скомпрометировали себя стяжательством, тиражными махинациями, принесшими баснословные доходы?

Наши «сэры» никак не могут избавиться от привычки «сигнализировать» и «осведомлять». Дай им волю, они бы и Бунина потребовали изъять из библиотек,— ведь Бунин когда-то редактировал деникинскую газету «Южная мысль».

Если иной склонен заигрывать с «сэрами», зная им истинную цену, объясняется это не жаждой «высшей объективности», но желанием опять-таки продемонстрировать своеобразие собственной натуры: «Я не такая, я вся иная, я вся из блесток и минут».

Подыгрывать скандалистам и ловкачам, занятым саморекламой, по-моему, не стоит, и совсем не обязательно отвечать на клевету.

Терпимость — великолепное качество, но и брезгливость — качество не из последних. Когда-то о нашем равнодушном всепрощении, о способности забывать преступления Галич сказал: «Непротивление совести — удобнейшее из чудачеств».

Пусть будет множество идей, но мораль едина. И одинаково обязательна для любого литератора, берущего на себя ответственность и смелость обратиться к читающей публике. Оперативность не снижает такой ответственности.

Когда узнаешь, что Ю. Семенов уже написал роман, где среди главных героев встречается Чурбанов, когда наталкиваешься в газете на его рассуждения о перестройке и авторитете руководителей, становится не по себе, как и при знакомстве с иными литературно-критическими сочинениями.

Ю. Семенов представляет «коммерческую» литературу, особенно пышно расцветшую на болотистых почвах застоя. Он делал свой бизнес, творя бесконечные легенды об «их нравах», неутомимо рисуя «образ врага», а теперь будет делать, изобличая бериевщину, ежовщину, чурбановщину...

Нет, я ни в коем случае не ратую за ненависть и злопамятство. Но от настороженности отказываться еще не срок, а презрение тоже иной раз к месту. Столкновения и поединки неизбежны, и нечего их страшиться. Но, когда один из фехтующих берет отравленную шпагу, вероятны последствия, известные по печальной сцене, завершающей «Гамлета». В финальных словах Горацио рядом стоят: дикая толпа, ошибки, смуты, бедствия.

Книги В. Дудинцева, А. Рыбакова, Д. Гранина, Ю. Домбровского, А. Бека при всех их различиях продолжают борьбу в литературе с идеологией «охранителей», с фальшивой мифологией. Да, в новых условиях, да, на новом витке истории, когда и литературная критика получает право голоса. Однако даже способы нападок на эти книги, предпочтение сплошь и рядом передергиванию и искажениям заставляют оглянуться назад, обнаруживая не только различие в характере борьбы, но и кое-какое сходство. Поэтому вряд ли стоит пренебрегать уроками прежних лет.

Единственным журналом в 60-е годы, неуклонно поддерживавшим литературу, ниспровергавшую липовые легенды, оставался «Новый мир», пока его возглавлял А. Твардовский. «Новомирская» критика не давала спуску приспособленческой прозе, вскрывала ее художественную несостоятельность, выступала против поэтизации лжи, против верхоглядства в публицистике. В полемику — явно или скрытно — ввязывались номенклатурные лица, усматривавшие в журнале подрывателя идейных опор. Но если исторические факты, если честная правда о жизни, на чем настаивал журнал, угрожали таким опорам, что же они, эти опоры, из себя представляли?

В практике «старого» «Нового мира» не раз случалось: противоестественно злобная реакция на его публикации невольно вскрывала язвы и пороки, которые автор публикации в тот момент и не имел в виду. Один из примеров этого — ожесточенная критика превосходной, покоряющей достоверной повести В. Семина «Семеро под одной крышей».

Статью «Легенды и факты», напечатанную в 1966 г., редакция мне не заказывала. Ни «подрывных», ни сенсационных побуждений у меня не было, как никогда не было их и у других авторов, приносивших свои рукописи в «Новый мир».

Писал я о вещах элементарных, говорил, в частности, что художник, обращаясь к истории, отвечает за историческую достоверность своего творения, и негоже полагаться на стереотипы, мифы, претендующие на подлинность.

Этот очевидный на первый взгляд тезис вызвал реакцию, которую медики назвали бы неадекватной. Последовали инспирированное письмо за громкими подписями, потоки клеветы, угрозы...

Через год после публикации, 29 марта 1967 года, «Правда» напечатала сообщение «В Секретариате правления Союза писателей СССР», оповещавшее о том, что «Новый мир» обнародовал

крамольные повести В. Семина, Б. Можаева, статьи В. Лакшина, А. Шарова и др. «Всеобщее резкое осуждение получила статья В. Кардина «Легенды и факты», проникнутая ложной тенденцией к необоснованному пересмотру и принижению революционных и героических традиций советского народа».

«Новый мир», видимо, не всегда отдавал себе в том отчет, что наступает на больную мозоль административно-бюрократической системы, а мозолей этих становилось все больше. Она обличала себя, обнажала собственные тайны.

Сейчас, впрочем, это становится очевиднее, чем тогда, когда «Новый мир» отстаивал свою правоту в споре между легендами и фактами. В подготовленной к печати редакционной статье были такие строки:

«Мы считаем, что правда боевого подвига выше, благороднее, нужнее, чем домыслы и сказки. Правда способна пережить века, век же выдумок короток...

Уважение к подвигу живых и павших можно доказать, лишь возвращая людям этот подвиг во всей его подлинности. Только так оберегается прошлое, только так оно становится достоянием новых поколений.

Восстановление всей правды о войне, уточнение всех обстоятельств подвига, разыскание новых славных имен солдат и офицеров нашей героической армии — вот к чему призываем нашу военно-мемуарную и документальную литературу. Не путем искусственной фабрикации «легенд», а лишь путем восстановления подлинных подвигов во всем их величии может быть решена задача патриотического воспитания народа на славных героических традициях прошлого...»

Приводились письма читателей, ветеранов гражданской и Великой Отечественной войн, доказательно поддерживающие «Новый мир»: люди видели, на чьей стороне правота, и все яснее понимали, к каким дурным последствиям ведет засилье лживых легенд, кому оно на руку, как пагубно скажется на молодежи.

Большинство писем первоначально адресовалось в «Литературную газету», затеявшую очередную кампанию против «Нового мира». В кампанию эту незамедлительно включился «Огонек», некоторые другие издания. Но ни одно письмо так и не было опубликовано.

«Новому миру» ничего не оставалось, как ответить самому — ведь читательские письма подтверждали, что журнал не одинок в своей борьбе.

Так родилась эта статья, не увидевшая света. Номер был задержан. Главный редактор отказался снять ее, обратился за поддержкой в Секретариат Союза писателей, но не получил ее. Не получил ее и в тогдашнем ЦК КПСС. Александр Трифонович позвонил из автомата в редакцию: пусть печатают номер без редакционной статьи. Был субботний день, но все сотрудники явились на работу с робкой надеждой...

Вспоминаю эту историю еще и потому, что сегодня бытует и такая байка: мол, в 60-е годы кипела полнокровная литературная жизнь, «Новый мир» и его противники спорили, находясь в равных условиях.

Ничего себе равенство! С одной стороны — журнал, верный решениям, духу XX съезда. С другой — сплоченный фронт «неистовых охранителей», стремившихся восстановить слегка подновленную сталинщину [1].

Вернуться в прошлое, к одному из эпизодов литературной борьбы, меня побудила уверенность, что и в наши дни борьба эта не бывает чисто литературной. Она отражает и состязание самолюбий, и чьи-то попытки сохранить привилегированное положение, отражает противоборство жизненных, политических тенденций. Поэтому стало наконец возможным обнародование запрещенных или лежавших в столах произведений. Поэтому они встречают далеко не всегда радушный прием. Выход «Котлована», «Ювенильного моря», «Чевенгура», «Факультета ненужных вещей», «Колымских рассказов», «Жизни и судьбы» — факт и литературной, и духовной, и общественной жизни. Не литература опоздала — мы сильно припозднились.

Необычная ситуация в литературе заставляет сравнивать прежние имена с новыми, выверять критерии. Для этого понадобится время, предстоят вдумчивые дискуссии, позволяющие избежать крайностей.

Попытки объяснить нынешнее положение в литературе только лишь количественным, так сказать, приростом вряд ли состоятельны. Когда тщатся доказать, что напечатанные наконец повести А. Платонова всего лишь дополняют прежние наши представления о коллективном труде и коллективной жизни, это в лучшем случае выглядит как натяжка. Нельзя себе представить, скажем, что «Станица» и «Разбег» В. Ставского, «Бруски» Ф. Панферова — одна сторона действительности, а платоновский «Котлован», не печатавшийся с 1931 года «Впрок» — другая. И дело здесь не только в силе таланта.

А. Рыбаков выдвинул предположение: в 30-е годы многие авторы (Катаев, Эренбург, Шагинян, Леонов, Малышкин, Крымов) описывали лишь светлое. О черном умалчивали. Пришла пора восполнить пробелы. Нынешние книги вместе с книгами перечисленных писа-

[1] Проблема «Легенд и фактов» неоднократно всплывала все эти годы. О ней в проработочном тоне говорил и на прошлогодней встрече историков и писателей Н. Шундик. Но в декабре на пленуме СП РСФСР он признал свою неправоту, отказался от прежних обвинений, солидаризировался со старой новомирской статьей, принес извинения ее автору. Однако вот беда: если более двадцати лет понадобилось опытному писателю, чтобы признать очевиднейшие факты, сколько же времени уйдет на постижение правды более сложной, для развенчания более приманчивых легенд?

телей и должны дать более полную, объективную и честную картину того исторического времени.

Доля справедливого в этом утверждении есть. Но не более. Булгаков и Платонов, писавшие одновременно с авторами, перечисленными А. Рыбаковым, вовсе не специализировались на изображении темных сторон. Сама такая специализация, по-моему, проблематична. Крайне спорно деление жизни на светлые ее стороны и темные. Русская и западная классика такого деления не приемлет.

Мир А. Платонова полон «героических, трогательных и печальных событий». Реальный, узнаваемый мир этот имеет мало точек соприкосновения с миром, изображенным Панферовым или Ставским. Он охвачен неизбывной тревогой, он настораживающе трагичен даже в светлые минуты. Быть может, тревога и трагедийность непредвиденно объединяют произведения А. Платонова и М. Булгакова с А. Ахматовой, «Доктором Живаго» Б. Пастернака, антиутопией Е. Замятина «Мы». Не в этом ли одна из причин их сегодняшней актуальности?

Я далек от попытки определять особенности названных произведений и творческих манер, да такое и не входит в мою задачу. Но мы вынуждены удостовериться, что, например, «Мужество» В. Кетлинской и «Реквием» А. Ахматовой, созданные в один примерно период, «не стыкуются». Как «не стыкуются» «Время, вперед!» В. Катаева и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. А поддаются ли «стыковке» книги Ф. Панферова, В. Ставского с «Канунами» В. Белова, «На Иртыше» С. Залыгина, «Мужиками и бабами» Б. Можаева? Можно ли считать, что В. Белов, С. Залыгин, Б. Можаев лишь «дополняют» картину, нарисованную предшественниками?

Когда-то В Катаев говорил о своем романе: «Я хотел, чтобы «Время, вперед!» несло на себе печать эпохи, я хотел, чтобы моя хроника, мобилизуя современного читателя, сохранила свою ценность и для читателя будущего, являясь для него хроникой как бы исторической».

Конечно, роман отмечен печатью эпохи, доносит атмосферу победительного энтузиазма и, наверное, оказывал на читателя соответствующее воздействие. Историческая хроника? В какой-то степени. «Дух тридцатых годов» — не выдумка. Но тут уже понадобятся оговорки и относительно «духа», и относительно писательского видения. Как дух энтузиазма уживался с искусственно созданным голодом и его бесчисленными жертвами? Какое место в армии энтузиастов принадлежало беглецам из деревни?.. Как было устроено зрение писателя, по-бунински пристально всматривавшегося в детали, коль он замечал одно и упорно не видел другого?..

Позже В. Катаев почувствовал эту аномалию не хуже, чем новый читатель. Почувствовал и постарался дать более многосложную, противоречивую, многоплановую картину времени в книгах «мовистического» цикла, прежде всего «Святом колодце» и «Траве забвения». В своем стремлении к достоверности — и это любопытно! — В. Катаев предпочел манеру, позволяющую тасовать годы, нарушать временную последовательность, соединять факты с откровенной фантазией, сновидения — с бытовыми подробностями. Заплативший когда-то весьма щедрую дань казенной мифологии, он не чурался в последние годы обращаться к сказкам и легендам в исконном их понимании.

Элементы мифологии, библейские мотивы привычны в творчестве Платонова, Булгакова, Ахматовой, Пастернака. И писатели новых поколений, изначально отвергающие директивную мифологию, с горечью и болью повествующие о трагедиях современного мира (Айтматов, Распутин, Маканин, Ким), нередко тяготеют к традиционно мифологическим образам, сценам, сюжетам.

Однако кризис бюрократической мифологии не положил конец попыткам выдать низкопробные легенды за правду жизни. Одно из подтверждений тому — роман В. Иванова «Судный день», рисующий хитроумные происки мирового масонства: молью траченная легенда, к тому же попахивающая тридцать седьмым годом.

Напечатали роман, полагая, видимо, что таким образом удовлетворяются духовные потребности современников, лишившихся многих низкопробных мифов, восполняется потеря. Без лжи читателю жизнь не в жизнь.

Любые попытки дурачить людей, морочить им голову — это попытки отбросить нас назад, ко временам не только застоя, но и кровавых репрессий. И застой, и репрессии возможны в обстановке, когда их неустанно обволакивают пропагандистской ложью, казенными легендами.

Сегодня мы только приступаем к инвентаризации бюрократических мифов. Впереди окончательная их ревизия, полный демонтаж, исключающие угрозу возрождения. И методом индивидуальной трудовой деятельности задачу эту не решить: нужны совместные усилия, всех без исключения, не желающих движения вспять.

Прекрасна подлинная мифология. Она вбирает вековой нравственный опыт и высокие мечты человечества, оплодотворяет искусство, сообщает зоркость художнику, составляет бесценное достояние мировой культуры. Но есть мифы, рожденные скудоумием бюрократа-демагога, извращенной фантазией охотника за ведьмами. Такие мифы ничего, кроме дурмана, отравляющего умы и души людей, не несут. И рано или поздно за них приходится расплачиваться.

В мире журналов и книг

Остается — человек

Что за писатель Валерий Попов?

На берегах Невы такой вопрос прозвучал бы, пожалуй, неуместно: там Попова знают хорошо. А вот на берегах Москва-реки приходится постоянно разъяснять, что это не увенчанный лаврами и премиями певец «Стали и шлака» Владимир Попов и не герой «метропольской» баталии Евгений Попов. В чем тут дело? В том, что Ленинград в области культуры низведен до положения «провинции», что его литературная орбита сместилась куда-то в сторону? А может быть, в духовном провинциализме нашей столичной критики?

Скорее всего дело все-таки в нестандартности литературной позиции Валерия Попова и непривычности его творческого почерка. Попов решительно не вписывается в ряды и обоймы, он одинок в литературном мире. Это по-своему, конечно, хорошо: история литературы учит, что за такого рода одиночками будущее. Но пока-то мы все живем в настоящем, и с точки зрения сегодняшнего момента литературная судьба Попова не менее показательна и поучительна.

Попов — единственный из современных писателей, посвятивший свои поиски теме счастья, изображению внутреннего мира счастливого человека. Припомним хотя бы несколько отнюдь не случайных названий его повестей и рассказов: «Нормальный ход», «Большая удача», «Успеваем...», «Парадиз» (то есть рай), «Жизнь удалась»... От основного течения нашей социальной прозы (и соответственно критики) это все оказалось довольно далеко: сказать бы правду о нашем прошлом, пропустить бы настоящее через художественное чистилище, а уж «райскую» тему можно и на десерт оставить! Оговоримся сразу, что тема удавшейся жизни у Попова была всегда связана с индивидуальным бытием его персонажей, ничего общего не имевших с тем призраком «положительного героя», который фигурировал в нормативном литературном сознании. Поэтому и официально-бюрократическая критика Попова отнюдь не жаловала. Как-то в середине семидесятых годов бдительный Ф. Кузнецов сурово осудил один из лучших и заветных рассказов Попова — «Эта женщина» (впоследствии получивший название «Две поездки в Москву»), углядев в нем «неогедонистическую» философию. Непонятно, правда, при чем тут «нео»: гедонизм — он один и тот же во все времена, но, если попробовать перевести сей термин на русский язык, получится «наслажденчество». Что ж, к Попову такое слово применимо. Наслаждение, упоение жизнью у него, так сказать, имеет место, и, прямо скажем, не чурается он темы земной любви, по-своему, с юмористическим оттенком, продолжая рискованную традицию бунинских «Темных аллей». Однако принципиальную суть художественной позиции Попова точнее было бы определить другим философским термином — извините, еще одно греческое слово понадобится — **эвдемонизм.** Это от слова «счастье» — система мышления, в которой во главу угла ставится счастье каждого человека.

Знаем, конечно, что правильнее заботится о всеобщем процветании. Но не от того ли обернулись разрушением многие социальные преобразования, что в их замысле и проекте отсутствовала сама мера счастья — не только всех, но и каждого? Могут ли вести людей ко всеобщей гармонии те, кому неведом подлинный вкус счастья — не упоения властью, не торжества амбиции, не престижного обладания «тем, чего нет у других»,— а простых и неподдельных человеческих радостей: дружбы, любви, творческой увлеченности?

И сам язык, саму нашу повседневную речь Попов воспринимает как счастливый дар, радостно играя со словом, глядя на мир сквозь увеличительное стекло лирической гиперболы. Не могу назвать другого современного прозаика, который бы так же был верен «русскому устному» и искал красоту только в нем, избегая книжных красок. При этом Попов не просто «цитирует» устную речь, он ее энергично спрессовывает, отбрасывая все лишнее. Трудно даже сказать, прав ли он, вгоняя в лапидарный рассказ то, что другие его коллеги развернули бы в роман или по крайней мере в обширную повесть. Впрочем, Попов сам не прочь пошутить над своим лаконизмом: «Да-а. Видно, краткость сестра таланта, но не его мать». Или в том же рассказе «Излишняя виртуозность»: «— Вам за ваш текст полагается двадцать рублей.— А за подтекст? — А разве есть он у вас? — Конечно! — Тогда двадцать пять». Но шутки шутками, а работает Попов именно на подтексте, критика же, к сожалению, в игру смыслов вчитываться не склонна, она предпочитает сегодня ворочать глыбами глобальных категорий на достаточно элементарном литератур-

---

Валерий Попов. Новая Шехерезада. Повесть, рассказы. Л., Советский писатель, 1988.

ном материале. Да и веселость у нас почему-то противопоставляется серьезности...

Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» и новую книгу В. Попова оформило, как предыдущие: жизнерадостно-светлый переплет, на нем — веселенький рисунок. Но... Вот хотя бы рассказ «Никогда». Герой, автобиографичность которого не вызывает сомнения, садится за работу, бьет по клавишам пишущей машинки, а следов на бумаге не остается. И, кажется, сломалась не только машинка: «Стучал я по чистому листу и думал с отчаянием: ну когда же будет так, чтобы все хорошо?

И понял вдруг: а никогда! Никогда такого не будет, чтобы все было хорошо! И надеяться не надо, мучиться зря!

И только понял я это — сразу словно гора с плеч упала... «Никогда!» Не надо и мечтать! Колоссальное облегчение почувствовал. Вот хорошо... От радости даже по машинке кулаком стукнул — все же не зря она мне дана! Помогает сосредоточиться!»

Погодите, погодите... Это ведь тот же самый автор написал о той же, по-видимому, машинке, которой раньше посвящены были такие слова: «Потом я печатаю первую строчку, разглядываю ее и, сладострастно оттягивая начало работы, забиваю эту строчку буквой «ж». Вот так: жжжжжжж...»

Что случилось?

«Пытка начинается с транспорта... Но даже если троллейбус приходит быстро — везет ли он тебя к счастью? Отнюдь!.. И большинство дел сейчас я делаю с тайной надеждой, что они не получатся!.. Есть уже, к сожалению, такой опыт, все рассматривается теперь через призму испуга... Может, когда-нибудь, лет через пятнадцать, можно будет расслабиться, но навряд ли... Я даже забыл, когда в последний раз я делал что-либо, доставляющее удовольствие!»

А когда герой Попова пытается взбунтоваться, вырваться из оков обыденности, отправиться куда глаза глядят, его останавливает... Геркулес. Да нет, не мифологический, а вполне реальный — овсяные хлопья «геркулес» дают на углу, а они «во как» нужны — «и для дочки, и для собачки». Приходится становиться в очередь, а с двадцатью пачками в руках — какой уж там бунт!

«А, так это быт! — скажет, возможно, иной читатель, знакомый с нашей литературно-критической фразеологией. — Герой не выдержал испытания бытом, да и автор, наверное, тоже».

И вот тут я пытаюсь вспомнить: какой же это подлец (да, товарищи редакторы, прошу сохранить именно это слово!) придумал обозвать то ежедневное унижение, которому мы все постоянно подвергаемся, обтекаемым словечком «быт», а нескончаемую **пытку** (точно ведь у Попова сказано!) книжным перлом «испытание». А пишущих правду о реальной жизни прозаиков мы же еще и понукаем дешевыми каламбурами: дескать, подавай нам не быт, а бытие!

Ну ладно, «геркулес», кофе растворимый — это быт. Согласен. Ну, ладно, необогреваемый вагон поезда, постельное белье, которое, спрыснув водой, ухитряются по три раза выдавать разным пассажирам,— это тоже быт. Но прочитаем такой вот эпизод. Юная героиня повести «Новая Шехерезада», обосновавшись в Ленинграде, пройдя сквозь все положенные «лимитчице» страдания и оскорбления, наконец выходит замуж, становится матерью, и семейное счастье начинается с регулярных посещений реанимационного отделения детской больницы: «Появляется врач — в зеленой шапочке, в зеленом халате, и по бумажке монотонно начинает читать:

— ...У Хохловой, Лазаревой, Шевчук, Толстиковой состояние остается тяжелым, у Сосновского, Рябова, Гольштейн из тяжелого перешло в очень тяжелое. Грибов, Грузина, Нахимчук находятся в состоянии клинической смерти (для этого отделения это еще считается хорошо — есть надежда!), Зуевых, Серегиных, Вербицких прошу остаться!

И знаешь, что надо повернуться и быстро идти к выходу, чтобы не услышать тот душераздирающий крик, который сейчас раздастся!»

И это быт?!

Думаю, шуточку про быт и бытие придумали не иначе, как пациенты привилегированных клиник, имеющие повышенные права на здоровье и на жизнь. Что с того, что мы по детской смертности среди самых отсталых стран,— средняя продолжительность жизни, кажется, не так плоха, благодаря хорошо сбереженным спецобслуживанием жителям.

Как-то по служебным делам довелось мне побывать в солидном учреждении. Забрел я в тамошний буфет — не лучший, не для «колоссов» (как их Попов называет), а для рядовых служащих да посетителей. Скромно все, с достоинством. Обыкновенные сосиски — только что из мяса, с ностальгически хрустящей кожицей. Знакомые нашим детям только по рассказам конфеты: «Стратосфера», «Мишка косолапый». И как только подходишь к стойке — ненавязчиво выплывает навстречу с приветливой улыбкой чистенькая буфетчица. Вот здесь бытие, никак не меньше...

И вот ведь какая метаморфоза совсем недавно произошла Нам долго внушали, что всякого рода бытовые трудности — пустяк в сравнении с мировой революцией. Дескать, продуктов нет, одежды тоже, медицина и сервис чудовищны, но «социально» — все хорошо. А в последние годы социальными у нас стали, как и на Западе, называть вопросы жилищные, продовольственные, проблемы здравоохранения, просвещения — словом, все то, что прежде к пресловутому «быту» относили. И в литературе, заметьте, сегодня в цене социальность не схематически конъюнктурная, а органично вырастающая из повседневной жизни. Поняли мы, что в широкоформатных премированных эпопеях настоящей социальности — ноль целых ноль десятых. А теснившиеся на обочине литературного процесса «бытовики» Маканин, Петрушевская, Жванецкий — художники социальные, без всяких скидок и кавычек.

Тут и ключ к творческой биографии Попова. Мастер колоритной детали, жизнерадостный певец быта и его «тихих радостей» (есть у Попова рассказ с таким названием), прозаик, взявший на себя роль, так сказать, русского Пруста (роль, заметим, нелегкая во всех отношениях),— он не мог не выйти на общие закономерности. Двадцать лет назад совсем молодой в ту пору ленинградский филолог, а ныне хорошо известный западному научному миру (а также интеллигентной части отечественных ученых) литературовед Игорь Смирнов поместил в «Авроре» рецензию на первую книгу столь же молодого тогда Попова, назвав ее «От ви́дения — к ведá нию». Думаю, в этой формуле путь писателя был предсказан точно. Энергичная конкретность письма, зоркая пристальность взгляда помогли Попову разобраться в происходящем вокруг, понять тех, кто рядом. И его сегодняшний переход от веселых красок к трагическим не уступка «требованиям времени», а естественная ступень творческого развития. Писатель, имевший смелость сказать о себе: «Жизнь удалась»,— не мог не сделать решительного шага навстречу тем, у кого жизнь не удалась. И не удалась, увы, отнюдь не случайно.

И снова о повести «Новая Шехерезада». Это ведь первый для Попова опыт перевоплощения. Раньше «я» у него означало либо самого автора, либо предельно близкого ему героя. А тут печальнейший рассказ от лица женщины, успевшей крепко хлебнуть в этой жизни. Была Марина перспективной гимнасткой, ушибла ногу и сразу осталась ни с чем. Пошла работать на кухню в онкологической больнице — сразу чуть не попалась на «экономии» продуктов. Нехорошо? Еще бы! Автор и не думает героиню оправдывать, но по ходу он нам показывает, что труд ее был каторжный — без гипербол, что воровство в больнице — система, а не «кое-где у нас порой». А ведь столько в Марине живости, цельности, энергии — и все это пропадает. И дело не в том, что ее постоянно предают возлюбленные, коллеги — ее как бы постоянно предает сама жизнь. К финалу повести Марина вроде бы окрепла социально: ребенок, к счастью, выжил, да и сама она поднабралась бойцовских качеств, выбилась аж в секретарши. Но автор-то ее по-прежнему жалеет, он видит, что настоящего счастья ей не видать.

Под занавес хочется сравнить «Новую Шехерезаду» с «Интердевочкой» В. Кунина (о которой главное уже сказала на страницах «Знамени» А. Марченко в статье «Дети нашей беды»). Казалось бы, у В. Кунина столько социальной остроты — и проблема пикантнейшая, и эффектная гибель героини в автомашине, к тому же не в какой-нибудь, а в «вольво». Куда там героине В. Попова с ее внешне заурядной биографией! Но что осталось в памяти от «Интердевочки»? Выразительные подробности «профессиональной» жизни ленинградских гетер, цифры стоимости туалетов и прочего. У Попова такой уникальной информации нет. От его повести остается в душе другое. Остается — человек.

Вл. Новиков

Все люди — братья?

О многом, очень о многом из того, что еще вчера было под запретом или «не существовало» вообще, мы сейчас можем говорить открыто, можем прочесть, увидеть на экране. Рухнули барьеры, открылись шлюзы (правда, кое-кому кажется, что кингстоны) и хлынула невиданная, неслыханная, нечитанная информация. Пока наше внимание в основном поглощено проблемами отечественного прошлого и настоящего, что вполне естественно. Но в этом оглушительном процессе самопознания не стоит забывать и о том, что, кроме нашей «одной шестой суши», есть и остальные пять шестых.

А ведь не так давно мы знали о них, этих пяти шестых, едва ли не больше, чем о себе. Книги моего детства были заполнены постоянно бастующими французами или итальянцами, несчастными негритянскими детишками, удиравшими из книги в книгу от озверевших расистов, и вообще любой иностранный персонаж на экране или на сцене был прямо-таки обречен быть шпионом или на худой конец — гангстером.

Сейчас, с улыбкой ли, с горечью вспоминая этот примитивный «образ врага», проще всего и его занести в пассив творцов сталинской диктатуры и брежневского застоя. Но не мы ли сами (или, скажем, так: многие из нас) до сих пор по инерции тщимся разглядеть диверсию то в эстрадной песенке, то в заокеанском кинофильме, где нет-нет да и мелькнет что-то «обнаженное», то в высказывании какого-нибудь министра или прези-

---

Взаимодействие культур СССР и США. XVIII—XX вв. М., Наука, 1987; Арманд Хаммер. Мой век — двадцатый. Пути и встречи. Пер. с англ. М., Прогресс. 1988.

дента? В почте газет и журналов звучат требования поставить к стенке Познера и Донахью за «провокационные телемосты». Над этим, конечно, можно посмеяться, но ведь рядом-то публикуются вполне серьезные статьи иных писателей и литературных критиков, суть которых бесхитростна: все у нас всегда было прекрасно и замечательно, великий Сталин сделал нас лучшими в мире, а там, за нашими кордонами,— враги, враги, враги...

И вот перед нами книга, название которой в наше мировоззрение, сформировавшееся в культурно-идеологическом самолюбовании, как-то совсем не вписывается. «Взаимодействие культур...» Что?! Какое взаимодействие? Ведь в области идеологии (а стало быть, и культуры) не может быть мирного сосуществования. А тут, на тебе, взаимодействие! Уверен: многие, очень многие и сегодня мыслят именно так. И в этом — одна из причин, по которым такая тема и такая книга сегодня (вчера, позавчера!) просто необходима.

Откроем ее. И прочтем в предисловии О. Тугановой такие слова: «Сравнение с чужой культурой очень важно: оно помогает правильной самооценке, критическому выявлению сильных и слабых сторон своего историко-культурного опыта... Опасность неверных восприятий всегда существует, но если постоянно опасаться неверного восприятия чужих культурных ценностей, то можно потерять многие важные импульсы для своего развития». Не такая уж сложная и вполне логичная мысль. Но пришли-то мы к ней через «эпоху» непримиримой борьбы с кока-колой, рок-н-роллом и разными джеймсами бондами. И все-таки пришли!

Пришли и читаем, например, в статьях Н. Болховитинова и В. Шестакова, что корни русско-американских связей идут практически от времени завоевания американцами национальной независимости (1776 г.), что в связях этих преобладала доброжелательность, что молодая заокеанская республика привлекала живое внимание Пушкина, Кюхельбекера, Одоевского, Герцена, Чернышевского, Л. Толстого... Впрочем, специалисты знают, что в работах ряда советских историков, прежде всего Н. Болховитинова, связи наших стран в XVIII—XIX веках достаточно освещались и раньше.

Куда хуже обстояло дело с освещением послеоктябрьской истории отношений двух великих держав, хотя в конъюнктурных работах недостатка не было. Правда, могут сказать, что и культурные, и иные отношения СССР и США длительное время находились на отметке, близкой к нулевой, так что и писать, мол, было не о чем. Так ли? Думаю, что для многих будет интересна статья С. Дементьевой о широте и многообразии советско-американских культурных связей в 30-е годы. В какой-то мере смыкаются с этой работой статьи И. Коккинаки, И. Касьяненко (пожалуй, и В. Хайта) о взаимосвязи, взаимообогащении архитектурных традиций СССР и США.

С особым вниманием я прочел (ведь и я в конце концов читатель) микроисследование С. Шведова об американском «автомобильном короле» Генри Форде-старшем. В не такие уж далекие от нас 30-е годы многие инженеры и рабочие, отлично понимая всю разницу между социалистическим и капиталистическим предпринимательством, тем не менее видели в Г. Форде и созданной им системе производства многое, с чего не зазорно было брать пример.

Яркая, многообразная картина советско-американских взаимодействий в годы до установления дипломатических отношений представлена и в мемуарах хорошо всем нам известного Арманда Хаммера. Да, они отражают впечатления конкретного человека, но мы отчетливо видим за этими впечатлениями доброжелательную позицию большинства американцев в отношении к трудолюбивому народу Советской России. Наблюдения Хаммера ценны и тем, что, как пишет он сам, «в мире осталось в живых не больше десятка иностранцев, посетивших Россию в то время (в данном случае автор говорит о начале 20-х годов.— **С. Б.**), и я уверен, что никто не работал так тесно, как я, с советскими руководителями в период перехода России от «военного коммунизма» к социализму». Весьма интересен, в частности, рассказ Хаммера о встрече с Троцким, хотя бы по причине дефицита нашей информации об этом политическом деятеле.

Если воспоминания Хаммера привлекают своей фактической стороной, то многие статьи в сборнике знаменательны тем, что они решительно опровергают укоренившиеся в нашем массовом сознании стереотипы. Вот статья А. Мельвиля «Особенности американских восприятий Советского Союза». Как просто еще недавно было считать, что все американцы нас ненавидят, и как нелегко переварить приводимые в этой статье статистические выкладки, позволяющие автору сказать: «Американские восприятия Советского Союза не монолитны — различные группы и слои американского общества воспринимают СССР по-разному». А. Мельвиль показывает, что, например, при ужесточении официальной политики Вашингтона по отношению к СССР далеко не все американцы начинают негодовать и демонстрировать с плакатами, напротив — весьма значительная их часть солидаризируется с этой политикой. Мы скажем, что это — обывательский конформизм, и по-своему будем правы, а те, кого мы критикуем, видят в этом проявление своего патриотизма. И потому самый верный и объективный путь взаимооценки — статистика, четкие данные, факты.

А кроме них,— конечно же, доброжелательность, своего рода «презумпция невиновности» в отношении партнера. Как нам не хватало этого вплоть до самых последних лет! Когда американский миллионер описывает свой ночной визит в 1961 г. на некогда основанную им московскую карандашную фабрику (позднее она получила имя Сакко и Ванцетти), когда он рассказывает, например, о встрече со смертельно больным К. У. Черненко, снова думается: а ведь это пишет искренний друг, чуткий к нашим бедам, и к нашим радостям, пришедший к нам на помощь и в трагические дни Чернобыля, и во время недавнего землетрясения в Армении. И вслед за Хаммером мы наверняка вздохнем, прочтя такие, скажем, строки: «Сегодня, когда через 25 лет я просматриваю стенограмму нашей встречи (речь идет о встрече Хаммера с Н. С. Хрущевым в феврале 1961 г.— **С. Б.**), меня больше всего поражает, что многие вопросы, обсуждавшиеся нами с Хрущевым, упоминались в моих разговорах с Лениным, и сегодня мы снова возвращаемся к ним с Горбачевым и теперешним советским руководством». Как было бы хорошо, если бы спустя еще четверть века комунибудь из коллег 90-летнего Хаммера не пришлось повторить нечто подобное. Хочется в это верить.

За темами рассказов Хаммера, за статьями сборника встает очевидный вывод: широкое возобновление разумных, трезвых (если хотите — прагматичных, это вовсе не ругательное слово!) контактов СССР и США принесет обеим сторонам немало полезного. Хотя большое и видится на расстоянии, многое мы сможем разглядеть, только приблизившись и внимательно присмотревшись друг к другу. Нас, например, изумляют иные крайности американской политической структуры. Но это объясняется совершенно конкретными причинами. Тот же А. Мельвиль пишет: «Американская культура и национальное сознание возникли в особом «плавильном котле», в котором синтез разных культурно-исторических традиций породил некое новое качество». Отсюда и плюрализм — многообразие политических, общественных, культурных форм в США.

О различных аспектах послевоенного (то есть современного) этапа советско-американских отношений, в который мы, по понятным причинам, вглядываемся с особым вниманием, рассказывается в статьях А. Мулярчика, В. Чибисенкова, Г. Добросельской, К. Разлогова. Задержись этот сборник по тем или иным причинам с выходом на год-другой, в нем, несомненно, были бы работы, отражающие новое состояние отношений СССР и США, сложившееся прежде всего в результате диалога лидеров наших держав в Рейкьявике и Женеве, в Вашингтоне и Москве, в результате мирных предложений М. С. Горбачева на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, признанных во всем мире беспрецедентными. Такие труды — вопрос ближайшего будущего.

И сборник, и мемуары, несмотря на всю их многообразную информационность, в конечном счете говорят нам об одном — мир наш един и неделим, хотя его давным-давно поделили. Сейчас, после обмена визитами между главами наших государств, после известных соглашений, тревожившее совсем недавно будущее многим кажется приятным и радужным. Только вот не уподобиться бы нам милейшему вампиловскому музыканту Сарафанову, всю жизнь сочинявшему ораторию «Все люди — братья», но записавшему в итоге лишь несколько тактов. Нам еще предстоит узнать, что в США «существует индивидуализм творческий, дающий человеку импульс к инициативе, изобретательности... Он был издавна связан с идеей братства людей, а затем соединился с понятием координированного действия, которое американцы умеют налаживать».

Это — из предисловия О. Тугановой. И ей же (в соавторстве с В. Лазаревым) принадлежит забавный цикл, объединяющий «наследие» некоего вымышленного Тихона Шумилкина — современного близнеца Козьмы Пруткова. Иные из «мыслей» Шумилкина заставляют задуматься, такая вот, например: «Если перевезти собаку из одной страны в другую, она немедленно найдет общий язык с зарубежными собаками. Истинно пишут сейчас в газетах: человек не должен зазнаваться перед своими меньшими братьями — зверьем». И что бы ни сказали по этому поводу зоологи — порой не грех брать пример с меньших братьев. А с братьев равновеликих — тем более.

И тогда, может быть, не понадобится вынесенный в заголовок рецензии вопросительный знак.

Сергей Бурин

«Боль земли...»

Когда я дочитывал последние страницы новой поэтической книжки Геворга Эмина, Армению постигло великое горе: небывалой силы землетрясение унесло тысячи жизней, превратило в обломки города и селения, оставив без крова другие тысячи...

«Кто повидал тебя, Армения,— с тобой всегда, с тобой всегда». Так писала поэтесса Мария Петровых, всю жизнь

Геворг Эмин. Ласточка из Аштарака. Стихи. Перевод с армянского. М., Советский писатель. 1988.

переводившая стихи армянских поэтов. Многие, знаю, не бывали на этой земле, но седьмое декабря прошлого года заставило глубже, чем когда-либо, ощутить нашу общую духовную связь с одним из древнейших народов мира, его историей, культурой, жизнью. Всякая трагедия, раня, вместе с тем обостряет зрение, делает тоньше слух, сострадательнее сердце. Потому, наверное, давно написанные разными поэтами стихи об Армении сегодня стали восприниматься вдруг по-новому, как вот эти, Ваагна Давтяна:

«То ли небо упало — никак не пойму,— то ли это земля устремилась к нему... И мне кажется: горы придумавший бог испугался разверзшейся бездны у ног и умчался отсюда, чтоб вдруг не упасть, предоставив стихиям верховную власть...».

Или стихи Геворга Эмина, написанные после кончины брата: «День этой смерти с каждым днем все дальше, след этой смерти с каждым днем все глубже...»

Сегодня невозможно не вспомнить о страдании, терпении и мужестве народа, который, как свидетельствует Г. Эмин, был «пылью развеян по всей земле», но ведь «только печаль, только скорбь одна нерассекаема, неразделима...». Привкус горечи ощущаешь в стихах, посвященных истории родины. Как емко строка из сборника «Ласточка из Аштарака» — «Пергамент рукописи древней разъят копытом, колесом...» — вместила в себя вековые национальные катастрофы и трагедии древнего народа.

Книжка Эмина многообразна по охвату тем и сюжетов, но сегодня хотелось бы остановить взгляд на стихах главных ее разделов — «Мой век» и «Моя земля», которые в значительной степени определяют ее гражданское звучание. В стихах о времени и истории не обнаружишь ни архивной пыли, ни излишней модернизации в осмыслении былого. Скорбно и гневно звучат строки о геноциде 1915—1918 годов — кровавой резне, учиненной турецкими янычарами — события эти и по сей день остаются в памяти, словно не прошли с тех пор многие десятилетия. Вот по бесплодной пустыне бредут люди, обреченные на гибель. Седая старуха ведет за руку «последнего еще живого внука»:

Сама уже от голода без сил,
два абрикоса сунула сушеных
ребенку, чтоб он голод утолил,
Чтоб не упал среди пути внучонок...
(Перевод Л. Шерешевского.)

Из тех абрикосовых косточек вырастут два чахлых деревца — память о загубленных человеческих жизнях. И далее, в том же стихотворении «У памятника жертвам геноцида в Ереване», нарисована еще более впечатляющая картина последствий национальной розни. Здесь, по сути, тоже органичное превращение реальных деталей в емкую, многозначную поэтическую символику, как и в упомянутых ранее строках о пергаменте.

В стихах сборника отчетливо прослеживается одна из характерных особенностей армянской поэзии: столетия, порой целые эпохи жизни народов, наций предстают в нерасторжимости взаимосвязей. «Всю боль земли за все ее века» вмещает в своем сердце и поэт Г. Эмин. И тут же с горечью не может не вспомнить о том, как предсмертный призыв Гете «Больше света!» был цинично искажен сначала кайзером Вильгельмом, превратившим Европу «в огромный и жаркий костер», а потом и Гитлером, по воле которого «в Освенциме печи разинули огненный зев». «Летописец... Геворг», стоя «в изголовье больного века», считает и себя, как, впрочем, подобает всем истинно совестливым художникам, «ответствующим за его кровавое средневековье». С прямотой, присущей нашим сегодняшним дням, говорит Эмин о XX столетии, в котором «все смешалось и перемололось», которое вместо свершения добрых дел, увы, приучило многих к манипуляции словом и жестом, убедило, что «возможно не быть, но до́лжно казаться и слыть». Отсюда столько «калек с руками-ногами, но как бы с изъяном Души». Не случайны на страницах поэтической книжки и трагические библейские образы, видения Апокалипсиса, ибо в наш век «стало кротким преданьем библейское страшное детство».

Художническое мышление Эмина постоянно гражданственно, оно отстаивает право человека на личное достоинство, отрицает всякую ложь, фальшь, какие бы благопристойные личины они ни принимали: «На мои к судьбе обращения жду я праведного решения, справедливости я хочу...»

Драматизм ситуаций, жесткая прямота речи поэта во многих стихах призваны морально раскрепощать людей, учить их жить гордо:

Нельзя ходить с понурой головой,
А надо вдаль глядеть перед собой.
Когда под ношей плечи опустил,
Свой век поднять уже не хватит сил.
(Перевод Вл. Солоухина.)

Многие стихи помогают человеку увидеть, сберечь созидательные силы жизни. Ведь «рыбкой станет икринка — из миллионов одна» и не из каждого яйца вылупится птенец. Нельзя считать, что любишь свою землю, если не помнишь о том, что «в каждом цветке — море завтрашней зелени, в каждом ростке — дней грядущих леса».

Голос Г. Эмина не только печален, он бывает и нежно раздумчивым: «...я, ракушкою морской в твоих ладонях присмирев, угадываю в тишине рожденье жемчуга во мне». И, оставаясь столь же нежным, способен приобретать одновременно иронические оттенки, как, скажем, в стихотворении «Женщина»: «Сто́ит только сказать, нежность свою затая: «Любовь моя!», как она тут же ответит, всю жизнь твою на ладони держа: «Я твоя госпожа!» Не чужд поэт и простой доброй улыбке, когда в шутливом стихотворении «Между Ереваном и Аштараком» герои то рвутся из асфальтово-бензинного города в тихие сады родного села Эмина, то из этой благодати — снова к «гари и зною» столицы.

Убедившись, сколь впечатляющи образы в трагедийных стихах книги, нельзя не заметить, что не менее зримы и объемны они в стихах, воспевающих красоту жизни — а их тут немало:

Я рисовать хочу, как тополь тонкой кистью
Рисует в небе все, что скажут листья,
Хочу лепить движение и трепет,
Лепить, как ветер встречных женщин лепит...
(Перевод М. Петровых.)

Г. Эмин — умный, тонкий собеседник. Поэтому, наверное, так чужеродно выглядят в «Ласточке из Аштарака» немногие безликие, чрезмерно декларативные и назидательные стихи. Признаться, не так и важно, кто «виноват» в этом: автор или переводчик. Вялые, невыразительные строки, на мой взгляд, встречаются в разделе «Мои песни». Так воспринимается диптих 1950 года «В. В. Маяковскому», где дает о себе знать однобокая, «хрестоматийная» трактовка творчества и личности великого поэта, во многом характерная для тех лет. Архаичными, поверхностными выглядят сейчас и слова о том, что стихам Маяковского уготована роль «ключа», открывающего «в Грядущее двери», той «руки», что «укажет нам путь в мир свершений невероятных»... Встречаются и просто неуклюжие строки: «...впереди демонстрации шел сквозь дымы, башню Эйфеля, будто подружку, обняв». Да и призыв не верить в смерть поэта не только привычно трафаретен, но, я бы сказал, выглядит невольной бестактностью: ведь гибель Маяковского — результат непростых причин, которые глубже только личных. Излишняя «лобовая» прямолинейность портит важное по теме стихотворение «Кто объяснит мне, как же случилось...» из раздела «Мой век»... Едва ли, думаю, правомерно непримиримо сталкивать «клавир» классической музыки и «джунглей глухих каннибальский тамтам» — явный намек на усердно атакуемую ныне «современную» музыку. Или в риторической форме гневаться на «хиппи и битников — праздных чудил». Ведь в жизни всё куда сложней.

Но это тем не менее отдельные издержки интересной книги. «Ласточка из Аштарака», уверен, найдет путь к читателю. И для того, чтобы открыть этот путь, немало потрудились талантливые поэты-переводчики В. Леонович, Л. Григорьян, Л. Шерешевский, Ю. Левитанский, Е. Евтушенко, Т. Бек и другие. Хотя, конечно, допускаю, в книге, над которой работал целый коллектив поэтов, неизбежно появление неравноценных по качеству переводов. В целом же переводчикам удалось показать, как Г. Эмин, щедро используя традиции армянской поэзии, обогащает старинные, казалось бы, канонические приемы и словесные формы новыми, сегодняшними интонациями и лексикой. Поэтому лишены «музейности» столь любимые восточной поэзией всех веков своеобразные рефрены и способы рифмовки, выразительные «параллелизмы» типа: «Свет засыпает, мрак просыпается, добро засыпает, зло просыпается, засыпает радость, боль просыпается, жизнь засыпает, смерть просыпается...» Даже такой несколько декоративный прием, как сфрагида (упоминание поэтом в стихах своего имени — «...я, летописец, я, Геворг»), воспринимается естественно, так как за ним стоит личность автора, художника нашего времени.

Можно было бы пожалеть, что Эмин не включил в эту книгу, где есть и стихотворения из прошлых сборников, некоторые из известных произведений, таких, как «Дождь в старом Ереване» в переводе Ю. Левитанского, «Короче слов, чем «да» и «нет»», переведенное В. Потаповой, «Любовь моя, душа моя...» и «Ты бы в гости ко мне пришла...», обретших поистине вторую жизнь у русскоязычного читателя благодаря мастерству М. Петровых и В. Звягинцевой. Но в общем-то, что сетовать: все равно всех хороших стихов в одну книжку не включишь...

Несколько лет назад, напутствуя в журнале «Литературная Армения» молодого поэта В. Шулакова, Геворг Эмин сказал, что главное в стихах — это умение мыслить и чувствовать «честно и смело». Напомнил и про важность связи поэзии с «живой, окружающей нас жизнью». Все эти качества присущи лучшим стихам самого Эмина — поэта, при всем драматизме его чувств и размышлений, умеющего всегда «слышать соловья за посвистом зимы» и верить, что нужно упорно «шагать к человечьему счастью сквозь страданья».

Виктор Гиленко

Смысл жизни «по Осокину»

Ученик десятого класса сельской школы в одном из сочинений признается: «Смысл жизни эта жрать досыту и пить допьяну, если аткровена...» Великовозрастный монстр Осокин, дважды остававшийся на второй год, смысл своей жизни понимает именно так. И переубеждать его, похоже, безнадежно. Никто из педагогов, кроме молодого учителя Геннадия Морозова, не отваживается поколебать наглость невежды, уверенного, что все сойдет с рук, и аттестат, несмотря на полную безграмотность и тупость, он обязательно получит.

Где и когда происходит действие повести? В нашей российской глубинке, в конце пятидесятых. Осокин, третирующий вместе с пьяными дружками деревню,— родственник председателя колхоза Дмитрия Егорыча. Воспитанный в преклонении перед силой, племянник «хозяина» стремится к такой же власти над людьми, которой обладает всемогущий дядюшка. Из волчонка уже сделали волка, и аттестат в хорошо рассчитанной, цинично-откровенной жизненной игре необходим только потому, что «волк должен быть в стае. И это должен быть обученный волк».

Последнее, весьма точное наблюдение принадлежит одному из учителей, Аркадию Генриховичу, который давно понял и принял здешние правила поведения — ни во что не вмешиваться. Он-то и пытается успокоить молодого учителя: дескать, агрессивного хама и невежду «обязательно остановит жизнь», поскольку она «меняется к лучшему». Геннадию такая позиция кажется низкой и недостойной. В глубине души он презирает чудаковатого математика, понимая, что тот в любом случае «отсидится в кустах».

Геннадий не хочет принимать навязываемые ему условия (аттестовать Осокина, несмотря на сплошные двойки), он не способен лавировать, менять тактику поведения во все более накаляющейся обстановке. Трудно, когда за справедливость приходится бороться одному. Каждая попытка молодого учителя поставить на место зарвавшегося переростка заканчивается все ужесточающейся местью. Сначала в окно летит булыжник, потом подстраивается падение в погреб, где приходится провести несколько часов; наконец, дружки Осокина, встретив Морозова на темной улице, уже открыто угрожают: «Ехал бы ты отсюда...»

В повести развивается не только конфликт учителя с учеником: автор затрагивает проблемы, которые до сих пор, к сожалению, не разрешены в нашем обществе. Писатель размышляет о зависимости людей от местной власти, особенно в деревне. «До бога высоко, до царя далеко», а председатель — Дмитрий Егорыч — вот он, рядом, и в его руках — уголь, дрова, сено, а в конце пятидесятых — еще и керосин... Да что говорить, чуть ли не вся жизнь. И вот уже директор школы, разговаривая с Егорычем, «пришепетывает от волнения», извиняясь за молодого учителя. Председатель возмущен: какой-то сопляк осмелился вызвать его в школу из-за неуспеваемости и безобразного поведения племянника,— и немедленно требует педагога в правление, «на ковер». «Не девиц воспитываем, а мужиков, земледельцев! — выговаривает он Геннадию.— Вот ты, знаю, рожь от пшеницы не отличишь, а он это умел, еще когда без штанов бегал. Он быка завалить может, крышу покрыть, плетень поставить, лошадь подковать, движок разобрать и обратно его собрать. Ты это умеешь? То-то! И ты его за это уважай, тем более сирота с малых лет, не в ласке жил. А то, что он разные там суффиксы не разумеет, твоя забота. Учи! Для того и содержим тебя, с тебя и спрос. И школу чтоб он у тебя окончил. Мне будешь лично за то отвечать. У меня рука тяжелая...» Фраза «для того и содержим тебя» многое объясняет. «Хозяину» лучше не перечить, на то он властью и поставлен, чтобы распоряжаться.

Осокина можно было бы уважать за практическую хватку, если бы не желание безграничной власти, если бы не «броня невозмутимости», за которой едва скрывается усвоенное от дяди презрение к интеллигенции. Егорыч с видимым удовольствием в любую погоду гоняет этих «умников» на субботники и воскресники, издеваясь над их неумением быстро перебирать горох или морковку, а его племянник в это время надменно взирает на «трудовую массу», развалившись в председательском тарантасе. Липовые справки, освобождающие и от труда, и от занятий в школе, в любую минуту выдает Осокину местная молоденькая фельдшерица Катя. Наивная и глуповатая, она не только боится Дмитрия Егорыча, но и испытывает нечто вроде почтения к Осокину: у него есть цель, он хочет быть директором. «Директором чего?» — изумленно спрашивает как-то учитель. «Он еще не решил, чего именно...,— спокойно отвечает Катя.— У него есть хорошие задатки. Когда он говорит, например, его слушаются. И потом он все умеет делать...» Напрасно Геннадий убеждает девушку, что Осокину «нaдо прежде всего учиться». Его слушаются — вот для нее главное, а угрозы, нажим, физическая сила, с помощью которых Осокин утверждается в жизни, давно уже воспринимаются как должное.

Геннадию приходится довольно быстро расстаться с романтическими иллюзиями. Решив испытать себя, вдвоем с ближайшим другом Мясоедовым при распределении они добровольно выбрали «самую что ни на есть Тмутаракань». Хотели плечом к плечу «сеять разумное, доброе, вечное», а судьба словно посмеялась над ними: в первый же день, когда они прибыли на место, в роно сказали: «не муж с женой, обойдетесь и так» — и послали по разным деревням. Геннадию сразу пришлось признаться себе, что о деревне судил по фильму «Кубанские казаки», где колхозники, убирая богатый урожай, работали с песнями, радостно, лилось рекой золотое зерно, и потом они веселились на ярмарках, сидели за обильно уставленными яствами столами... Здесь же, в Тмутаракани открылась «совсем иная жизнь и люди другие — в грязных или засаленных телогрейках, резиновых тусклых сапогах, крикливые, пахнущие водкой или самогоном, вечно подавленные чем-то или кем-то...». Серо, голодно, угрюмо.

Геннадий Морозов в итоге проиграл поединок с Осокиным. Специальная комиссия из района обвинила учителя в профессиональной непригодности, Осокин же получил аттестат и уехал поступать в сельскохозяйственный институт. Но перед этим случилось непоправимое: романтик Мясоедов, который влюбился в Катю, писал ей письма, посвящал стихи, был убит дружками Осокина. Трое на глазах у Мясоедова надругались над Катей, Мясоедов бросился на преступников,— его убивали долго и жестоко. Осокин же, который спокойно смотрел на происходящее со стороны и совершал убийство чужими руками, сел в тарантас и уехал: беспощадно отомстив, он остался безнаказанным.

И даже теперь, годы спустя, когда Геннадий пытается забыть об Осокине, тот неожиданно снова появляется в его жизни.

Из-за преступного равнодушия председателя одного из отдаленных колхозов погиб тракторист. Фамилия председателя — совпадение? — тоже была Осокин, и Геннадий по заданию редакции (он занялся журналистикой после ухода из школы) летел на место в полной уверенности, что встретит старого знакомца, но нет, оказалось — однофамильца. Однако грубый окрик, самоуверенность, презрение к «писакам-правдолюбцам», рассуждающим о морали, были теми же. И тот, давний, и этот, нынешний «хозяин», получили все, о чем мечтали, и жизнь не остановила их, как наивно надеялся когда-то старый учитель. То же презрительное «ты» в обращении к незнакомому человеку, самонадеянная уверенность в полной безнаказанности. И тот, *прежний* Осокин словно выглянул на минутку из-за спины своего однофамильца.

Юрий Поройков честно написал о тех явлениях, с которыми каждый из нас сталкивался в жизни не однажды. Невежество тем агрессивнее, чем прочнее почва у него под ногами. Осокиных еще много, это действительно обученные волки в стае, и они еще, увы, сильны. Нередко их процветанию мы способствуем сами: равнодушием, трусостью, душевной апатией...

Е. Скарлыгина

Юрий Поройков. Ехали медведи на велосипеде. Повесть. Октябрь, № 7, 1988.

От метафизики до инвектив

Один уважаемый литератор сетовал как-то по поводу того, что в последнее время участились случаи литературного разноса. Но особое его неудовольствие вызвал не сам факт разноса — критике в наше время положено быть критичной! — а то, что сию неблагодарную работу выполняют чаще всего критики-женщины, или «литературные дамы», или, еще язвительнее, *критикессы*. «Живая картинка» из критической жизни рисовалась литератором примерно так: вызывает, значит, хозяин-барин в каком-нибудь издании такую даму и говорит ей: «А ну-ка, Таня-Наташа-Алла, врежь по такому-то, что-то он в последнее время стал слишком талантливо писать». И исполнительная, но беспринципная, в известной мере ограниченная (дама же!) критикесса с видимым удовольствием (тут следовал намек на неудачную личную жизнь) врезáла, ничтоже сумняшеся, по художественно достойному произведению, пользуясь тем, что автор, будучи джентльменом, не может, в свою очередь, как следует врезать даме. Возможно, литератором этим двигали накопившиеся претензии к тем дамам, которые не захотели по достоинству оценить достойное произведение. А может, просто дама в качестве субъекта разноса коробила его эстетическое начало: не дамское это дело врезать и разносить, дамам положено охать, ахать и восхищаться.

В недавнем застойном прошлом критика наша в своей женской ипостаси и в самом деле отличалась поистине мужской наступательностью, резкостью, а порой и безапелляционностью суждений. Впрочем, отличалась она и определен-

А. Латынина. Знаки времени. Заметки о литературном процессе. 1970—1980-е годы. М., Советский писатель, 1987.

ностью позиции, чем, возможно, вызывала хорошую профессиональную зависть со стороны иных коллег мужского пола. Ведь одни из них, не имея широкого доступа к печатному слову, вынужденно молчали, другие — опять же вынужденно — уходили в литературоведение; часть же оставшихся, уступая дамам право на критичную критику, тратила силы на доказательство того, что критика — тоже литература, а критики — тоже люди, и добросовестно трудилась над созданием тщательно выверенной системы намеков и экивоков, предназначенной для своих читателей. Не случайно в апогее застоя один из коллег назвал Аллу Латынину «критиком рассерженным». «Я хотела было обидеться, но, поразмыслив, раздумала,— пишет она в предисловии к своей книге «Знаки времени».— Что ж, литературная жизнь не давала частых поводов для критических восторгов, если отказаться от роли работников сферы обслуживания, которую тебе стремятся навязать...» То, что амплуа «критика рассерженного» — то есть, в сущности, бескомпромиссного — было отведено женщине, тоже, кстати говоря, симптоматично. Здесь, по-видимому, какой-то закон особый действовал, когда женщина, если уж выбирала направление, держалась его без оглядки по сторонам. А как иначе объяснишь эту женскую критическую определенность? «...Женщина в литературе вот уже столетие с лишним доказывает, что она ни в чем не хуже мужчины, и в результате действительно создает прозу, которая совсем не хуже мужской»,— полушутливо, полусерьезно пишет А. Латынина. Не берусь утверждать, конечно, что «женская» критика была настолько свободна, что не испытывала потребности в компромиссах и никогда ни в чем не шла против внутреннего своего убеждения — всякое бывало (думаю, например, что сегодня А. Латынина написала бы статью о Василии Розанове в другой идеологической тональности, нежели в 1975 году). И все же...

А. Латынина решила не обижаться на эпитет «рассерженный» и правильно сделала. Ибо, как говорил Поль Валери, область художественной критики простирается от метафизики до инвектив. Читатель «Знаков времени» имеет возможность воочию убедиться в справедливости высказывания французского эстета. И вот что любопытно: метафизики этой самой оказывается у «критика рассерженного» ничуть не меньше, чем инвектив, а может, даже и больше. Если, конечно, под метафизикой понимать способность (и готовность) критика свободно передвигаться по тем высоким пространствам, где философское естественно сопрягается с социальным, бытийственность органично вырастает из быта, где частные чувства, мысли, поступки людей (персонажей) принимают универсальный характер — словом, там, где обретается Литература.

Поэтому прежде всего стоит открыть те страницы книги А. Латыниной, где идет речь о прозе Владимира Маканина, Чингиза Айтматова, Булата Окуджавы, Владимира Крупина, Михаила Рощина. Потому что статьи, посвященные этим авторам, писались, что называется, по горячим следам, практически сразу же по выходе произведений в свет, а увидеть, понять метафизическую сущность произведения при его появлении — дело довольно трудное. Думаю, в большинстве случаев А. Латыниной оно неплохо удавалось.

Именно способности сочетать быстрое реагирование с долгосрочными прогнозами А. Латынина обязана тем, что и сегодня, в обстановке резко изменившейся литературно-журнальной конъюнктуры, некоторые из ее критических анализов не утратили актуальности. Так А. Латынина первой, кажется, обратила внимание на «философскую неподготовленность критики к восприятию прозы Маканина» и увидела у него «разлитый всюду дух иронии, позволяющий объединить серьезное и смешное, неуловимо перетекающие друг в друга, встать над всеми точками зрения, чувствуя их неполноту и недостаточность, возможно, и неполноту собственной позиции». Пассаж остроумный и точный, явственно слышимый здесь отзвук рассуждений Бахтина (о полифонии у Достоевского) сообщает ему хороший историко-литературный разбег.

Размышляет ли Латынина о романе Чингиза Айтматова «Буранный полустанок», или о «Живой воде» Владимира Крупина, или об «исторических фантазиях» Окуджавы, в каждом произведении она стремится прежде всего выявить его парадигму (некую модель). И вот эта парадигма оказывается тем самым моментом, который в случае критической удачи имеет шанс перейти из хроники литературы в ее историю и теорию и таким образом преодолеть недолговечность критики. Так у Айтматова критик видит прежде всего «символы бессмертия», которые ищет Буранный Едигей. Проза Крупина интересна ей своими связями с «долитературными категориями, нашедшими отражение в мифе, в фольклоре». Для романа Окуджавы «Свидание с Бонапартом» Латынина находит на редкость изящное и адекватное определение — «камерная музыка... негромко пропетого исторического романса».

Проблемы истории и исторического выдвинулись сейчас на передний план общественного сознания. В таком социально-политическом контексте, естественно, особый интерес представляют соображения о природе памяти, о соотношении исторического факта и художественного вымысла, о степени историчности мышления, которым отдана существенная часть книги А. Латыниной. Разумеется, не все, что она пишет, бесспорно: так, тезис о том, что «нельзя писать о реальных исторических людях и подлинных событиях, оставаясь одновременно в двух мирах — реальном и воображаемом, сталкивая законы традиционной художественной прозы и прозы документальной», «работает», в частности, в применении к «Алмазному венцу» Катаева, но кажется схоластичным, если вспомнить, например, о пьесе М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше...». Принять его можно только, если твердо веровать в существование непроницаемой границы между «поэзией и правдой».

Что же касается инвектив, то у Латыниной они направлены главным образом против так называемой серой литературы, против дурной беллетристики (ибо существует и хорошая беллетристика!), принимающей вид то «дамской повести», то претенциозных повествований о «творческих людях» (модный жанр), то квазиисторических сочинений...

Впрочем, «свод» грехов этих настолько устойчив, что как раз данный род критической работы более всего подходит под определение поденная. Ибо если мы раскроем, к примеру, шестой том сочинений Корнея Чуковского (там собраны его критические выступления дореволюционного периода), то обнаружим почти такой же набор критических мишеней: по-видимому, у паралитературы малый запас возможных изменений.

Подводя итоги, хочу сказать: если вы, читатель, по тем или иным причинам пропустили какие-то произведения последнего десятилетия, то книга А. Латыниной «Знаки времени» поможет заполнить «белые пятна» на вашей личной литературной карте. Материал, составляющий эту книгу,— по преимуществу материал реконструирующий, материал, заставляющий вспомнить и подумать о наиболее интересных литературных событиях недавнего прошлого.

Рецензия эта была набрана, когда в «Литературной газете» и в «Новом мире» появились статьи, написанные А. Латыниной в контексте новой политической ситуации. Ряд ее суждений вызывает решительное несогласие. Можно лишь надеяться, что это временное заблуждение критика, обычно не только чувствительного к переменам литературно-общественного тонуса, но и обладающего достойной уважения точкой зрения.

В. Шохина

Из почты «Знамени»

Гримасы социального планирования

Именно в застойные годы, когда темпы роста благосостояния людей явно застопорились, а у многих категорий работников с неизменными окладами обернулись заметным его снижением, лозунг «Все для человека, все во имя человека» повторялся как некая абсолютная истина, оспорить которую могли разве что враги социализма. В действительности именно этот гипноз торжественно-патриотических фраз маскировал растущие серьезные трудности во многих сферах нашей жизни, не позволяя вовремя пресечь негативные тенденции. Ресурсно-затратный подход властвовал не только в экономике, но и в планировании повышения уровня жизни народа и его социального развития. Из пятилетки в пятилетку главным критерием были объем и темпы роста его номинальных доходов, общий и среднедушевой уровень производства, реализации и потребления трех-четырех десятков «представительных» товаров ширпотреба и продовольствия, наличие и ввод жилой площади в квадратных метрах, общее число врачей, больничных коек, учащихся на 1000 жителей, мощности учреждений таких отраслей, как торговля, общепит, культура, служба быта, транспорт, и т. д. Конечно, показатели эти необходимы, но были ли они ориентированы на решение конкретных жизненных проблем? Давайте разберемся на примере нашего здравоохранения. Поразительно, что в течение десятилетий никто, по крайней мере в «официальных кругах», не усомнился в том, что увеличение численности врачей, больничных коек, амбулаторно-поликлинических учреждений отнюдь не повышает потенциал здоровья населения. Обеспечивая рост важных, но, по существу, промежуточных или ресурсных показателей, мы пришли к тому, что формально у нас огромное превосходство над подавляющим большинством стран и крупнейших городов мира в количестве врачей, больничных коек, медсестер на 1000 жителей и в то же время среди развитых стран занимаем последние места по уровню здоровья населения.

В международной статистике важнейшими показателями, отражающими потенциал здоровья населения страны, региона или города, наряду с суммарным показателем общей смертности населения принято считать среднюю продолжительность жизни (в годах) и уровень детской смертности (на тысячу новорожденных до одного года). Московское здравоохранение, как отмечал нынешний руководитель нашей государственной медицины академик Е. И. Чазов, является одним из наиболее отсталых участков всей системы здравоохранения страны. Несмотря на то, что в расчете на 1000 жителей наша столица следом за Тбилиси имеет наибольшее среди городов страны число врачей, детская смертность у нас высока, продолжительность жизни москвичей оставляет желать большего.

Парадоксальность ситуации красноречиво подтверждает таблица, данные которой рассчитаны по исходным материалам ООН американской исследовательской группы Дж. Марлина, работавшей в середине 80-х годов:

Города	Обеспеченность на 1000 жителей			Средняя продолжительность жизни в соотв. стране	Смертность населения	
	Больнич. койки	Врачи	Средний медперс.		Общая на 1000 жителей	Детская на 1000 новорожденных до года
Москва	15	10	17	69	12,1	21
Нью-Йорк	7	3	5	75	10,4	16
Лондон	8	5	8	74	11,4	10
Париж	8	4	(8)	75	10,7	12
Токио	8	4	3	77	5,4	6
Гамбург	11	4	6	73	14,0	4,5
Милан	8	3	(2)	73	9,7	15

Более широкий анализ показал, что в 60 городах мира из 77 уровень детской смертности ниже, чем в Москве. Конечно, в учет брались, как правило, города промышленно развитых стран мира. Однако, к сожалению, в последние годы периода застоя мы по ряду показателей стали уступать и некоторым странам так называемого «третьего мира». Например, двадцать лет назад уровень детской смертности в столице Таиланда Бангкоке был вдвое выше, чем в Москве. Сейчас же он почти на четверть ниже (17 случаев на тысячу новорожденных). В Сингапуре соответствующий показатель сейчас меньше почти в два раза. Характерно, что если в начале 70-х годов уровень детской смертности в таких городах, как Милан, Вена, Монреаль, София, Гавана, Варшава, был существенно выше, чем в Москве, то сегодня он значительно ниже. Если раньше в Мадриде он был точно такой же, как у нас в столице, то теперь уменьшился в три раза (всего лишь семь случаев на 1000 новорожденных). За 15 лет положение с детской смертностью в Москве не изменилось, тогда как в Лондоне за 12 лет она сократилась на 42 процента, в Токио за 14 лет на 54 процента, в Гамбурге за 8 лет на 74 процента, в Нью-Йорке за 10 лет на одну треть... Если же взять такой ключевой показатель, как средняя продолжительность жизни, то здесь наше положение еще хуже, ибо в начале 80-х годов среди 180 стран и территорий, представивших соответствующие сведения статистической службе ООН, СССР оказался на 54-м месте, причем по уровню мужской смертности мы на 61-м, а женской — на 48-м местах. В среднем наш показатель ниже, чем во всех европейских странах, кроме Албании, а если брать картину в целом, то мы находимся между Коста-Рикой и Гваделупой, но после Кипра, Панамы, Фиджи и Барбадоса. По продолжительности жизни женщин мы превосходим в Европе только Албанию и Португалию, в мире же уступаем Гонконгу, Израилю, Сейшелам и находимся где-то рядом с Уругваем и Малайзией.

С 1972 по 1985 год средняя продолжительность жизни у нас в стране сократилась на два года, тогда как в Японии, ФРГ, Канаде, Финляндии, Венесуэле возросла на 4 года, а в США и Австрии — на 3 года. В результате этих тенденций наши мужчины в среднем живут сейчас на 8—10, а женщины — на 5—7 лет меньше, чем в ряде наиболее развитых стран мира. Понадобились энергичные меры против пьянства и алкоголизма, чтобы в последние два года существенно улучшить ситуацию в стране. Средняя продолжительность жизни возросла примерно на полтора года. Однако и по сей день она все еще ниже уровня 1972 года.

Чтобы радикально изменить положение с охраной здоровья советских людей, надо пересмотреть традиционные методы планирования развития отечественного здравоохранения, внедрить новые инструменты анализа и оценки состояния дел в этой отрасли, разработать особые социальные балансы, обеспечивающие достижение научно обоснованных конкретных социальных целей развития. Сюда надо включать то, что реально увеличивает потенциал здоровья граждан, снижает потери рабочего времени по временной нетрудоспособности и детскую смертность. Необходимо изучить зарубежный опыт, факторы, позволившие другим странам за относительно непродолжительное время добиться улучшения наиболее важных конечных показателей социального развития.

Огромный вред нанесла нам так называемая «парадная статистика» застоя, она углубила некомпетентность и непрофессионализм значительной части работников планово-управленческого аппарата, которые определяли зачастую ложные приоритеты развития и недооценивали роль многих скрытых факторов. В самом деле, откуда идет эта головотяпская подмена конечных социальных целей важными, но отнюдь не гарантирующими их достижение задачами наращивания ресурсов, фондов, мощностей? Не от того ли и сложился столь порочный механизм планирования в социальной сфере, что легче свести дело к росту объема используемых в отрасли ресурсов и средств, чем озаботиться вопросом: а какова будет их реальная отдача? Добиваясь радующих глаз парадных показателей — как же, у нас самая высокая обеспеченность на тысячу жителей койками, врачами, средним медперсоналом,— плановики для достижения благополучной отчетной

информации, по существу, занимались приписками. В чем это выражалось? Прежде всего в том, что нормативная больничная койка обеспечена необходимыми лечебно-диагностическими основными фондами в среднем вдвое ниже, чем требуется. Если по внутренним «санитарным нормативам» на каждую койку положена необходимая палатная площадь в 7,5 квадратных метра, то мы имеем... 5. Общая фондовооруженность персонала наших больниц и клиник в 5—6 раз ниже мировых стандартов. При этом технический уровень основных медицинских фондов существенно ниже, чем за рубежом. Если бы мы, проводя сравнения, использовали некий поправочный коэффициент для достижения качественной сопоставимости, то пришлось бы сократить используемый ресурсный показатель не менее чем вдвое (до 7—8 коек вместо 15), что тут же «уровняет» нас с более развитыми «конкурентами».

Да, но по численности врачей мы действительно впереди, как тут разобраться? А так: в Москве по крайней мере 40 процентов врачей никак не связаны с медицинским обслуживанием населения. В районном же звене нагрузка участковых терапевтов на треть превышает нормативный уровень. В столице размещена масса медицинских НИИ, беззастенчиво поглощающих кадры медиков, а эффективность большинства этих институтов, по оценке самого министра здравоохранения СССР Е. И. Чазова, крайне низка. Остра и проблема повышения квалификации лечащих врачей.

Скрывая с помощью лжепатриотичной «политической арифметики» истинную картину в сфере охраны здоровья населения СССР, официальная статистика застойных лет, по существу, содействовала формированию механизма торможения. Как только в 70-е годы выявилось, что средняя продолжительность жизни советских людей сокращается, тогдашнее ЦСУ СССР сразу перестало публиковать новые данные. К примеру, в статистическом сборнике за 1980 год, где публиковались последние данные о средней продолжительности жизни в странах мира, мы привели цифры за... 1970 год.

Наше здравоохранение на сегодняшний день являет почти классический пример отрасли с «перевернутым планированием», где истинные цели подменены промежуточными. Во главу угла плана по-прежнему ставится система сетевых нормативов развертывания медицинских учреждений. Принято считать, что это повысит общий уровень здоровья граждан, увеличит тем самым и их трудоотдачу в экономике города, однако вот уже 15—20 лет ничего подобного не происходит. В 70-е годы, например, рост основных фондов московского здравоохранения в расчете на душу населения составил примерно 15 процентов, смертность же населения в трудоспособном возрасте возросла на 17... Возникли своего рода «ножницы»: Москва впереди большинства городов развитых стран по количеству медперсонала и больничных коек на тысячу жителей, но отстает по всем важным показателям, характеризующим потенциал здоровья населения.

Считается, и не без оснований, что не менее половины так называемого оздоровляющего эффекта дает не просто правильное лечение заболевших людей, но профилактика возникновения болезней. Это, в свою очередь, требует принятия соответствующих мер на производстве (охрана труда), по месту жительства (регулярные занятия физкультурой и спортом), а также усиления пропаганды здорового образа жизни, в частности борьбы с алкоголизмом и курением. Зарубежный опыт свидетельствует, что для сбережения здоровья населения предупредительные меры обходятся намного дешевле, чем, к примеру, дополнительные усилия медицинских учреждений в случае роста заболеваемости.

В США и других развитых странах все больше и больше людей втягиваются в регулярные занятия по укреплению здоровья. В Москве же постоянно занимается физкультурой и спортом не более трети взрослого населения — нет для этого условий, а часто и желания. Остро недостает даже простейших сооружений для занятий спортом во дворах, на свободных площадках и в нежилых помещениях.

Существенные перемены нужны и в политике капиталовложений в отрасли социальной инфраструктуры. По сей день непропорционально велики затраты на новое строительство. Растянутые сроки возведения новых объектов здравоохранения омертвляют значительные средства, оголяя тылы отрасли, лишают действующие медицинские учреждения, многие из которых хронически недоукомплектованы, возможности повысить качество лечебно-диагностической работы. Мы тратим огромные деньги на новое строительство, имея старые медучреждения, которые можно модернизировать и технически дооснастить, тем более что дефицит оборудования тут составляет 40—60 процентов потребностей.

Однако изменение политики капиталовложений в отраслях социальной инфраструктуры — это только полдела. Надо перестроить саму систему планирования в этих отраслях, и только тогда мы сможем обеспечить в короткие сроки прямые результаты, отвечающие конечным социальным целям развития. Но как этого добиться? С чего начать эту перестройку? Вопрос непростой, однако на него уже есть ответ. Теория и методология социального планирования давно предложили целый набор новых инструментов анализа и планирования уровня жизни населения. В ряде международных исследовательских центров разрабатываются так называемые социальные балансы на перспективу. Они определяют соотношение материальных затрат, мероприятий и ожидаемых результатов. Эти методы, думается, могли бы с гораздо большим успехом использоваться в условиях нашей страны, имеющей преимущество централизованного планирования.

Своеобразный пример для подражания — «социальный шахматный баланс», разработанный исследователями Национальной плановой ассоциации США совместно с экспертами Колумбийского университета еще в 70-е годы. Для достижения важнейших показателей качества жизни (здоровье, образование, среда обитания, доход, наука и искусство) были намечены на пятнадцатилетнюю перспективу соответствующие экономические, организационные и «смешанные» мероприятия (всего 33 позиции), требующие ассигнований на общую сумму в 4,2 триллиона долларов. На основе предварительных оценок реальных тенденций авторы утверждали, что в случае если человек бросает пить, сокращает количество выкуренных сигарет, расстается с наркотиками или перестает переедать, переходя к рациональному режиму жизнедеятельности, средняя продолжительность его жизни возрастает на 5—6 лет. На пропаганду здорового образа жизни, улучшение качества питания, расширение сети спортклубов предполагалось выделить 36 миллиардов долларов. Любопытно, что при отсутствии механизма централизованного планирования многие рекомендации экспертов НПА на практике действительно осуществлялись. Доля курильщиков среди мужского населения США, например, сократилась до 33 процентов, то есть почти вдвое (в СССР она, наоборот, достигла примерно 70 процентов). Хотя ряд других предложений НПА был осуществлен не полностью и остались благими пожеланиями, средняя продолжительность жизни американцев за последние два десятилетия возросла на пять лет.

Решая поставленные задачи, американские эксперты намечали снизить долю малообеспеченных лиц и процент людей, пребывающих в бедности. Увеличить же они планировали гораздо больше: число людей, регулярно пользующихся индустрией отдыха и развлечений,— вдвое, долю молодежи, проходящей обучение в вузах,— втрое, число артистов удвоить, число ведущих ученых утроить. Решено было с 300 до 800 увеличить количество заповедников для «поддержания жизни природы в естественных формах». Многие из этих рекомендаций остались лишь на бумаге, однако часть их была реализована, побудив многие организации, особенно на уровне штатов и городов, действовать в рамках своего рода «программы» повышения качества жизни.

А теперь зададимся вопросом: а как же нам улучшить дела в сфере здоровья? Много-много лет авторы научных публикаций утверждают, что навести порядок в планировании непроизводственной сферы, какой является здравоохранение, можно, лишь используя внутренне увязанную систему целевых показателей — так называемое «дерево целей». Только тогда что-то изменится к лучшему, потому что данная система сочетает и высшие, и промежуточные цели социального развития. При этом одни цели реально служат средствами достиже-

ния других, и, объективно определяя ресурсную и организационную базы для достижения поставленных задач, мы будем четко знать, какова реальная стоимость нашего здоровья.

Как применить этот своеобразный социальный баланс в области здравоохранения? Например, с 1976 по 1986 год в Москве удалось снизить детскую смертность с 25 случаев до 21 на тысячу новорожденных. За счет чего и как взять на вооружение этот опыт? Тут-то и возникает необходимость в проведении ретроспективного анализа, который поможет создать объективную картину состояния дел. Только определив факторы, повлиявшие на снижение детской смертности, только проведя самые широчайшие исследования — от изучения наследственности по линии родителей, условий труда и быта матерей, причин недоношенности детей до состояния родильных домов,— выстроим мы объективный прогноз на плановый период, определим уровень затрат на программу улучшения бытовых условий женщин, на уменьшение числа абортов. Последнее, например, снизит долю недоношенных детей среди новорожденных, общий показатель смертности, поскольку уровень смертности недоношенных детей уже в первый день после родов в 30 раз выше, чем у детей, родившихся в нормальные сроки. Конечно же, в этой работе необходимо проанализировать и опыт западных стран, накопленный за последние годы.

Используя прогрессивные методы планирования и учитывая богатый зарубежный опыт, уже на тринадцатую пятилетку мы могли бы запланировать такие важнейшие социальные — конкретные! — цели, как снижение уровня детской смертности, скажем, на четверть, уменьшить на два дня в году общие потери рабочего времени по болезни, снизить уровень травматизма и выхода на инвалидность, что даст народному хозяйству страны осязаемый эффект... Расчет затрат на улучшение здоровья людей только тогда даст ощутимый эффект, когда мы будем знать реальные показатели здоровья жителей каждого города, всех групп населения страны. Такой принцип планирования полностью отвечает задачам сегодняшнего дня, во главу угла которых поставлен «человеческий фактор», и отдача его будет тем больше, чем реальнее отразятся в наших планах насущные потребности каждого человека.

В. Куварин,
кандидат экономических наук

Советуем прочитать

Леонид Андреев. Рассказы. Сатирические пьесы. Фельетоны. М, Правда, 1988.
Леонид Андреев. Избранное. М. Советская Россия, 1988.

В одном из писем 1901 года К. П. Пятницкому Максим Горький заметил: «Слежу за успехом Андреева и — ликую! Кому ни дашь книжку, все хвалят и хвалят хорошо, толково. Вообще — прекрасная штука — жизнь! Я все больше проникаюсь этим убеждением».

В начале века российская интеллигенция зачитывалась рассказами писателя.

Выход каждой книги становился событием литературной жизни... В 1919 году — ранняя смерть, потом — долгая пора забвения и умолчания... Сказать, что у вас в стране Л. Андреев не издавался — нельзя, но выходило, как правило, одно и то же.

В новых сборниках представлены как признанные, так и малоизвестные произведения самобытного художника.

Валентина Ходасевич. Портреты словами. Очерки. М., Советский писатель, 1987.

«Много, много лет мечталось написать групповой портрет...» — признается известный театральный художник Валентина Михайловна Ходасевич (1894—1970), свидетель и активный участник культурной жизни нашей страны первой половины XX века. Она вспоминает о близких своих друзьях и единомышленниках М. Горьком, В. Маяковском, В. Татлине, В. Шкловском, М. Волошине, И. Бабеле, А. Толстом, Г. Козинцеве и Л. Трауберге, Т. Вечесловой, Г. Улановой.

Фрагменты мемуаров Ходасевич печатались в «Новом мире» начала 60-х, входили в сборники воспоминаний о советских писателях. В полном объеме они пришли к читателю впервые.

Стихи этого года. Поэзия молодых. Составители Н. Злотников, А. Парпара. М., Советский писатель, 1988.

Во времена застоя в литературных кругах бытовала шутка: молодой поэт — это тот, кому еще нет пятидесяти. Авторы сборника, а их более ста, и в самом деле молоды, их имена еще мало известны широкому читателю, а для многих это первая публикация. В книге представлены разнообразные течения современной поэзии. Поклонники традиционной формы стиха откроют для себя философскую лирику Г. Мосешвили, миниатюры Н. Баранского, «Стансы» С. Гандлевского, грустно-романтические опыты В Чернышева... Тема умирающей деревни звучит в стихах Ю. Кабанкова, своеобразную попытку прочтения пушкинской «Папессы Иоанны» предлагает в своих «Драматических сценах» С. Таск. Среди поэтов, условно объединенных критикой направлением «советский авангард», кроме известных А. Парщикова, А. Еременко, Ю. Арабова, читатель обнаружит новые для себя имена: это А. Тюрин, Н. Искренко. Близки к «чистому авангарду» и поэтические опыты О. Асиновского.

З. В. Гребельский. Федор Раскольников. М., Московский рабочий, 1988.

В 1938 году Раскольников, бывший тогда полномочным представителем СССР в Болгарии, отказался вернуться в Москву, где его ждал неизбежный арест. В августе 1939 года он пишет «Открытое письмо Сталину» (в книге впервые полностью публикуется его текст). Раскольников писал, что Сталин изменил ленинским заветам, «избрал иной путь — установление режима личной власти, насилия и террора.., что он обокрал мертвых, убитых и опозоренных им людей и приписал себе их подвиги и заслуги». В конце шестидесятых, когда «под флагом борьбы с субъективизмом объявили ошибочным многое, чему положил начало XX съезд», имя Раскольникова вновь оказалось под запретом.

Автор рассказывает о вехах жизненного пути героя: подпольная работа, эмиграция, Балтийский флот, ноябрьские бои 1917 года в Москве, фронты гражданской войны... Раскольников на посту полномочного представителя СССР в Афганистане, Эстонии, Дании и Болгарии. Мы узнаем о судьбе его литературных произведений, в частности трагедии «Робеспьер», поставленной в Париже...

В книгу включены наиболее известные публицистические произведения Ф. Раскольникова, выдержки из его мемуаров.

Юрий Козлов. Пустыня отрочества. Роман. М., Молодая гвардия, 1988.

«Продолжался передел дворов. Империи, республики, федерации, каганаты возникали и рассыпались, как карточные домики. Повсюду брожение, обманы, подкупы, предательство, борьба за власть...». Нет, это не цитата из исторического повествования. События происходят в наши дни в Ленинграде. Впрочем, они могли происходить и в любом другом городе, ибо проблемы, поднятые в книге, общечеловечны.

Все кажется так непросто, когда человеку исполнилось пятнадцать. Когда миражи нередко «терзают сильнее, чем обыденная жизнь», когда порой одолевает гнетущее одиночество, будто один на целой планете, когда в какой-то момент перестаешь понимать и «принимать» взрослых...

Герои романа показаны в процессе пре-

одоления «пустыни отрочества» — в период взросления, формирования личности. Тут и первая любовь, и проблемы лидерства в коллективе, воспитания честности, мужества, благородства.

«Но рано или поздно пустыне конец», ведь отрочество — узкая, зыбкая тропинка, в конце которой дорога в большую жизнь. Проходя по ней, герои по-разному решают сложные нравственные вопросы, с которыми сталкиваются.

А. Ф. Ковалев. Колокол мой — правда. Документальная повесть. Неман, № 6, 1988.

«Мне казалось, что я попал в застенок злейших врагов Советской власти... Неужели это допустимо в наших условиях? Да ведь и в органах НКВД работают коммунисты... Разберутся, я уверен. Мне легко опровергнуть клевету и доказать свою невиновность... На первом же допросе все это выяснится...» Так думал Афанасий Федорович Ковалев в дни ареста. Первый секретарь Витебского горкома ВКП(б), с сентября 1937-го — Председатель Совнаркома БССР был арестован в январе 1939 года, вынес издевательства, пытки, угрозы, но не подписал ни один клеветнический навет на себя и товарищей. Среди нелепейших обвинений было и такое: подготовка покушения на Ворошилова во время охоты.

Минская тюрьма, московская Бутырка, Полоцкий монастырь, Тюмень, Тобольск... Летом 1940-го состоялся «суд» над руководителями коммунистов Белоруссии. На нем все (!) обвиняемые отказались от выбитых пытками «показаний», но это не облегчило их участи... Правда, «дело» Ковалева было приостановлено и возвращено в Минск для повторного расследования. И случилось невероятное: в октябре сорокового Прокурор СССР по надзору за судебно-следственными органами вынес решение об освобождении А. Ф. Ковалева ввиду «отсутствия состава преступления». Но это постановление было скрыто...

В Тобольск, где автор провел последние годы заключения, когда-то Борис Годунов сослал мятежный угличский колокол, приказав вырвать его дерзкий язык. «Где тепепешний колокол-бунтарь? Кто осмелится бить в него?» — спрашивает автор. Оказывается, осмеливались, били — подтверждает своей документальной повестью А. Ф. Ковалев.

Историко-астрономические исследования. Минувшее. Современность. Прогнозы. Ответственный редактор А. А. Гурштейн. М., Наука, 1988.

Не удивляйтесь, если, раскрыв очередной, двадцатый, выпуск ежегодника, вы увидите текст, написанный гекзаметром. Здесь, в разделе «Из научного наследия», опубликовано сочинение Цезаря Германика «Небесные явления». В статье, предваряющей публикацию этого поэтического произведения, рассказывается об истории его создания и перевода на русский язык, научной и литературной ценности. «В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии»,— заметил когда-то К. Г. Паустовский. Нельзя не согласиться с писателем, прочитав поэму.

Любопытные сведения приведены в статье московского историка О. М. Рапова «Комета Галлея и датировка крещения Руси». Автору удалось установить хронологию этого знаменательного события и прояснить некоторые важные стороны в жизни Древней Руси и Византийской империи.

В разделе «Жизнь и творчество ученых» помещены воспоминания о выдающемся советском планетологе К. П. Флоренском. Ученик В. И. Вернадского, человек, чьим именем назван один из кратеров на обратной стороне Луны, не носил высоких ученых титулов. Однако его многогранная деятельность оставила выдающийся след в отечественной и мировой науке.

На трагические события периода сталинских репрессий, жертвами которых стала большая группа крупных талантливых астрономов, проливает свет статья В. А. Бронштэна о журнале «Мироведение» — предшественнике журнала «Земля и Вселенная».

Содержание нового сборника показывает, как астрономия помогает нам решать земные проблемы, какова ее роль в развитии культуры.

В. Фролов. Муза пламенной сатиры. Очерки советской комедиографии (1918—1986). М., Советский писатель, 1988.

«В настоящей книге,— предваряя труд, пишет автор,— дана попытка рассмотреть проблемы жанра советской комедии в диалектике развития, историко-литературном и типологическом планах, в сложных, порою конфликтных связях с жизнью и театром, в поисках содержательных форм комизма, сатирического изображения действительности».

В поле зрения исследования — наиболее значительные периоды развития советской сатирической пьесы. Читатель узнает, как пришел в театр Маяковский, Булгаков, Платонов, Эрдман, Зощенко, как спустя десятилетия застоя многие их произведения начали, по существу, свою вторую жизнь на театральной сцене.

Рассматривая один из интереснейших периодов развития сатиры 20-х годов, автор, пожалуй, сегодня одни из первых останавливает свое внимание на творческих поисках в сатирических жанрах ленинградской литературной группы «Обэриу» (объединение реального искусства), яркими представителями которой были Даниил Хармс и Александр Введенский. А говоря о возрождении после долгих десятилетий молчания поисков в области сатирической комедиографии, Фролов обращается к творчеству драматургов-сатириков 60-х годов, где пальма первенства отдана А. Т. Твардовскому с его поэмой-сказкой «Теркин на том свете», «...чарующая удалью фантазии и сочным юмором, меткой сатирой, народным весельем.., ощущением бессмертия того великого дела, за которое так неистово сражался на фронте Василий Теркин».

Немало славных имен, внесших в разные времена свою достойную лепту в дело сатирической культуры России, встретит читатель на страницах исследования Владимира Васильевича Фролова — от Кантемира, Пушкина, Гоголя, Крылова до Шукшина, Вампилова, Шатрова, Евтушенко, Михалкова, Быкова, Розова, Друцэ, Зорина, Петрушевской, Славкина, Жванецкого, Рощина...

А. Л. Зорин, А. С. Немзер, Н. Н. Зубков. Свой подвиг свершив... О судьбе произведений Г. Р. Державина, К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского. М., Книга, 1987.

В 1838 году профессор Университета С. Шевырев так отозвался о творчестве Державина: «Поэзия Державина это сама Россия Екатеринина века— с чувством исполинского своего могущества, с своими торжествами и замыслами на Востоке, с нововведениями Европейскими и остатками старых предрассудков и поверий — это Россия пышная, роскошная, великолепная, убранная в Азиятские жемчуги и камни и еще *полудикая, полуварварская, полуграмотная...*» Судьба наследия Державина парадоксальна, ибо «если в конце жизни его нередко почитали, не читая, а после смерти, также не читая, бранили», то теперь «Державин вошел в моду», возвратился в современную культуру.

«Жуковский жил долго и благополучно. Он умер, не только достигнув генеральского чина, но и получив при жизни неофициальный «статус классика». И в то же время «присутствие Жуковского» (в отличие от Пушкина или Гоголя) в литературе, как при жизни, так и по смерти, было «скрытым». В русской культуре XIX—XX веков оно незаметно, «как незаметно присутствие воздуха». Его метры, мотивы и темы «с необыкновенной легкостью растворились в последующих поэтических традициях». И теперь легенда о вечно юном мечтателе, бедном певце и добром наставнике «подчас заслоняет поэзию, из которой она выросла».

Вот пушкинские отзывы о Батюшкове: «Звуки италианские! Что за чудотворец этот Батюшков!», но: «Уважим в нем несчастия и несозревшие надежды». Поныне для нас трагическая судьба поэта во многом заслоняет его поэзию. «Батюшков, по словам Мандельштама, совершил поэтическое дело «случайно» — его работа так и осталась незавершенной».

Исследуя издательскую историю сочинений поэтов, восстанавливая картину критических споров, бушевавших вокруг их творчества, авторы открывают интересные аспекты прошлого отечественной словесности.

Вяч. Полонский. О литературе. Избранные работы. М., Советский писатель, 1988.

«Нет и не может быть творчества из ничего.

Должна душа чем-то плениться. Пусть это будет идея или настроение, тоска по мирам иным или любовь к земному расцвету, но нечто должно зажечь ее...»

Так писал В. Полонский о призвании истинного художника. «Плениться идеей» — таково было и непреходящее состояние самого критика, редактора журнала «Печать и революция». («ПиР»), который сыграл особую роль в развитии советской литературы 20-х годов.

«Смелый борец и неосторожный ребенок», как назвал его Б. Пастернак, В. Полонский в 1929 году был отстранен от руководства «ПиР'ом», а затем и «Новым миром». Вытесненный из литературного процесса интригами рапповцев, художник, казалось, был побежден — т о г д а. Если бы не безвременная смерть в 1932-м, скорее всего, Полонский был бы уничтожен в более поздние годы (как Воронский, как Лежнев, как многие...)

Вернувшись в переиздании, наиболее полном из предпринимавшихся за последние годы, работы В. Полонского оказались очень нужными — с е г о д н я.

Муза в храме науки. Сборник стихотворений. М., Советская Россия, 1988.

Известно, что еще в Древнем мире, в средневековье и позднее многие научные труды излагались в стихотворной форме — отточенной и лаконичной. Достаточно вспомнить трактат в стихах «О природе вещей» Лукреция. Поэзия и наука издавна шли рука об руку.

Теперь стихотворения наших соотечественников-ученых собраны под одной обложкой. В книге представлены произведения М. В. Ломоносова, минералога И. И. Хемницера, архитектора и ботаника Н. А. Львова, военного инженера-путейца, декабриста Г. С. Батенькова, композитора А. П. Бородина, математика П. Л. Лаврова, художника, ученого, писателя Н. К. Рериха, биолога, энтомолога, зоогеографа А. П. Семенова-Тян-Шанского. Все они были не только талантливыми учеными, но широко и разносторонне образованными людьми, увлекавшимися поэзией.

Шандор Ласло-Бенчик. В тугом узле. Роман. Авторизованный перевод с венгерского Олега Громова и Сергея Фадеева. М., Московский рабочий, 1987.

К чему приводят волевые методы руководства, погоня за рекордами— подлинными и мнимыми, стремление сделать из рабочего «манекена с витрины»? Испытания дутой славой не выдерживает даже энергичный, незаурядный Батя — бригадир монтажников Янош Канижаи, по-настоящему знающий свое дело.

В трудные для Венгрии 50-е годы, когда карьеризм нередко выдавался за «патриотизм» и «приверженность социализму», упорное нежелание Яноша Канижаи превращаться в высокопоставленного чиновника истолковали как «измену». Его арестовали. Но, вскоре освободив, реабилитировали. Вот тогда-то он и «пустился в великий поход за наградами и титулами», который не мог не окончиться плачевно для увенчанной золотыми лаврами бригады монтажников.

Роман написан от лица рабочего Иштвана Богара, после всех перипетий оказавшегося в больнице и, быть может, впервые серьезно задумавшегося над жизнью и судьбой Бати и бригады, которую теперь поручено возглавить ему.

Борис Соколов. Великая Отечественная: цена Победы. Литературный Киргизстан, № 10, 1988.

«...Страх не выполнить приказ был сильнее здравого смысла, сильнее страха смерти. В атаке можно было уцелеть — трибунал шанса не давал. Отсюда и бессмысленные лобовые атаки на германские укрепленные позиции, на неподавленную систему огня, взятие городов к праздничным датам (Киев — к 7 ноября, Берлин — к 1 Мая), посылка в бой необученных пополнений (особенно трагично обстояло дело с дивизиями народного ополчения, некоторые из которых были уничтожены целиком буквально за один-два дня), кровопролитные штурмы многочисленных «безымянных» высоток, тактическая ценность которых была ничтожна... Проявлять инициативу сталинский режим отучал всех — от солдата до маршала, и в итоге войска несли неоправданные потери».

Они значительно превосходили немецкие во все периоды Великой Отечественной: на советско-германском фронте в бою погибло 11 миллионов наших солдат и лишь 3 миллиона — вражеских. Вопреки утверждениям военных историков, превосходство СССР в численности войск было существенным с первого дня войны до последнего. Анализируя соотношение потерь сторон в танках и самолетах, автор приходит к выводу, что официальные данные о советском производстве вооружения в 40-е годы завышены более чем в полтора-два раза, очевидно, за счет приписок. Вероятно, можно оспорить какие-то положения этой работы, но пока нет официальной статистики, представляют интерес разыскания подобного рода.

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Главный редактор **Г. Я. БАКЛАНОВ.**

Редколлегия: **Ю. С. АПЕНЧЕНКО, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, В. П. ГЕРБАЧЕВСКИЙ** (зам. гл. редактора), **Ю. В. ДРУНИНА, С. Н. ЕСИН, Г. А. ЖУКОВ, Е. А. КАЦЕВА** (отв. секретарь), **В. Я. ЛАКШИН** (первый зам. гл. редактора), **В. С. МАКАНИН, В. Г. НОВОХАТКО, Е. Д. ОСКОЦКИЙ, В. Ф. ТУРБИНА, Я. А. ХЕЛЕМСКИЙ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО.**

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 923-75-82, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 10.01.89. Подписано к печати 07.02.89. А 04138. Формат 70×108¹/₁₆.
Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27.
Тираж 985 000 экз. (1-й завод 1—535 000 экз.). Заказ № 48. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.